

КИР БУЛЫЧЕВ

ЧУДЕСА В ГУСЛЯРЕ



КИР
БУЛЫЧЕВ

ЧУДЕСА
В ГУСЛЯРЕ

КИР
БУЛЫЧЕВ

ЧУДЕСА
В ГУСЛЯРЕ



Москва 1994

**ББК 84Р7
Б90**

**Кир Булычев
(Игорь Всеволодович Можейко)**

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Серия А
Том 3**

Чудеса в Гусяре

**Составитель А.В. Алексеев
Художник К.А. Сошинская
Ответственный редактор Т.В. Бобрынина
Технический редактор А.Н. Аникеев
Корректор Л.М. Гусева**

Лицензия № 061490 от 30.07.92
Сдано в производство 20.07.93 г. Подписано в печать 25.07.93
Формат 84×108¹/₃₂. Объем 13,5 печ. л. Уч.-изд. л. 22,04.
Бумага типографская. Тираж 50 000 экз. Заказ 1363.

«Хронос» 127254, г. Москва, а/я 19
При участии МП «Энтальпия»
Лицензия № 061445 от 17.7.92

Булычев Кир
Б90 Полное собрание сочинений. Серия А. Т. 3:
Чудеса в Гусяре.— М.: «Хронос», 1993.— 432 с.

ISBN 5—85482—008—0

В третий том серии А собрания сочинений Кири Булычева включены написанные в разные годы фантастические рассказы и повести, действие которых происходит в обыкновенном городе Великий Гусяр, в том числе «Поступили в продажу золотые рыбки», «Две капли на стакан вина», «Ретрогеиетика», «Перпендикулярный мир» и «Марсианское зелье».

ISBN 5—85482—008—0

**ББК 84Р7
© «Хронос», 1993
© Кир Булычев**

ОТ АВТОРА

Теперь, по прошествии стольких лет, интересно вспомнить момент и место рождения как самого города, так и первых гуслярских историй, которых уже накопилось около сотни.

Я не могу утверждать, что Великий Гусляр полностью возник в моем воображении. Не такое уж у меня богатое воображение, чтобы родить целый город, включая баню и автостанцию. Поэтому можно утверждать, что первоначально существовал прототип города, а уж потом город этот был отражен в изящной словесности.

Прототип города назывался Великим Устюгом. Я попал туда в середине шестидесятых годов и прожил там несколько дней — гостевание в Великом Устюге было частью неспешного путешествия в Вологду, Кириллово-Белозерск и Ферапонтово.

Великий Устюг меня очаровал, особенно если учесть, что в те, дотуристические времена он существовал сам по себе и никто коллективно не гнал, глядя на сохранившиеся после бурной разрушительной деятельности советской власти маковки церквей и фасады купеческих особняков.

Хоть в те дни я еще не знал, что стану писателем, а тем более не подозревал, что буду писать фантастику, Великий Устюг открывал мне больше, чем являл случайному наблюдателю.

Его относительно оторванное от великих свершений социализма существование, тишина и простор его длинной, украшенной белыми фасадами особняков и стройными церквями, набережной, голубизна широкой реки, леса, подбирающиеся к самым окантам, приземистая уверенность в себе гостинных рядов и нелепое вторжение сборных пятиэтажек... — осязаемость истории и провинциальная тишина так и подмывали столкнуть подобный мир с миром

космическим, мир Устюга и мир Альдебарана. Я помню, как, поддавшись обаянию города, я посетил Елену Сергеевну, бывшую директоршу музея. Помню чистоту небогатого интеллигентного домика на окраине, помню ее внука и саму Елену Сергеевну — но, хоть убей, не вспомню, почему же я туда попал и о чем мы говорили.

Почему-то мне, от возникшей в те прозрачные дни обостренности чувств, стали интересны люди, встречавшиеся ежедневно. Провизор в аптеке, странный лохматый веселый гражданин с воздушным змеем под мышкой, старик, с которым я разговаривал в столовой и который утверждал, что в Устюге под каждой улицей подземные ходы и клады... И я непроизвольно принялся строить биографии этим незнакомцам и вводить их в некие, несколько ирреальные, но на вид обычные отношения. Я не знал, как их зовут, и это меня смущало. Я не считал себя вправе придумывать им имена и не смел спросить их о настоящих — впрочем, последнее меня и не привлекало. Мне ведь нужны были не слепки с живущих рядом, а образы, происшедшие от них, но им не идентичные.

Помогла Елена Сергеевна, которая подарила тонкую «Адресную книгу г. Вологды за 1913 год». И там, среди объявлений, я отыскал все нужные мне имена и наградил ими людей, виденных на улицах Великого Устюга двадцать пять лет назад.

В книге был Корнелий Удалов — владелец магазина скобяных товаров. Но мне не хотелось, чтобы Корнелий Удалов, которого я встречал каждое утро, когда он спешил до службы отвести в школу столь похожего на него сынишку, занимался и в этой жизни скобяными товарами. И я сделал его начальником стройконторы. Правда, это случилось позже. Александр Грубин, также имевший в адресной книге торговое занятие, стал изобретателем, соседом Удалова по дому, также там поселился Николай Ложкин, превратившийся в пенсионера... Потом я уехал из Великого Устюга и постепенно забыл о своих размышлениях и вмешательстве в биографии его обитателей, которые, к счастью, об этом так и не догадались. Осталось лишь трогательное воспоминание о днях, проведенных там.

Вскоре я написал первый фантастический рассказ. Рассказ был детским и назывался «Девочка, с которой ничего

не случится». Его напечатали в «Мире приключений». Затем я принялся за приключенческую повесть для детей, действие которой происходило в Бирме. Повесть именовалась «Меч генерала Бандулы».

Так что, оказавшись в ноябре 1967 года в Болгарии, я имел некоторое право именоваться «молодым писателем из Москвы», а мои знакомые в Болгарии, желая сделать мне приятное, даже познакомили меня с настоящими болгарскими писателями и редакторами. Один из них — редактор журнала «Космос» Славко Славчев, после того как мы выпили с ним несколько рюмок коньяка «Плиска» и обсудили проблемы фантастики, вежливо спросил меня, не испытываю ли я нужды в деньгах. Нужду в деньгах я испытывал, в чем признался болгарскому коллеге.

— Ты едешь в Боровец, — сказал тогда Славко. — Там все пишут. Ты напишешь для нашего журнала рассказ, мы его напечатаем, а тебе заплатим гонорар.

Я приехал в Боровец и написал там первый гусларский рассказ.

Конечно, в одной фразе это сообщение звучит буднично и никак не отражает моих терзаний и творческих мук.

В комнате было очень большое, во всю переднюю стену, окно, которое выходило на зеленый склон горы. По склону, к соснам, росшим чуть ниже, проходили овечьи отары. Овцы позвякивали колокольчиками, а пастухи лениво покрикивали на них. В холле первого этажа был большой камин, возле которого болгарские писатели за творческими беседами проводили вечера. Кормили там сказочно вкусной форелью, а неподалеку, в центре этого курорта, был ресторан, на веранде которого отдыхающие вкушали прохладное пиво. Очень хотелось гулять по лесу, пить пиво, есть форель, разговаривать о жизни, куда меньше хотелось работать.

Я сидел за столом, глядел на горы и понимал, что я никогда в жизни не напишу никакого рассказа.

Но потом наступил час, когда все сложилось вместе — и время, и звон колокольчиков, и шум сосен, и лесная дорога.

В рассказе сразу же сошлись основные герои гусларских историй, и сам город, и даже дом на Пушкинской, в котором моим героям предстоит прожить много лет.

Славко Славчев с трудом прочел написанный карандашом текст и, на мое счастье, будучи человеком слова, принял мой опус к публикации; мне выдали в кассе столов, что было по тем временам значительной суммой, позволившей благополучно довести до завершения визит в Болгарию.

А еще через несколько месяцев из Софии пришел пакет с номером «Космоса», в котором был напечатан рассказ «Связи личного характера». Так что, зародившись в Великом Устюге, город Великий Гусляр материализовался в Болгарии.

К тому времени у меня на столе лежало уже несколько гуслярских историй. Видно, найденный ход и интонация соответствовали моим собственным тогдашним настроениям и моему пониманию фантастики. Мне важно было для самого себя понять возможности взаимоотношений фантастического и реального. Мне хотелось отыскать возможности для того, чтобы ирония чувствовала себя естественно и свободно в фантастической атмосфере. Я не претендовал на новые ходы и открытия в фантастическом сюжете или идее. Но мне хотелось поглядеть на испытанные мотивы под «гуслярским» углом зрения. И мне даже казалось, что в этом есть определенная новизна: я брал нашего провинциального современника, совершенно не приспособленного для космических подвигов, и пытался доказать, что на самом деле он может воспринимать марсианина без внутреннего трепета — дай ему немного привыкнуть. Где великое, где смешное, а где — банальное? Разве все это не перемешалось в нашей жизни? И если сделать шаг за пределы ее ненормальной нормальности — не попадем ли в совершенно нормальный Великий Гусляр и не увидим ли мы сами себя в несколько изогнутом зеркале?

Через года два гуслярских рассказов накопилось уже столько, что они потребовали определенного обобщения. Поэтому для сборника, половину которого занимал «гуслярский» цикл, я написал вступление, в котором попытался на основе доступных науке данных рассказать все, что известно о Великом Гусляре.

Сейчас я проглядел это вступление и понял, что кое-что в нем пора бы изменить. Но это было бы неэтично по отношению к тому времени, когда вступление было напе-

чатано. Так что, предлагая вниманию читателя вступление к гуслярским рассказам образца 1972 года и не изменив в нем ни слова, я оставляю за собой право написать предуведомления к некоторым рассказам, где и отразить перемены, имевшие место в Великом Гусляре за последнюю четверть века.



Иногда приходится слышать: почему пришельцы из космоса, избравшие Землю целью своего путешествия, опускаются не в Тихом океане, не на горах Памира, не в пустыне Такламакан, наконец, не в Осаке и Конотопе, а в городе Великий Гусляр? Почему некоторые странные происшествия, научного толкования которым до сих пор не удалось найти, имеют место в Великом Гусляре?

Этот вопрос задавали себе многочисленные ученые и любители астрономии, о нем говорили участники симпозиума в Аддис-Абебе, об этом прошла дискуссия в «Литературной газете».

Недавно с новой гипотезой выступил академик Спичкин. Наблюдая за траекториями метеорологических спутников Земли, он пришел к выводу, что город Великий Гусляр стоит на земной выпуклости, совершенно незаметной для окружающих, но очевидной при взгляде на Землю с соседних звезд. Эту выпуклость никак нельзя путать с горами, холмами и другими геологическими образованиями, потому что ничего подобного в окрестностях Гусляра нет. Появление действующего вулкана у озера Копенгаген относится к 1972 году и к ранним появлениям пришельцев отношения не имеет.

Город Великий Гусляр расположен на равнине. Он окружен колхозными полями и густыми лесами. Реки, текущие в тех краях, отличаются чистой водой и медленным течением. Весной случаются наводнения, спадающие и оставляющие на берегах ил и коряги. Зимой бывают снежные заносы, отрезающие город от соседних населенных пунктов. Летом стоит умеренная жара и

часты грозы. Осень здесь ласковая, многоцветная, к концу октября начинаются холодные дожди. В 1876 году старожилы наблюдали северное сияние, а за тринадцать лет до этого — тройное солнце. Самая низкая температура января достигала сорока восьми градусов ниже нуля (18 января 1923 года).

Раньше в лесах водились медведи, косули, кабаны, еноты, бобры, лисицы, россомахи и волки. Они встречаются в лесах и сегодня. В 1952 году была сделана попытка акклиматизировать под Великим Гусляром зубробизона. Зубробизоны расплодились в Воробьевском заказнике, естественным образом скрестились с лосями и приобрели в дополнение к грозному облику могучие рога и спокойный, миролюбивый нрав. Реки и озера богаты дичью. Не так давно в реку Гусь завезены гамбузия и белый амур. Неизвестно как за последние годы там же расплодился рак бразильский, ближайший родственник омара. Рыбаки по достоинству оценили его вкусовые качества. В местной печати сообщалось о появлении в окрестностях города мухи цеце, однако случаев сонной болезни не отмечено.

Население Великого Гусляра достигает восемнадцати тысяч человек. В нем проживают люди шестнадцати национальностей. В деревне Морошки обитают четыре семьи кожухов. Кожухи — малый лесной народ угро-финской группы, говорящий на своеобразном, до сих пор не до конца разгаданном наукой языке. Письменность кожухов на основе латинской была разработана в 1926 году гуслярским учителем Ивановым, который составил букварь. В наши дни лишь три кожуха — Иван Семенов, Иван Мудрик и Александра Филипповна Малова — владеют кожухским языком.

История города Великий Гусляр насчитывает семьсот пятьдесят лет. Впервые упоминание о нем встречается в Андриановской летописи, где говорится, что потемкинский князь Гавриил Незлобивый «пришех и истребих» непокорных обитателей городка Гусляр. Это случилось в 1222 году.

Город быстро рос, будучи удобно расположен на пере-

крестке торговых путей, ведущих на Урал и в Сибирь, а также в южные и западные области Руси. Его пощадило монгольское иго, так как испуганные густотой и дикостью северных лесов татарские баскаки ограничивались присылкой списка требуемой дани, однако жители города эту дань платили редко и нерегулярно. Возникшее в XIV веке соперничество за Гусляр между Москвой и Новгородом закончилось окончательной победой Москвы лишь к середине XV века. В ходе соперничества город был трижды сожжен и дважды разграблен. Один раз новгородская дружина воеводы Лепехи сровняла город с землей. В последующие годы Гусляр подвергался чуме, наводнению, мору и голоду. Ежегодно бушевали пожары. После каждой эпидемии и пожара город вновь отстраивался и украшался белокаменными соборами, живописно раскинувшимися по берегу реки Гусь.

Из числа землепроходцев, пустившихся навстречу солнцу, более трети оказались уроженцами Великого Гусляра, который в шестнадцатом веке превратился в процветающий город, стал соперником Вологде, Устюгу и Нижнему Новгороду. Достаточно вспомнить Тимофея Бархатова, открывшего Аляску, Симона Трусова, с пятьюдесятью казаками вышедшего к реке Камчатке, Федьку Меркартова, первым добравшегося до Новой Земли, открывателей Курил, Калифорнии и Антарктиды. Все они возвращались на старости лет в родной город и строили двухэтажные каменные дома на Торговой улице, в Синем переулке и на Говяжьем спуске. Именно в те годы Гусляр стал зваться Великим.

Кстати, по сей день среди ученых не выработалось единого мнения: почему Гусляр зовется Гусляром? Если профессор Третьяковский в своей монографии «Освоение Севера» полагает, что источником слова служит «гусляр» или даже «гусли» (гипотеза Райзмана), ибо производство этих музыкальных инструментов было широко развито в этих краях, то Илонен и другие зарубежные историки склоняются к мысли, что название городу дала река Гусь, на берегу которой он расположен. Однако существует версия Тихонравовой, полагающей, что в этих

лесных краях нашли убежище бежавшие от габсбургского ига сподвижники чешского реформатора Яна Гуса. Наконец, нельзя не упомянуть о точке зрения Иванова, выводящего слово Гусляр от кожухского «хус-ля», означающего «задняя нога большого медведя, живущего на горе». Среди кожухов и поныне бытует легенда о богатыре Деме, убившем в этих местах медведя и съевшем его заднюю ногу.

В конце XIX века в связи с тем, что железная дорога прошла стороной, Великий Гусляр перестал играть важную роль в торговле и превратился в заштатный уездный город и пристань на реке Гусь.

За последние годы в Гусляре развивается местная промышленность. Работает пивоваренный завод, освоено производство пуговиц и канцелярских кнопок на фабрике «Заря». Также имеются лесопилка, молочный комбинат и бондарные мастерские. В городе работают речной техникум, несколько средних и неполных средних школ, три библиотеки, два кинотеатра, клуб речников и музеев. В число памятников архитектуры, охраняемых государством, входят Спасо-Трофимовский монастырь, церковь Параскевы Пятницы (XVI век) и Дмитровский собор. Гостиный двор и несколько церквей были снесены в 1930 году при разбивке сквера имени Землепроходцев.

Великий Гусляр — город областного подчинения и является центром Великогуслярского района, где выращиваются лен, рожь, гречиха, имеется скотоводство и лесной промысел. В распоряжении туристов, облюбовавших город в летние месяцы, находится гостиница «Великий Гусляр» с рестораном «Гусь», дом колхозника и баржа-общежитие. В городе за последние годы снимался ряд исторических фильмов, в частности «Стенька Разин», «Землепроходец Бархатов», «Садко» и «Гуслярская баллада».

Главная улица, Пушкинская, тянется параллельно набережной. На ней расположены универмаг, книжный и зоологический магазины. Одним концом улица упирается в мост через реку Грязнуху, делящую город на традиционные город и слободу, с другой стороны улица заканчи-

ется у городского парка, где находятся эстрада, тир и карусель, а также летняя читальня.

Сообщение с Вологодой автобусом (шесть часов) или самолетом (один час). С Архангельском самолетом (полтора часа) или пароходом (через Устюг и Котлас) — четверо суток.

Космические пришельцы начали появляться в городе начиная с 1967 года. Более ранние следы их не обнаружены.



Несколько лет назад в журнале «Уральский следопыт» была опубликована карта города Великий Гусляр и его окрестностей. Карта была интересна для меня самого — ее автор предпринял немалые усилия для того, чтобы совместить порой противоречивые сведения, почерпнутые в рассказах и повестях, и преуспел. Я же внутренне с картографом не соглашался, потому что во мне живет другая карта, в значительной степени определенная планом Великого Устюга. Что, разумеется, неправильно.

Одновременно с макропланом Гусляра для меня важен и микрокосм дома № 16 по Пушкинской улице.

Сам дом № 16 — лишь оболочка двора, который он ограждает с трех сторон двухэтажными строениями. Четвертая сторона занята сараями. Двор этот, где и происходит большинство событий, был идеально отыскан режиссером Александром Майоровым для его фильма «Золотые рыбки». Затем он снимал его в фильме «Шанс» по повести «Марсианское зелье». Двор этот расположен в старой части Калуги, в тихом переулке, недалеко от музея.

Двор — место встреч, бесед, конфликтов и примирений. Там же играют в домино, для чего во дворе стоит крепкий стол.

Что касается жильцов дома № 16, то уже в первом рассказе в качестве героя появился Корнелий Удалов. Что касается остальных персонажей рассказа «Связи личного характера», то кое-кто из них остался жить в доме № 16, другие разъехались. Почему некоторые из героев захотели переходить из рассказа в рассказ, а другим эти рассказы

показались неинтересными, я не знаю. В частности, из Гуслияра уехало первое поколение доминошников — в последние годы мне не приходилось там встречать друзей-алкашей Каца и Погосяна, а также Василь Васильича. Мне кажется, что профессор Минц въехал как раз в квартиру Погосяна, тогда как остальные жильцы улучшили свои жилищные условия. Что касается матери-одиночки Гавриловой и ее сына, то они тоже приехали в Гуслияр после 1977 года, но они поменялись с безымянной бабушкой, уехавшей к дочке в Саратов.

Наконец, возникшая уже в первом рассказе деталь внедрилась в последующие опусы — это частое присутствие в Гуслияре пришельцев из космоса.

В настоящем собрании гуслиярские истории вместились в три тома. Первый из них, именуемый «Чудеса в Гуслияре», повествует о ранних событиях в городе, не связанных, большей частью, с пришельцами из космоса, контактам с которыми посвящен следующий том «Пришельцы в Гуслияре». Наконец, третий том «Возвращение в Гуслияр» включает истории, либо не нашедшие по разным причинам места в первых двух томах, либо написанные в последнее время.



Рассказы

КАК ЕГО УЗНАТЬ?

Над городом Великий Гусляр гремели громкоговорители, исполняя жизнерадостные песни. Солнце прорывалось сквозь облака. Пионеры в белых рубашонках пробегали туда и сюда. Горожане потоками текли под транспарантами и лозунгами, натянутыми поперек улиц. Автобусы из-под приезжих гостей выстроились в ряд на площади, где раньше стояли торговые ряды, а теперь сквер и покрытый брезентом памятник землепроходцам. Сегодня, в день семисотпятидесятилетия города, памятник будет торжественно открыт.

Жильцы дома шестнадцать сидели во дворе вокруг стола, распатанного игрой в домино, поджидали, пока жены кончат прихорашиваться, беседовали о прошлом и настоящем.

Корнелий Удалов, в белой рубашке и синем галстуке, причесанный на косой пробор, чтобы прикрыть лысину, оспаривал мнение Погосяна, что есть города лучше Гусляра.

— Например, Ереван, — говорил Погосян. — Две тысячи лет! Три тысячи лет! Пять тысяч лет на одном месте!

— Не в цифрах дело, — возражал Удалов. — Иван Грозный чуть было сюда столицу из Москвы не перевел.

— Неглупый человек был, — упорствовал Погосян. — Передумал.

— Опричники помешали.

— Я и говорю — разве опричники глупые были?

— Трудно с тобой разговаривать, — сознался Удалов. — Плохой ты патриот нашего родного города.

Старик Ложкин, в черном костюме, грудь в медалях и значках, согласился с Удаловым. Он обвел рукой вокруг и сказал:

— Недаром наши предки называли Гусляр Великим.

— Сами жили, сами и называли. Ереван никто великим

не называл. Зачем называть? Каждая собака знает, — нашелся Погосян.

Разговор перешел на частности. Саша Грубин, который по случаю праздника причёсался и побрился, слушал их, слушал и наконец вроде бы без отношения к разговору сказал:

— А славно бы заснуть и проснуться через двести лет. И поглядеть на наш Гусляр в отдаленном будущем.

Соседи прервали спор, подумали и согласились с Грубиным.

— С другой стороны, — добавил Удалов, — на двести лет назад тоже неплохо.

— Бери уж все семьсот, — сказал на это Василь Васильич. — Прибыл в древность, вокруг люди с копьями и стрелами, платят налоги древнему городу Киеву.

— Или татаро-монгольским захватчикам, — поправил Ложкин.

— Пускай захватчикам. Медведи вокруг бродят, олени, кабаны, бой-туры. Самогон из меда гонят.

— Так бы тебе и дали попробовать медового самогона, — возразил Грубин. — Они бы тебя сразу узнали.

— Как? — удивился Василь Васильич.

Все засмеялись, а Ложкин ответил:

— По одежде бы узнали. И по акценту. Они же на другом языке говорили, на древнеславянском.

— И вместо меда получил бы мечом по шее, — подытожил Грубин.

— Ладно, ладно! — не сдался Василь Васильич. — Неужели полагаете, что я к ним без подготовки отправлюсь? Сначала я в Академию наук. Дайте, скажу, мне консультантов по древнеславянскому языку. Подчитаем, подработаем. Выдадут мне также из музея форму одежды. Тогда не отличат.

Василь Васильичу не поверили. Заговорили о путешествиях во времени. Кое-кто читал об этом в фантастической литературе. Кое-кто не читал, но слышал.

Вдруг Удалова посетила интересная идея.

— Пройдет каких-нибудь сто лет, — сказал он, — и станет такое путешествие обычной возможностью. Ведь для науки нет никаких преград. Туристы будут ездить, ученые, возникнет массовое передвижение, жизнь пойдет настолько интересная, что нам даже не снилось. Нужно, допустим, школьникам узнать, как жили в Древнем Егип-

те. Учитель нажимает на кнопку — и вот мы уже в гостях у царицы Клеопатры. Изучайте, дети, наше тяжелое прошлое.

— Вполне вероятно, — ответил Ложкин. — Только надо будет строго соблюдать правила движения. Я читал, что происходит, если нарушишь. Однажды в мезозойскую эру бабочку задавили, а в результате в Америке не того президента выбрали.

Помолчали. Подумали. Потом Грубин сказал:

— Это не вызывает сомнений. Если бы таких правил не соблюдали, то мы этих гостей из будущего уже не раз бы встречали. Как ни маскируйся, натура выдаст. Воспитание подведет, незнание какой-то мелочи, которая всем остальным известна. Откуда ему, к примеру, знать, какое место занимает наша команда в первенстве области по футболу?

— Шестое, — ответили хором Погосян, Удалов и Василь Васильич.

— Вот видите, — обрадовался Грубин. — Вас не поймает. А он бы не знал, потому что уже через сто лет соответствующие документы будут потеряны.

— И я не знаю, — сказал Ложкин. — Я даже не знаю, кто первое занимает.

— Сердобольский «Металлист», — пояснили Погосян, Удалов и Василь Васильич.

— А я не знаю, — упорствовал Ложкин. — Я, значит, тоже путешественник во времени?

— Может быть, — сказал Погосян и посмотрел на Ложкина сурово. — Никому в этих вопросах доверять нельзя.

— Не беспокойся, Ложкин, — вмешался добрый Грубин. — Мы тебя знаем. В случае подтвердим где надо.

— Если кто не наш человек, так это жена погосяновская, Берта, — сказал на это Удалов. — Вчера моего Максимку за ухо драла. Свой человек так делать не будет.

— За дело, — сказал Погосян. — Стекло разбил. Не будет хулиганить.

— Если бы я пришельца из будущего встретил, — сказал Грубин, — я бы ему сразу задал два-три вопроса.

— Не видать тебе пришельца, — сказал Погосян. — Что может заинтересовать культурного человека в нашем городишке?

— Какое заблуждение! — воскликнул Ложкин. — На сегодняшний день наш город представляет общесоюзный интерес. С одной стороны, семьсот пятьдесят лет. С другой — открытие памятника, то есть отдали должное нашему славному прошлому. Гости со всех сторон. По радио из Москвы передавали. Я бы на месте потомков не сомневался, куда устроить экскурсию.

— Корнелий! — позвала из окна Ксения Удалова. — Мы готовы. Плещать будешь?

— Не буду.

— Дождя не намечается, — сказал старик Ложкин. — Я в газете читал. Там же написано, что писатель Пацхверия на торжество прибыл. С Камчатки делегация. Ткачиха Федорова-Давыдова. Ждут одного космонавта, но фамилию пока не сообщают. Это не считая туристов.

— Подумаешь, — сказал презрительно Погосян, чтобы оставить за собой последнее слово. В действительности он был пламенным патриотом Великого Гусляра, но об этом знали только его родственники в Ереване.

Старуха Ложкина спустилась во двор и спросила:

— Вечно будем прохладяться? Без нас начнут.

— Иду, чижик, — ответил Ложкин. — Мы тут беседу провели.

Они вышли со двора первыми. За ними потянулись остальные. Соседи сразу забыли о разговоре, лишь у Удалова он не шел из головы. И настолько его поразила возможность встретить на улице гостя из будущего, что он начал с подозрением приглядываться к людям. И в людях обнаруживал странные черты, которых раньше не замечал и которые могли указывать на чужеродность, на маскировку.

Шел навстречу провизор Савич с женой, директором универсама. Казалось бы, давно знает Удалов Савичей, но сегодня лысина Савича блестела не по-нашему, и как-то неестественно держал он жену под руку. Может, Савича заслали? Но тут же Удалов сказал себе: нет. Вряд ли из-за одного праздника им стоило направлять резидента в Великий Гусляр. Ведь если Савича не подменили, то Удалов знает его лет двадцать. Подумав так, Удалов сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — ответили Савичи.

Прошли четыре физкультурника в голубой одежде. Физкультурники спешили на парад. Удалов понял, что

гость из будущего может укрыться среди физкультурников, и тогда его трудно будет отыскать. Потом отбросил эту мысль. Сложно будет им в будущем подыскать такой костюм. А все настоящие костюмы на учете.

С каждым шагом Удалов все более убеждался — припелец из будущего проник в Гусляр. И необходимо его отыскать, побеседовать по душам. Подумать только, никто до Удалова не выходил на улицу с целью обнаружить путешественника во времени среди самых обычных людей. А новый, хоть и простой подход к проблеме может таить в себе открытие.

— Что с тобой, Корнелий? — спросила Ксения. — Ты чего отстаешь?

Корнелий посмотрел новыми глазами на Ксению и сына Максимку.

В них сомневаться вроде бы не приходилось. С ними все в порядке. Но Удалов ощутил, что между ним и семьей вырастает стена отчуждения. Мужчина, имеющий перед собой возвышенную цель, вынужден отдалиться от обычных забот и интересов. На всякий случай Удалов спросил жену:

— Ксюша, ты не знаешь случайно, какое место занимает наша команда в первенстве области по футболу?

— Спятил, — сказала уверенно Ксения.

— Шестое, папа, а что? — поинтересовался шустрый сын Максимка.

— Молодец, сынок, — одобрил Корнелий. И устыдился своих сомнений.

— Все-таки что с тобой происходит? — спросила Ксения.

— Я думаю, — сказал Удалов.

— Что-то я за тобой этого давно не замечала, — ответила Ксения. — Под ноги смотри, спотыкнешься.

На краю площади стояли киоски с прохладительными напитками и сигаретами. Свежесколоченная трибуна возвышалась перед памятником, покрытым брезентом. Ксения задержалась, увидев Раису Семеновну, лечащего врача. Ей захотелось в неофициальной обстановке посоветоваться о последних анализах. Раиса Семеновна обиженно шуршала под очками, но на вопросы отвечала, потому что была связана клятвой Гиппократата. Удалов, пока суть да дело, купил бутылку пива и сел за столик с верхом из голубого пластика. Столики эти, вынесенные из столовой, образовали кафе на открытом воздухе.

За столиком сидели два шофера из автобуса, на которых приехали туристы. Шоферы ругали какого-то старшину на сто десятом километре. Удалов угостил шоферов сигаретами и тоже немного поругал старшину, которого в глаза не видел.

Но лишь малая часть сознания Удалова была занята беседой с шоферами. Глаза рыскали по площади, перескакивая с одной группы людей к другой, потому что времени терять было нельзя. Упустишь пришельца сегодня — никогда больше не поймаешь.

В проходе между столиками возник немолодой мужчина. Он держал в руке бутылку и стакан, двигался неуверенно, не мог найти, куда сесть. Что-то острое кольнуло Удалова в сердце. Шестое, седьмое, восьмое чувства приказали ему: «Удалов, спокойно, это он».

— Садись к нам, — быстро угадав мысли Удалова, сказал один из шоферов, которого звали Колей.

— Сердечно благодарю, — ответил с расстановкой мужчина и опустился на стул рядом с Удаловым.

И тут же маленькая, ничтожная, незаметная для других деталь бросилась Корнелию в глаза. Мужчина, садясь, не подтянул брюк, как делает каждый человек, хранящий на брюках складку.

Лицо мужчины было слишком обычным. Не гладкое и не морщинистое. Словно маска. Под мышкой у мужчины был черный потрескавшийся портфель с медным замочком. Из портфеля торчал рукав красного свитера или кофты. Брюки были коротковаты, будто достались не по размеру. А между верхом высоких ботинок и низом штангин проглядывали клетчатые носки. Глаза прятались за дымчатыми очками.

Мужчина мог оказаться единственным шансом Удалова. Корнелий смотрел на его обычные бритые щеки и ждал: что скажет пришелец? Ведь не обратиться к человеку с вопросом: «Вы из какого века нашей эры?»

Турист пил пиво маленькими глотками и молчал.

— Ну как пиво? — спросил его шофер Коля.

— Гуслярское «жигулевское», — добавил Удалов. — С дореволюционных времен известно.

— Знаю, — ответил коротко мужчина и улыбнулся застенчиво. — Давно собирался попробовать.

— А вы откуда будете? — спросил шофер Коля.

— Из Москвы. Специально приехал.

«Правильно, — подумал Удалов. — Вологду ему опасно упоминать. Могут найтись свидетели. А Москва большая».

— Едут же люди, — сказал шофер постарше. — Что вам, в Москве, своих памятников мало?

«Молодец, — подумал Удалов о шофере. — Играет на руку».

— Памятники бывают разные, товарищ, — объяснил мужчина. — Я много лет изучаю историю русского Севера, освоение Урала и Сибири. Этот памятник говорит о многом. Я давно ждал его открытия. Но никак раньше обратиться не удавалось.

— А выбрались бы — памятника не увидели бы.

Но путешественника во времени нелегко было застать врасплох. Он ответил сразу и почти без акцента:

— Я бы и раньше увидел памятник, потому что его должны были установить много лет назад. Так что в моем воображении он уже существовал.

— Увлеченность — дело хорошее, — сказал старший шофер. — Я пойду еще пива возьму. Наша группа здесь на ночь останется. Так что старшина нипочем.

— Спасибо, мне больше пива не надо, — отказался пришелец, но по глазам шофера понял, что намерения у них твердые, и достал из кармана десятку.

Он еще только сунул руку в карман, а Удалов уже знал, какой будет эта десятка — новенькой, без единой морщинки. А если взять бумагу на анализ, окажется, что изготовлена она не сегодня, а послезавтра.

Шофер денег с путешественника во времени, разумеется, не взял, принес полдюжины бутылок, и пришлось путешественнику, когда пиво кончилось, сходить к киоску и принести еще четыре бутылки.

— Ну и как? — спросил Удалов, когда, покачиваясь от выпитого, мужчина вернулся к столику. — Продавщица ничего не заметила?

— А что она должна была заметить? — Мужчина вперился в Удалова пронзительными глазами из-под очков.

Удалов смешался.

— Я так, — сказал он. — Пошутил.

— На какую тему вы изволили шутить?

Ну и характер у этих людей будущего, подумал про себя Удалов, но вслух ничего не высказал, а отшутился.

— Анекдот такой есть. Будто решили двое фальшивые деньги делать. Сделали четырехрублевую бумажку. Думали, где бы разменять, пошли к соседу. Он им и дал взамен две бумажки по два рубля.

Никто не засмеялся. Только шофер постарше спросил:

— Разве по четыре рубля бумажки бывают?

— Нет, — твердо ответил путешественник во времени. — Я точно знаю, что советское казначейство не выпускало и не выпускает купюр по два и четыре рубля.

— За здоровье министра финансов! — предложил Коля. — Чтoб он и дальше нас не путал, выдавал зарплату десятками.

— Новенькими, — вставил Удалов.

— Нам что новенькими, что старенькими, — ответил Коля.

— Ах, вот вы о чем? — сообразил мужчина. — У меня новеньких бумажек много. Перед отъездом премию получил.

Он вынул из кармана пачку денег. Бумажек двадцать, свежих, блестящих.

— Мне вот такими выдали.

— Где? — быстро проговорил Удалов.

Но ответить помешали шоферы.

— Чего к человеку привязался? — спросил Коля. — Где надо, там и выдали. Не наше дело.

Пришелец из будущего смотрел на Удалова с неприязнью, хмурился. Разоблачения ему не нравились. «Ничего, припрем тебя к стенке, — думал Удалов. — Найдем аргументы».

На трибуне перед памятником появились руководители города и почетные гости. Товарищ Батыев подошел к микрофону. Люди прислушались.

— Я пойду. Спасибо, — поднялся пришелец.

— Я с вами, — сказал Удалов.

— Обойдусь без вашей компании, — ответил мужчина, блеснул очками и стал бочком, как краб, протискиваться поближе к трибуне.

— Отстань ты от него, — сказал шофер Коля. — Пускай себе гуляет.

— Надо, — отрезал Удалов. — Не наш он человек.

И тут же пожалел, что проговорился. Шоферы сразу заинтересовались.

— В каком смысле не наш? — спросил старший. — Ты, брат, не темни, откройся.

— Есть у меня подозрения, — сказал Удалов и нырнул в толпу вслед за пришельцем. В голове ощущался звон от выпитого пива, хотелось прилечь на травку, но сделать этого было нельзя, потому что до полного разоблачения оставался один шаг.

— Корнелий! — крикнула Ксения, разглядев в толпе его лысину. — Ты куда?

К счастью, товарищ Батыев взмахнул рукой, грянул духовой оркестр, рухнул брезент, обнаружив под собой бронзовую фигуру землепроходца.

Удалов ввинчивался в толпу, стараясь не потерять направления, в котором скрылся упрямый гость из будущего.

И вдруг Удалов уперся в спину пришельца. Тот не заметил приближения преследователя, потому что был занят. Записывал сведения в книжечку. Удалов деликатно ждал, пока мужчина кончит записывать, потому что бежать тому было некуда.

Наконец начались речи, пришелец спрятал книжечку в портфель, и тут Удалов легонько тронул его за плечо.

— Вы здесь? — удивился мужчина. — Что вам нужно?

— Чтобы вы во всем сознались, — прямо сказал Удалов.

— Вы меня удивляете, — ответил пришелец и попытался углубиться в толпу.

Но Удалов крепко держал его за полу пиджака.

— Поймите, — объяснил Удалов. — Вы там должны быть гуманными и разумными. Так что раз попался — поговорим.

— С чего вы решили, что мы там гуманные и разумные? — удивился пришелец. — Где вы об этом прочитали?

— Предполагаю, — ответил Удалов. — Иначе нету смысла жить на свете.

— Благородный образ мыслей, — согласился пришелец. — Но ко мне это не относится. Я эгоистичный человек, проживший без пользы большую часть жизни, любящий деньги и не любящий собственную жену. Уверю вас, это чистая правда.

— Ладно, ладно, везде бывают моральные уроды. В порядке исключения, — сказал Удалов. — Хотел бы я к вам приехать.

- Ну и приезжайте.
- Ну и приеду.
- Поселиться? — спросил пришелец.
- Да. Или на время.
- Многие хотят, — сказал пришелец.

Произошла пауза. Удалову хотелось еще что-нибудь сказать, проявить гостеприимство, наладить отношения.

— А у нас здесь тоже места хорошие, — сказал Удалов. — Окрестности просто изумительные. Лес, холмы, охота на тетерева.

— Охота — жестокое занятие, — сказал гость из будущего. — Животных надо охранять, стремиться к пониманию, а не истреблять.

— Правильно, — поддержал его Удалов, который на прошлой неделе собрался было на охоту, да проспал, без него охотники ушли. — Совершенно с вами согласен. Вот только если с удочкой посидеть...

— А какая разница? — строго спросил пришелец. — Рыбе разве не хочется жить?

— Ой как хочется, — ответил Удалов.

Наступила пауза. Контакт не получался. Мужчина рассеянно прислушивался к речам и поводил взглядом вокруг, будто разыскивал в толпе разреженность, хотелось сбегать.

— Но многие порядочные люди, — нашелся наконец Удалов, — были страстными охотниками. Возьмите, к примеру, Тургенева. Это писатель прошлого века, автор книги «Записки охотника».

— Читал, — сказал пришелец. — И все-таки хладнокровное убийство живого существа аморально.

— Верующий он, что ли? — раздался голос за спиной Удалова.

Обернувшись, Удалов увидел шофера Колю, который, движимый любопытством и желанием помочь Корнелию в охоте на постороннего человека, пробился к трибуне и слышал весь разговор.

Пришелец блеснул очками на Колю и сказал с обидой:

— Если вы хотите узнать, есть ли у меня идеалы, — отвечу, что нет.

— Сам, наверное, свиную отбивную уважает, — сказал Коля Удалову, достал пачку «Беломора», закурил. — А возражает против животноводства.

Бороться с двумя соперниками зараз пришельцу из будущего было не под силу. Он извернулся с ловкостью, неожиданной у такого пожилого человека, проскочил под локтем у соседа и замелькал в толпе, удаляясь к краю площади. Удалов рванулся было за ним, но шофер Коля, перебравший пива, пыхнул дымом в лицо Корнелию и потребовал:

— Ты не крути, не рвись за человеком. Ты лучше объясни, что в нем такого? Я сам чувствую — не то, а сформулировать не могу.

— Да это так, личное, — попытался уйти от ответа Удалов.

— Нет, не пойдет, — ответил Коля. — Выкладывай.

Он крепко держал Удалова за грудки, люди вокруг стали оглядываться, и тогда, опасаясь скандала, Удалов сказал:

— Выйдем отсюда.

— Выйдем, — согласился Коля.

Они выбрались из толпы. Пиво булькало в голове. Пришельца не было видно. Погоня за человеком из будущего не удалась.

И Удалов, взяв у Коли папиросу, рассказал ему честно, как на духу, о своих подозрениях.

Коля оказался неглупым парнем. Он основную идею понял, хотя отнесся к ней критически. Возражения у него были, как у Погосына:

— С чего это из будущего являться в Гусляр, хоть и в праздник?

— Ничего не понимаешь, — сказал Удалов, прислоняясь к широкой, чуть пахнувшей бензином груди шофера. — Хоть ты мне и друг, но не понимаешь, какой мы с тобой сегодня шанс упустили. Мы бы у него все узнали.

Коля посмотрел на Удалова сочувственно, столкнул на затылок эстонскую восьмиугольную фуражку, сплюнул окуроч и произнес:

— А ты, друг, не расстраивайся. Если нужно, твой Коля всегда кого надо к стенке прижмет. Он тебя обидел? Обидел, не возражай. Мы его найдем и припррем. Ты только Николаю скажи, и припррем. Пошли поймаем этого шпиона.

Друг Николай шел впереди не очень уверенными широкими шагами. Удалов семенял сзади и бормотал:

— Ты не так понял, Коля. Он меня не обидел. С ним так нельзя...

— Не отставай, — сказал Коля. — Его давно разыскивают. В книжечку записывал, а мяса не ест. Сейчас мы у него все узнаем. Не отвертится.

Пришелец из будущего убежал к реке, к большому собору. Там присел на зеленую скамейку в сквере и снова раскрыл записную книжку. Отсюда площадь была не видна, лишь глухой гул и отдельные слова ораторов, усиленные динамиками, доносились до кустов. Пришелец чувствовал себя в безопасности. Но не прямой путь, наугад выбранный Колей и Удаловым, привел их в скверик. Именно к этой скамейке.

При виде преследователей пришелец затолкал в карман записную книжку, подхватил портфель и хотел было бежать. Но Коля узнал его.

— Стой! — крикнул он. — Руки вверх! Не пытайся от нас скрыться!

— И не подумаю, — ответил с достоинством пришелец. — Если вам нужны деньги, возьмите сколько нужно. У меня скромные запросы.

Он попытался вытащить свои новенькие червонцы, но Удалов жестом остановил его.

— Мы не грабители. Вы не так поняли.

— Мы не грабители, — сказал Коля. — От нас не откупишься. Мы тебя раскололи. Ты к нам из будущего явился. Сознавайся.

Удалов взглянул на Колю с укоризной. Прямота могла все испортить.

— Это неправда, — возразил пришелец. — Вы этого никогда не докажете.

— А нам доказывать не надо, — сказал Коля. — Сейчас тебя осмотрим и найдем при тебе фальшивые документы.

— У меня нет с собой документов. Они в гостинице остались.

— Они с собой документов не берут, — согласился Удалов. — Это вполне даже разумно. А может, тогда и не будет документов.

— Все? — спросил пришелец. — Я могу идти?

— Сознаешься — пойдешь, — сказал Коля.

— В конце концов, — убеждал Удалов, — мы тратим время, вы тратите время. А у нас к вам только научный интерес. Никакого другого.

— Точно, — сказал Коля. — Нас тугриками не подкупишь.

Пришелец нахмурился, размышлял. Видно, понял, что ему уже не скрыться и лучше на самом деле покаяться. И уйти восвояси.

— Ну, — торопил его Удалов. — Из какого вы века?

Пришелец глубоко вздохнул. Под очками блеснули слезы.

И в этот момент две девушки в брючках и разноцветных кофточках возникли на ступенях собора.

— Ах, — сказала одна из них, не замечая драматической сцены. — Какие изумительные фрески семнадцатого века. Какая экспрессия!

— А изразцовая печь? Ты видела, Нелли, изразцовую печь?

— Видела. Смотри, кто там, внизу?

Девушки сбежали по ступеням и устремились к мужчинам.

— Сергей Петрович! — верещали они наперебой. — Вы были совершенно, абсолютно правы! Страшный суд расположен не канонически! Гуслиарская школа существовала! Рапорт пострашен!

«Вызвал подкрепление с помощью телепатии, — подумал Удалов. — Теперь их трое, а нас только двое. И эти девушки, может, даже не девушки, а будущие милиционеры».

— Какое счастье! — воскликнул пришелец. — А я уж не надеялся вас увидеть!

— Вам угрожают? — спросила подозрительно одна из девушек, обжигая взглядом Удалова.

— Ни в коем случае, — сказал шофер Коля и потянул Удалова за рукав.

— Сейчас все наши придут, — пригрозила девушка.

«Сколько их здесь? — подумал Удалов. — Ведь меня могут ликвидировать, если покажусь опасным».

И в самом деле, словно услышав девушку, в дверях храма показалось человек десять, с фотоаппаратами, блокнотами и кинокамерами, высокие и низкие, молодые и старые, с ними Елена Сергеевна из городского музея.

— А, вот и вы, профессор! — воскликнул один из них. — Сектор истории искусств рад приветствовать своего шефа у этих древних стен.

— Сергей Петрович!

— Сергей Петрович! — неслись возгласы.

— Уважаете своего профессора? — поинтересовался Коля.

— Еще бы, — ответила девушка. — Он нас всех воспитал! Его весь мир знает!

Уходя в окружении учеников и сотрудников, профессор оглянулся и подмигнул Удалову. Доволен был, что отделался от психов.

Корнелий опустился на скамейку, понутив голову. Коля сел рядом, снова закурил и сказал:

— Не повезло нам, друг Корнелий. Хоть идея у тебя была богатая!

— Забыть бы о ней. Ты уж, попрошу, никому ни слова.

— Мне что — я за баранку, только меня и видели. А ты на что рассчитывал? Если бы он и в самом деле оттуда?

— Ну, чтобы рассказал нам о светлом будущем.

— М-да, дела. Я пошел. Ты парень хороший, только кавардак у тебя в чердаке. Еще в школе учили, что таких путешествий быть не может. Держи на память! — Он сунул что-то Корнелию в наружный карман пиджака и ушел. Обернулся, помахал рукой и улыбнулся дружески.

Удалов не спешил возвращаться на площадь. Охоту за профессором мог заметить кто-нибудь из знакомых. Нехорошо. Удалов залез себе в карман, поглядел, что за подарок оставил шофер. Оказалось — карточка, календарик размером с игральную карту, какие предусмотрительные люди носят в бумажниках. На нем было написано золотыми буквами:

«КАЛЕНДАРЬ НА 2075 ГОД»

На обороте картинка — город с длинными домами, над ним парят летательные аппараты и светит солнце. Картинка была объемной, и микроскопические листочки на деревьях чуть шелестели под ветром будущего.

— Стой! — крикнул Удалов в пустоту. Потом сказал: — Эх, Коля!

1970 г.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ

Зоомагазин в городе Великий Гусляр делит скромное помещение с магазином канцпринадлежностей. На двух прилавках под стеклом лежат шариковые авторучки, учебные тетради в клетку, альбом с белой чайкой на синей обложке, кисти щетинковые, охра темная в тюбиках, точилки для карандашей и контурные карты. Третий прилавок, слева от двери, деревянный. На нем пакеты с расфасованным по полкило кормом для канареек, клетка с колесом для белки и небольшие сооружения из камней и цемента с вкрапленными ракушками. Эти сооружения имеют отдаленное сходство с развалинами средневековых замков и ставятся в аквариум, чтобы рыбки чувствовали себя в своей стихии.

Магазин канцпринадлежностей всегда выполняет план. Особенно во время учебного года. Зоомагазину хуже. Зоомагазин живет надеждой на цыплят, инкубаторных цыплят, которых привозят раз в квартал, и тогда очередь за ними выстраивается до самого рынка. В остальные дни у прилавка пусто. И если приходят мальчишки поглазеть на гуппи и мечехвостов в освещенном лампочкой аквариуме в углу, то они этих мечехвостов здесь не покупают. Они покупают их у Кольки-длинного, который по субботам дежурит у входа и раскачивает на длинной веревке литровую банку с мальками. В другой руке у него кулек с мотылем.

— Опять он здесь, — говорит Зиночка Вере Яковлевне, продавщице в канцелярском магазине, и пишет требование в область, чтобы прислали мотыля и породистых голубей.

Нельзя сказать, что у Зиночки совсем нет покупателей. Есть несколько человек. Провизор Савич держит канарейку и приходит раз в неделю в конце дня, по пути

домой из аптеки. Покупает полкило корма. Забегает иногда Грубин, изобретатель и неудавшийся человек. Он интересуется всякой живностью и лелеет надежду, что рано или поздно в магазин поступит амазонский попугай ара, которого нетрудно научить человеческой речи.

Есть еще один человек, не покупатель, совсем особый случай. Бывший пожарник, инвалид Эрик. Он приходит тихо, встает в углу за аквариумом, пустой рукав заткнут за пояс, обожженная сторона лица отвернута к стенке. Эрика все в городе знают. В позапрошлом году одна бабушка утюг забыла выключить, спать легла. Эрик первым в дом успел, тащил бабушку на свежий воздух, но опоздал — балка сверху рухнула. Вот и стал инвалидом. В двадцать три года. Много было сочувствия со стороны граждан, пенсию Эрику дали по инвалидности, но старую работу пришлось бросить. Он, правда, остался в пожарной команде, сторожем при гараже. Учится левой рукой писать, но слабость у него большая и стеснительность. Даже на улицу выходить не любит.

Эрик приходит в магазин после работы, чаще, если плохая погода, прихрамывает (нога у него тоже повреждена), забивается в уголок за аквариум и глядит на Зиночку, в которую он влюблен без взаимности. Да и какая может быть взаимность, если Зиночка хороша собой, пользуется вниманием многих ребят в речном техникуме и сама вздыхает по учителю биологии в первой средней школе. Но Зиночка никогда Эрику плохого слова не скажет.

Третий квартал кончился. Осень на дворе. Зиночка очень надеялась получить хороший товар, потому что в области тоже должны понимать — план сорвется, по голове не погладят.

Зина угадала. 26 сентября день выдался ровный, безветренный. От магазина виден спуск к реке, даже лес на том берегу. По реке, лазурной, в цвет неба, но гуще, тянутся баржи, плоты, катера. Облака медленно плывут по небу, чтобы каждым в отдельности можно полюбоваться. Зиночка товар с ночи получила, самолетом прислали, АН-2, пришла на работу пораньше, полюбовалась облаками и вывесила объявление у двери:

«Поступили в продажу золотые рыбки».

Вернулась в магазин. Рыбки за ночь в большом аквариуме ожили, плавали важно, чуть шевелили хвостами. Было их много, десятка два, и они собой являли исключи-

тельное зрелище. Ростом невелики, сантиметров десять-пятнадцать, спинки ярко-золотые, а к брюшку розовеют, словно начищенные самоварчики. Глаза крупные, черного цвета, плавники ярко-красные.

И еще прислали из области бидон с мотылем. Зиночка выложила его в ванночку для фотопечати. Мотыль кишел темно-красной массой и все норовил выползти наверх по скользкой белой эмали.

— Ах, — сказала Вера Яковлевна, придя на работу и увидев рыбок. — Такое чудо, даже жалко продавать. Я бы оставила их как инвентарь.

— Все двадцать?

— Ну не все, а половину. Сегодня у тебя большой день намечается.

И тут хлопнула дверь и вошел старик Ложкин, любящий всех поучать. Он прошел прямо к прилавку, постоял, пошевелил губами, взял двумя пальцами щепоть мотыля и сказал:

— Мотыль столичный. Достойный мотыль.

— А как рыбки? — спросила Зиночка.

— Обыкновенный товар, — ответил Ложкин, сохраняя гордую позу. — Китайского происхождения. В Китае эти рыбки в любом бассейне содержатся из декоративных соображений. Миллионами.

— Ну уж не говорите, — обиделась Вера Яковлевна. — Миллионами!

— Литературу специальную надо читать, — сказал старик Ложкин. — Погляди в накладную. Там все сказано.

Зиночка достала накладную.

— Смотрите сами, — сказала она. — Я уж проверяла. Не сказано там ничего про китайское их происхождение. Наши рыбки. Два сорок штуки.

— Дороговато, — определил Ложкин, надевая старинное пенсне. — Дай самому убедиться.

Вошел Грубин. Был он высок ростом, растрепан, стремителен и быстр в суждениях.

— Доброе утро, Зиночка, — сказал он. — Доброе утро, Вера Яковлевна. У вас новости?

— Да, — сказала Зиночка.

— А как насчет попугая? Не выполнили моего заказа?

— Нет еще — ищут, наверное.

По правде говоря, Зиночка бразильского попугая ара и не заказывала. Подозревала, что засмеют ее в области с таким заказом.

— Любопытные рыбки, — сказал Грубин. — Характерный золотистый оттенок.

— Для чего характерный? — строго спросил старик Ложкин.

— Для этих, — ответил Грубин. — Ну, я пошел.

— Пустяковый человек, — сказал ему вслед Ложкин. — Нет в накладной их латинского названия.

В магазин заглянул Колька-длинный. Длинным его прозвали, наверно, в насмешку. Был он маленького роста, волосы на лице, несмотря на сорокалетний возраст, у него не росли, и был он похож на большого грудного младенца. В обычные дни Зиночка его в магазин не допускала, выгоняла криком и угрозами. Но сегодня, как увидела в дверях, восторжествовала и громко поизнесла:

— Заходи, частный сектор.

Коля подходил к прилавку осторожно, чувствуя подвох. Пакет с мотылем он зажал под мышкой, а банку с мальками спрятал за спину.

— Я на золотых рыбок только посмотреть, — проговорил он тихо.

— Смотри, жалко, что ли?

Но Коля смотрел не на рыбок. Он смотрел на ванночку с мотылем. Ложкин этот взгляд заметил и сказал:

— Вчетверо меньше государственная цена, чем у кровососов. И мотыль качественнее.

— Ну насчет качественнее — это мы посмотрим, — ответил Коля. И стал пятиться к двери, где налетел спиной на депутацию школьников, сбежавших с урока, лишь слух о золотых рыбках разнесся по городу.

Старик Ложкин покинул магазин через пять минут, сходил домой за банкой и тремя рублями, купил золотую рыбку, а на остальные деньги мотыля. К этому времени приковылял и Эрик. Принес букетик астр и подложил под аквариум — боялся, что Зиночка заметит дар и засмеет. Школьники глазели на рыбок, переговаривались и планировали купить одну рыбку на всех — для живого уголка. Зиночка закинула в аквариум сачок, и Ложкин, пригнувшись, прижав пенсне к стеклу, управлял ее действиями, выбирая лучшую из рыбок.

— Не ту, — говорил он. — Мне такой товар не подсо-

вывайте. Я в рыбах крайне начитан. Левее заноси, левее... Дай-ка я сам.

— Нет уж, — сказала Зиновья. Сегодня она была полной хозяйкой положения. — Вы мне говорите, а я найду, выловлю.

— Нет уж, я сам, — отвечал на это старик Ложкин и тянул к себе сачок за проволочную ручку.

— Перестаньте, гражданин, — вмешался Эрик. — Для вас же стараются.

— Молчать! — обиделся Ложкин. — От больно умного слышу. Кому бы учить, да не тебе.

Старик был несправедлив и говорил обидно. Эрик хотел было возразить, но раздумал и отвернулся к стене.

— Такому человеку я бы вообще рыбок не давала, — возмутилась с другого конца помещения Вера Яковлевна.

Вера Яковлевна держала в руке рейшину, занеся ее словно для удара наотмашь.

Старик сник, больше не спорил, подставил банку, рыбка осторожно соскользнула в нее с сачка и уткнулась золотым рылом в стекло.

Зиновья отвешивала Ложкину мотыля в молчании, в молчании же приняла деньги и выдала две копейки сдачи, которые старик попытался было оставить на прилавке, но был возвращен от двери громким голосом, подобрал сдачу и еще более сник.

Когда Ложкин вышел на улицу и солнечный луч попал в банку с рыбкой, из банки вылетел встречный луч, еще более яркий, заиграл зайчиками по стеклам домов, и окна стали открываться, и люди стали выглядывать наружу, спрашивая, что случилось. Рыбка плеснула хвостом, водяные брызги полетели на тротуар, и каждая капля тоже сверкала.

Резко затормозил рядом автобус, водитель высунулся наружу и крикнул:

— Что дают, дед?

Ложкин погладил пакетиком мотыля выбритый морщинистый подбородок и ответил с достоинством:

— Только для любителей, для тех, кто понимает.

Ложкин шел домой, смущала его некоторая неловкость от грубости, учиненной им в магазине, но неловкость понемногу исчезала, потому что за Ложкиным шли, сами того не замечая, взволнованные люди, перебрасывались

удивленными словами и восхищались золотой красавицей в банке.

— Принес чего? — спросила супруга Ложкина из кухни, не замечая, как светло стало в комнате у нее за спиной. — Небось пол-литра принес?

— Пол-литра чистой воды, — согласился старик. — Пол-литра в банке и вам того же желаю.

— Нет, — сказала старуха, не оборачиваясь. — Там, на улице, и принял.

— Почему это?

— Чуть несешь.

Старик спорить не стал, раздвинул кактусы на подоконнике, подмигнул канарейкам, которые защебетали ошеломленно, увидев банку, достал запасной аквариум и понес его к крану, на кухню.

— Подвинься, — сказал он супруге. — Дай воды набрать.

Тут супруга поняла, что муж ее не пьяный, и, вытерев руки передником, заглянула в комнату.

— Батюшки, — воскликнула она. — Нам еще золотой рыбки не хватало!

Супруга нагнулась над банкой, и рыбка высунула ей навстречу острое рыльце, приоткрыла рот, будто задыхалась, и сказала негромко:

— Отпустили бы вы меня, товарищи, в речку.

— Чего? — спросила супруга.

— Воздействуйте на мужа, — объяснила рыбка почти шепотом. — Он меня без вашего влияния никогда не отпустит.

— Чего-чего? — спросила супруга.

— Ты с кем это? — удивился старик, возвращаясь в комнату с полным аквариумом.

— И не знаю, — сказала жена. — Не знаю.

— Красивая? — спросил Ложкин.

— Даже и не знаю, — повторила жена. Подумала чуть-чуть и добавила: — Отпустил бы ты ее в речку. Беды не оберешься.

— Ты чего, с ума сошла? Ей же цена два рубля сорок копеек в государственном магазине.

— В государственном? — спросила жена. — Уже дают?

— Дают, да никто не берет. Не понимают. Цена велика. Да разве два сорок для такого сказочного чуда большая цена?

— Коля, — сказала супруга, — я тебе три рубля дам. Четыре и закуски куплю. Ты только отпусти ее. Боюсь я.

— Сумасшедшая баба, — уверился старик. — Сейчас мы ее в аквариум пересадим.

— Отпусти.

— И не подумаю. Я, может быть, ее всю жизнь жду. С Москвой переписывался. Два сорок уплатил.

— Ну как хочешь. — Старуха заплакала. И пошла на кухню.

В этот момент нервы у рыбки не выдержали.

— Не уходи! — крикнула она пронзительно. — Еще не все аргументы исчерпаны. Если отпустите, три желания выполняю.

Старик был человек крепкий, сухой, но аквариум при этих словах уронил, разбил и стоял по шиколотку в воде.

— Не надо нам ничего! — ответила старуха из кухни. — Ничего не надо. Убирайся в свою реку! От тебя одни неприятности.

— Не-ет, — сказал старик медленно. — Не-е-ет. Это что же получается, разговоры?

— Это я говорю, — ответила рыбка. — И мое слово твердое.

— А как же это может быть? — спросил старик, поджимая промокшую ногу. — Рыбы не говорят.

— Я гибридная, — сообщила рыбка. — Долго рассказывать.

— Изотопы?

— И изотопы тоже.

— Выкинь ее, — настаивала старуха.

— Погоди. Мы сейчас испытаем. Ну-ка, восстанови аквариум в прежнем виде, и чтобы на окне стоял, а в комнате сухо.

— А отпустишь, не обманешь?

— Честное слово, отпущу. Тебя на три желания хватает?

— На три.

— Тогда ты мне аквариум восстанови; если получится, сбегая в магазин, еще десяток таких куплю. Или, может, ты одна говорящая?

— Нет, все, — призналась рыбка.

— Тогда ставь аквариум.

В комнате произошло мгновенное помутнение воздуха,

шум, будто от пролетевшей мимо большой птицы, и тут же на окне возник целый, небитый, полный воды аквариум.

— Идет, — сказал старик. — Нормально.

— Два желания осталось, — напომнила рыбка.

— Тогда мне этот аквариум мал. Приказать, что ли, новый изобразить? Столитровый, с водорослями, а?

Старуха подошла между тем к старику, все еще находясь в состоянии смятения. Теперь же к смятению прибавился новый страх — старик легкомысленный, истратит все желания рыбки, а что если врет она? Если она такая единственная?

— Стой! — сказала она старику. — Ты сначала других испытай. Других рыбок. Они и в малом аквариуме проживут. Ей же аквариумы строить плесвое дело. Нам новый дом с палисадником куда нужнее.

— Ага, — согласился старик. — Это дело, доставай деньги из шкафа, ведро неси. Пока я буду в отлучке, глаз с нее не спускай.

— Так большой аквариум делать или как? — спросила рыбка без особой надежды.

— И не мечтай! — озлился старик. — Хитра больно. В коллективе работать будешь. У меня желаний много — не смотри, что пожилой человек.

Ксения Удалова, соседка сверху, зашла за пять минут до этих слов к Ложкиным за солью. Соль вышла вся. Дверь открыта, соседи — свои люди, чего ж не зайти. И незамеченная весь тот разговор услышала. Старики к ней спиной стояли, а рыбка если ее и заметила, то виду не подала. Ксения Удалова, мать двоих детей, жена начальника стройконторы, отличалась живым умом и ничему не удивлялась. Как тихо вошла, так тихо и ушла, подсчитала, что Ложкиным время понадобится, чтобы ведро с водой взять, деньги достать, выбежала на двор, где Корнелий Удалов, ее муж, по случаю субботы в домино играл под опадающей липой, и крикнула ему командирским голосом:

— Корнелий, ко мне!

— Прости, — сказал Корнелий напарнику. — Отзывают.

— Это конечно, — ответил напарник. — Ты побыстрей только.

— Я сейчас!

Ксения Удалова протянула мужу плохо отмытую бан-

ку с наклейкой «Баклажаны», пятерку денег и сказала громким шепотом:

— Беги со всех ног в зоомагазин, покупай двух золотых рыбок!

— Кого покупать? — переспросил Корнелий, послушно беря банку.

— Зо-ло-тых рыбок. И бери покрупнее.

— Зачем?

— Не спрашивать! Бегом — одна нога здесь, другая там, никому ни слова. Воду не расплескай. Ну! А я их задержу.

— Кого?

— Ложкиных.

— Ксаночка, я ровным счетом ничего не понимаю, — сказал Корнелий, и его носик-пуговка сразу вспотел.

— Потом поймешь!

Ксения услышала шаги внутри дома и метнулась туда.

— Куда это тебя? — спросил Саша Грубин, сосед. — Проводить, дружище?

— Проводи, — ответил Удалов все еще в смятении. — Проводи до зоомагазина. Золотых рыбок пойду покупать.

— Быть того не может, — сказал Погосян, партнер по домино. — Твоя Ксения в жизни ничего подобного не совершала. Если только пожарить.

— А ведь и вправду, может, пожарить, — несколько успокоился Удалов. — Пошли.

Они покинули с Грубиным двор, а игроки весело рассмеялись, потому что хорошо знали и Ксению, и мужа ее Корнелия.

Не успели шаги друзей затихнуть в переулке, как в дверях дома вновь показалась Ксения Удалова. Выходила она из них спиной вперед, объемистая спина колыхалась, выдерживала большой напор. И уже видно было, что напор этот производят супруги Ложкины. Ложкин тащил ведро с водой, а старуха помогала ему толкать Ксению.

— И куда это вы так спешите, соседи дорогие? — распевала, ворковала Ксения.

— Пусти, — настаивал старик. — По воду иду.

— По какую же по воду, когда дома водопровод провели?

— Пусти, — кричал старик. — За квасом иду.

— С полным-то ведром? А я хотела у вас соли одолжить.

— И одалживай, меня только пропусти.

— А уж не в зоомагазин ли спешите? — спросила ехидно Ксения.

— Хотя и в зоомагазин, — ответила старуха. — Только нет у тебя права нас задерживать.

— Откуда знаешь? — возмутился старик. — Откуда знаешь? Подслушивала?

— А что подслушивала? Чего подслушивать?

Старик извернулся, чуть не сшиб Ксению и бросился к воротам. Старуха повисла на Удаловой, чтобы остановить ее, метнувшуюся было вслед.

— Ой-ой, — произнес Погосян. — Он тоже за золотой рыбкой побежал. Зачем побежал?

— Жили без золотых рыбок, — ответил ему Кац, — и проживем, мешай кости.

— Ой-ой, — сказал Погосян. — Ксения Удалова настолько хитрая баба, что ужас иногда берет. Смотри-ка, тоже побежала. И старуха Ложкина за ней. Играйте без меня. Я, пожалуй, понимаю, пойду по городу погуляю.

— Валентин, — крикнула Кацу жена со второго этажа. Она услышала шум на дворе и внимательно к нему прислушивалась. — Валентин, у тебя есть деньги? Дойди до зоомагазина и посмотри, что дают. Может, нам уже не достанется.

Через полторы минуты весь дом, в составе тридцати-сорока человек бежал по Пушкинской улице к зоомагазину, кто с банками, кто с бутылками, кто с пластиковыми пакетами, кто просто так, полюбопытствовать.

Когда первые из них подбежали к зоомагазину, перед дверью с надписью *«Поступили в продажу золотые рыбки»* стояла толпа.

Город Великий Гусляр невелик, и жизнь в нем движется по привычным и установившимся путям. Люди ходят в кино, на работу, в техникум, в библиотеку, и в том нет ничего удивительного. Но стоит случиться чему-то необычайному, как по городу прокатывается волна тревоги и возбуждения. Совсем как в муравейнике, где вести проносятся по всем ходам за долю секунды, потому что у муравьев есть на этот счет шестое чувство. Так вот, Великий Гусляр тоже пронизан шестым чувством. Шестое чувство привело многочисленных любопытных поглядеть на золотых рыбок. Шестое же чувство разрешило их сомнения — покупать или не покупать. Покупать — поняли граждане

Гусляра в тот момент, когда в магазин влетели, не совсем еще понимая, зачем они это делают, Удалов с Грубиным, и Удалов, запыхавшись, сунул Зиночке пять рублей и сказал:

— Две рыбки, золотые, заверните, пожалуйста.

— Это вы, Корнелий Иванович? — удивилась Зиночка, которая жила на той же улице, что и Удалов. — Вам Ложкин посоветовал? Вам самца с самочкой?

— Зиночка, не продавай им рыбок, — сказал из-за аквариума инвалид Эрик, который все никак не мог справиться с силами, чтобы покинуть магазин.

— Молодой человек, — прервал его Грубин. — Только из уважения к вашему героическому прошлому я воздерживаюсь от ответа. Зиночка, вот банка, кладите товар.

У Зиночки на глазах были слезы. Она взяла сачок и сунула его в аквариум. Рыбки бросились от него врассыпную.

— Тоже понимают, — проговорил кто-то.

В дверях возникло шевеление — старик Ложкин пытался с ведром пробиться поближе к прилавку.

— Вы не церемоньтесь с ними, — сказал Удалов. — Все равно поджарим.

— Мне дайте, мне, — кричал от двери Ложкин. — Я любитель. Я их жарить не буду!

В общем шуме потонули отдельные возгласы. К Зиночке тянулись руки с зажатыми рублями, и, желая оградить ее от мятежа, Эрик приподнял костыль, стукнул им об пол и крикнул:

— Тишина! Соблюдайте порядок!

И наступила тишина.

И в этой тишине все услышали, что рыбка, высунувшая голову из аквариума, сказала:

— Это совершенное безумие нас жарить. Все равно что уничтожать куриц, несущих золотые яйца. Мы будем жаловаться.

Тишина завладела магазином.

Вторая рыбка подплыла к первой и произнесла:

— Мы должны получить гарантии.

— Какие? — спросил Грубин тонким голосом.

— Три желания на каждую. И ни слова больше. Потом — на свободу.

Наступила пауза.

Потом медленное движение к прилавку, ибо любопыт-

ство — сильное чувство, и желание посмотреть на настоящих говорящих рыбок влекло людей, как магнит.

Через пять минут все было окончено. В пустом магазине на пустом прилавке стоял пустой аквариум. Вода в нем еще покачивалась. Зиночка тихо плакала, пересчитывая выручку. Эрик все так же стоял в углу и потирал здоровой рукой помятый бок. Потом нагнулся, поднял с пола почти не пострадавший букетик цветов и вновь положил на прилавок.

— Не расстраивайтесь, Зиночка. Может, в следующем квартале снова прищлют. Я только жалею, что мне не досталось. Я бы вам свою отдал.

— Я не об этом, — всхлипнула Зиночка. — Какая-то жадность в людях проснулась. Даже стыдно. И старик Ложкин кричит — мне десять штук и вообще.

— Я очень жалею, что не смог для вас взять, — повторил Эрик. — До свиданья.

Он ушел. Вера Яковлевна, дожидавшаяся, пока никого в магазине не останется, подошла к Зиночке, держа в руке палехскую шкатулку. В шкатулке еле уместались две рыбки.

— Я все-таки купила, — сообщила она. — Ты ведь и не заметила. Я поняла, что если стоять и ждать, пока это столпотворение продолжается, ничего не достанется. Ведь ты не догадалась хотя бы две-три штуки отложить.

— Куда там, — сказала Зиночка. — Я очень рада, что вы успели. А я и не заметила. Такая свалка — я только деньги принимала и рыбок вылавливала.

— Одна твоя. Деньги мне с полочки отдашь.

— Не надо мне, — отказалась Зиночка. — Я и права не имею их взять.

— Тогда я тебе дарю. На день рождения. И не сходи с ума. Кто от счастья отказывается? У тебя даже шубки нет, а зима на носу.

— Нет, нет, ни за что! — И Зиночка заплакала еще горше.

— Чего уж там, — сказала из шкатулки рыбка. — Все равно одному человеку больше трех желаний нельзя загадать. Хоть бы у него сто рыбок было. А шубу тебе надо — я сделаю. Ты какую хочешь, норковую или каракуль?

— Вот и отлично, — проговорила Вера Яковлевна. — Где сачок? Мы ее тебе пересадим. Я очень рада.

— Ну как же можно, — сопротивлялась Зиночка.

В дверь заглянула незнакомая женщина и спросила:

— Рыбки еще остались?

— Кончились, — ответила Вера Яковлевна, прикрывая крышку палехской шкатулки. — Теперь они будут приходить. Закроем магазин? Все равно — какая сегодня торговля?

— Я должна в область, в управление торговли отчет написать, — сказала Зиночка. — Я очень боюсь, что нам товар по ошибке отгрузили.

— Вот и напишешь дома. Пошли.

Зиночка послушалась. Сняла объявление с двери, заперла ее, спрятала выручку. Вера Яковлевна достала еще одну шкатулку и отсадила в нее рыбку для Зиночки. Продавщицы вышли из магазина через заднюю дверь.

— А ты хоть помнишь кого-нибудь, кто рыбок покупал? — спросила Вера Яковлевна.

— Мало кого помню. Ну, сначала, еще до всей этой истории Ложкин был. И кружок юннатов из средней школы. Потом снова Ложкин. И Савич. И этот длинный из горздрава, и Удалов с Грубиным по штуке. А остальных разве припомнишь?

— Боюсь, — сказала на это Вера Яковлевна. — Боюсь, что поздно гадать — результаты скоро будут налицо.

— То есть как так?

— Ты думаешь, что за желания будут?

— Не знаю. Разные. Ну, может, денег попросят...

— Денег нельзя. Только ограниченные суммы, — вмешалась из коробочки рыбка. Голос ее был глух и с трудом проникал сквозь лаковую крышку.

— Ой! — вскрикнула Зиночка.

Они вышли в переулок, утром еще пыльный и неровный. Переулок был покрыт сверкающим ровным бетоном. Бетон расстилался во всю его ширину, лишь по обочинам вместо утренних канав тянулись аккуратные полосы тротуара. Заборы вдоль переуллка были выкрашены в приятный глазу зеленый цвет, а в палисадниках благоухали герани.

— Ничего особенного, — сказала Вера Яковлевна, морально готовая к чудесам. — Наверно, кто-то из горсовета рыбку купил. Вот и выполнил годовой план по благоустройству.

— Что же будет?.. — сказала Зиночка, осторожно ступая на тротуар.

— Я так полагаю, — ответила Вера Яковлевна, по-солдатски печатая шаг по асфальту. — Я так полагаю, что надо получить отдельную квартиру. Впрочем, ты, рыбка, не спеши, я еще подумаю...

Дома Зиночка достала большую банку. Выплеснула туда рыбку из шкатулки и понесла на кухню, чтобы долить водой.

— Сейчас будет тебе чистая вода, — сказала она. — Потерпи минутку.

Зиночка открыла кран, и прозрачная жидкость хлынула в банку.

— Стой! — крикнула рыбка. — Стой, ты с ума сошла! Ты меня погубить хочешь? Закрой кран! Вынь меня сейчас же! Ой-ой-ой!

Зиночка испугалась, выхватила рыбку, сжала в кулаке...

По кухне распространился волнами едкий запах водки.

— Что такое? — удивилась Зиночка. — Что случилось?

— Воды! — прошептала рыбка. — Воды... умираю...

Зиночка метнулась по кухне, нашла чайник. На счастье в нем была вода. Рыбка ожила. Струйка водки все текла из крана, дурманом заполняя кухню.

— Откуда же водка? — поразилась Зиночка.

— Понимать надо, — сказала рыбка. — Какой-то идиот проверить захотел — приказал, чтобы вместо воды в водопроводе водка текла. Видно, на молодую рыбку попал, на неопытную. Я бы на ее месте отказалась. Категорически. Это не желание, а вредительство и головоунышество.

— А где же вода теперь?

— Я так полагаю, что водка скоро кончится. Кто-нибудь другой обратное желание загадает.

— А если нет?

— Если нет — терпи. А вообще-то это безобразие! Водка попадает в трубы канализации. Оттуда, возможно, в водоемы — так всю живность перевести можно. Вот что, Зиночка, у меня к тебе личная просьба. Преврати водку в воду. Используй желание. Мы тебе за это уникальную шубу придумаем.

— Мне уникальной не нужно, — сказала Зиночка. — На что мне уникальная. Я бы очень хотела дубленку. Болгарскую. У моей тетки в Вологде такая есть.

— Значит тратим сразу два желания, да?

— Тратим, — согласилась Зиночка и немного пожалела, что останется лишь одно.

Шуба материализовалась на спинке стула. Шуба была светло-коричневого, нежного, теплого цвета. Ее украшал меховой белый воротник.

— Прости, но я ее подбила норкой, — призналась рыбка. — Приятно услужить хорошему человеку. Третье желание будем сейчас делать или подождем?

— Можно подождать немного? — попросила Зиночка. — Я подумаю.

— Думай, думай. Пообедай пока. И мне крошек насыпь. Ведь я как-никак живое существо.

— Простите, ради Бога. Я совсем забыла.

Удалов с Ложкиным вместе вошли в дом. Грубин во дворе задержался, чтобы поделиться впечатлениями с соседями. Удалов с Ложкиным по лестнице поднимались вместе, были недовольны друг другом. Удалов укорял Ложкина:

— Хотели по секрету все сделать? Все себе?

Ложкин не отвечал.

— Чтобы, значит, весь город как раньше, один вы будете жить, как миллионер Рокфеллер? Стыдно просто ужасно.

— А твоя жена шпионила, — сказал Ложкин резко и юркнул в дверь, за которой уже стояла, приложив к ней ухо, его супруга.

Удалов хотел было ответить нечто обидное, но и его супруга выбежала из комнаты, выхватила из рук банку и огорчилась:

— Почему только одна? Я же на две деньги давала.

— Вторую Грубин взял, — ответил Удалов. — Мы с ним вместе ходили.

— Сам бы покупал себе, — обиделась Ксения. — У тебя же дети. А он холостой.

— Ну ладно уж. Тебе что, трех желаний не хватит?

— Было бы шесть. У Ложкиных-то шесть.

— Не огорчайтесь, гражданка, — успокоила золотая рыбка. — Больше трех все равно нельзя, сколько бы рыбок не было.

— На человека?

— На человека, или на семью, или на коллектив — все равно.

— Так, значит, Ложкин зря за второй рыбкой бегал? Зря хотел десяток купить?

— Зря. Вы не могли бы поспешить с желаниями? И отпустили бы меня подобру-поздорову.

— Потерпишь, — решительно произнесла Ксения. — А ты, Корнелий, иди руки мой и обедать садись. Все остыло.

Корнелий подчинился, хотя и опасался, что жена в его отсутствие загадает всякую чепуху.

У умывальника Удалова ждал приятный сюрприз. Кто-то догадался заменить воду в водопроводе водкой. Удалов не стал поднимать шума. Умылся водкой, хоть и щипало глаза, потом напился из ладошек, без закуски и еще налил полную кастрюлю.

— Ты куда пропал? — нетерпеливо крикнула жена из комнаты.

— Сейчас, — ответил Удалов, язык которого уже чуть заплетался.

На кухню, полотенце через плечо, пришел Ложкин. Смотрел волком. Потянул носом и зыркнул глазом на кастрюлю с водкой. Удалов прижал кастрюлю к животу и быстро ушел в комнату.

— Вот, — сказал он жене. — Готовь закуску. Не мое желание, чужое.

Ксения сразу поняла, разлила по пустым бутылкам и закупорила.

— Какой человек! Какая государственная голова! — хвалил неизвестного доброжелателя Удалов. — Нет чтобы себе только заказать. Всему городу радость. То-то Ложкин удивится, на меня подумает!

— А вдруг он сам!

— Никогда. Он эгоист.

— А если он на тебя подумает и сообщит куда следует, что отравляешь воду в городе, — по головке не погладят.

— Пусть докажут. То ведь не я, а золотая рыбка.

Со двора грянула песня.

— Вот, — сказал Удалов. — Слышишь? Народ уже использует.

А Ложкин тем временем принялся умываться водкой, удивился, отплевался, потом сообразил, в чем дело, побежал с женой советоваться, а когда та пришла с посудой, вместо водки текла уже вода — результат Зиночкиного пожелания. Старуха изругала Ложкина за неповоротливость, и они стали думать, как им использовать пять желаний — два от первой рыбки да три от второй.

Грубин основное желание выполнил тут же, во дворе.

— Мне, — сказал он в присутствии многочисленных свидетелей, — желательнее от тебя, золотая рыбка, получить бразильского попугая ара, который может научиться человеческой речи.

— Это несложно, — оценила рыбка. — Я сама обладаю человеческой речью.

— Согласен. — Грубин поставил банку с рыбкой на скамейку, вынул гребешок и пригладил в ожидании торжественного момента густые, непослушные вихры. — Чего же ты мешкаешь?

— Одну минутку. Из Бразилии путь долог... Три, четыре, пять.

Роскошный, громадный, многоцветный, гордый попугай ара сидел на ветке дерева над головой Грубина и, чуть склонив набок голову, смотрел на собравшихся внизу обитателей двора.

Грубин задрал голову и позвал:

— Цып-цып, иди сюда, дорогая птица.

Попугай раздумывал, спуститься или нет к протянутой руке Грубина, и в этот момент во двор вышли, обнявшись и распевая громкую песню, Погосян с Кацем, также обладатели золотых рыбок. Как потом выяснилось, именно они независимо друг от друга превратили всю питьевую воду в городе в водку и, довольные результатами опыта и сходством желаний, шли теперь к людям возвестить о начале новой эры.

— Каррамба! — проговорил попугай, тяжело снялся с ветки дерева и взлетел выше крыш. Там он сделал круг, распугивая ворон, и крылья его переливались радугой.

— Каррамба! — крикнул он снова и взял курс на запад, в родную Бразилию.

— Верни его! — крикнул Грубин. — Верни его немедленно!

— Это второе желание? — спросила ехидно рыбка.

— Первое! Ты же его не выполнила!

— Ты заказывал попугая, товарищ Грубин?

— Заказывал. Так где же он, золотая рыбка?

— Улетел.

— Вот я и говорю.

— Но он был.

— И улетел. Почему не в клетке?

— Потому что ты, товарищ Грубин, клетку не заказывал.

Грубин задумался. Он был человеком в принципе справедливым. Рыбка была права. Клетки он не заказывал.

— Хорошо, — согласился он. Попугая ему очень хотелось. — Пусть будет попугай ара в клетке.

Так Грубин истратил второе желание и потому, взяв клетку в одну руку, банку с рыбкой в другую, пошел к дому. И тут-то во двор вошел инвалид Эрик.

Эрик обошел уже полгорода. Он искал рыбку для Зиночки, не подозревая, что та получила ее в подарок от Веры Яковлевны.

— Здравствуйте, — сказал он. — Нет ли у кого-нибудь лишней золотой рыбки?

Грубин сгорбился и тихо пошел к двери со своей ношей. У него оставалось всего одно желание и множество потребностей. Погосян помог Кацу повернуть обратно к двери. У них рыбки были также частично использованы. Окна в комнатах Удалова и Ложкина захлопнулись.

— Я не для себя! — крикнул в пустоту Эрик.

Никто не ответил.

Эрик поправил пустой рукав и поплелся, хромая, со двора.

— Нам необходимо тщательно продумать, что будем просить, — говорила в это время Ксения Удалова мужу.

— Мне велосипед надо, — сказал их сын Максимка.

— Молчать! — повторила Ксения. — Иди погуляй. Без тебя найдем, чего пожелать.

— Вы бы там поскорее, — поторопила золотая рыбка. — К вечеру нам бы хотелось в реке уже быть. До холодов нужно попасть в Саргассово море.

— Смотри-ка, — удивился Удалов. — Тоже ведь на родину тянутся.

— Икру метать, — объяснила рыбка.

— Хочу велосипед, — крикнул со двора Максимка.

— Ну, угодили бы парнишке, в самом деле хочет велосипед, — сказала рыбка.

— А может, и в самом деле? — спросил Удалов.

— Я больше не могу, — возмутилась Ксения. — Все подсказывают, все мешают, все чего-то требуют...

Грубин поставил клетку с попугаем на стол и залюбовался птицей.

— Ты чудо, — сказал он ей.

Попутай не ответил.

— Так он что, не умеет, что ли? — спросил Грубин.

— Не умеет, — ответила рыбка.

— Так чего же? Ведь вроде только что «каррамба» говорил.

— Это другой был, ручной, из бразильской состоятельной семьи. А второго пришлось дикого брать.

— И чего же делать?

— Хочешь — третье желание загадай. Я его мигом обучу.

— Да? — Грубин подумал немного. — Нет уж. Сам обучу.

— Может, ты и прав, — согласилась рыбка. — И что же дальше делать будем? Хочешь электронный микроскоп?

Первым своим желанием члены биологического кружка первой средней школы — коллективный владелец одной из рыбок — создали на заднем дворе школы зоопарк с тиграми, моржом и множеством кроликов.

Вторым желанием сделали так, чтобы им целую неделю не задавали ничего на дом.

С третьим желанием вышла заминка, споры, сильный шум. Споры затянулись почти до вечера.

Провизор Савич дошел до самого своего дома, перебирая в мыслях множество вариантов. У самых ворот его догнал незнакомый человек в очень большой плоской кепке.

— Послушай, — сказал ему человек. — Ты десять тысяч хочешь?

— Почему? — спросил Савич.

— Десять тысяч даю — рыбка моя, деньги твои. Мне, понимаешь, не досталось. На базаре стоял, фруктами торговал, опоздал, понимаешь.

— А зачем вам рыбка? — спросил провизор.

— Не твое дело. Хочешь деньги? Сегодня же телеграфом.

— Так вы объясните, в конце концов, — повторил Савич, — зачем вам рыбка? Ведь я тоже, наверно, могу с ее помощью получить много денег.

— Нет, — объяснил человек в кепке. — Рыбка много денег не может.

— Он прав, — подтвердила рыбка. — Много денег я не могу сделать.

— Пятнадцать тысяч, — сказал человек в кепке и протянул руку к банке с рыбкой. — Больше никто не даст.

— Нет, — произнес Савич твердо.

Человек шел за ним, тянул руку и набавлял по тысяче. Когда он добрался до двадцати, Савич совсем озлился.

— Это безобразие! — воскликнул он. — Я иду домой, никому не мешаю. Ко мне пристают, предлагают какую-то сомнительную сделку. Рыбка-то стоит два рубля сорок копеек.

— Я тебе и два рубля тоже дам, — обрадовался человек в кепке. — И еще двадцать тысяч дам. Двадцать одну!

— Так скажите, зачем вам?

Человек в кепке приблизил губы к уху Савича.

— Машину «Волга» покупать буду.

— Так покупайте, если у вас столько денег.

— Нетрудовые доходы, — признался человек в кепке. — А так фининспектор придет, я ему рыбку покажу — вот, пожалуйста. Вы только мне квитанцию дайте, расписку, что два сорок уплатил.

— Уходите немедленно! — возмутился Савич. — Вы жулик!

— Зачем так грубо? Двадцать три тысячи даю. Хорошие деньги. Голый по миру пойду.

— Гони его, — сказала рыбка. — Он мне тоже неприятен.

— Вот видите, — сказал Савич.

— Двадцать четыре тысячи!

— Вот что, — решил Савич. — Чтобы этот человек немедленно улетел отсюда к себе домой. Чтобы и следа его не было. Я больше не могу.

— Исполнять? — спросила рыбка.

— Немедленно!

И человек закрутился в смерчике и пропал. Лишь кепка осталась на мостовой.

— Спасибо, — сказал Савич рыбке. — Вы не представляете, как он мне надоел. Теперь пойдемте ко мне домой, и мы с честью используем оставшиеся желания.

В тот день в городе произошло еще много чудес. Некоторые остались достоянием частных лиц и их семей, некоторые стали известны всему Великому Гусляру. Тут и детский зоопарк, который поныне одна из достопримечательностей города, и история с водкой в водопроводе, и

заможенный переулок, и появление в универмаге большого количества французских духов, загадочное и необъясненное, и грузовик, полный белых грибов, виденный многими у дома Сенькиных, и даже типун на языке одной скандальной особы, три свадьбы, неожиданные для окружающих, и еще, и еще, и еще...

К вечеру, к сроку, когда рыбок надо было нести к реке, большинство желаний было исчерпано.

По Пушкинской, по направлению к набережной, двигался народ. Это были и владельцы рыбок, и просто любопытные.

Шли Удаловы всем семейством. Впереди Максим на велосипеде. За ним остальная семья. Ксения сжимала в руке тряпочку, которой незадолго перед тем стирала пыль с нового рояля фирмы «Беккер».

Шел Грубин. Нес не только банку с рыбкой, но и клетку с попугаем. Хотел, чтобы все видели — мечта его сбылась.

Шли Ложкины. Был старик в новом костюме из шевита, и еще восемь неплохих костюмов осталось в шкафу.

Шли, обнявшись, Погосян с Кацем. Несли вдвоем бутыл. Чтобы не оставлять на завтра.

Шла Зиночка.

Шел Савич.

Шли все другие.

Остановились на берегу.

— Минутку, — сказала одна из золотых рыбок. — Мы благодарны вам, обитатели этого чудесного города. Желания ваши, хоть и были зачастую скороспелы, порадовали нас разнообразием.

— Не все, — возразили ей рыбки из банки Погосяна — Каца.

— Не все, — согласилась рыбка. — Завтра многие из вас начнут мучиться. Корить себя за то, что не потребовали золотых чертогов. Не надо. Мы говорим вам: завтра никто не почувствует разочарования. Так мы хотим, и это наше коллективное рыбье желание. Понятно?

— Понятно, — ответили жители города.

— Дурраки, — сказал попугай ара, который оказался способным к обучению и уже знал несколько слов.

— Теперь нас можно опускать в воду, — произнесла рыбка.

— Стойте! — раздался крик сверху.

Все обернулись в сторону города и оцепенели от ужаса. Ибо зрелище, представшее глазам, было необычайно и трагично.

К берегу бежал человек о десяти ногах, о множестве рук, и он махал этими руками одновременно.

И когда человек подбежал ближе, его узнали.

— Эрик! — сказал кто-то.

— Эрик, — повторяли люди, расступаясь.

— Что со мной случилось? — кричал Эрик. — Что со мной случилось? Кто виноват? Зачем это?

Лицо его было чистым, без следов ожога, волосы встрепаны.

— Я по городу бегал, рыбку просил, — продолжал страшный Эрик, жестикулируя двадцатью руками, из которых одна была слева, а остальные справа. — Я отдохнуть прилег, а проснулся — и вот что со мной случилось!

— Ой, — сказала Зиночка. — Я во всем виновата. Что я наделала. Но я хотела как лучше, я загадала, чтобы у Эрика новая рука была, чтобы новая нога стала и лицо вылечилось. Я думала, как лучше, — ведь у меня желание оставалось.

— Я виноват, — добавил Ложкин. — Я подумал — зря человека обижаем. Я ему тоже руку пожелал.

— И я, — произнес Грубин.

— И я, — сказал Савич.

И всего в этом созналось восемнадцать человек.

Кто-то нервно хихикнул в наступившей тишине.

И Савич спросил свою рыбку:

— Вы нам помочь не можете?

— Нет, к сожалению, — ответила рыбка. — Все желания исчерпаны. Придется его в Москву везти, отрезать лишние конечности.

— Да, история, — сказал Грубин. — В общем, если нужно, то берите обратно моего чертова попугая.

— Дуррак, — сказал попугай.

— Не поможет, — ответила рыбка. — Обратной силы желания не имеют.

И тут на сцене появились юннаты из первой средней школы.

— Кому нужно лишнее желание? — спросил один из них. — Мы два использовали, а на одном не стоворились.

Тут дети увидели Эрика и испугались.

— Не бойтесь, дети, — успокоила их золотая рыбка. —

Если вы не возражаете, мы приведем в человеческий вид пожарника Эрика.

— Мы не возражаем, — сказали юннаты.

— А вы, жители города?

— Нет, — ответили люди рыбкам.

В тот же момент произошло помутнение воздуха, и Эрик вернулся в свое естественное, здоровое состояние. И оказался, кстати, вполне красивым и привлекательным парнем.

— Оп-ля! — воскликнули рыбки хором, выпрыгнули из банок, аквариумов и прочей посуды и золотыми молниями исчезли в реке.

Они очень спешили в Саргассово море метать икру.

1969 г.

ПИСЬМА ЛОЖКИНА

Совсем особым жанром в гуслярских историях стал жанр эпистолярный, правда, не получивший достаточного развития.

Письма о Великом Гусляре, имеются в виду письма открытые, предназначенные для печати, писал лишь один человек — персональный пенсионер городского значения Николай Ложкин.

А если говорить о моем в том участии, то тут сыграла большую роль созданная в «Знании — силе» в шестидесятые годы Академия Веселых наук.

Надо сказать, что журналы — как живые существа — они переживают молодость, зрелые годы, они стареют и тогда для спасения требуют самых радикальных операций. Если говорить о шестидесятих годах, то первое место в области научно-популярных изданий, безусловно, делили тогда «Вокруг света» и «Знание — сила». В этих журналах собрались сильные и предприимчивые журналисты, вокруг них группировались лучшие авторы.

Академия Веселых наук, как и созданная замечательным писателем и ученым Романом Подольным Комиссия по контактам, была предприятием с изрядной долей озорства. В публикациях Академии всерьез говорилось о немыслимых явлениях и от этой лапутянской серьезности было очень смешно. Но вскоре обнаружилось: несмотря на обязательное предупреждение, что сенсация проходит именно по ведомству АВН, а уважаемых читателей умоляют не принимать сказанного всерьез, сила напечатанного слова была велика, и читатель, благополучно выслушивая предупреждение, тут же забывал о нем — он верил в самую невероятную чепуху, напечатанную типографским шрифтом. Этот феномен в конце концов Академию погубил — торжествующий дурак оказался сильнее всех ценителей юмора, вместе взятых.

Первый скандал разразился вскоре после основания Академии, когда под ее эгидой была опубликована небольшая статья, в которой утверждалось, что жирафа быть не может. К сожалению, я сейчас уже не помню, кто придумал столь остроумную идею, но автору никак нельзя было отказать в логике. Он доказывал, что шея жирафа столь длинна, что существующих позвонков недостаточно, чтобы удерживать голову этого животного. А если бы жираф в самом деле существовал, то он бы сразу сдох, уронив голову. В статье, если не ошибаюсь, высказывался упрек в адрес тех средств массовой информации, которые не щадят плохо информированных читателей и публикуют фотографии и рисунки жирафов, тогда как каждому понятно — таких животных на свете нет.

И вот в ответ на статью в редакцию хлынул поток возмущенных писем. Писем, которых никто в редакции не ожидал. Ну добро бы авторы их клеймили статью за попытку ввести в заблуждение читателей. Нет! Читатели были возмущены теми, кто придумал жирафа и поддерживает миф о его реальности. «Я сам видел фотографию жирафа в журнале «Огонек», — сообщал очередной читатель. — Доколе вы будете испытывать наше терпение! Жирафа нет, а фотографии подделывают!»

Лавры истории о несуществующем жирафе не давали мне покоя. И тут на помощь пришел сварливый старик Ложкин, живущий в одном доме с Удаловым. Ему тоже не терпелось поделиться с человечеством известными ему сенсациями.

Товарищ Ложкин написал в редакцию возмущенное письмо о горькой судьбе грецких орехов, в котором он доказывал, что грецкие орехи — ближайшие братья человека по разуму. Что они обогнали его в эволюции, отказавшись от ручек и ножек и оставив лишь два мозга (счастливая семья!) под одной скорлупой. Ложкин приводил примеры из палеонтологии и истории и в конце просил читателей не уничтожать наших разумных братьев, пожалеть их, беспомощных и кротких...

Новый поток писем, хлынувший в Академию Веселых наук, хоть и уступал «жирафьему» в объеме, явно превосходил его по эмоциональному накалу. Были письма от отдельных людей, от семей и даже от производственных коллективов. И опять же — никакой попытки критиче-

ского мышления — если в журнале сообщили, значит, так оно и есть. Больше всего нас с Ложкиным потрясла одна пограничная застава, которая в полном составе дала слово грецких орехов больше не есть.

Неожиданная слава взволновала Николая Ложкина. И он, пользуясь благорасположением к нему Академии, опубликовал в «Знание — сила» целый ряд открытых писем, сообщая о хронофагах, агентах Ивана Грозного среди нас, изобретателе Эдисоне и его трагедии, и так далее. Почти все его письма были опубликованы в «Знании — силе», одно или два увидели свет в «Химии и жизни». Больше они нигде, разумеется, не публиковались, так что я взял на себя смелость предложить некоторые из них в этот том, как оригинальное направление в литературной жизни города Великий Гусляр.

БРАТЯ В ОПАСНОСТИ!

Уважаемая редакция!

Находясь в последние годы на заслуженном отдыхе, я много размышлял о смысле жизни и важных явлениях. Меня посетила мысль, что наши беды пронстекают от отсутствия веры в Бога или высшее существо, включая светлое будущее коммунизма. Наш народ мало во что верит, а все равно каждый боится. Боится заболеть, помереть, атомной войны, экологического бедствия, повышения цен и так далее. Отсюда получается желание верить черт знает во что, потому что лучше верить черт знает во что, чем не верить ни во что. Раньше у людей был Бог, и все надеялись, что если случится плохое, он не оставит в беде, хотя бы на том свете. У нас же тот свет совсем отменили, а на этом — неблагоприятные климатические условия. Поэтому люди наши стали крутить головами и искать, во что бы им поверить. Некоторые стали верить в экстрасенсов, некоторые в пищу без нитратов, а другие в индийского бога, имя которого я забыл. Но больше всего верят в пришельцев с другой планеты. А почему?

Потому что каждый советский человек ощущает за отсутствием Бога жуткое одиночество и даже незащищенность. И любой Минводхоз или исполком могут сделать с ним, советским человеком, любую каверзу без всякой ответственности. А ведь как хочется, чтобы кто-то был за нас — а то все против нас!

Вот и получается: простому человеку необходим брат по разуму.

Такой, чтобы приземлился, если мы уж совсем распустимся, вышел из своей тарелочки, погрозил нам зеленым пальчиком и сказал бы: «Ни-ни! Нишкни!», «Прекрати безобразие и начинай разоружаться!». И мы тогда с удовольствием!

А стоит ли, говорю я вам, закидывать головы к небу или заниматься йогой, не лучше ли внимательно поглядеть вокруг и поискать настоящих братьев, только на Земле?

Я заявляю с полной ответственностью, что рядом с нами проживают настоящие братья по разуму, которых мы безжалостно уничтожаем себе на потребу, а они даже не внесены в Красную книгу. Об этом отлично известно в некоторых научных кругах, но эти круги из эгоистических соображений закрывают глаза, а не бьют тревогу.

Теперь перейдем к сути вопроса: какое существо на Земле обладает самым большим мозгом по отношению к весу тела? Какое существо в процессе эволюции построило самую крепкую семью, какое существо не убивает себе подобных, не кусается, не дерется и не портит экологию? У кого нам надо учиться жить, забыв о пришельцах из космоса? Кто, наконец, разделит с нами одиночество?

Надеюсь, что самые умные из читателей уже догадались.

Правильно! Наш брат по разуму и сосед по Земле — грецкий орех!

Я убежден, что, разбивая молотком или раскалывая щипцами твердый череп нашего несчастного брата по разуму, вы не раз поражались совершенству его внутреннего строения. Твоему взору предстают два полноценных мозга, занимающие все пространство черепа.

Но как это случилось? Как орехи стали орехами? Какими они были раньше? Вопрос не такой простой, как может показаться. Уже давно прогрессивные ученые разных стран подозревали, что грецкие орехи не всегда были только орехами. Но решающим толчком к раскрытию тайны грецких орехов послужила заметка французского археолога Гастона Валуа, выходца из крестьянской семьи, в журнале «Сьянс и палеонтоюджик» за 1908 год о находке в Среднем Плейстоцене Нижней Нормандии крупного арханчного черепа грецкого ореха без нижней челюсти и ярко выраженными ручками и ножками. Последние сомнения были рассеяны открытием в Танзании двух ко-

ренных зубов молодой самки грецкого ореха. Рядом с челюстью обнаружены были каменные скребки, наконечники стрел и бедренная кость мамонта.

Деятельность ученых (в нашей стране исследование грецких орехов началось лишь после революции и связано с именем туркменского археолога Абдусалимова, нашедшего стоянку грецкого ореха в районе г. Сочи) позволяет уже сегодня с уверенностью поведать неискушенному читателю о ходе эволюции наших братьев.

Покинув в Верхнем Палеозое солоноватое море, далекие предки грецкого ореха вышли на берег и в краткий срок освоили пляжи и прибрежные заросли. Динозавры не преследовали их ввиду малого размера, а быстрота ножек спасла праорехи от прочих хищников.

Еще и речи не шло о появлении человека, а грецкие орехи уже покорили сушу и перешли к древесному образу жизни. Многочисленными оживленными колониями они собирались на определенных видах деревьев, отпечатки листьев которых всегда сопутствуют находкам ореховых скелетов. Там они охотились на вредных насекомых, а благородные деревья опекали их, прикрывая листьями от ливней и прямых лучей первобытного солнца.

Когда неуклюжий волосатый предок человека взял в руки первую палку, грецкие орехи, далеко обогнавшие его в своем развитии, сознательно избрали другой путь. Первым шагом на этом пути было объединение мужского и женского начала под одной скорлупой. Выбрав себе спутника жизни, самка грецкого ореха обволакивала его не только заботой и вниманием, но и скорлупой, буквально привязывая к себе до конца дней. Крепкая семья грецкого ореха — добрый пример подрастающему поколению — стала настолько стабильна, что с течением времени грецкие орехи начали жениться еще до рождения. Этот шаг эволюции, одновременно разумный и трагический, имел место шестьдесят тысяч лет назад.

Ранние браки грецких орехов завершили поступь эволюционного развития. Объединившись с близким существом под одной скорлупой (именно поэтому мы всегда находим в грецком орехе два мозга), орехи потеряли стимул к передвижению, охоту к перемене мест, отказались от соперничества и тревог. Нет нужды искать общества себе подобных, если один из них обязательно присутствует в тебе самом.

Сравнительно недавно — с точки зрения истории — это привело к атрофированию конечностей. И если Платон в своих «Диалогах об Атлантиде» еще пишет о том, как грецкие орехи спасались от сборщиков, переползая на слабых ножках с ветки на ветку, то позднейшие исследователи об этой способности орехов умалчивают.

Эволюция зашла в тупик. Грецкий орех повис на дереве, нежась под солнцем, получая соки от дерева через единственную руку-плодоножку и обмениваясь мыслями со своей половиной. Очевидно, сегодня орехи лишились дара речи, заменив ее телепатическим общением. Хотя существуют исключения. Известный исследователь Востока Пржевальский рассказывает, что в отдельных районах пустыни Гоби орехи, срываемые с деревьев в недозрелом состоянии, пищат и плачут. Автор этих строк пытался наладить контакт с орехом, выстукивая различные фразы с помощью азбуки Морзе по скорлупе. Ответа я, к сожалению, не дождался.

Встает вопрос: почему мы пожираем братьев по разуму? В чем причина нашего варварства?

Причина в классовом эгоизме человечества. Как всем известно, уже в Древнем Вавилоне жрецы запрещали простым людям питаться грецкими орехами, пожирая их мозги в отрыве от народных масс (Геродот, кн. 16, гл. 24). Впоследствии прерогатива есть орехи перешла к феодалам и эксплуататорам, включая буржуев и капиталистов.

Наконец, с XVII века эстафету убийства подхватило мировое масонство. Именно масоны стали употреблять грецкие орехи на своих тайных сборищах, укрепляя этим свои темные силы.

Подумайте, дорогой читатель: много ли было шансов у русского крестьянина в Рязани или Архангельске встретиться с грецким орехом, взглянуть в него и заподозрить неладное? Нет, отвечаю я, такого шанса русский крестьянин не имел.

Грецкие же орехи, способные на прямой контакт еще тысячу лет назад, за последние тысячелетия полностью разочаровались в людях, которых прозвали каннибалами, и предпочитают с презрением умирать молча.

Да, среди нас есть узкие специалисты, палеонтологи, археологи, для которых не секрет, что грецкие орехи — настоящие законные властители Земли и наши братья.

Но археологи молчат. Некоторые боятся масонов, дру-

гие — сами масоны, третьи, признавая в частных беседах преступность наших коллективных действий, не могут отказаться от привычного лакомства. Их любовь к пирогам с орехами стоит высокой плотиной на пути к спасению братьев по разуму.

Две проблемы стоят перед человечеством. Еще не поздно установить контакт с грецкими орехами с помощью телепатии, радиосвязи и азбуки Морзе. Сделать это надо немедленно, ибо замкнувшись в гордой изоляции грецкие орехи теряют память о прошлом, и иссякает их древняя мудрость, которая столько могла бы дать нам поучительного.

Вторая проблема — гуманитарная.

Я призываю: люди, опомнитесь! Внушите каждому ребенку, что рвать с деревьев живые орехи безнравственно, а пожирать трупы упавших грецких орехов постыдно! Товарищи, неустанно разоблачайте мировой масонский заговор, остановите руку палачей! Торопитесь, люди, еще не поздно!

*Ложкин Н.В., пенсионер,
г. Великий Гусляр*

АГЕНТ ЦАРЯ

Уважаемая редакция!

Вы меня, надеюсь, хорошо знаете, несмотря на мою личную скромность. Я имел честь неоднократно вам писать, и, хотя большинство моих писем, к сожалению, остались без ответа, я отношу это не к личным отрицательным качествам сотрудников редакции, а к отсутствию достаточной гражданской смелости и научного предвидения с вашей стороны. Разрешите напомнить вам, что к числу безответных писем относились мои предложения по переводу комаров, бича наших лесов, в разряд перелетных насекомых, которые, перезимовав в нашей зоне, с наступлением тепла откочевывали бы в просторы Ледовитого океана. Разрешите также освежить вашу память напоминанием о моем письме с идеей ввести приливы и отливы на протекающей возле нашего города реке Гусь с последующим использованием дешевой энергии для нужд городского хозяйства.

Однако в настоящем письме я обращаюсь к вам не с очередной идеей или открытием. Я бью тревогу!

В вашем журнале мне попало на глаза в целом

любопытное исследование о загадочных обстоятельствах, сопровождавших трагическую смерть царевича Димитрия. В ином случае я не стал бы обращаться на это исследование специального внимания, потому что не чувствую себя компетентным в этой области. Но неожиданная встреча в городе-курорте Ялте заставила меня изменить моим принципам.

Напоминаю, что в вашей статье говорилось, будто смерть юного царевича произошла от естественных причин (под таковой подразумевается ножик) и в том не было злого умысла со стороны тогдашнего правительства, возглавлявшегося Борисом Годуновым. То есть историческое высказывание А. С. Пушкина, указывающее на наличие умысла, опровергается с помощью привлеченных для этой цели документов следствия, которые якобы велись объективно.

Итак, находясь на отдыхе в городе-курорте Ялте и наслаждаясь природой и климатом, мне попался в руки журнал «Знание — сила» номер семь за текущий год. Я расслабился душой и телом, когда ко мне подошел незнакомый мне человек в белой сорочке-водолазке и брюках-джинс. Этот человек был немолод и имел бороду клиновидного типа.

Человек присел рядом со мной и обратился ко мне с незначашим вопросом о погоде и очереди в столовую, а затем разговор перешел на другие темы, и мой собеседник показал себя компетентным в истории России отдаленных эпох. Когда отношения между нами приняли характер приятельских, этот человек обратился ко мне с просьбой оказать ему финансовое содействие, так как ему задерживают высылку командировочных. Не обладая нужной суммой денег и не считая себя вправе делиться трудовой копеечкой с малознакомыми людьми, я спросил его, что же это за учреждение направляет человека к Черному морю и при этом не обеспечивает его содержанием.

Человек тогда заплакал и признался, что уже три дня ничего не ел. Увидев слезы на его глазах, я отвел человека в кафе на открытом воздухе, где купил ему тарелку супа и порцию шашлыка. Насытив свой аппетит, человек проникся ко мне благодарностью и потому рассказал удивительную историю своей жизни, которую подкрепил соответствующими документами и удостоверением личности.

Вкратце эта история заключается в следующем.

Известный в истории царь Иван Васильевич Грозный

однажды вызвал к себе своих ученых и техников, в том числе заграничного происхождения, и потребовал от них создания не чего иного, как машины времени. Оказывалось, в последние годы жизни царя мучили опасения — как его потомки воспримут память о нем. Для того чтобы быть уверенным, что ученые и техники все-таки изобретут нужную машину и не станут отговариваться низким уровнем современной им науки, Иван IV (Грозный) указал, что в случае неудачи их ждет смертная казнь. И все мольбы ученых и беспокойство их о том, как будет развиваться наука в случае их четвертования, Иван Грозный отверг как не имеющие принципиального значения.

В таких условиях ученые и техники были вынуждены изобрести машину времени, хотя к моменту завершения работы примерно 80% их поплатилось жизнью или убежало в Запорожскую Сечь.

Оставшихся в живых ученых, а также ряд дипломатов царь направил в будущее на полном казенном довольствии, снабдив документами и выписками из столбцов для того, чтобы они создавали благоприятное представление о деятельности этого монарха.

Однако результат этого начинания оказался сравнительно незначительным, так как ученые и дипломаты предпочитали не возвращаться за премиями и наградами, а оставались на месте командировки.

Со смертью Ивана Грозного деятельность дезинформаторов не прекратилась. Перемена правительства не влечет отказа от научных достижений. Борис Годунов захватил не только трон, но и идеи.

Мой собеседник приступил к работе уже после смерти Ивана Грозного, с воцарением Бориса Годунова. В его задачу входило убеждать потомков в том, что царь Борис не причастен к гибели царевича Димитрия. Для этой цели посланец Бориса Годунова получил диплом Архивного института, защитил кандидатскую диссертацию по знакомому ему периоду и теперь неустанно выступает на научных дискуссиях и в популярных журналах, обеливая жестокого монарха. Он был бы рад остаться у нас и преподавать в каком-нибудь техникуме, но привязанность к семье, детям, престарелым родителям, оставшимся заложниками в суровом XVII веке, заставляет его выполнять надоевшие и неприятные обязанности.

В Ялте лже-кандидат оказался ввиду того, что должен

был встретить там своего сообщника, доставляющего его командировочные и нужные (большей частью изготовленные в Пыточном приказе) документы, которые леже-кандидат «открывает» в наших архивах.

После удовлетворения голода мой случайный знакомый показал мне удостоверение личности, подписанное лично Борисом Годуновым, и под видом посещения туалета скрылся от меня.

Дорогая редакция, я ни в коем случае не намерен утверждать, что опубликованная вами статья принадлежит перу этого лазутчика. Однако чувствую своим долгом обратить ваше внимание на возможность подобных инцидентов в будущем. К сожалению, мне неизвестно имя этого человека. Не знаю я и где они скрывают машину времени.

На всякий случай сообщаю вам приметы агента царя Бориса Годунова. На вид он среднего возраста, скорее пожилого, нервный в манерах, в белой водолазке, в брюках-джинс и с бородой.

В случае, если кто-то отвечает этому описанию, берегитесь!

*С уважением, Николай Ложкин.
Пенсионер, г. Великий Гусляр.*

ЭДИСОН И ГРУБИН

Уважаемая редакция!

Не хочу быть назойливым, но обстоятельства заставляют меня беспокоить вас вновь. Считаю своим долгом сигнализировать о новом случае неправильного использования так называемой машины времени.

Мой сосед по дому и близкий знакомый Александр Евдокимович Грубин не имеет специального технического образования, но является талантливым изобретателем, о чем вам, возможно, уже сообщали. Разработанная им модель вечного двигателя работает без видимых причин уже третий месяц, а изобретенный А. Грубиным комбайн для сбора сирени пользуется заслуженной популярностью среди садоводов г. Великий Гусляр.

Последним увлечением Грубина стало решение проблемы путешествия во времени. Для этого он соорудил установку на основе списанной будки от телефона-автомата, двигателя от автомобиля ГАЗ-69 и других деталей. А. Грубин посвятил этому изобретению несколько месяцев

упорного труда, отказывая себе в выходных и праздничных днях.

Возможно, достижения А. Грубина были бы более внушительными, если бы не существование в нашем дворе молодого человека по имени Николай Гаврилов, учащегося речного техникума, шестнадцати лет. Этот Н. Гаврилов является обладателем проигрывателя и коллекции пластинок джазового содержания. Несмотря на воспитательные беседы с его родителями и лично с Н. Гавриловым, которые проводили я как представитель общественности и другие лица, Н. Гаврилов каждый вечер начиная с 18.00 часов и до полуночи проигрывает свои пластинки на полную громкость.

Ввиду того что мой друг А. Грубин по ходу изнурительного умственного труда был доведен до состояния нервного раздражения, он переживал необходимость слушать каждый вечер джазовые и эстрадные мелодии, которые мешали ему сосредоточиться. По врожденной деликатности А. Грубин ограничивался отдельными высказываниями в адрес Н. Гаврилова, полагая, что тот не более как жертва проигрывателя. «Если на стене в пьесе висит ружье, — говорил он, — то оно должно выстрелить в четвертом действии. Мы не можем винить курильщиков, потому что они лишь жертвы открытия Америки Колумбом, который привез оттуда табак. Если изобретен патефон, то кто-то должен стать его жертвой и слушать пластинки. Мы обязаны глядеть в корень. Скажи мне, кто изобрел патефон?»

На следующий день я довел до сведения А. Грубина, что, согласно научным источникам, изобретателем фонографа, то есть первобытного патефона, является американский изобретатель Томас А. Эдисон, прославившийся также другими открытиями. На это Грубин, пытаясь перекричать звуки музыки, ответил: «Вот он во всем и виноват!»

Я указал А. Грубину, что винить Т. Эдисона в поведении Н. Гаврилова неразумно. Но А. Грубин настаивал на своем и заявил: «Все равно, началось с Эдисона. Если нейтрализовать Эдисона, наступит тишина». В качестве аргумента я возразил А. Грубину следующим образом: «Александр, — сказал я. — Не думаешь ли ты, что если нейтрализовать Колумба, то прекратится курение?»

«Не думаю, — ответил мой друг, затыкаясь папиросой. — Это слишком рискованно. Я не имею права взять

на себя ответственность за судьбу миллионов жителей Соединенных Штатов и других стран этого континента. Куда они денутся, если Америка не будет открыта?»

И тогда я кинул опрометчивую фразу. «Эдисон, — сказал я, — не подвластен тебе, Александр, потому что он сделал свое дело и умер естественной смертью».

Грубин посмотрел на меня и удалился к себе в комнату.

По истечении трех дней после этого разговора я вышел на двор подышать воздухом. Стояла ветреная осенняя погода, и двор был усыпан желтыми и оранжевыми листьями, облетевшими с деревьев, гремела музыка.

— Я готов! — крикнул мне А. Грубин из своего окна.

— К чему готов? — спросил я.

— Навести порядок! — крикнул Грубин.

— Я тебя не понимаю, Александр! — крикнул я. — Ты завершил опытный образец?

— Завершил! — крикнул Грубин. — Ну, Эдисон, погоди!

После этого из комнаты донеслись гудение, звон и грохот. Когда я заглянул в комнату через окно, стекла в телефонной будке были выбиты, Грубина не было видно.

Дорогая редакция! Вот уже третий день, как Грубин не возвращается. Я глубоко убежден, что он проник в прошлое время и, весьма возможно, разыскивает Т. Эдисона, чтобы его нейтрализовать.

Дорогая редакция! Прошу вас срочно принять меры для возвращения А. Грубина в настоящее время и по охране здоровья и жизни покойного американского изобретателя Т. Эдисона. В данный момент я с тревогой прислушиваюсь к звукам музыки, доносящимся из окна Н. Гаврилова, опасаясь, что в любой момент времени они могут прерваться.

*С уважением и тревогой, Николай Ложкин,
натуралист-любитель, г. Великий Гусляр.*

От редакции: Публикуя без изменений письмо нашего постоянного читателя, мы считаем своим долгом напомнить, что первый звукозаписывающий аппарат «хрип-граф» был изобретен тифлисским изобретателем Автандилом Кикнадзе в конце XIX века. Именно американского изобретателя Т. Эдисона нам не удалось обнаружить ни в одном справочнике или энциклопедии.

ХРОНОФАГИ

Дорогая редакция!

Следя за новинками художественной литературы, я прочел одно произведение французского буржуазного писателя Андре Моруа. В нем встретились следующие знаменательные слова:

«Хронофаг — это чаще всего человек, который, не имея серьезных занятий и не зная, что делать с собственным временем, принимается пожирать ваше... С хронофагами надлежит быть суровым и безжалостно их уничтожать».

Должен признаться, что раньше я такого слова — хронофаг — не встречал, хотя как биолог-любитель знаком со многими терминами и научными выражениями. В словаре я нашел слово «хронометр», что означает «точные часы». Ну, а слово «фаг» известно каждому мало-мальски культурному человеку. Получилось в переводе выражение «времяжор».

И пришла мне в голову мысль, что мы наряду с пьянством еще не покончили с хронофагами. Мало того, даже выявлять их не умеем. А надо.

Потому, дорогая редакция, предлагаю вам плоды скромных трудов.

Я много думал, размышляя даже ночами. Потом ко мне пришло озарение, подобно яблоку с общеизвестной яблони. Ведь мистики не существует. Даже телепатии со временем обнаружат, когда найдутся подходящие приборы. Значит, для хронофагов тоже нужно найти подходящий прибор. А где, спрашивается, должны оставлять свои следы хронофаги? Полагаю, что они больше всего наследили во времени. А каким образом мы измеряем время? Часами.

Для проведения опыта я приобрел два экземпляра часов-будильников и поставил один в комнате для проведения опыта, а второй, контрольный, — в соседней. Затем позвал я к себе гражданина Ф., который часто проводил со мной совершенно бесполезные беседы на пустые темы. Гражданин Ф., как я и ожидал, немедленно откликнулся на мое приглашение и проследовал вслед за мной в мою квартиру. В тот момент, когда мы проходили через внешнюю комнату, я обратил внимание на то, что будильник в ней (контрольный прибор) показывал 15 час.46 мин. Будильник в задней комнате (основной прибор) показывал тоже 15 час.46 мин.

Для звукового контроля оба будильника были поставлены в положение «звонок» на 16 час.00 мин.

Последующие четырнадцать минут я провел в волнении и плохо слушал, о чем говорит мой гость. Точно в 16.00 зазвонил будильник в нашей комнате. Звонок контрольного будильника прозвенел с запозданием на минуту.

Эксперимент № 2 был проведен мною с тем же объектом, однако условия эксперимента были усложнены. Помимо двух будильников, в нем участвовали мои наручные часы, а также должны были участвовать часы «хронофага-1», так я далее буду условно именовать гражданина Ф. Крайне порадовав гражданина Ф. (и крайне огорчив мою супругу) новым приглашением, я поставил с возможной точностью оба будильника и мои часы, а затем под благовидным предлогом попросил «хронофага-1» показать мне его наручные часы. На что последовал ответ, который меня очень заинтересовал.

— Не пошу, — ответил «хронофаг-1», — то спешат, то отстают. Я вообще часов не наблюдаю.

После этого гражданин Ф. пустился в длительные рассуждения о низком качестве отечественных часов и своих планах раздобыть где-нибудь часы импортные, желательно японские либо швейцарские фирмы «Омега».

«Не надейся, голубчик, — мысленно произнес я. — Тебе и швейцарские часы откажут время показывать».

На этот раз я позволил нашей бесцельной беседе продолжаться более часа, и результат превзошел все мои ожидания. Полагаю, что покойный физик Эйнштейн искренне порадовался бы вместе со мной, насколько все в мире относительно. Будильник в моей комнате зазвонил с опережением в восемь минут по сравнению с контрольным будильником. Что касается моих наручных часов, то они убежали за этот час почти на пятнадцать минут. Разницу в показаниях будильника и моих наручных часов я отношу на счет того, что мои часы находились в непосредственной близости от хронофага и потому подверглись сильному воздействию его хроножорного поля.

Мне удалось выявить суперхроножора гражданина Бз., «хронофага-2», что явилось результатом моей настойчивой деятельности по выявлению хронофагов.

В течение года я посетил ряд организаций и частных квартир, в которых побывал гражданин Бз., и я могу с полной уверенностью утверждать, что, по неполным дан-

ным, этот хроножор уничтожил за год более 2367 часов чужого времени.

Несмотря на преданность науке, я не посмел пригласить к себе хроножора Бз. и ограничился беседой с его бывшей женой.

— Скажите, Марья Степановна, — спросил я ее, — не приходилось ли вам наблюдать дома в прошлом каких-либо инцидентов, связанных с неправильным поведением часов? Может быть, они часто спешили либо отставали?

— И не говорите! — воскликнула истица к моему научному удивлению. — Ломались, как пустые яйца. Все больше спешили. А однажды я удивительную вещь видела. Он сидит, пишет что-то, бормочет и все при этом ко мне обращается. А я гляжу на часы и вижу, как стрелка часов довольно быстро по кругу идет. Вроде бы он минут пять бормотал, а стрелка часовой круг обошла. Но это уж я отношу к своей напряженной психике.

Я не стал разубеждать добрую женщину. Но следующую историю, также рассказанную ею, отношу к области ее воображения. По словам Марии Степановны, она видела, как во время празднования дня рождения ее тети, на котором присутствовал и хроножор, настольные часы, стоявшие на буфете, сделали попытку покинуть помещение в самый разгар длительной речи гражданина Бз. Для этой цели они якобы упали с буфета на пол и поползли к выходу из комнаты.

Передается ли хронофагия (хроножория) по наследству, пока неизвестно. Малолетний сын гражданина Ф., хронофага-1, в возрасте четырех лет сжевал будильник, к счастью, без вреда для здоровья. Я подозреваю, что это происшествие — тревожный симптом, и прошу наладить медицинское наблюдение за ребенком, для чего прислать из области хронометриста.

Полагаю, в будущем удивительные способности хронофагов можно будет использовать для развития теории отнесенности.

Вопрос уничтожения хронофагов оставляю пока открытым, так как среди них встречаются люди, не осознающие своей опасности для окружающих.

*С уважением, Николай Ложкин,
натуралист-любитель, г. Великий Гусляр.*

1972 — 1974 гг.

ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК ФАКИРА

События, впоследствии смутившие мирную жизнь города Великий Гусляр, начались, как и положено, буднично.

Автобус, шедший в Великий Гусляр от станции Лысый Бор, находился в пути уже полтора часа. Он миновал богатое рыбой озеро Копенгаген, проехал дом отдыха лесных работников, пронесся мимо небольшого потухшего вулкана. Вот-вот должен был открыться за поворотом характерный силуэт старинного города, как автобус затормозил, съехал к обочине и замер, чуть накренившись, под сенью могучих сосен и елей.

В автобусе люди просыпались, тревожились, будили утреннюю прохладу удивленными голосами:

— Что случилось? — спрашивали они друг у друга и у шофера. — Почему встали? Может, поломка? Неужели авария?

Дремавший у окна молодой человек приятной наружности с небольшими черными усиками над полной верхней губой также раскрыл глаза и несколько удивился, увидев, что еловая лапа залезла в открытое окно автобуса и практически уперлась ему в лицо.

— Вылезай! — донесся до молодого человека скучный голос водителя. — Загорать будем. Говорил же я им, куда мне на линию без домкрата? Обязательно прокол будет. А мне механик свое: не будет сегодня прокола, а у домкрата все равно резьба сошла!..

Молодой человек представил себе домкрат с намертво стертой резьбой и поморщился: у него было сильно развито воображение. Он поднялся и вышел из автобуса.

Шофер, окруженный пассажирами, стоял на земле и рассматривал заднее колесо словно картину Рембрандта. Мирно шумел лес. Покачивали гордыми вершинами деревья. Дорога была пустынна. Лето уже вступило в свои

права. В кювете цвели одуванчики, и кареглазая девушка в костюме джерси и голубом платочке, присев на пенечек, уже плела венок из желтых цветов.

— Или ждать, или в город идти, — сказал шофер.

— Может, мимо кто проедет? — выразил надежду невысокий плотный белобрысый мужчина с редкими блестящими волосами, еле закрывающими лысину. — Если проедет, мы из города помощь пришлем.

Говорил он авторитетно, но с некоторой поспешностью в голосе, что свидетельствовало о мягкости и суетливости характера. Его лицо показалось молодому человеку знакомым, да и сам мужчина, закончив беседу с шофером, обернулся к нему и спросил прямо:

— Вот я к вам присматриваюсь с самой станции, а не могу определить. Вы в Гусляр едете?

— Разумеется, — ответил молодой человек. — А разве эта дорога еще куда-нибудь ведет?

— Нет, далее она не ведет, если не считать проселочных путей к соседним деревням, — ответил плотный блондин.

— Значит, я еду в Гусляр, — сказал молодой человек, большой сторонник формальной логики в речи и поступках.

— И надолго?

— В отпуск, — сказал молодой человек. — Мне ваше лицо также знакомо.

— А на какой улице в Великом Гусляре вы собираетесь остановиться?

— На своей, — сказал молодой человек, показав в улыбке ровные белые зубы, которые особенно ярко выделялись на смуглом, загорелом и несколько изможденном лице.

— А точнее?

— На Пушкинской.

— Вот видите, — обрадовался плотный мужчина и наклонил голову так, что луч солнца отразился от его лысинки, попал в глаз девушке, создававшей венок из одуванчиков, и девушка зажмурилась. — А я что говорил?

Он радовался, как следователь, получивший при допросе упрямого свидетеля очень важные показания.

— А в каком доме вы остановитесь?

— В нашем, — сказал молодой человек, отходя к группе людей, изучавших сплюснутую шину.

— В шестнадцатом?

— В шестнадцатом.

— Я так и думал. Вы будете Георгий Боровков, Ложкин по матери.

— Он самый, — ответил молодой человек.

— А я — Корнелий Удалов, — сказал плотный блондин. — Помните ли вы меня — я вас в детстве качал на колене?

— Помню, — сказал молодой человек. — Ясно помню. И я у вас с колена упал. Вот шрам на переносице.

— Ох! — безмерно обрадовался Корнелий Удалов. — Какая встреча. И неужели ты, сорванец, все эти годы о том падении помнил?

— Еще бы, — сказал Георгий Боровков. — Меня из-за этого почти незаметного шрама не хотели брать в лесную академию раджа-йога гуру Кумарасвами, ибо это есть физический недостаток, свидетельствующий о некотором неблагодарности богов по отношению к моему сосуду скорби.

— К кому? — спросил Удалов в смятении.

— К моему смертному телу, к оболочке, в которой якобы спрятана нетленная идеалистическая сущность.

— Ага, — сказал Удалов и решил больше в этот вопрос не углубляться. — И надолго к нам?

— На месяц или меньше, — сказал молодой человек. — Как дела повернутся. Может, вызовут обратно в Москву... А с колесом-то плохо дело. Запаска есть?

— Без тебя вижу, — ответил шофер, с некоторым презрением глядя на синий костюм, на импортный галстук, повязанный, несмотря на утреннее время и будний день, и на весь изысканный облик молодого человека.

— Запаска есть, спрашивают? — вмешался Удалов. — Или тоже на базе оставил?

— Запаска есть, а на что она без домкрата?

— Ни к чему она без домкрата, — подтвердил Удалов и спросил у Боровкова: — А ты за границей был?

— Стажировался, — сказал Боровков. — В порядке научного обмена. Надо будет автобус приподнять, а вы тем временем подмените колесо. Становится жарко, а люди спешат в город.

— Ну и подними, — буркнул шофер.

— Подниму, — сказал Боровков. — Только прошу вас не терять времени даром.

— Давай, давай, шофер, — сказала ветхая бабушка из толпы пассажиров. — Человек тебе помощь предлагает.

— И она туда же! — сказал шофер. — Вот ты, бабка, с ним на пару автобус и подымай.

Но Боровков буднично снял пиджак, передал его Удалову и обернулся к шоферу с видом человека, который уже собрался работать, а рабочее место оказалось ему не подготовлено.

— Ну, — сказал он стальным голосом.

Шофер не посмел противоречить такому голосу и поспешил за запаской.

— Расступитесь, — строго сказал Удалов. — Разве не видите?

Пассажиры немного подались назад. Шофер с усилием подкатил колесо и брякнул на гравий разводной ключ.

— Отвинчивайте, — сказал Боровков.

Шофер медленно отвинчивал болты, и его губы складывались в ругательное слово, но присутствие пассажиров удерживало.

Удалов стоял в виде вешалки, держа пиджак Боровкова на согнутом мизинце, и спиной оттеснял тех, кто норовил приблизиться.

— А теперь, — сказал Боровков, — я приподниму автобус, а вы меняйте колесо.

Он провел руками под корпусом автобуса, разыскивая место, где можно взяться понадежнее, затем вцепился в это место тонкими смуглыми пальцами и без натуги приподнял машину. Автобус наклонился вперед, будто ему надо было что-то разглядеть внизу перед собой, и вид у него стал глупый, потому что автобусам так стоять не положено.

В толпе ахнули, и все отошли подальше. Только Корнелий Удалов как причастный к событию остался вблизи.

Шофер был настолько поражен, что мгновенно снял колесо, ни слова не говоря подкатил другое и начал надевать его на положенное место.

— Тебе не тяжело? — спросил Удалов Боровкова.

— Нет, — ответил тот просто.

И Удалов с уважением оглядел племянника своего соседа по дому, дивясь его внешней субличности. Но тот держал машину так легко, что Удалову подумалось, что, может, автобус и впрямь не такой уж тяжелый, а это лишь сплошная видимость.

— Все, — сказал шофер, вытирая со лба пот. — Опустайся.

И Боровков осторожно поставил задние колеса автобуса наземь.

Он даже не вспотел и ничем не показывал усталости. В толпе пассажиров кто-то захлопал в ладоши, а кареглазая девушка, которая кончила плести венок из одуванчиков, подошла к Боровкову и надела венок ему на голову. Боровков не возражал, а Удалов заметил:

— Размер маловат.

— В самый раз, — возразила девушка. — Я будто заранее знала, что он пригодится.

— Пиджачок извольте, — сказал Удалов, но Боровков засмутился, отверг помощь Корнелия Ивановича, сам натянул пиджак, одарил девушку белозубой улыбкой и, почесав свои черные усики, поднялся в автобус на свое место.

Шофер мрачно молчал, потому что не знал, объяснить ли на базе, как автобус голыми руками поднимал незнакомый молодой человек, или правдивее будет сказать, что выпросил домкрат у проезжего МАЗа. А Удалов сидел на два сиденья впереди Боровкова и всю дорогу до города оборачивался, улыбался молодому человеку, подмигивал и уже на въезде в город не выдержал и спросил:

— Ты штангой занимался?

— Нет, — скромно ответил Боровков. — Это неиспользованные резервы тела.

По Пушкинской они до самого дома шли вместе. Удалов лучше поговорил бы с Боровковым о дальних странах и местах, но Боровков сам все задавал вопросы о родственниках и знакомых. Удалову хотелось вставить что-нибудь серьезное, чтобы и себя показать в выгодном свете: он заикнулся было о том, что в Гусляре побывали пришельцы из космоса, но Боровков ответил:

— Я этим не интересуюсь.

— А как же, — спросил тогда Удалов, — загадочные строения древности, в том числе пирамида Хеопса и Баальбекская веранда?

— Все веранды — дело рук человека, — отрезал Боровков. — Иного пути нет. Человек — это звучит гордо.

— Горький, — подсказал Удалов. — «Старуха Изергиль».

Он все поглядывал на два боровковских заграничных чемодана с личными вещами и подарками для родственников

ков: если бы он не видел физических достижений соседа, наверняка предложил бы свою помощь, но теперь предлагать было — все равно что над собой насмехаться.

Вечером Николай Ложкин, боровковский дядя по материнной линии, заглянул к Удалову и пригласил его вместе с женой Ксенией провести вечер в приятной компании по поводу приезда в отпуск племянника Георгия. Ксения, которая уже была наслышана от Удалова о способностях молодого человека, собралась так быстро, что они через пять минут уже находились в ложкинской столовой, бывшей заодно и кабинетом: там располагались аквариумы, клетки с певчими птицами и книжные полки.

За столом собрался узкий круг друзей и соседей Ложкиных. Старуха Ложкина расщедрилась по этому случаю настойкой, которую берегла к октябрьским, потому что — а это и сказал в своей застольной речи сам Ложкин — молодые люди редко вспоминают о стариках, ибо живут своей, занятой и посторонней жизнью, и в этом свете знаменательно возвращение Гарика, то есть Георгия, к своим дяде и тете, когда он мог выбрать любой санаторий или дом отдыха на кавказском берегу или на Золотых песках.

Все аплодировали, а потом Удалов тоже произнес тост. Он сказал:

— Наша молодежь разлетается из родного гнезда, кто куда, как перелетные птицы. У меня вот тоже подрастают Максимка и дочка. Тоже оперятся и улетят. Туда им и дорога. Широкая дорога открыта нашим перелетным птицам. Но если уж они залетят обратно, то мы просто поражаемся, какими сильными и здоровыми мы их воспитали.

И он показал пальцем на смущенного и скромно сидящего во главе стола Георгия Боровкова.

— Так поднимем же этот тост, — закончил свою речь Корнелий, — за нашего родного богатыря, который сегодня на моих глазах вознес автобус с пассажирами и держал его в руках до тех пор, пока не был завершен текущий ремонт. Ура!

Многие ничего не поняли, кто понял — не поверили, а сам Боровков попросил слова:

— Конечно, мне лестно. Однако я должен внести уточнения. Во-первых, я автобус на руки не брал, а только приподнял его, что при определенной тренировке может сделать каждый. Во-вторых, в автобусе не было пассажи-

ров, поскольку они стояли в стороне, так как я не стал бы рисковать человеческим здоровьем.

Соседям и родственникам приятно было смотреть на недавнего подростка, который бегал по двору и купался в реке, а теперь, по получении образования и заграничной командировки, не потеряв скромности, вернулся в родные пенаты.

— И по какой специальности ты там стажировался? — спросил усатый Грубин, сосед снизу, когда принялись за чай с пирогом.

— Мне, — ответил Боровков, — в дружественной Индии была предоставлена возможность пробыть два года на обучении у одного известного факира, отшельника и йога — гуру Кумарасвами.

— Ну и как ты там? Показал себя?

— Я старался, — скромно ответил Гарик, — не уронить достоинства.

— Не скромничай, — вставил Кориелий Удалов. — Небось, был самым выдающимся среди учеников?

— Нет, были и более выдающиеся, — сказал Боровков. — Хотя гуру иногда называл меня своим любимым учеником. Может, потому, что у меня неплохое общее образование.

— А как там с питанием? — поинтересовалась Ксения Удалова.

— Мы питались молоком и овощами. Я с тех пор не потребляю мяса.

— Это правильно, — сказала Ксения, — я тоже не потребляю мяса. Для диеты.

Боровков вежливо промолчал и потом обернулся к Удалову, который задал ему следующий вопрос:

— Вот у нас в прессе дискуссия была, хорошо это — йоги или мистика?

— Мистики на свете не существует, — ответил Боровков. — Весь вопрос в мобилизации ресурсов человеческого тела. Опасно, когда этим занимаются шарлатаны и невежды. Но глубокие корни народной мудрости, имеющие начало в Ригведе, требуют углубленного изучения.

И после этого Гарик с выражением прочитал на древнем индийском языке несколько строф из поэмы «Махабхарата».

— А на голове ты стоять умеешь? — спросил неугомонный Корнелий.

— А как же? — даже удивился Гарик и тут же, легонько опершись ладонями о край стола, подкинул вверх ноги, встал на голову, уперев подошвы в потолок и дальнейшую беседу со своими ближними вел в таком вот, неудобном для простого человека, положении.

— Ну это все понятно, это мы читали, — сказал Грубин, глядя на Боровкова наискосок. — А какая польза от твоих знаний для народного хозяйства?

— Этот вопрос мы сейчас исследуем, — ответил Боровков, сложил губы трубочкой и отпил из своей чашки без помощи рук. Потом отпустил одну руку, протянулся к вазончику с черешней и взял ягоду. — Возможности открываются значительные. Маленький пример, который я продемонстрировал сегодня на глазах товарища Корнелия Ивановича, тому доказательство. Каждый может внутренне мобилизоваться и сделать то, что считается не под силу человеку.

— Это он о том, как автобус поднял, — напомнил Удалов, и все согласно закивали головами.

— Ты бы перевернулся, Гарик, и сел, — сказала старуха Ложкина. — Кровь в голову прильет.

— Спасибо, я постою, — сказал Гарик.

Общая беседа продолжалась, и постепенно все привыкли к тому, что Боровков пребывает в иной, чем остальные, позе. Он рассказывал о социальных контрастах в Индии, о тамошней жизни, о культурных памятниках, о гипнозе, хатха-йоге и раджа-йоге. И разошлись гости поздно, очень довольные.

А на следующее утро Боровков вышел на двор погулять уже в ковбойке и джинсах и оттого казался своим, гусларским. Удалов, собираясь на службу, выглянул из окна, увидел, как Боровков делает движения руками, и вышел.

— Доброе утро, Гарик, — сказал он, присев на лавочку. — Что делаешь?

— Доброе утро, — ответил Боровков, — тренирую мысль и пальцы. Нужно все время тренироваться, как исполнитель на музыкальных инструментах, иначе мышцы потеряют форму.

— Это правильно, — согласился Удалов. — Я тебя вот о чем хотел спросить: мне приходилось читать, что некоторые факиры в Индии умеют укрощать диких кобр звуками мелодии на дудке. Как ты на основании своего опыта полагаешь, они это в самом деле или обманывают?

Наверное, он мог бы придумать вопрос получше, поумнее, но спросить чего-нибудь хотелось, вот и сказал первое, что на ум пришло. И не спроси он про змей, может, все бы и обошлось.

— Есть мнение, что кобры в самом деле гипнотизируются звуком музыки, — ответил с готовностью Боровков. — Но у них чаще всего вырывают ядовитые зубы.

— Не приходилось мне кобру видеть, — сказал Удалов, заглаживая белесые волоски на лысину. — Она внушительного размера?

— Да вот такая, — сказал Боровков и наморщил лоб. Он помолчал с полминуты или минуту, а потом Удалов увидел, как на песочке, в метре от них появилась свернутая в кольцо большая змея.

Змея развернулась и подняла голову, раздувая шею, а Удалов подобрал ноги на скамью и поинтересовался:

— А не укусит?

— Нет, Корнелий Иванович, — сказал молодой человек. — Змея воображаемая. Я же вчера рассказывал.

Кобра тем временем подползла ближе. Боровков извлек из кармана джинсов небольшую дудочку, приставил к губам и воспроизвел на ней незнакомую простую мелодию, отчего змея прекратила ползание, повыше подняла голову и начала раскачиваться в такт музыке.

— И это тоже мне кажется? — спросил Удалов.

Боровков, не переставая играть, кивнул. Но тут пошла с авоськой через двор гражданка Гаврилова из соседнего флигеля.

— Змея! — закричала она страшным голосом и бросилась бежать.

Змея испугалась ее крика и поползла к кустам сирени, чтобы в них спрятаться.

— Ты ее исчезни, — сказал Удалов Боровкову, не спуская ног.

Тот согласился, отнял от губ дудочку, провел ею в воздухе, змея растаяла и вся уже скрылась, но Удалов не мог сказать, вообще она исчезла или в кустах.

— Неудобно получилось, — сказал Гарик, почесывая ушки. — Женщину испугали.

— Да. Неловко. Но ведь это видимость?

— Видимость, — согласился Боровков. — Хотите, Корнелий Иванович, я вас провожу немного? А сам по городу прогуляюсь.

— Правильно, — сказал Удалов. — Я только портфель возьму.

Они пошли рядышком по утренним улицам, Удалов задавал вопросы, а Гарик с готовностью отвечал.

— А этот гипноз на многих людей действует?

— Почти на всех.

— А если много людей?

— Тоже действует. Я же рассказывал.

— Послушай, — пришла неожиданная мысль в голову Удалову. — А с автобусом там тоже гипноз был?

— Ну что вы! — сказал Гарик. — Колесо же поменяли.

— Правильно, колесо поменяли.

Удалов задумался.

— Скажи, Гарик, — спросил он. — А эту видимость использовать можно?

— Как?

— Ну, допустим, в военных условиях, с целью маскировки. Ты внушаешь фашистам, что перед ними непроходимая река, они и отступают. А на самом деле перед ними мирный город.

— Теоретически возможно, но только чтобы фашистов загипнотизировать, надо обязательно к ним приблизиться...

— Другое предложение сделаю: в театре. Видимый эффект. Ты гипнотизируешь зрителей, и им кажется, что буря на сцене самая настоящая, даже дождь идет. Все как будто мокрые сидят.

— Это можно, — согласился Боровков.

— Или еще. — Тут уж Удалов ближе подошел к производственным проблемам. — Мне дом сдавать надо, а у меня недоделки. Подходит приемочная комиссия, а ты их для меня гипнотизируешь, и кажется им, что дом — ну просто импортный.

— Дом — это много. Большой формат, — сказал любимый ученик факира. — Мой учитель когда-то смог воссоздать Тадж-Махал, великий памятник прошлого Индии. Но это было дикое напряжение ума и души. Он до сих пор не совсем пришел в себя. А нам, ученикам, можно материализовать вещи не больше метра в диаметре.

— Любопытно, — с сомнением сказал Удалов. — Но я пошутил. Я никого в заблуждение вводить не намерен. Это мы оставим для очковтирателей.

— А я бы, — мягко поддержал его Боровков, — даже

при всем к вам уважении, помощь в таком деле не хотел бы оказывать.

И тут по дороге имел место еще один инцидент, который укрепил веру Удалова в способности Гарика.

Навстречу им шел ребенок, весь в слезах и соплях, который громко горевал по поводу утерянного мяча.

— Какой у тебя был мяч, мальчик? — спросил Боровков.

— Си-и-ний! — И ребенок заплакал пуще прежнего.

— Такой? — спросил Боровков и, к удивлению мальчика, а также и Удалова, тут же создал синий мяч среднего размера: мяч подпрыгнул и подкатился мальчику под ноги.

— Не то-от, — заплакал мальчик еще громче. — Мой был большой!

— Большой? — ничуть не растерялся Боровков. — Будет большой.

И тут же в воздухе возник шар размером с десятикилограммовый арбуз. Шар повисел немного и лениво упал на землю.

— Такой? — спросил Боровков ласковым голосом, потому что он любил детей.

А Удалов уловил в сообразительных глазенках ребенка лукавство: глазенки сразу просохли — мальчик решил использовать волшебника.

— Мой был больше! — завопил он. — Мой был с золотыми звездочками. Мой был как дом!

— Я постараюсь, — сказал виновато Боровков. — Но мои возможности ограничены.

— Врет мальчонка, — сказал Удалов убежденно. — Таких мячей у нас в универмаге никогда не было. Если бы были, знаешь, какая бы очередь стояла? Таких промышленность не выпускает.

— А мне папа из Москвы привез, — сказал ребенок трезвым голосом дельца. — Там такие продаются.

— Нет, — сказал Удалов. — ГОСТ не позволяет такие большие мячи делать и таких импортных не завозят. Можно кого-нибудь зашибить невзначай.

— Вы так думаете? — спросил Боровков. — Я, знаете, два года был оторван...

— Отдай мой мяч! — скомандовал ребенок.

Боровков очень сильно нахмурился, и рядом с мальчиком возник шар даже больше метра в диаметре. Он был синий и переливался золотыми звездочками.

— Такой подойдет? — спросил Боровков.

— Такой? — Мальчик смерил мяч взглядом и сказал не очень уверенно: — А мой был больше. И на нем звезд было больше...

— Пойдем, Гарик, — возмутился Удалов. — Сними с него гипноз. Пусть останется без мячей.

— Не надо, — сказал Боровков, с укоризной посмотрел на мальчика, пытавшегося обхватить мячи, и пошел вслед за Удаловым.

— А вот и мой объект, — сказал Корнелий. — Как, нравится?

Боровков ответил не сразу. Дом, созданный конторой, которой руководил Корнелий Удалов, был далеко не самым красивым в городе. И, наверное, Гарику Боровкову приходилось видеть тщательнее построенные дома как в Бомбее и Дели, так в Париже и Москве. Но он был вежлив и потому только вздохнул, а Удалов сказал:

— Поставщики замучали. Некачественный материал давали. Ну что с ними поделаешь?

— Да, да, конечно, — согласился Боровков.

— Зайдем? — спросил Удалов.

— Зачем?

— Интерьером полюбуйтесь. Сейчас как раз комиссия придет, сдавать дом будем.

Боровков не посмел отказаться и последовал за хитрым Корнелием Ивановичем, который, конечно, решил использовать его талант в одном сложном деле.

— Погляди, — сказал он молодому человеку, вводя его в совмещенный санузел квартиры на первом этаже. — Как здесь люди жить будут?

Боровков огляделся. Санузел был похож на настоящий. Все в нем было: и умывальник, и унитаз, и ванная, и кафельная плитка, хоть и неровно положенная.

— Чего не хватает? — спросил Удалов.

— Как не хватает?

— Кранов не хватает, эх ты, голова! — подсказал Удалов. — Обманули нас поставщики. Заявку, говорят, вовремя не представил. А сейчас комиссия придет. И кто пострадает? Пострадает твой сосед и почти родственник Корнелий Удалов. На него всех собак повесят.

— Жаль, — с чувством сказал Боровков. — Но ведь еще больше пострадают те, кто здесь будет жить.

— Им не так печально, — вздохнул Корнелий Ивано-

вич. — Им в конце концов все поставят. И краны, и шпингалеты. Они напишут, поскандальят, и поставят им краны. А вот меня уже ничто не спасет. Дом комиссия не примет — и прощай премия! Не о себе пекусь, а о моих сотрудниках, вот о тех же, например, плиточниках, которые себя не щадя, стремились закончить строительство к сроку.

Боровков молчал, видимо, более сочувствуя жильцам дома, чем Удалову. А Удалов ощущал внутреннее родство с мальчиком, который выпросил у Боровкова мячи. Внешне он лил слезы и метался, но изнутри в нем радовалось ожидание, потому что Боровков был человек мягкий и оттого обреченный на капитуляцию.

— Скажи, а для чистого опыта ты бы смог изобразить водопроводный кран? — спросил Удалов.

— Зачем это? — ответил вопросом Боровков. — Обманывать ведь никого нельзя. Разве для шутки?

Он глубоко вздохнул, как человек, который делает что-то помимо своей воли, и в том месте, где положено быть крану, возник медный кран в форме рыбки с открытым ртом. Видно, такие краны Боровков видел в Индии.

— Нет, — сказал Удалов, совсем как тот мальчик. — Кран не такой. Наши краны попроще, без финтифлюшек. Как у твоего дяди. Помнишь?

Боровков убрал образ изысканного крана и на его месте посадил стандартный образ.

Удалов подошел к крану поближе и, опасаясь даже тронуть его пальцем, пристально проверил, прикреплен ли кран к соответствующей трубе. Как он и опасался, кран прикреплен не был, и любой член комиссии углядел бы это сразу.

— Нет, ты посмотри вот сюда, — сказал Удалов возмущенным голосом. — Разве так краны делают? Халтурщик ты, Гарик, честное слово. Как вода из него пойдет, если он к трубе не присоединен?

Боровков даже оскорбился:

— Как так вода не пойдет? — И тут же из крана, ни к чему не присоединенного, разбрызгиваясь по раковине, хлынула вода.

— Стой! — крикнул Удалов. — Она же еще не подключена! Дом с сетью не соединен. Ты что, меня под монастырь хочешь подвести?

— Я могу и горячую пустить! — азартно сказал Гарик, и вода помутнела, и от нее пошел пар.

— Брось свои гипнотизерские штучки, — строго сказал Удалов. — Я тебе как старший товарищ говорю. Закрой воду и оставь кран в покое.

И тут в квартиру ворвался молодой человек, весь в штукатурке и в сложенной из газеты шляпе, похожей на треуголку полководца Наполеона.

— Идут! — крикнул он сдавленным голосом. — Что будет, что будет!

— Гарик! — приказал Удалов. — За мной. Поздно рассуждать. Спасать надо.

И они пошли навстречу комиссии.

Комиссия стояла перед домом на площадке, где благоустройство еще не было завершено, и рассматривала объект снаружи. Удалов вышел навстречу как радушный хозяин. Председатель комиссии, Иван Андреевич, человек давно ему знакомый, вредный, придирчивый и вообще непреклонный, протянул Корнелию руку и произнес:

— Плохо строишь. Неаккуратно.

— Это как сказать, — осторожно возразил Удалов, пожимая руку. — Как сказать. Вот Екатерина из райисполкома... — он запнулся и тотчас поправился, — то есть представитель, Екатерина Павловна, в курсе наших временных затруднений. — И он наморщил лоб, изображая работу мысли.

— Ты всех в комиссии знаешь, — сказал председатель. — Может, только с Ветлугиной не встречался.

И он показал Удалову на кареглазую девушку в костюме джерси, ту самую, которая у автобуса сплела венок из одуванчиков и возложила его на голову Боровкову. У девушки была мужественная профессия сантехника. Боровков тоже ее узнал и покраснел, и девушка слегка покраснела, потому что теперь она была при исполнении служебных обязанностей и не хотела, чтобы ей напоминали о романтических движениях души.

Она только спросила Гарика:

— Вы тоже строитель?

И тот ответил:

— Нет, меня товарищ Удалов пригласил осмотреть дом.

— Ну, — Удалов приподнялся на цыпочки, чтобы дотянуться до уха Боровкова, — или ты спасешь, или мне — сам понимаешь...

Боровков вновь вздохнул, поглядел на кареглазую Вет-

лугину, потрогал усики и послушно последовал за нею внутрь дома. Удалов решил не отставать от них ни на шаг. Что там другие члены комиссии, если главная опасность — сантехник!

Они начали с квартиры, в которой Боровков уже пускал воду. Кран был на месте, но не присоединен к трубе.

Девушка опытным взглядом специалиста оценила блеск и чистоту исполнения крана, но тут же подозрительно взглянула в его основание. Удалов ахнул. Боровков понял. Тут же от крана протянулась труба, и сантехник Ветлугина удивленно приподняла брови, похожие на перевернутых чашек, как их рисуют в детском саду. Но придраться было не к чему, и Ветлугина перешла на кухню. Удалов щипнул Боровкова, и Гарик, не отрывая взгляда от Ветлугиной, сотворил кран и там.

Так они и переходили из квартиры в квартиру, и везде Боровков гипнотизировал Ветлугину блистающими кранами, а Удалов боялся, что ей захочется проверить, хорошо ли краны действуют, ибо когда ее пальчики провалятся сквозь несуществующие металлические части, получится великий скандал.

Но обошлось. Спас Боровков. Ветлугина слишком часто поднимала к нему свой взор, а Боровков слишком часто искал ее взгляд, так что в качестве члена комиссии Ветлугина была почти нейтрализована.

Они вышли, наконец, на лестничную площадку последнего этажа и остановились.

— У тебя, Ветлугина, все в порядке? — спросил Иван Андреевич.

— Почти, — ответила девушка, глядя на Гарика.

«Пронесло, — подумал Удалов. — Замутили мы с Боровковым ее взор!»

— А почему почти? — спросил Иван Андреевич.

— Кранов нет, — сказала девушка. Эти слова прогрехотали для Удалова, как зловещий гром, и в нем вдруг вскипела ненависть. Тысячи людей по науке поддаются гипнозу, а она, ведьма, не желает поддаваться!..

— Как нет кранов! — зашпешил с опровержением Удалов. — Вы же видали. Все видали! И члены комиссии видали, и лично Иван Андреевич.

— Это лишь одна фикция и видимость материализации, — грустно ответила девушка. — И я знаю, чьих рук это дело.

Она глядела на Боровкова замороженным взглядом, а тот молчал.

— Я знаю, что вот этот товарищ, — продолжала коварная девушка, не сводя с Гарика глаз, — находился в Индии по научному обмену и научился там гипнозу и факирским фокусам. При мне еще вчера он сделал вид, что поднимает автобус за задние колеса, а это он нас загипнотизировал. И моя бабушка была в гостях у Ложкиных, и там всем казалось, что он целый вечер стоял на голове. И пил чай...

А Боровков молчал.

«Ну вот теперь и ты в ней разочаруешься за свой позор!» — подумал с надеждой Удалов. Им овладело мстительное чувство: он уже погиб, и пускай теперь гибнет весь мир, — как, примерно, рассуждали французские короли эпохи абсолютизма.

— Пошли, — сказал сурово Иван Андреевич. — Пошли заново, очковтиратель. Были у меня подозрения, что по тебе ОБХСС плачет, а теперь они, наконец, материализовались.

Боровков молчал.

— А этого юношу, — продолжал Иван Андреевич, — который за рубежом нахватался чуждых для нас веяний, мы тоже призовем к порядку... Выйдите на улицу, — сказал он Боровкову. — И не надейтесь в дом заглядывать!..

— Правильно, — пролепетала коварная Ветлугина. — А то он снова нас всех загипнотизирует.

— Может, и дома не существует? Надо проверить, — сказал Иван Андреевич.

— Нет, — сказала Екатерина из райисполкома. — Дом и раньше стоял, его у нас на глазах строили. А этот молодой человек только вчера к нам явился.

Гусляр — город небольшой, и новости в нем распространяются почти мгновенно.

Удалов шел в хвосте комиссии. Он чувствовал себя обреченным. Завязывалась неприятность всерайонного масштаба. И он подумал, что в его возрасте не поздно начать новую жизнь и устроиться штукатуром, с чего Удалов когда-то и начал свой путь к руководящей работе. Но вот жена!..

— Показывайте ваши воображаемые краны, — сказал Иван Андреевич, входя в квартиру.

В санузел Удалов не пошел, остался в комнате, выгля-

нул в окно. Внизу Боровков задумчиво писал что-то веткой по песку. «И зачем я только вытянул его в это дело?» — запечалился Удалов, и тут же его мысль перекинулась на то, как хорошо бы жить на свете без женщин.

За тонкой стенкой бурлили голоса. Никто из санузла не выходил: что-то у них там случилось. Удалов сделал два шага и заглянул внутрь через плечо Екатерины из райисполкома. Состав комиссии с громадным трудом разместился в санузле. Ветлугина сидела на краю ванны, Иван Андреевич щупал кран, но его пальцы никуда не проваливались.

— Что-то ты путаешь, — сказал Иван Андреевич Ветлугиной.

— Все равно одна видимость, — наставляла Ветлугина растерянно, ибо получалось, что она оклеветала и Удалова, и Гарика, и всю факирскую науку.

— А какая же видимость, если он твердый? — удивился Иван Андреевич.

— Настоящий, — поспешил подтвердить Удалов.

— Тогда пускай он скажет, когда и откуда краны получил, — нашлась упрямая Ветлугина. — Пускай по документам проверят!

— Детский разговор, — сказал Удалов, к которому вернулось присутствие духа. — Что же, я краны на рынке за собственные деньги покупал?

Тут уж терпение покинуло Ивана Андреевича.

— Ты, Ветлугина, специалист молодой, и нехорошо тебе начинать трудовой путь с клеветы на наших заслуженных товарищей.

И Иван Андреевич показал размашистым жестом на голову Удалова, которая высывалась из-за плеча Екатерины.

— Правильно, Иван Андреевич, — без зазрения совести присоединился к его мнению Удалов. — Мы работаем, вы работаете, все стараются, а некоторые граждане занимаются распространением непроверенных слухов.

Ветлугина, пунцовая, выбежала из санузла, и Корнелий возблагодарил судьбу за то, что Боровков на улице и ничего не видит: его мягкое сердце ни за что бы не выдержало этого зрелища.

Удалов поспешил увести комиссию. В таких острых ситуациях никогда не знаешь, чем может обернуться дело через пять минут. И в последний момент впрямь все чуть

не погубило излишнее старание Боровкова, ибо Иван Андреевич машинально повернул кран и из него хлынула струя горячей воды. Иван Андреевич кран, конечно, тут же закрыл, вышел из комнаты, а на лестнице вдруг остановился и спросил с некоторым удивлением:

— А что, и вода уже подключена?

— Нет, это от пробы в трубах осталась.

Удалов смотрел на председателя наивно и чисто.

— А почему горячая? — спросил председатель.

— Горячая? А она была горячая?

— Горячая, — подтвердила Екатерина из райисполкома. — Я сама наблюдала.

— Значит, на солнце нагрелась. Под крышей.

Иван Андреевич поглядел на Удалова с некоторым обалдением во взоре, потом махнул рукой, проворчал:

— Одни факиры собрались!..

И как раз тут они вышли из подъезда и увидели рыдающую на плече у Боровкова сантехника Ветлугину.

— Пошли, — сказал Иван Андреевич. — В контору. Акт будем составлять. Екатерина Павловна! Позови Ветлугину. Кричать все мастера, а от критики в слезы...

Когда все бумаги были разложены и Екатерина — у нее был лучший почерк — начала заполнять первый бланк, Корнелий Иванович вдруг забеспокоился, извинился и выбежал к Гарику.

— Но краны-то останутся? — спросил он. — Краны никуда не исчезнут? Признайся, это не гипноз?

— Краны останутся. Нужно же жильцам воду пить и мыться? А то с вашей, Корнелий Иванович, заботой им пришлось бы с ведрами за водой бегать.

— Ага! Значит, краны настоящие!

— Самые настоящие.

— А откуда они взялись? Может, это идеализм?

— Ничего подобного, — возразил Боровков. — Никакого идеализма. Просто надо в народной мудрости искать и находить рациональное зерно.

— А если материализм, то откуда металл взялся? Где закон сохранения вещества? А ты уверен, что краны не ворованные, что ты их силой воли из готового дома сюда не перенес?

— Уверен, — ответил Боровков. — Не перенес. Сколько металла пошло на краны, столько металла исчезло из недр земли. Ни больше, ни меньше.

— А ты, — в глазенках Удалова опять появился мальчишеский блеск: ему захотелось еще один мяч, побольше прежнего, — ты все-таки дом можешь сотворить?

— Говорил уже — не могу. Мой учитель гуру Кумарасвами один раз смог, но потом лежал в прострации четыре года и почти не дышал.

— И большой дом?

— Да говорил же — гробницу Тадж-Махал в городе Агре.

Ветерок налетел с рекн и растрепал реденькие волосы Удалова. Тот полез в карман за расческой.

— А Ветлугиной ты признался?

— Нет, я ее разубедил. Я сказал, что умею тяжести поднимать, на голове стоять, на гвоздях спать, но никакой материализации.

И рассудительно заключил:

— Да и вообще я ей понравился не за это...

— Конечно, не за это, — согласился Удалов. — За это ты ей вовсе не понравился, потому что девушка принципиальная. Значит, надеяться на тебя в будущем не следует?..

— Ни в коем случае.

— Ну, и на том спасибо, что для меня сделал. Куда же я расческу задевал?

И тут же в руке Удалова обнаружилась расческа из черепахового панциря.

— Это вам на память, — сказал Гарнк, усаживаясь на бетонную трубу: ему предстояло долго еще здесь торчать в ожидании Танечки Ветлугиной.

— Спасибо, — сказал Удалов, причесался, привел лысину в официальный вид и пошел к конторе.

1974 г.

НЕДОСТОЙНЫЙ БОГАТЫРЬ

Иван Дегустатов шел по весеннему лесу. Листья берез еще не раскрылись и острыми концами свисали к земле, словно подвешенные куколочки бабочек. Из темной лежалой хвои выглядывали яркие трилистники заячьей капусты. На концах еловых ветвей топорщились тугие, почти желтые кулачки. Сорвешь один, помнешь в пальцах — окажется, что он составлен из мягких душистых иголочек. Птицы сустились и пели, привыкали к теплу и солнцу.

— Эх, — сказал Дегустатов скворцу, поющему на ветке. — Пользуешься тем, что работники дома отдыха сделали тебе скворечник. Отдыхаешь. — Потом хитро уыбнулсь и пошутил: — Вместо песен взялся бы и соорудил гнездо для товарища, которому скворечника не досталось.

Скворец склонил голову, поглядел на Дегустатова с сомнением.

— Я шучу, — сказал Дегустатов. — Пой. Ты птица, значит, твоя задача — петь и развлекать.

Дегустатов свернул с дорожки, нахоженной отдыхающими. Дорожка была забросана бурыми листьями, и, если бы отдыхающие в этом году не приехали, на ней выросла бы трава. Но отдыхающие приедут. Скоро. Через неделю начнется первый заезд, на автобусе будут прибывать трудящиеся из недалекого Великого Гусляра, чтобы вкусить заслуженный отдых, и тогда Дегустатов вплотную примется за свои директорские обязанности. Будет следить, чтобы у всех были чистые простыни, чтобы не проносили в столовую спиртные напитки, чтобы вытирали ноги при входе и не приглашали знакомых с ночевкой.

Дегустатов нагнулся, подобрал консервную банку, что осталась с прошлого года. Банка была ржавой, на ней сохранилась поблекшая этикетка — «Частик в томате». Рядом должна валяться бутылка. Бутылки часто встречаются рядом с такими банками, если люди, которые

ели и пили, не взяли бутылку с собой, сдать. Бутылка нашлась. В нее набрались вода и ржавая хвоя. Банку Дегустатов спрятал под куст, чтобы не портить пейзаж, а пустую бутылку засунул в карман брюк. Его долг заключался в том, чтобы хранить окружающую экологию в чистоте.

Лес шел гуще. Здесь, за низиной, начинались холмы, поросшие елями. Назывались они Гуслярской Швейцарией. Таких мест вокруг города немало. У холмов иногда отдыхали туристы. Там тоже могли встретиться разные вещи. Дегустатов не считал себя жадным, но был бережлив, ценил копейку, потому что ее надо заработать. Если нужно, он не задумываясь выкинул бы три рубля, чтобы посидеть с человеком, но для собственного удовольствия такого не допускал.

Дегустатов продрался сквозь черемуху, всю в бутонах, перешел ручей по гнилому бревну. В ручье встретилась еще одна бутылка, но она была с щербинкой, и пришлось кинуть ее в черемуху. По узкой тропинке Дегустатов взобрался на холм. Воздух был свежий, с запахами, и на сердце у Дегустатова стало легко, и захотелось запустить найденной бутылкой прямо в небо.

Через тропинку лежало дерево. Большое и корявое. Дегустатов помнил его. Оно росло всегда на склоне холма и превосходило прочие деревья в лесу своими размерами.

— Ой-ой-ой, — произнес Дегустатов вслух. — Вот тебе и конец пришел. Не думал, что тебя так скоро подмоет внешними водами.

Дерево, видно, упало только-только — даже молодые листья не успели завянуть. Если был бы трактор да была бы хорошая проезжая дорога к самому дереву, то можно бы перетащить дерево на территорию дома отдыха. И Дегустатов решил упросить лесника, когда дерево будут пилить, чтобы пень достался дому отдыха. Из него можно сделать стол на множество посадочных мест.

Неспешно размышляя таким образом, Дегустатов поднимался вдоль ствола, машинально считая шаги, досчитал до восьмидесяти трех, запыхался и увидел, наконец, вывороченные кверху громадные корни.

Корни были так разлаписты, что, стоя рядом с комлем, Дегустатов не мог заглянуть на ту сторону, узнать, какая получилась яма. Осторожно, чтобы не измараться, он продвинулся в сторону и заглянул в просвет между корнями.

Яма была велика. Дна не было видно. Как будто дерево росло над пещерой, прикрывая ее от атмосферных осадков.

Дегустатов обогнул корни и нагнулся над дырой. Она полого уходила в холм, а там могли таиться археологические находки и даже клады. Ведь в этих местах, у большой дороги, водились когда-то разбойники.

Дегустатов достал из кармана зажигалку и засветил ее. Были, правда, некоторые опасения, что в пещере может скрываться хищный зверь или ядовитая змея, но шансов к тому было немного. Ведь за последние сотни лет доступного входа в пещеру не наблюдалось. А то бы отдыхающие давно заметили и использовали.

— Эй! — крикнул Дегустатов негромко в пещеру. — Есть кто живой?

Никто не откликнулся. Дегустатов наклонился и вошел в пещеру. Зажигалка давала мало света, и Дегустатов прикрывал ее ладонью от себя, чтобы огонек не мешал смотреть вперед. Пол в пещере оказался гладким, без бугров, и потолок вскоре повысился настолько, что удалось поднять голову. Дегустатов держал свободную руку над шляпой, чтобы невзначай не случилось сотрясения мозга.

Пещера все расширялась и уводила в глубь земли. В ней было сыро и темно. Дегустатов остановился, застегнул пиджак. Потом оглянулся — светлое неровное отверстие казалось далеким и хотелось к нему вернуться. Ну, несколько шагов, сказал себе Дегустатов. И обратно.

Скорее угадав, чем увидев препятствие под ногами, Дегустатов замер. Впереди виднелось что-то белое. Дегустатов поднес к белому зажигалку, и обнаружилось, что это череп с пустыми глазницами. За черепом валялись кости, прикрытые истлевшей одеждой. Другой скелет сидел у стены, опершись о ржавое копьё...

Дегустатов очнулся на свежем воздухе, шагах в пятидесяти вниз по склону. Как выскочил из пещеры, как добежал — не помнил. Здесь он заставил себя остановиться, осмотреться в мирной благодати и звуках весеннего леса. Никто его не преследовал и не убивал. Зажигалка погасла, но грела ладонь.

Можно было убежать дальше и позвать на помощь. Сообщить в музей. Но тут же пришла в голову мысль: скелет держал в руке копьё и это значило, что он в пещере много лет, с дореволюционных времен. Может, даже с тех,

когда никакого дерева не было, и в пещеру легко было войти любому. Люди, которые туда забрались и остались, вполне могли оказаться именно охранниками клада. В литературе рассказывается, что разбойники убивали своих товарищей, которые много знали. И их вид впоследствии отпугивал охотников до чужого. Шансы на клад увеличивались. И бояться было нечего. Скелеты не кусаются. Дегустатов понял, что его долг снова забраться в пещеру и посмотреть, нет ли ценностей. И он вернулся в темноту и сырость.

За скелетами было несколько метров гладкого пола. Потом обнаружился еще один скелет. На этот раз не человеческий. У скелета было три головы, черепа которых напоминали коровьи, но превосходили их массивностью, длиной и обладали рядом крупных заостренных зубов. Когда-то умершее животное обладало также чешуйчатым телом, и отдельные чешуи, рассыпанные по полу, костяные и темные, достигали длины в полметра. Громоздкий позвоночник заканчивался хвостом с носорожьими рогами на конце. Останки принадлежали ископаемому, и Дегустатов даже пожалел, что плохо учил биологию и никого из ископаемых, кроме мамонта, не помнит. Скелет вымершего животного подтвердил, что пещера старая. А то бы такие крокодилы и сейчас водились в лесах, пугали людей. Дегустатов осторожно промерил длину скелета, и получилось более двенадцати метров. Он решил взять на память рог с хвоста, а остальное сдать в музей.

Под ногами звякнуло. Дегустатов посветил зажигалкой и обнаружил толстую цепь. Каждое звено килограммов на пять. Цепь была одним концом прикована к стене. Другим охватывала ископаемую ногу. Дегустатов подивился тому, какие цепи умели делать наши пещерные предки и как они не боялись первобытных крокодилов. И пошел дальше.

Впереди, как ни странно, снова замаячил свет. Будто другой вход в пещеру. Но свет этот был неживым, не солнечным и шел из непонятного источника. Пещера расширилась до размеров зала, и дальний конец ее, освещенный наиболее ярко, был окутан туманом. Дегустатов кинул взгляд под ноги, обнаружил, что под ногами пол из плиток, как в бане, и смело пошел вперед. Сердце его забило сильнее, и он подумал, что весь клад сдавать не будет. Государству и так много достанется, а он имеет

моральное право передать в свое личное пользование несколько сувениров.

С таким твердым решением Дегустатов пересек высокий зал и оказался перед тюлевой занавеской, висевшей неизвестно на чем. Дегустатов раздвинул занавеску и замер, пораженный представшим его взору зрелищем.

На самом высоком месте находился стеклянный или пластиковый гроб, в котором кто-то лежал. Вокруг сидели и стояли в странных позах люди в древних одеждах, словно изображали исторический спектакль. Дегустатов даже повертел головой, думая увидеть где-то кинокамеру и кинооператоров. Но никого, кроме него, здесь не оказалось.

— Эй, товарищи! — сказал им Дегустатов, который к тому времени совсем осмелел. — Что происходит?

Никто не ответил.

Манекены, куклы в натуральный рост — понял Дегустатов и взошел на возвышение. Он приблизился к одному из манекенов и пригляделся. Манекен был крайне похож на человека. Глаза его были закрыты, длинные космы сделаны из натуральных волос, на бледном лице проглядывались жилки и щетина. Наощупь манекен оказался даже чуть теплым, мягким и податливым.

Чертовщина какая-то. Дегустатов перешел к другому манекену. Манекен изображал собой толстую женщину в длинном узорном платье и головном уборе, как в ансамбле народной песни. Женщина тоже была как живая. Приподняв ее вялую руку, Дегустатов с удивлением обнаружил в ней редкий и слабый пульс. Захотелось уйти. Но хотелось поискать клад. Дегустатов отодвинул женщину, и та мягко упала на пол, явственно вздохнула, подложила руку под щеку и замерла.

Дегустатов переступил через нее, подошел к следующему, к старику. Старика Дегустатов легонько толкнул. Старик покачнулся, но сохранил равновесие. Дегустатов толкнул сильнее. Старик согнулся пополам и рухнул к его ногам. Если бы Дегустатов знал, что эти люди настоящие, он толкаться бы не стал. Но люди были ненастоящие и мешали пройти наверх, к стеклянному гробу.

В гробу кто-то лежал, но сразу рассмотреть было трудно, потому что крышка была толстая, не совсем ровная, отражала свет и мешала глядеть внутрь.

Дегустатов попробовал приподнять крышку, но сделать это оказалось нелегко, пришлось долго тужиться,

отобрать копьё у одного из людей и крышку своротить. Крышка съехала на пол, ударилась углом и разбилась. Дегустатов крышку пожалел. Крышка могла стоить больших денег.

Но тут же забыл о крышке.

В гробу лежала девушка ослепительной красоты. Она спала или была мертвой. Глаза ее были прикрыты длинными черными ресницами, щеки были бледными, в голубизну, лобик чистый, высокий, коса золотая, тонкие пальчики сложены на груди, а на пальцах драгоценные кольца. Полные розовые губы были приоткрыты, и из-под них, словно цепочка жемчужинок, виднелись зубы.

Такой красоты Дегустатову видеть не приходилось даже в кино. Несколько тысяч женщин побывали в доме отдыха, среди них не было ни одной хоть слегка похожей на эту. Дегустатов почувствовал ущемление сердца, наклонился пониже, чтобы насладиться видом прекрасного лица, потом снял с пальца драгоценное изумрудное кольцо и положил его в карман, где уже лежала бутылка. Девушка не сопротивлялась.

Дегустатов понимал, что пора уходить. Собрать, что можно, из интересных сувениров и уходить. Все равно здесь нужна медицина, а не он. И уже перед самым уходом, не в силах побороть странное волнение, наклонился он над девушкой и поцеловал ее в теплые розовые губы. Поцелуй был сладок, и прекратить его Дегустатов не смог, потому что почувствовал, как девичьи губы дрогнули, ответили ему, и поцелуй получился вполне настоящий и взаимный.

— Да-а, — сказал Дегустатов в волнении, отрываясь от розовых губ.

— Ой! — воскликнула девушка, открыла глаза и увидела Дегустатова. — Здравствуйте. Я долго спала?

Сзади началось шевеление. Потягивались и поднимались прочие люди. Звенели оружием, откашливались, сморкались, оправляли платья и обменивались удивленными возгласами.

— Что случилось? — поинтересовался Дегустатов. — Почему такое изменение?

Закряхтел старик, которого Дегустатов уронил на пол, и сказал:

— Похоже, у меня растяжение жил.

— Спасибо тебе, храбрый богатырь, — произнесла девушка, садясь в гробу. — Всю спину отлежала. Даже больно.

— Спинка у принцессы болит, — беспокоилась женщина позади Дегустатова. — Царевна спинку отлежала.

Началась суета, подкладывание подушек, а один из воинов подставил свою спину, чтобы царевне удобнее было покинуть стеклянный гроб.

— Не беспокойтесь, — сказала царевна. Глаза ее, теперь открытые, напоминали зеленые омуты, и в них, как пескари в глубине, проплывали золотые искры. — Оставьте эту суету. Мой богатырь поможет мне. Возьми меня, князь, в сильные руки и поставь на пол.

Дегустатов повиновался. Действовал он словно в оцепенении. Ничего не соображал.

Царевна оказалась невелика ростом, Дегустатову по плечо, тонка станом и очень молода.

— Сколько вам лет? — спросил Дегустатов, ставя ее на пол.

— Царевне шестнадцатая весна пошла, — ответила толстая баба. — Замуж пора. А мы тебя, богатырь, ждали, не дождались. Сколько лет прошло...

— А сколько?

— Небось, много, — предположил старик, потирая ушибленные места. — Очень ты не по-нашему выглядишь.

— Так вы что здесь делали?

Мешала память о поцелуе, который он столь незаконно сорвал с губ царевны. Он надеялся, что никто, кроме него и царевны, об этом не знает. Ну, добро бы царевне было лет двадцать пять—тридцать. А то шестнадцатый год, в школу ходить надо, а не целоваться со взрослыми мужчинами. Может выйти скандал.

— Мы спали, — объяснила царевна.

И все эти люди, окружив Дегустатова, стали наперебой рассказывать о своих неприятностях, о том, почему они все, в странных одеждах, находятся в лесу, в пещере на территории дома отдыха.

Оказывается, случилось это давно, несколько сотен лет назад. Эта девушка по имени Лена была дочкой местного феодала, царя. На какой-то день рождения или иной придворный праздник пригласили всех окружающих феодалов и гостей из-за рубежа, но забыли позвать одну вредную женщину, которая потом, через много лет, подсунула Лене ядовитое яблочко, ввиду чего и она, и все окружающие погрузились в глубокий сон.

А другая женщина, отдаленная родственница, узнав о

таком несчастье, предсказала, что Лена проснется, если найдется рыцарь, который сможет проникнуть в пещеру и поцеловать царевну в губы.

И когда вся эта неправдоподобная история была рассказана Дегустатову, тот почувствовал себя выше ростом, поправил шляпу, приосанился и отряхнул с пиджака крошки земли.

— А как ты дракона одолел? — спросил старик.

— Дракона? — переспросил Дегустатов. — Дракона — не знаю.

— Да он же вход в пещеру охранял и уничтожал недостойных.

— Не было дракона, — сказал окончательно Дегустатов. — Я бы заметил.

— С ума сойти, — возмутилась толстая женщина, по имени княгиня Пустовойт. — Он же мне много лет спать мешал, хрипел и фыркал. А ты его уничтожил и даже не заметил. Герой.

— Да, — согласился Дегустатов, занятый своими мыслями. — Значит, у вас паспортов нет, никаких документов, места жительства нет, ничего нет?

— Как же, — обиделась принцесса. — Здесь где-то неподалеку должен стоять дворец моего батюшки. Может, он немного обветшал, но дворец хороший, с хоромами, переходами, кельями и светелками.

— Нет этого, — ответил Дегустатов. — Дворца не знаю. Наверное, снесли, когда я еще здесь не работал. Тут один дворец — мой. Неподалеку. Если его, извините, дворцом назвать можно. Правда, с электричеством. Сосновый бор, бильярд, пинг-понг.

— Послушайте, ваше высочество, — обратился к нему старик, которого, оказывается, звали спальником Еремой. — Как же так, нет ли ошибки какой? Царство наше было велико, простиралось оно до самого синего моря. Нам многие дань платили... И берендеи, и шкербореи, и черемисы, и вятичи.

— Молчи, старый, — перебила его царевна. — А то велю голову отрубить. Если мой жених говорит нет, значит, нет. Теперь он нас в свой дворец проводит.

— А там и свадьбу сыграем, — обрадовалась княгиня Пустовойт. — Детки пойдут.

Царевна зарделась от этих слов, слуги засуетились, стали скатывать ковры и связывать в тюки платья и занавески.

— А где мое любимое колечко? — закричала вдруг царевна. — Где мое любимое, волшебное изумрудное кольцо? Кто его украл, пока я почивала?

Никто в этом не признался, тем более Дегустатов, который никак не мог придумать, как ему поступать дальше. Похоже было, что эта девушка собиралась выйти за него замуж. Этого допускать нельзя. Во-первых, потому что она несовершеннолетняя и можно заработать большие неприятности. Во-вторых, у Дегустатова уже была жена и проживала она в Архангельске с сыном Петькой. Им Дегустатов, хоть и не был в разводе, посылал алименты — двадцать пять процентов с твердой зарплаты, без приработков. Наконец, непонятно, как можно ему, директору дома отдыха, показаться в городе в окружении персон, которые появились неизвестно откуда. Но бросать людей здесь нельзя. Негуманно. Придется, пока суть да дело, перевести их в дом отдыха.

— Давай, царевна, — предложила княгиня Пустовойт, — обыщем всех без исключения, потому что такое редкое кольцо никак нельзя оставлять в неумелых руках.

— Нет-нет, — сказал на это Дегустатов. — Нам пора идти. Потом разберемся.

— Если бой-тура опасаетесь или единорога, — вмешался молодой солдатик с топором на длинной рукоятке, — мы за вас постоим.

— Нет, бой-тура не будет, — резко ответил Дегустатов. — Бой-туров не держим.

— Наверное, разбойников много развелось, — предположил старик Ерема.

— На это есть милиция. Слушайте меня внимательно, времена теперь изменились, титулы и почтения отменены. Так что будете меня слушаться. Пойдете, куда скажу, останетесь, где скажу. А там разберемся. Зовите меня просто — Иван Юрьевич.

— А свадьба? — спросила лукаво одна из придворных, женщина в самом соку, чернобровая и смуглая, что выдавало ее шамаханское происхождение.

— Свадьба в свое время.

Дегустатов шел впереди, и, когда свет из пещеры иссяк, он засветил зажигалку. За ним шагали два солдата с топорами и дышали ему в затылок. Затем шуршали юбками царевна, ее дамы и девки. Сзади опять шли солдаты,

несли тюки и узлы с барахлом, и старик Ерема. В таком порядке добрались до скелетов.

— Это мой богатырь сделал, — произнесла царевна с гордостью, когда увидела при скудном свете зажигалки остов ископаемого животного. — Даже мясо с него содрал.

— Нет, царевна, — ответил ей старик Ерема. — Более похоже, что дракон умер своей смертью со скуки или задохнулся от недостатка воздуха.

— А может, и от старости, — добавила княгиня Пустойт.

— Может, и от старости, — согласился старик. — Хотя драконы долго живут.

— Я недовольна, — сказала принцесса. — Я вам говорю, что это дело рук моего суженого, а вы мне прекословите. Это гадко и противно. Если бы был жив мой папа, он бы вас всех повесил. Но еще не поздно. Друг мой, рыцарь, отруби им головы. Они мне надоели.

— Помилуйте, царевна, — взмолились придворные, падая в ноги ей и Дегустову. — Не велите казнить, велите слово вымолвить.

— Без этих штучек, — строго проговорил Дегустов. — Никого казнить не будем. Не время. Потом разберемся. А если вы, Леночка, полагаете, что это и есть дракон, то я думал, что это ископаемое животное типа мамонта или крокодила. И думал, что он представляет интерес для науки. А раз это дракон из вашей компании, то оставим его как есть. Он ни для нас, ни для науки интереса не представляет.

— Правильно, — одобрила царевна. — Ты у меня умный.

— Гордый принц, — прошептал уважительно один из стражников.

Через несколько шагов натолкнулись на скелеты людей. Снова задержались.

Спальник Ерема заметил медяшку на ребрах одного из скелетов и сказал:

— По этому образку я его признал. Помните, царевна, богемский витязь к вам сватался? Тогда еще говорил — голову положу, а с царевной ничего плохого не случится.

— Не помню, — ответила равнодушно царевна. — Много их было.

Она взяла Дегустова под руку. Дегустов чуть от-

странился, чтобы она невзначай не нащупала в кармане пустую бутылку и взятое без спросу кольцо.

— Тебя в темноте плохо видно, — говорила Дегустатову царевна, — но твой богатырский облик мне снился много лет.

— Спасибо, — сказал Дегустатов. — Вылезайте осторожно, по одному, вперед не кидайтесь, без моей команды никуда не отходить.

Сам встал в сторонке, шурясь от яркого света.

На свежем воздухе новые знакомые Дегустатова не производили такого странного и волшебного впечатления, как под землей. Были они бледны от длительного пребывания при искусственном освещении, одежда покрыта пылью, дряхла, требовала чистки и штопки. На оружии стражников обнаружилась ржавчина, и от нее подтекло на старинные мундиры. Пудра и румяна на лицах женщин также производили грустное впечатление. А сама царевна казалась уж совсем ребенком, максимум восьмиклассницей.

Дегустатов приглядывался к людям, и ему хотелось достать из кармана изумрудное кольцо и проверить, чистой ли оно воды, хотя в изумрудах, честно говоря, Дегустатов не разбирался.

Спасенные жмурились, покачивались с непривычки, закрывали лица руками, и Дегустатов, хоть и спешил, чтобы отвести их в безопасное место, пожалел и не торопил. Пусть немного освоятся. А то потеряются по дороге и подведут спасителя под монастырь.

— У тебя кафтан странный, — произнесла царевна, робко касаясь дегустатовского пиджака.

— Какой есть, — ответил Дегустатов.

Из пещеры вылез последний стражник и положил на землю сундучок с царевниным приданым. Дегустатов приглядывался к сундучку с интересом. Сундучок был окован медными полосами, на нем висел крепкий замок.

— Давай помогу, — предложил Дегустатов и сделал шаг к сундучку. Хотел проверить вес.

— Государь, вы себя унижаете, — одернула его княгиня Пустовойт. — В вашем положении можно победить дракона или вызвать на смертный бой другого богатыря, из хазаров или половцев. Но носить тяжести вам не к лицу.

— Правильно, милый, — поддержала царевна. — Тебе к лицу меч, а не сундук.

А спальник Ерема, проморгавшись к тому времени, поглядел на спасителя проницательным стариковским взглядом, вздохнул и сказал стражнику:

— Сундук никому не передавать. Неизвестно, что за народ здесь обитает.

Вот гад подозрительный, подумал про старика Ерему Дегустатов.

— Ну, все в сборе? — спросил он. — Тогда следуйте за мной.

Вниз по склону спускались медленно, будто учились ходить, а когда подошли к ручью, то остановились умыться, привести себя в порядок. Тут чуть было не представился случай взять сундучок и попрощаться. Пролетал над лесом самолет. Рейсовый. Самый обычный. И при шуме моторов и виде его обтекаемого фюзеляжа все люди из пещеры вдруг попадали на траву, в грязь и стали громко причитать. Оказалось, по отсталости приняли самолет за летающего дракона. Дегустатов громко смеялся над ними, обмахиваясь шляпой, и оттого их уважение к нему еще более выросло.

Дом отдыха, двухэтажное здание с колоннами, когда-то принадлежавшее купцам Анучкиным, а после революции достроенное и расширенное, красиво стоял на пригорке, откуда шел спуск к реке. Остальные корпуса и службы частично скрывались за растительностью.

— Ах! — сказала чернобровая придворная шамаханка. — И это ваш дворец?

Дегустатов не понял, ирония здесь или восхищение, и ответил:

— Какой есть.

— Он куда лучше, чем у батюшки царя, — оценила чернобровая.

— Вас как зовут? — спросил ее Дегустатов.

— Анфиса Магометовна, — ответила придворная.

— Анфиской ее звать, — поправила княгиня Пустойт.

— Можно Анфиской, — согласилась придворная и повела плечами, разминаясь.

От свежего воздуха и солнца она порозовела, щеки обрели видимую упругость, и в глазах был блеск. Дегустатов вздохнул, сравнил ее мысленно с царевной и повел группу дальше, к флигелю № 2, который прятался глубоко в кустах сирени.

— Ноги вытирайте, — велел людям Дегустатов.

Люди послушно вытирали ноги о резиновый пупырчатый половик, и все им было в диковинку: стекла в окнах, да и величина самих окон, крашенная крыша, водосточная труба и даже обычный асфальт на дорожке.

А когда оказались на скрипучей застекленной веранде, где стоял бильярдный стол и откуда сквозь открытую дверь был виден коридор с дверями по обе стороны, царевна подошла снова к Дегустатову и сказала:

— Ты, видать, могучий царь, наш спаситель.

— Ага, — согласился Дегустатов. — Погодите здесь. Я посмотрю, в каких вас комнатах разместить.

Анфиса провела ладонью по зеленому сукну.

— А полога-то на кровати нету, — отметила она.

— Какого полога? — обернулся Дегустатов.

Анфиса, коварная бестия, втайне двоюродная племянница той колдуньи, что всех усыпила, с улыбкой, ямочки на щеках, показала на бильярдный стол и добавила:

— А перину, государь, где хранишь?

— Ошибаетесь, — улыбнулся ей Дегустатов, — это не кровать, а игра бильярд. Шары гоняем.

Он заглянул в одну из спален. Там стояли четыре еще не застеленные кровати. «Здесь мы стражу разместим», — подумал он. В следующей — баб и княгинь. Для них придется еще одну комнату оставить. Старику Ереме и пятому солдату маленькую, подальше от царевны. Царевне выделим двухкоечный номер. Остается еще одна комната. Надо бы отдать ее Анфисе. Но неизвестно, вдруг начнутся трения. Строй у них феодальный. А сундучок и барахло сложить бы в кладовку у туалета. Еще неизвестно, умеют ли они туалетом пользоваться — в пещере ничего подобного не заметил.

Дегустатов задержался в туалете. Кафель сверкал под лучами проникшего сквозь матовое стекло солнца. Можно было махнуть на все рукой и вызвать директора музея. И дело с концом. Останется изумрудное колечко и записка в местной печати. Дегустатов достал из кармана колечко. Колечко было массивным, на вид золотое, а камень испускал зеленое сияние. Нет, придется проверить, что в сундучке. И было оправдание: раз велят жениться на царевне, которую целовал, то с этой ситуацией надо распутаться деликатно.

Дегустатов строил планы и машинально крутил кольцо на мизинце. Кольцо крутилось с трудом. Дегустатов даже

поднатужился, стараясь повернуть его так, чтобы увидеть снова блестящий камушек. И лишь успел это сделать, как в туалете рядом с ним образовался конь вороной масти. Коню было тесно. Он упирался хвостом в стену и воротил морду кверху, чтобы не задеть Дегустатова.

— Еще чего не хватало, — сказал Дегустатов с раздражением.

— Что прикажешь, доблестный богатырь? — спросил конь человеческим голосом. — Если Кашея победить или еще для какого подвига — я готов. Так ты и есть жених моей дорогой царевны?

— Потихше, люди услышат, — сказал Дегустатов с раздражением.

— Пусть слышат, — ответил конь. — Даже лучше, что услышат. Пусть все знают, что я, конь-Ветерок, твой слуга. Пусть враги твои трепещут.

Дегустатов поглядел на коня и мысленно пересчитал врагов. Во врагах он считал директора стройконторы Удалова, который тянет с ремонтом, соседа по дому и еще многих. В борьбе с ними нужнее были чернила, чем говорящие лошади.

— Мои враги, — произнес Дегустатов дипломатично, — от меня пешего трепещут. Так что в услугах не нуждаемся.

— Ну не нуждаешься, так не нуждайся, — сказал конь. — Поверни кольцо вокруг пальца, и я снова исчезну. А меч-кладенец тебе достать?

— И не думай, — ответил Дегустатов. — Еще порежешь кого.

— Что-то ты мне, богатырь, не показался, — проговорил конь, постукивая копытом по плиткам туалета. — Чего-то в тебе не хватает. Как бы царевна не отказалась замуж за тебя пойти.

— Я ее не заставляю, — сказал Дегустатов и, пока конь вновь не пустился в рассуждения, повернул кольцо вокруг пальца — и конь-Ветерок исчез, будто его и не было. Лишь запах конского пота остался в воздухе.

Дегустатов даже подошел к форточке и растворил ее. Кольцо спрятал во внутренний карман пиджака. Бутылку поставил на подоконник. А с конем надо будет обдумать. Но не сейчас, не сейчас. Сейчас надо народ с веранды убрать. А то кто-нибудь забредет в дом отдыха — тогда начнется представление!

Дегустатов поспешил на веранду.

— Живы еще? — произнес он бодро.

— Живы, — ответили гости.

— А есть опасность? — поинтересовалась княгиня Пустовойт.

— Да. У меня много врагов.

— А где твои слуги? — спросила царевна. — Где охрана?

— Мои слуги отпущены, Леночка, — сообщил вежливо Дегустатов. — Частично их заменяют различные невидимые духи, а частично они не здесь...

— Они в походе, — сказал один из стражников.

— Правильно, — подтвердил Дегустатов. — Пока устроюсь в этом доме. Вести себя ниже травы и тише воды, понятно?

— Странно как-то, — заметила княгиня Пустовойт. — Сам спасает и сам пугает. Мы думали, будет пир и веселье. А привел нас в пустой дом.

— Потом спасибо скажете, — ответил Дегустатов.

— Мы голодные, Иван, — напомнила царевна.

— У меня отчество есть, — поправил царевну Дегустатов, — Иван Юрьевич.

Царевна покраснела, обиделась.

— Какое красивое имя-отчество, — польстила Анфиса. И Дегустатову от этой похвалы стало приятно.

Княгиня Пустовойт заметила обмен взглядами и сурово дернула Анфису за косу. Анфиса взвизгнула, а Дегустатов сказал:

— Вы, княгиня, без этих старорежимных штучек. Может быть, Анфиса как личность даст вам десять очков вперед.

— Чего даст?

— Ничего я ей не дам, — сказала Анфиса.

— Так держать, — приободрил ее Дегустатов. — Сейчас, товарищи, разместитесь, устроитесь, я на склад сбегая, белье чистое выдам, ничего не жалко. Мой долг — о вас позаботиться. Насчет расплаты не беспокойтесь, уладим. Свет включается здесь вот, и здесь, сюда охрану, сюда — руководство. Леночка поживет пока в двухкоечном номере. Если вопросов больше нет, я на несколько минут вас оставляю. Все самому приходится делать, поймите меня правильно.

— А до ветру куда? — шепнул Дегустатову старик Ерема.

— По коридору последняя дверь направо.

Дегустатов вспомнил, как топотал в туалете сказочный конь, и решил старика туда не провожать. Пускай сам догадывается, что к чему. И в этом было даже некоторое злорадство.

На прощание Дегустатов щелкнул два раза выключателем. Продемонстрировал электричество. Ожидал, что снова они повалятся в ноги. Но в ноги не повалились, наверное, потому что лампочки в коридоре и комнатах были слабые, по пятнадцать свечей.

Уборщицу тетю Шуру и сестру-хозяйку Александру Евгеньевну Дегустатов разыскал в дежурке. Они пили чай из электросамовара.

— Где-то вы гуляли, Иван Юрьевич? — поинтересовалась Александра Евгеньевна, завидя в дверях крепкую, широкую в плечах и бедрах фигуру директора. — Владения проверяли? А мы уж думали, забыл, что чай стынет.

— Новости есть? — спросил Дегустатов.

— Нет. Звонил Удалов из стройконторы, спрашивал, не возражаем ли против шиферу?

— Мне хоть шифер, хоть солома — только чтоб не текло. Из города к нам никто не собирается?

— Нет, не звонили.

— Тогда вот что; достань-ка мне двенадцать комплектов белья и одеял.

— Зачем же? Заезда еще не было.

— Был заезд. Проспала, Александра Евгеньевна.

— Да я безвылазно здесь сижу с самого утра, — обиделась сестра-хозяйка и опустила подбородок на мягкие складки шеи.

— Киногруппа приехала, — соврал Дегустатов. — На автобусе. Ворота были открыты. Я их сам во втором корпусе разместил. Исторический фильм снимать будут. В трех сериях. Про восстание Степана Разина.

— Ой, — обрадовалась уборщица Шура. — А артистка Соловей приехала?

— Я их в лицо не всех знаю, — признался Дегустатов. — Может, и Соловей.

— И Папанов?

— Папанова нет, — уверенно сказал Дегустатов. — Пошли за бельем. Неудобно, люди ждут. С дороги устали. Из Москвы ехали. Расплачиваться будут по безналичному. И попрошу артистов не беспокоить. С вопросами не сояться и так далее. Среди них есть иностранцы.

— И иностранцы?

— Да. Русский язык знают, но нашей действительности не понимают. Несите все добро во второй корпус. Я там ждать буду.

Дегустатов покинул дежурку и уже снаружи, заглянув в окно, крикнул тете Шура:

— Самовар долей. Чаем гостей угостим.

Тетя Шура быстро закивала головой. Она и сама уже об этом подумала.

Тетя Шура с Александрой Евгеньевной притащили ворох простыней и наволочек к веранде второго корпуса и хотели было заправить постели, а заодно и посмотреть на артистов, но Дегустатов уже сторожил у входа.

— Здесь складывайте, — велел он. — Внутрь ни шагу.

— Конечно, конечно, — согласились женщины, хотя заглянуть внутрь хотелось хоть одним глазком.

Они пошли вокруг корпуса, дальней дорогой, издали косясь на закрытые окна, за которыми были шевеление и яркие одежды. И уж совсем отчаялись увидеть что-нибудь, как одно из окон растворилось и чернобровая женщина выглянула наружу и сделала круглые глаза. Это была Анфиса, которую в самое сердце поразили одежды обслуживающего персонала, надо сказать, самые обычные, без претензий, юбки чуть ниже колен и волосы не в косу, а забранные в пучок на затылке у Александры Евгеньевны и довольно коротко остриженные у тети Шуры.

— А-ба-ба-ба, — проговорила актриса и остановилась с открытым ртом.

— Вы, гражданка, в каких фильмах снимались? — вежливо спросила тетя Шура, большая любительница киноискусства.

— А-ба-ба, — повторила Анфиса и перекрестилась двумя перстами.

— Иностранный язык, — вздохнула Александра Евгеньевна. — Страшно уважаю людей, знающих иностранные языки.

Больше разговора не получилось. Из-за спины Анфисы выдвинулся суровый Дегустатов, погрозил пальцем и захлопнул окно.

— Заметила? — сказала тетя Шура. — В кокошнике и древнем сарафане. Совместная постановка.

Они пошли дальше по дорожке, обсуждая новость, а Анфиса подвернула юбку до колена, прошла по комна-

те, показывая крепкие, ладные ноги, и спросила Дегустатова:

— Так у тебя в царстве юбки носят?

— И еще короче, — соизволил Дегустатов.

Хотел было показать на Анфисиной юбке, как короче, но в дверях появилась княгиня Пустовойт, оценила обстановку и произнесла:

— Может, государь, в твоём царстве все бабы ходят простоволосыми и бесстыдно ноги заголяют, но учти, что царевне такого знать не можно. Так что прикажи своим служанкам подола опустить. И до свадьбы вокруг Анфиски не вейся.

Когда тетя Шура и Александра Евгеньевна вернулись в дежурку, чтобы заварить чай, там уже сидел гость. Гость — не гость, пожарник Эрик. Он сидел у поющего самовара, читал книжку, готовился к экзамену в педагогический институт.

— Ты чего к нам? — поинтересовалась тетя Шура поздоровавшись. — Все у тебя в порядке?

— Все в порядке, — ответил Эрик. — Пришел по долгу службы. Перед началом сезона оборудование проверить. Как тут огнетушители, лопаты, крюки, щиты пожарные, все ли на месте.

— До директора не доберешься, — бросила Александра Евгеньевна.

— Уехал?

— Нет, никуда не уехал. Но окружен московскими красавицами.

— Приехала к нам киногруппа, — сообщила тетя Шура. — Снимает исторический фильм про Пугачева. Расплачиваться будут по безналичному расчету.

— Странно, — сказал Эрик. — Неужели они через Гусляр проехали и никто не заметил?

— Значит, проехали.

— И надолго?

— Пока не снимут.

— Пойду посмотрю, — решил Эрик, откладывая книжку.

— И не думай, — сказала тетя Шура. — Дегустатов тебя на месте убьет. Ты же знаешь, какой он въедливый. Все по нему не так.

— Пойду. Ничего он со мной не сделает. Мне огнетушители проверить надо.

По пути ко второму корпусу Эрик проверил красный пожарный щит у волейбольной площадки. Огнетушители с него были сняты, но одна лопата сохранилась. Из-за того, что пришлось сделать круг, Эрик подошел к дому не со стороны веранды, а сзади, где были умывалка и туалет. Оттуда доносились голоса, спорили. И так громко, что Эрику пришлось подслушать.

— Послушай, боярин, — произнес молодой голос. Принадлежал он стражику, но Эрик об этом, конечно, не знал. — Где ты видел такое царство, чтобы две бесстыдницы, заголившись, гуляли и больше никого. Ни людей, ни коней. А у богатыря колпак на голове посерединке продавленный. Может, он вовсе не Иван-царевич, а Иван-дурак?

— За такие речи языки рвут, — ответил наставительно старческий голос. — Боюсь только, что дураков здесь нет. Какие свечи у него!

— Видал. С потолка висят, а воск не капает.

— Вот я и говорю. А кровати на железных ногах. Крыша железом крыта. Зуб во рту золотой. Как бы не попали мы в плен к нечистой силе. Я-то старый, помирать скоро. Вас, молодых, жалко. Вам бы жить и жить.

— Господи, с нами крестная сила, — напугался молодой голос. — А ответь мне, дед Ерема, были ли в старых книгах намеки на такое колдовство?

— Были. Антихрист на железной колеснице истребит все живое. Может, уже и истребил своих, пусто в его дворцах. Теперь за нас принялся. Я старому царю страшную клятву давал дочь его от всех зол сберечь. В ту роковую минуту успел ей на палец надеть изумрудное кольцо-перстень. Повернешь его — придет на помощь конь-Ветерок и унесет Аленушку куда следует. А где кольцо? Пропало. Уж не Иван ли кольцо схоронил? А если так — кто ему подсказал? Враг рода человеческого...

Голоса зазвучали потише, будто говорившие отвернулись от окна.

Репетируют, подумал Эрик. И как естественно у них получается. Снова до него донесся молодой голос.

— Иван сказал, что здесь отхожее место. Так ведь сказал?

— Так. И соврал, не иначе. Здесь все стены белым камнем выложены, словно во дворце. И чаши из белого камня. И вода хрустальная льется. Хотел, наверное, чтобы

мы это чистое место загадили, чтобы потом нас казни предать.

— Ох, и мудрый ты, дед Ерема, — сказал молодой голос. — Пойдем на двор. Обманем злодея.

Звякнул крючок на задней двери, и два человека вышли из дома. Первым шел прямой еще старик со впалыми щеками и седой бородой. На голове у старика высокая шапка-кубанка, а рукава длинного тяжелого плаща разрезаны спереди. Из-под плаща при каждом шаге появлялись острые носки загнутых кверху красных сапог. Второй человек, нестарый, был одет похоже на старика. Только на голове шлем, плащ покороче, в талию, рукава обыкновенные, борода острая, короткая и усы закручены кверху. Молодой тащил за собой топор на длинной ручке.

И тут же учебник истории вспомнился Эрику. Одежда была древнерусской, допетровской эпохи, если не ранее. И было в одежде нечто странное — естественность, будто вышла она не из костюмерной мастерской, а была сшита для ежедневного ношения.

Актеры направились к кустам, за которыми стоял Эрик, и прятаться ему было поздно.

«Что вы здесь делаете, молодой человек? — спросит сейчас старик, может быть, народный артист республики. — Вы подслушиваете под окном туалета наш шуточный разговор?» Эрик в растерянности надел на голову каску — не мог не надеть. Дело в том, что пришел он в дом отдыха не в форме, а в свитере и джинсах. Только каску захватил с собой. И то случайно. Каска была старая, блестящая, с гребнем поверху. Такие уже сняты с вооружения пожарников. Он нашел ее утром на чердаке пожарной команды, когда начальник послал его туда посмотреть, не завалился ли там обрывок шланга. Каска понравилась, оставлять ее на чердаке было жалко, носить на выездах нельзя — у всех армейские, зеленые. Решил тогда Эрик отнести ее домой, да не успел. Вот и шел по дому отдыха, размахивая каской, словно лукошком для грибов. А тут, перед встречей с киноработниками, непроизвольно надел на голову — чтобы самого себя убедить в том, что он здесь не просто так, а по заданию руководства. И в таком виде — в медной каске, сером свитере и джинсах — выступил из-за кустов.

Старик от неожиданности и сверкания каски осел, ноги подогнулись, а второй не растерялся, взмахнул топориком,

но топор длинной рукояткой запутался в ветвях сирени, и молодой парень рвал его, дергал, но оказался безоружным.

— Извините, — сказал Эрик. — Я, наверное, вас напугал. Извините.

— Не напугал, — сказал старик, приходя в себя. Держался он с достоинством и, когда первый испуг прошел, вновь приобрел осанку народного артиста.

Молодой парень выпростал наконец топор из куста и поставил к ноге. Помолчали. Потом Эрик поинтересовался, чтобы поддержать разговор:

— Вы что здесь снимаете?

— Как? — спросил старик.

— Какую картину снимаете?

Старик с молодым переглянулись и не ответили.

— Вы не думайте, — успокоил Эрик. — Я здесь по долгу службы. Проверяю. Инвентарь, оборудование, огнетушители. Служба. — И Эрик улыбнулся чуть заискивающе. Уж очень неловкой получилась беседа.

— Значит, ты нездешний? — сказал старик.

— Нет, я из Гусляра.

— Непонятно говоришь. А Ивану-царевичу ты кем приходишься?

— Кому?

— Ивану-царевичу, который царевну поцеловал и нас сюда привел? Главному в этих местах. Ивану свет Юрьевичу.

— Так вы Дегустатова имеете в виду, — рассмеялся, поняв наконец шутку, Эрик. — Я ему никем не прихожусь. Я из независимой организации.

— А чего же тогда по его владениям ходишь? — спросил подозрительно старик.

— Мне можно. Я пожарник.

— Так, — сказал старик. — Вижу я, нет в тебе опасения пред страшной мощью и властью Ивана Юрьевича.

— Нету, — сознался Эрик и совсем развеселился. — Это у вас здорово получается. Просто как на самом деле. И одежда, кафтаны просто замечательные. И топор. Как настоящий.

— Чего? — обиделся молодой человек. — Как настоящий? Да я тебе сейчас этим как настоящим огрею, тогда узнаешь, как славное боевое оружие хулить.

— Ну, умора просто, — только и смог вымолвить Эрик. — Мне сказали, что вы делаете историческую кар-

тину. А я теперь понимаю, что комедию. Меня к себе возьмете?

— А у тебя что ли своего господина нету?

— Господин у меня есть, — поддержал его игру Эрик. — У него таких, как я, двадцать рыцарей. Все в шлемах боевых, с топорами в руках, зовутся пожарной командой, огонь нам не страшен и вода. И медные трубы.

— Славная дружина, — вежливо одобрил дед Ерема.

— Конечно, славная. Первое место в районе по пожаротушениям.

— А как твоего господина зовут? — спросил старик Ерема. Так, будто надеялся встретить старого знакомого.

— Брандмейстер, — схитрил Эрик.

— Немец?

— Слово немецкое. А сам молдованин.

— Как же, — подтвердил Ерема. — Слышал. Достойный человек.

Молодой стражник посмотрел на него с уважением. Старик Ерема много знал.

— А не обижает ли твоего господина Иван Юрьевич? — задал следующий вопрос старик. — Не беспокоит своей колдовской силой?

— Во дает, — восхитился Эрик. И разъяснил: — Если бы и захотел, на него сразу управа найдется. Чуть что — мы в райсовет. И отнимут у него домотдыховское царство, отправят работать банщиком. Как вам такой вариант нравится?

— Не знаю, — серьезно ответил старик. — Не знаю. Может, к лучшему, а может, и к худшему. Царевна наша с ним обручена. И если бросит он ее — позор и расстройство. И если женится, тоже добра не жду.

— А царевну кто играет?

— Про царевну так, отрок, говорить нельзя, — ответил старик. — Царевна тебе — не игрушка.

— А поглядеть на царевну можно? Или подождем, пока съемки начнутся?

— Мы не сарацины, которые девкам лица закрывают. Гляди.

Старик провел Эрика по прошлогодней листве и молодым иголочкам новой травы к окну, занавешенному изнутри, и постучал по стеклу согнутым пальцем.

Занавеска отъехала в сторону, и за стеклом показалось неясное девичье лицо.

— Отвори, — попросил старик. — Слово сказать надобно.

Окно запахнулось. Девушка обозначилась в нем, словно старинный портрет в простенькой раме, отчего несказанная красота ее выигрывала втрое.

Девушка держала в руке зеркало на длинной ручке и, видно, только что расчесывала свои длинные золотые волосы, не успела даже забрать их в пучок, поддерживала, чтобы не рассыпались. В окружении черных ресниц горели зеленым огнем глаза, и в них был вопрос — зачем и кто меня, такую прекрасную, беспокоит? Кто этот неизвестный рыцарь в золотом шлеме?

Эрику следовало бы представиться, сообщить, кто он такой, почему такой смелый. Сказать, что уважает киноискусство и особенно любит фильмы с участием этой самой кинозвезды.

Но Эрик не смог вспомнить ни одного фильма с участием этой поразительной красавицы. Но если бы он и смотрел пятнадцать фильмов с ее участием, все равно бы не посмел открыть рта. Эрик влюбился. С первого взгляда. На всю жизнь. И чувства его отразились в глазах и странной бледности лица.

Спальник Ерема, всю эту сцену наблюдавший и довольный ее исходом, так как он был старым политиканом, пережившим трех государей и многих других придворных, сказал:

— Поражен, отрок?

Эрик кивнул и проглотил слюну. Язык у него отсох.

— Добро, — сказал старик Ерема. — И вот такую раскрасавицу отдаем мы за Ивана свет Юрьевича.

Старик ожидал взрыва негодования, начала междоусобицы, выгодной для него, но в ответ Эрик, принявший эти слова за злую шутку, резко повернулся и отошел в сторону, потому что понял, как велика пропасть между ним, рядовым пожарником, и московской кинозвездой, которой звонят по телефону известные поэты, чтобы прочесть ей новые, для нее написанные стихи и поэмы. Как непреодолима пропасть между будущим заочником педагогического института и красавицей, регулярно выезжающей в Канн на международный кинофестиваль. А о Дегустатове Эрик и не подумал.

Но сам Дегустатов, услышав голоса, ворвался в комнату, оттолкнул от окна царевну, глядящую сочувственно на стройного юношу в шлеме, и со злостью крикнул:

— Ты что здесь делаешь?

Эрик обернулся на голос директора и грустно ответил:

— Я противопожарное оборудование проверяю. Акт составить нужно.

Царевна, которую толкнул Дегустатов и которой было не столько больно от толчка, сколько обидно, потому что, кроме папы-государя, никто не смел прикоснуться к царской особе, заплакала. Старик Ерема сказал, чтобы не уронить гордость:

— Негоже так поступать, Иван Юрьевич.

— Надоели вы мне, — вырвалось у Дегустатова. — Сдам вас в музей, и дело с концом.

— Куда-куда? — угрожающе спросил старик, все еще недовольный тоном и поступками своего спасителя.

— Неважно, — вздохнул Дегустатов, понимая, что объяснить им ничего не объяснишь. Надо было форсировать действия, чтобы заглянуть в сундучок и потом отделаться от всей этой подозрительной компании.

— Государь, — проговорила, появляясь из-за спины Дегустатова, Анфиса и прикасаясь к его плечу. — Вы устали. Вы в горести. Пойдем отсюда.

— Ага, — согласился Дегустатов и увидел тетю Шуру и Александру Евгеньевну, vyplывающих из-за кустов.

Тетя Шура несла шипящий самовар, а Александра Евгеньевна — картонный ящик, в котором были чашки, блюдца, пачки с вафлями, сахар-рафинад, чайные ложки и конфеты «сливочная помадка».

Они шли, широко улыбаясь и всем своим видом стараясь подчеркнуть гостеприимную радость по поводу прибытия столь дорогих гостей.

— Сейчас чайку попьем, — ласковым голосом сказала Александра Евгеньевна.

— Я сам, — предупредил Дегустатов, протягивая руки из окна, чтобы принять самовар.

— Не беспокойтесь, Иван Юрьевич, — сказала Александра Евгеньевна, а тетя Шура даже сделала шаг назад, чтобы не отдавать самовара.

— Давай я тебе помогу, тетя, — предложил Эрик, забрал самовар и, не слушая дальнейших разговоров, прошел на веранду.

Александра Евгеньевна достала из картонного ящика белую скатерть и ловко расстелила ее на бильярдном столе.

— Вот и чайком побалуемся, погреем свои старые кости, — обрадовался старик Ерема, входя на веранду вслед за Эриком. — Сколько лет росинки в рот не брал.

— Воздерживаетесь? — спросил Эрик.

— Ага, — согласился старик с непонятным словом.

Из коридора вышла, уже в кокошнике, царевна Леночка в сопровождении княгини Пустовойт. Глаза ее распухли от слез. Потом потянулись стражники и слуги. Столпились вокруг бильярдного стола, глядя с жадностью, как тетя Шура с Александрой Евгеньевной расставляют чашки и распаковывают пачки с вафлями. Старик Ерема даже взял кусок обертки, помял в руках и сказал для всеобщего сведения:

— Такое я встречал. Пергамен зовется, привозят из заморских стран. Книги писать.

Эрик женщинам не помогал. Стоял, не снимая каски, и глазел на царевну. Царевна смущалась и отводила глаза.

— Проголодались? — пожалела ее тетя Шура. — Такая молоденькая, а уже на кочевом образе жизни.

— На кочевом образе язычники, — произнес строго дед Ерема, — а мы в Бога веруем. Мы оседлые.

— Бога нет, — сообщил Эрик.

— Куда же это мы попали? — сказала в сердцах княгиня Пустовойт. — Хоть обратно в нещеру.

— Проживем, проживем как-нибудь, — поддержал ее молодой стражник. — Как раньше жили, так и проживем. Другого богатыря ждать будем. Настоящего.

— А может, теперь настоящих и не осталось? — спросил на это старик Ерема и покосился на Эрика с надеждой.

Старика мучил прострел, и он готов был на любую интригу, только бы не возвращаться в сырость.

Эрик слушал этот удивительный разговор, никак не понятный в устах московских киноартистов, и в нем бурлили подозрения. При тетю Шуру и Александру Евгеньевну говорить не приходится. Они застыли у стола, забыв, что пора разливать чай, и только хлопали глазами.

Царевна выслушала мнение придворных и снова заплакала.

— Не могу я назад идти, — говорила она. — Неужели это непонятно? Я же обручена. С Иваном обручена. И нет мне пути назад. Что я, девка, что ли, гулящая?

Принцесса закрылась платочком. Эрик думал о том, что ни автобуса, ни кинокамер, ни прожекторов — ничего

какого он не видел. И сколько времени, скажите вы мне, можно ходить в театральной одежде, не переодеваясь?

— Остается мне одно, — продолжала царевна сквозь слезы, — найти берег покруче и с него в реку кинуться. А вы уж как хотите. Вы свободны. Всем волю даю.

— Такая молоденькая, а так убивается, — посочувствовала тетя Шура, которая была женщина добрая и отзывчивая. — Не иначе, как у наших дорогих товарищей случилась неприятность.

— Слышишь, Шура, Иван Юрьевич на ней жениться обещал и обманул, — сказала Александра Евгеньевна.

— Как же он мог? — возмутилась тетя Шура. — У него жена неразведенная в Архангельске живет.

— Чего? — возопил дед Ерема. — Жена, говоришь?

— Кстати, где он сам? — спросил Эрик, еще не разобравшийся в своих чувствах, но кипящий желанием сначала помочь прекрасной девушке, а потом уж разбираться.

— Да, где он? — поддержала княгиня Пустовойт.

— Где он?! — вскричал старик Ерема. — Где обманщик?! Целовал, а сам женатый!

Толкаясь в узких дверях и забыв о чае, все бросились обратно в коридор. И остановились как вкопанные. Перед распахнутой дверью в комнату, где хранился сундук с невестиним приданым, лежал связанный стражник с кляпом во рту. Он бешено вращал глазами и корчился как червяк.

Комната была пуста. Ни сундука, ни Дегустатова.

— Может, он где-нибудь еще? — предположила тетя Шура, понявшая, что гостей обокрали, но болевшая за репутацию дома отдыха.

— Дегустатов! — крикнул Эрик.

И в ответ по асфальтовой дорожке у окна грянули копыта, из-под них брызнули искры до сосновых вершин, и черный конь, взмахнув длинным хвостом, рванул с места к темнеющему лесу. На коне сидел Дегустатов, под мышкой тяжелый сундук, а сзади, обхватив его живот гладкими руками, Анфиса.

— Спелись, — сказал стражник.

— Держи вора! — воскликнула княгиня Пустовойт, а мудрый старик Ерема ответил на это скорбно:

— Не догонишь. Это же Ветерок. Конь-Ветерок. Волшебное животное. Ни одна тварь на свете его не обгонит.

— Значит, Иван мое кольцо украл?

— Он самый, больше никому. Конь-Ветерок только хозяина кольца слушается.

— Значит, он меня во сне, еще не поцеловавши, обокрал? — настаивала царевна.

— Так, Елена, так, — повторил старик.

Тут терпению Эрика пришел конец. Он встал в дверях и произнес громко:

— Вы вовсе не те, за кого себя выдаете. Никакая вы не киногруппа. Рассказывайте, кто вы на самом деле, почему здесь оказались. Тогда примем меры.

— Достойный разговор, — сказала Александра Евгеньевна. — Давно по Дегустатову уголовный кодекс плачет.

— Мы себя ни за кого не выдаем, — ответил старик Ерема. — Не то, что ваш друг Иван Юрьевич.

— Не друг он нам, — поправил Эрик. — Попрошу перейти к делу.

В Эрике появились серьезность и собранность, как на пожаре. Впереди языки пламени, опасность для жизни, в руках лестница и надо приставить ее к многоэтажному зданию и лезть наверх, спасти женщин, стариков и детей.

— Так вот, — сказал старик, оценив серьезный вид отрока в золотом шлеме. — Мы родом из тридевятого царства, тридесятого государства. Случилось так, что на рождение царевны Алены вредная колдунья, Анфисина притом двоюродная бабушка, приглашения не получила. И поклялась она страшной клятвой нашу царевну со света свести. Но другая колдунья, близкая нашему царю, царство ему небесное, на это так сказала: «Не будет смерти Алене-прекрасной при ее совершеннолетию, а заснет она глубоким сном и спасет ее один рыцарь, который полюбит ее навечно, поцелует в хрустальном гробу и разбудит. Ее и всех придворных людей».

— Спящая царевна! — воскликнула Александра Евгеньевна.

— Она самая, — согласился старик Ерема. — А ты откуда знаешь?

— Так о вашем приключении сохранилась память в художественной литературе.

— И в устном творчестве, — добавил Эрик, не сводя глаз со спящей царевны.

«Алена, — шептали беззвучно его губы, — Аленушка». И царевна, хоть момент был очень тревожный, на взгляд ответила и потупилась.

— О вас, — продолжала Александра Евгеньевна, — множество сказок написано. Фильм снят. И даже мультпликация, про иностранный вариант. С гномами.

— Такого не знаем, — сказал старик. — Значит, зашули мы, как и было приказано, в день Леночкина совершеннолетия. Что дальше было — не помним. Дракон нас охранял, чтобы случайный человек не польстился на наше беспомощное состояние. Потом, видно, пещера заросла, пути к ней потерялись, и дракон помер. Так и случилось — проснулись мы от постороннего присутствия. Видим — незнакомый витязь в странной одежде нашу царевну в губы целует. Значит, кончилось наше затворничество и будет свадьба.

— Конечно, — подтвердила Александра Евгеньевна. — Как сейчас помню. Потом была свадьба и сказке конец.

— Да не сказка это, — ответила царевна, сморщив носик. — Я в самом деле все эти годы в хрустальном гробу пролежала. На пуховой перине.

— Мы поверили, пошли за вашим Иваном Юрьевичем. Он нас сюда привел, а дальше сами знаете.

— Он про вас сказал, что вы артисты.

— Кто-кто?

— Артисты.

— Таких не знаем. Ошибся он.

— Ряженые, — подсказал Эрик. — Так раньше назывались? Скоморохи.

— Да за такое... За такое... — У старика слов не нашлось, и он сплюнул на пол в негодовании.

— Я чистых голубых кровей, — топнула ножкой царевна и посмотрела на Эрика.

— Это нам все равно, — заметила тетя Шура, которая до этого молчала. — Нам бы человек был хороший, не жулик.

— Тоже бывает, — согласился старик Ерема. — А все-таки царевна.

— Царевна, — вздохнула Александра Евгеньевна. — Люди на Луну летают, реки от химии спасают, телевизор смотрят, а тут на тебе, царевна...

— Ладно, потом разберемся, — сказал Эрик. — Помочь надо.

— Нет, — ответил старик Ерема. — Помочь ничем нельзя. Ветерка не догнать. Они сейчас в другое царство усаkali.

— До другого царства не доскакать, — ответил Эрик, улыбнувшись. — До другого царства много дней скакать. Да и границу ему на коне не пересечь.

— Стража? — спросил с надеждой Ерема.

— Пограничники. Пошли позвоним в город.

— В колокола звонить будет, — объяснил старик остальным. — Народ поднимать.

— Нет, — возразил Эрик. — Я своему начальнику позвоню. Может, придумаем что. Есть у меня одна идея.

— Брандмейстеру? Молдованину?

Память у старика была хорошая.

— Ему самому.

— Зачем ему? — удивилась тетя Шура. — В милицию звонить надо.

— В милиции не поверят. Что я им, сказку о спящей царевне по телефону расскажу? Товарищи, скажу, в сказке возникли осложнения?

— А начальнику?

— Начальнику я знаю, что сказать.

Эрик оставил зареванную царевну с ее обслугой в домике, приказал стражникам никого близко не подпускать: чуть что — в топоры. Им придал для усиления Александру Евгеньевну. И поспешил в главный корпус. Тетя Шура и старик Ерема отправились за ним.

День клонился к вечеру. Небо загустело, тени просвечивали золотом, и в воздухе стояла удивительная прозрачность, так что за несколько километров долетел гудок электрички.

— Знаю, куда он поскакал, — сообщил Эрик. — К железнодорожной станции. К Дальнебродной.

— Очень возможно, — согласилась тетя Шура.

— И еще неизвестно, когда поезд. Далеко не каждый в Дальнебродной останавливается.

Старик Ерема не вмешивался в разговор, а представлял себе в воображении железную дорогу — накатанную, блестящую, с неглубокими сверкающими колеями, и была она знаком страшного богатства и могущества этих людей. Ему нравилась деловитость отрока в золотом шлеме и внушала некоторые надежды. Но, конечно, больше всего он рассчитывал на помощь князя Брандмейстера. Если Брандмейстер не поможет, то страшный позор обрушится на царский род, вымерший почти начисто много веков назад.

В дежурке стоял серый телефон. Эрик снял трубку.

— Девушка, мне ноль-один. Пожарную.

Ерема присел на просяженный диван. На стене висели листки с буквами и картинки, но икон в красном углу не оказалось. Вместо икон обнаружилась картинка «Мойте руки перед едой». Там же была изображена страшная муха, таких крупных старику еще видеть не приходилось. Старик зажмурился. Если у них такие мухи, то какие же коровы?

— Ноль-один, — повторил Эрик. — Срочно.

Старик вытянул ноги в красных сапожках, раскидал по груди седую бороду и глубоко задумался. Поздно проснулись. Что стоило какому-нибудь рыцарю проникнуть в пещеру лет пятьсот назад?

Эрик дозвонился до пожарной команды, обрадовался и сказал дежурному:

— Это я, Эрик. Узнаешь? Докладываю, пожар в доме отдыха на восьмом километре. Одной машины будет достаточно. Небольшую пошлн. У нее скорость.

— Влетит тебе от начальства, — сказала тетя Шура.

— Ничего, разберемся. Поймут. У нас в пожарной команде на первом месте гуманность, а стоимость бензина я из зарплаты погашу. Через десять минут здесь будут.

Старик зашевелился на диване, поморгал и спросил:

— Князь Брандмейстер к нам будет?

— Нет, — ответил Эрик. — Будут его славные дружинники. Пойдем к нашим, предупредим. А то испугаются с непривычки.

У второго корпуса были суматоха и мельканье людей. Княгиня Пустановойт бежала навстречу и причитала:

— Царевна себя жизни лишила! Позора не вынесла.

— Причем тут позор! — воскликнул Эрик. Каска на голове стала тяжелой, и в ногах появилась слабость.

— Не беспокойтесь, товарищи, — сказала из окошка Александра Евгеньевна. — Я ее валерьянкой отпаиваю. Леночка только погрозилась повеситься, поясок сняла, в комнатку к себе побежала, да не знала, к чему поясок крепить.

— Я все равно повешусь. Или утоплюсь, — заявила царевна, высовывая встрепанную голову из-под руки Александры Евгеньевны. — Лучше умереть, чем позориться. Мне же теперь ворота дегтем измажут.

Тут она увидела расстроенного Эрика и добавила, глядя на него в упор:

— Потому что я, опозоренная, никому не нужна.

— Вы нам всем нужны! — крикнул Эрик, имея в виду лично себя, и царевна поняла его правильно, а Александра Евгеньевна, глядя в будущее, предупредила:

— Ужасно избалованный подросток. В школе с ней намучаются.

Эрик с ней не согласился, но ничего не сказал.

— Сейчас князь-Брандмейстеровая дружина здесь будет, — заявил старик Ерема осведомленным голосом. Потом обернулся к Эрику и спросил: — А стрельцов наших с собой возьмешь?

— Нет, обойдемся. Вы, если хотите, можете с нами поехать.

— Блюсти охрану! — приказал старик твердо стрельцам. — Что, карета будет?

— Будет карета, — согласился Эрик, — красного цвета. И предупреждаю, товарищи, что машина может вам показаться...

В этот момент жуткий вой сирены разнесся по лесу, и, завывая на поворотах, скрипя тормозами, на территорию дома отдыха влетела пожарная машина красного цвета с лестницей вверх кузова, с восьмерыми пожарниками в зеленых касках и брезентовых костюмах.

Нервы древних людей не выдержали. Стрельцы пали ниц, старик зажмурился и бросился наутек, в кусты сирени, а царевна обняла тоненькими ручками обширную талию Александры Евгеньевны и закатила истерику.

Машина затормозила. Пожарники соскочили на землю и приготовились разматывать шланг, сержант вылетел пулей из кабины и по сверкающей каске узнал своего подчиненного.

— Что случилось? — потребовал он. — Где загорание?

— Здравствуйте, Синицын, — проговорил Эрик твердо. — Вы мне верите?

— Верю, — также твердо ответил сержант, потому что оба они были при исполнении обязанностей.

— За бензин я оплачу, и за ложный вызов понесу соответствующее наказание, — сообщил Эрик. — Вот вы видите здесь людей. Они попали сюда нечаянно, не по своей воле. И оказались жертвами злостного обмана. Их обокрал директор дома отдыха Дегустатов. И усакал на

коне с драгоценностями исторического значения и своей сообщницей.

— Дегустатова знаю, — подтвердил сержант. — Встречался в райсовете. Пожарные правила нарушает.

— Он самый, — согласился Эрик. — Дегустатова надо догнать. И отнять украденные вещи.

— Мое приданое, — объяснила, всхлипывая, царевна.

— Ого! — воскликнули пожарники, заметив такую сказочную красоту.

— Да, приданое этой девушки, — сказал Эрик.

— Поможем, — сказали пожарники и, не дожидаясь, что ответит сержант, прыгнули обратно в красную машину.

Сержант еще колебался.

— Помогите, князь Брайдмейстер, — взмолился старик Ерема.

— Помогите, добрый витязь, — попросила царевна. И добавила, обращаясь к придворным: — Пади! В ноги нашему благодетелю!

И все, кто был во дворе, вновь повалились на землю, стараясь добраться до кирзовых сапог сержанта, чтоб заметнее была мольба.

— Ну, что вы, что вы, товарищи, — засмутился сержант. — Наш долг помочь людям, мы и не отказываемся...

Затем деловым голосом приказал:

— По машинам! Заводи мотор!.. В какую сторону скрылся злоумышленник?

— К станции Дальнебродной, — ответил Эрик. — Больше некуда.

Подсадили в кабину старика Ерему. Эрик вспрыгнул на подножку — и со страшным ревом пожарная машина умчалась. А царевна, глядя машине вслед, сказала Александру Евгеньевичу, к которой уже немного привыкла:

— А все-таки у Эрика самый красивый шлем.

— Молода еще ты, — отрезала Александра Евгеньевна. — Тебе учиться надо.

— Я уже совершеннолетняя, — не согласилась принцесса. — А учиться царевнам нечему. Мы и так все знаем.

...Конь-Ветерок уже полчаса со сказочной скоростью неся по лесной, почти пустынной дороге, стуча копытами и высекая искры из асфальта. Рука Дегустатова онемела, и пришлось переложить сундук на другую сторону. Ветви деревьев стегали по лицу, и с непривычки ноги выскаки-

вали из стремян, на что конь сердился и ворчал, обращиваясь:

— Не умеешь, не садился бы. Всю спину мне собьешь.

— Молчи, скотина, — возражала ему Анфиса, которая тесно прижималась к спине Дегустатова, сплетя руки на его круглом гладком животе. — Послушание — вот главная заповедь животного.

— Всему приходит конец, — говорил конь и екал селенкой. — Скоро мое терпение лопнет.

Наконец Дегустатов понял, что больше держать сундук и скакать на лошади он не в силах.

— Тпру, — сказал он, углядев полянку со стогом. — Привал.

Он тяжело соскочил на траву, сделал два неверных шага, не выпуская из рук драгоценного сундука, и рухнул у стога.

Анфиса также сошла и прилегла рядом. Конь-Ветерок молча забрал губами клоч сена и принялся пережевывать его. Иногда он поводил шелковой спиной, махал хвостом, отгоняя комаров.

— Ну и дела, — произнес он. — Стыдно людям в глаза глядеть.

— Нам бы до станции добраться, — сказал наконец Дегустатов. — Там в поезд. Только нас и видели.

— В другое царство? — спросила Анфиса.

— В другое царство нельзя. Визы нету. Мы в Москве устроимся. Там у меня двоюродный брат проживает. Сундук тяжелый, сволочь, так бы и выкинул.

— Врешь ты, не выкинешь, — сказала Анфиса, которая была женщиной практичной и уже свела в могилу двух мужей, о чем Дегустатов, разумеется, не знал. — Это теперь мое приданое будет. Хотя я и без приданого хороша.

— Посмотрим, — проговорил Дегустатов. — Открыть бы его, по карманам добро разложить.

— Открыть нельзя, — объяснила Анфиса. — Ключ у княгини Пустовойт хранится. Некогда было взять.

— Ох, и попал я в ситуацию, — размышлял Дегустатов. — Но положение, надо признать, было безвыходное. Жениться мне на ней не к чему. В любом случае я шел или под суд, или под моральное разложение. Ничего, все равно пора профессию менять. Ну, скажи, Анфиса, какие могут быть перспективы у директора дома отдыха?

— Да никаких, — согласилась Анфиса, которая рань-

ше не слыхала ни про дома отдыха, ни про перспективы. — Поскачем дальше? А то погоня может объявиться.

Дегустатов было лень подниматься.

— Какая теперь погоня? На чем они нас догонят?

— Меня никто не догонит, — подтвердил со сдержанной гордостью конь-Ветерок. — Я скачу быстрее ветра. — Взмахнул большой красивой головой и добавил: — Если, конечно, всадник достойный, а не тюфяк, как ты.

— Ты Ваню не обижай, — вмешалась Анфиса. — Нас теперь ни огонь, ни вода не разлучат. Правда, Ваня?

— Правда. — Дегустатов погладил Анфису по спине. — Мы с тобой такие дела завернем — жутко станет. Дом купим в Переделкине, комнаты сдавать будем.

— Вот, — сказала Анфиса, глядя на коня. — А на тебе воду возить будем.

— В цирк его сдадим за большие деньги.

Издали донесся вой сирены.

— Это что? — спросил конь, наострив уши.

— Это? — Дегустатов поднялся на ноги и подхватил сундук. — Машина едет.

— Погоня?

— Может, мимо.

Но, несмотря на эти свои успокаивающие слова, Дегустатов взобрался в седло, а Анфиса подошла поближе, протянув к нему руку, чтобы он помог взобраться вверх.

Дорога здесь была видна вдаль, и, когда из леса выскочила с ревом пожарная машина и поддала с пригорка, когда замахал руками из кабины старик Ерема, узнавший коня-Ветерка, Дегустатовым овладели ужас и отчаяние. Никак он не ждал такой сообразительности от пожарника. Полагал, что если его враги будут звонить в милицию, там решат — шутят. И с погоней произойдет задержка.

— Гони! — крикнул он Ветерку, позабыв о своей подруге.

— А я как же? — закричала Анфиса, почуввав неладное. Всю жизнь она бросала других, а ее еще никто бросить не осмеливался. — Я ж тебе помогала, я ж стрелцу по голове туфлей била! Я ж в тебя храбрость вливала!

— Гони! — кричал Дегустатов Ветерку, не слушая женщину.

Ветерок переступил копытами и сказал со вздохом:

— Неудобно как-то получается, Иван Юрьевич. Женщина все-таки.

— Боливар двоих не сvezет, — ответил ему Дегустатов строкой из забытого иностранного рассказа. И стукнул каблуками по бокам жеребца.

— Эх, служба проклятая! — выругался конь и поскакал дальше.

Сундучок мешался, толкал в бок, сзади бежала по молодой траве черноволосая женщина шамаханской национальности и проклинала обманщика древними оскорбительными словами. Даже конь вздрагивал. А Дегустатов не слышал. Он мчал к станции Дальмебродной и приговаривал:

— Нас не возьмешь! Живыми не дадимся.

Ветерок, почуяв, что погоня настигает, перешел в карьер. Асфальт прогибался и трескался под мощными копытами.

Пожарная машина неслась вслед, словно горел родильный дом. Сирена выла, колокол звенел, пожарники привстали на сиденьях и торопили шофера.

— Вот разложенец, — сказал строго сержант, — женщину бросил, сообщницу. Ничего ему не дорого.

— Я и говорю, — ответил Эрик.

— Ничего с ней не станется, — вмешался старик Ерема. — Натура у ней преподлая. Если бы не связи, никогда бы ее близко к царевне не подпустили. Вполне возможно, что это она отравленное яблочко Елене подсунула.

Скоро фигурка Анфисы растаяла вдаль, а конь, хоть и волшебный, стал понемногу сдавать, так как в машине было более ста лошадиных сил, даже Ветерку не под силу конкурировать.

Впереди за березами возник кирпичный палец водокачки, пошли по сторонам дороги картофельные участки с прошлогодней ботвой и домики поселка. Люди выскакивали в палисадники, смотрели с изумлением, как полный мужчина на вороном красавце-коне удирал от пожарной машины, и делились на болельщиков: одни хотели, чтобы победил всадник, другие болели за пожарную машину.

У самого перрона, куда только что, по редкому совпадению, подошел поезд и остановился на минуту, машина настигла коня, но тот вскочил, повинувшись приказу Дегустатова, на платформу и поскакал, распугивая мирных пассажиров, прямо к железнодорожной кассе.

Пожарная машина затормозила у перрона, и на ходу пожарники соскакивали с нее, разбегаясь цепочкой, чтобы

вору никуда не скрыться. Да и Дегустатов уже понял, что билет покупать некогда.

— Стой, — крикнул он коню, и тот замер. Да так резко, хитрец, что Дегустатов перелетел через голову и покатился по платформе, по затоптанным доскам. Но сундучка не выпустил.

Пока он поднимался, потерял секунды, и за эти секунды высокий молодой человек в сверкающей медной пожарной каске и джинсах, первым соскочивший с машины, оказался совсем рядом и отрезал Дегустатову путь к вагонной двери.

Вид у того был ужасен. Дегустатов был доведен до крайности. Он крикнул, испугав пассажиров и заставив остановиться железнодорожного милиционера, который надвигался, свисток у губ, к месту происшествия:

— Меч-кладенец быстро!

Ветерок потрянул головой, не хотел подчиниться, но пришлось. Правда, пошел на хитрость, может, даже решившую исход дела. Он вложил меч-кладенец в ту же руку Дегустатова, под мышкой у которой находился заветный сундук с приданым. Сундук выпал.

Поезд в этот момент уже тронулся. Дегустатов неловко взмахнул тяжелым мечом, стараясь в то же время подобрать сундучок и поспеть к поезду.

— Отойди, убьет! — крикнул старик Эрику. — Меч-кладенец сам собой наводитесь!

Но Эрик не обратил никакого внимания и бросился к Дегустатову. Тому было поздно прыгать на поезд, и он толкнул мечом в Эрика. Меч своим хищным концом потянулся прямо к сердцу пожарника. И в этот момент сержант с помощниками, успевшими размотать шланг, пустили в Дегустатова сильную струю холодной воды. Меч, так и не достав до сердца Эрика, выпал из руки директора, ударил по сундучку и раскрыл его надвое...

Когда ехали обратно в дом отдыха, Дегустатов сидел смирно, оправдывался и сваливал вину на Анфису. Конь-Ветерок трусил рядом с пожарной машиной, заглядывал внутрь и поводил глазом, когда пожарники расхваливали его статью и масть.

Эрик разложил на свободной скамье приданое из сундука. Там были две простыни из тонкого голландского полотна, ночная рубашка из настоящего китайского шелка, стеклянный стакан, которому, как объяснил Ерема,

цены в сказочном древнем царстве не было. И разные другие вещи музейного значения, нужные девушке царских кровей на первое время в замужестве.

Дегустатов, когда замолкал в своих оправданиях, смотрел на вещи с ненавистью, потому что получалось — страдал он понапрасну.

Подобрали Аифису. Она сидела, пригорюнившись, у дороги. Как только Аифиса забралась в машину, она принялась корить Дегустатова, и они сильно поссорились.

А конь громко ржал, заглядывая внутрь, и пожарники говорили:

— Жеребец, а все понимает.

Когда доехали до дома отдыха, пожарники уже знали всю историю с самого начала и задавали много вопросов про древнюю жизнь, и, если дед Ерема чего забыл или не знал, конь-Ветерок приходил на помощь — он многое повидал на своем веку.

С длинным гудком машина въехала на территорию дома отдыха.

— Эй, есть кто живой? — громко спросил конь-Ветерок, обогнавший машину, чтобы первому сообщить приятные новости. — Выходи! Победа!

И встреча была радостной и веселой.

Потом пили чай, решали вопросы будущего. И царевна задала вопрос старику Ереме:

— Теперь мне можно замуж за Эрика?

Эрик покраснел, а Александра Евгеньевна строго произнесла:

— Без глупостей, Леночка. Рано тебе об этом думать.

— Здесь порядки строгие, — сказал старик Ерема. — Придется тебе сначала научиться грамоте и счету.

Дверь открылась, вошли директор музея и несколько краеведов.

— Где здесь выходы из прошлого? — спросил директор.

1970 г.

ДОМАШНИЙ ПЛЕННИК

Я сейчас стараюсь сообразить — и сообразить не могу, когда, в каком рассказе впервые возник профессор Лев Христофорович Минц и в каком году он поселился в доме № 16. Вернее всего, это случилось в рассказе «Домашний пленник».

Сомнения возникают оттого, что между написанием рассказа и публикацией порой проходит много времени. «Домашний пленник» был написан в 1972 году, а напечатан шестью годами позже. Так что первым напечатанным рассказом, в котором появился Лев Христофорович, я бы назвал «Две капли на стакан вина», написанный позже «Домашнего пленника», но увидевший свет в 1974 году.

Я отлично помню побудительную причину, заставившую меня познакомить читателей с этим персонажем. Ко мне пришел журналист и географ Лев Миронович Минц и на правах старого друга потребовал, чтобы его образ был отражен в беллетристике.

Я начал кричать, что никогда не играю в мещанские игры: «Ах, вставьте меня в вашу повестушку!» На что Лев Миронович сообщил мне, что у него отлично развито чувство юмора и он может вытерпеть даже насмешки над персонажем, навеянным образом прототипа.

Ну ладно, сказал я, пусть будет по-твоему. Я отойду от своих принципов, но тебе не поздоровится! Лев Минц будет самым глупым профессором на свете, самым великим путаником и демагогом, бездарью из бездарей, полагающей себя гением.

Так я и сделал. Тем более, что в гуслярских историях давно уже ощущалась нехватка научного персонажа, этакого антипрофессора, антигения...

Вот и наступил день, когда в освободившуюся квартиру в доме № 16 въехал ради спокойной жизни и по-

правки потрепанных гениальной деятельностью нервов профессор Лев Христофорович Минц, склонный к полноте и совершенно облысевший биолог, кибернетик, генетик и физик, не говоря уж о химии и математике.

И тут же обнаружилось, что профессор Минц вовсе не дурак. Чудак — да, но дурак? — ни в коем случае! Профессору Минцу свойственны заблуждения, ошибки, он — увлекающаяся натура, подчас не лишен излишнего самомнения. Но очень скоро обнаружилось, что в нем есть очень нужное для Великого Гусяра качество — отзывчивость и, скажем, простодушие.

Выяснилось, что профессор Минц не умеет отказать в просьбе, а так как соседи быстро уловили эту его слабость, то стали возникать порой курьезные, а порой опасные для человечества ситуации, потому что, движимый лучшими чувствами, профессор иногда мог не подумать о последствиях своего очередного гениального открытия.

Так что никакой мести реально существующему Минцу не получилось. Лев Миронович не без удовольствия откликается теперь на обращение «Лев Христофорович», а в свободное от работы время он уже открыл невесомость и вечный двигатель. Но это, разумеется, без моей помощи.

1

Известный ученый и изобретатель профессор Лев Христофорович Минц жил в доме № 16 по Пушкинской улице. Был он человеком отзывчивым и добрым, считал своим долгом помогать человечеству. В первую очередь этой слабостью профессора пользовались его соседи. Они были людьми ординарными, не любили заглядывать в будущее и зачастую разменивали талант профессора по мелочам. Тому можно привести немало примеров.

У Гавриловой пропала кошка. Гаврилова вся в слезах бросилась к профессору. Лев Христофорович отвлекся от изобретения невидимости и изготовил к вечеру единственный в мире «искатель кошек», который мог найти животное по волоску. Кошка нашлась в парке культуры и отдыха на высоком дереве, и снять ее оттуда или сманить оказалось невозможным. Тогда Лев Христофорович тут же, в парке, соорудил из сучьев, палок и сачка пробежав-

шего мимо мальчика-энтомолога уникальный «сниматель кошек с деревьев». А мальчику, чтобы его утешить, изготовил из спичечных коробков и перегоревшей электрической лампочки «безотказную ловушку для редких бабочек». И так почти каждый день...

Особенно оценили соседи своего профессора, когда он выполнил просьбу старика Ложкина, у которого сломалась вставная челюсть. Он велел Ложкину выкинуть челюсть на помойку и смазать десны специально изобретенным средством для ращения зубов, приготовленным из экстракта хвоста крокодила. Через два дня у старика выросли многочисленные заостренные зубы. Все лучше, чем вставная челюсть.

Как-то Корнелий Удалов спросил свою жену:

— Ксюша, тебе не кажется, что я лысею?

Облысел Удалов давно, и все к тому привыкли.

— Ты с детства плешивый, — отрезала Ксения, отрываясь от приготовленного завтрака.

— Может, сходить ко Льву Христофоровичу? — спросил Удалов.

— Тебе не поможет, — сказала Ксения.

— Почему же? Вон у Ложкина новые зубы выросли.

— Не тебе это нужно! — озлилась тут Ксения. — Это ей нужно!

— Кому?

— Той, которую твоя лысина не устраивает!

— Твоя ревность, — сказал Удалов, — переходит границы.

— Это шпионы переходят границы, — ответила Ксения, смахивая слезу. — А моя ревность дома сидит, проводит одинокие вечера.

Упреки были напрасными, но Корнелий, чтобы не раздражать жену, тут же отказался от своей идеи. Ксения эту уступчивость приняла за признание вины и расстроилась того больше. А когда Удалов сказал, что завтра, в субботу, уедет на весь день на рыбалку, Ксения больно закусила губу и стала смотреть на большую фотографию в рамке, где были изображены рука об руку Корнелий и Ксения в день свадьбы.

Неудивительно, что, как только Удалов ушел на службу, Ксения бросилась к профессору.

— Лев Христофорович! — взмолилась она. — Сил моих нету! Выручай!

— Чем могу быть полезен? — вежливо спросил профессор, отрываясь от написания научной статьи.

— Не могу больше, — сказала Ксения. — Даже если он и вправду на рыбалку едет, меня подозрения душат. Я чрезвычайно ревнивая. Прямо заперла бы его в комнате и никуда не пускала.

— А как же его работа? — удивился Лев Христофорович. — А как же его обязанности перед обществом?

— У него обязанности перед семьей, — отрезала Ксения. — Кроме того, я бы его только на выходные запирала и по вечерам.

— Вряд ли это реально, — сказал Минц. — И не входит в мою компетенцию.

— Входит, — возразила Ксения. Она уселась на свободный стул, сложила руки на животе и сделала вид, что никогда отсюда не уйдет. — Думай, на то ты и профессор, чтобы семью сохранять.

— Не представляю, — развел руками Минц. — Мужчину средних лет трудно удержать дома.

— Тогда сделай ему временный паралич, — сказала Ксения.

— Бесчеловечно. — Минц краем глаза покосился на статью, лежащую на столе. Больше всего на свете ему хотелось вернуться к ней. Но отделаться от Ксении Удаловой, не утихомирив ее, было невозможно.

Минц бросил взгляд на шкаф с пробирками и колбами, где хранились всевозможные химические и биологические препараты, но ничего не придумал. И вот тогда Ксения сказала:

— Мне иногда хочется, чтобы был мой Удалов маленький, носила бы я его в сумочке и никогда с ним не расставалась... Люблю я его, дурака.

— Маленьким... — Минц сделал шаг к шкафу.

Появился шанс вернуться к статье. Дело в том, что управление лесного хозяйства обратилось недавно к Минцу с просьбой помочь избавиться от расплодившихся волков. Минц, как всегда, пошел по необычному пути. Он разработал средство уменьшать волков до размера кузнечика. Сохранять этим поголовье хищников и спасать скот от гибели, ведь волк-кузнечик на корову напасть не сможет. Правда, это изобретение затормозилось, потому что Минцу никак не удавалось сделать средство долгодействующим...

Минц достал с полки флакон с желтыми гранулами, отсыпал несколько гранул в бумажку и передал Ксении.

— Я надеюсь на ваше благоразумие, — сказал он. — Применяйте это средство лишь в крайнем случае. Когда вы почувствуете реальную угрозу семейной жизни. Если ваш супруг примет гранулу — на двадцать четыре часа он станет маленьким. А затем без вреда для здоровья вернется в прежний облик. Все ясно?

— Спасибо, профессор, — произнесла Ксения с чувством, принимая пакетик с гранулами. — От меня, от детей, от всех женщин нашей планеты. Теперь они у нас попрыгают!

Но Минц не слышал последних, необдуманных слов женщины. Он уже устремился к письменному столу. Профессор был одержим слепотой, свойственной некоторым гениям. Он забывал о потенциальной опасности, которую несут миру его открытия, если попадут в руки людей, не созревших к использованию этих открытий. Минц не знал, что даже те скромные подарки, что он сделал соседям, далеко не всегда ведут к окончательному благу. Ведь мальчик-энтомолог, которому Минц подарил «безотказную ловушку для редких бабочек», начал с ее помощью таскать вишни из школьного сада и был больно бит собственным отцом, а кошка, найденная и снятая с дерева, утащила свиную отбивную с прилавка магазина, отчего возник большой скандал. Что же касается Ксении, она была типичным представителем племени современных любящих женщин и, как таковая, тоже не думала о последствиях...

2

Удалов вернулся со службы раньше обычного, потому что хотел выспаться перед рыбалкой. Он собирал удочки и проверял лески, когда Ксения внесла в комнату суп, в котором развела гранулу, и сказала сладким голосом:

— Иди поешь, испытуемый.

Ксения находилась в счастливом, но тревожном настроении. Она верила Минцу, не сомневалась, что, если бы лекарство угрожало мужу плохим, Минц бы его не дал. И все-таки проверила: за час до того скормила одну гранулку котенку, тот сделался меньше таракана и куда-то запропастился.

Ксения приготовила старую сумку, уложила на ее

плоское дно вату и замшевую тряпочку, проверила замочек и установила сумку на комод.

— Кто я? — удивился Удалов.

— Испытуемый.

— Ага, — согласился Удалов, который привык не обращать внимания на слова жены. — Ты меня в пять тридцать разбудишь?

Ксения решила дать Удалову последнюю возможность исправиться.

— Корнюша, — сказала она. — Может, отложишь свою рыбалку? Возьмем детей, пойдем завтра к Антонине?

При имени тетки Антонины Удалова передернуло.

— Погоди, — не дала ему ответить Ксения. — Мы же у Антонины полгода не были. Обижается. А если не хочешь, к Семицветовым сходим, а?

Удалов только отрицательно покачал головой. Не стал тратить времени на возражения.

— Или в кино. А?

— Сходи, — ответил Удалов коротко, и это решило его судьбу.

Ксения поставила перед ним тарелку, а сама встала рядом с тряпкой в руке, чтобы подхватить мужа со стула, если будет падать.

Удалов был голоден, потому не мешкая уселся за стол, взял ложку и начал есть суп.

— А хлеб где? — спросил он. — Хлеб дать забыла.

— Сейчас, — ответила Ксения, но не двинулась с места, потому что боялась оставить мужа одного в комнате.

— Неси же, — велел Удалов и тут же стал уменьшаться. — Ой, — сказал он, не понимая еще, куда делась тарелка с супом и почему голова его находится под столом.

Ксения подхватила его тряпкой под бока, извлекла из одежды и с радостью ощущала, как Корнелий съезживается под руками словно воздушный шарик, из которого выпускают воздух. Корнелий, видно, опомнился, начал дергаться, сопротивляться, но движения его были схожи с трепетанием птенца, и потому без особого труда Ксения, так и не вынимая его из тряпки, сунула в сумку и вывалила на белую вату.

Корнелий все еще ничего не мог сообразить. Он понял, что находится в темном глубоком погребке, на жестких, упругих стеблях, вроде бы на выцветшей соломе, сверху

колеблется огромное лицо, странным образом знакомое, словно в кошмаре, а на лице видна улыбка. Рот, в котором мог бы согнувшись разместиться весь Удалов, широко раскрылся, и из него вывалились тяжелые, громовые слова:

— Хорошо тебе, моя лапушка?

И тогда Удалов понял, что лицо принадлежит его жене, вернее, не его жене, а какой-то великанше с чертами Ксении Удаловой. Удалов зажмурился, чтобы прогнать видение и вернуться за стол, к недоеденной тарелке супа. Но жесткая солома под рукой никуда не пропадала, и Удалов ущипнул себя за бок, вызвав тем оглушительный хохот чудовища.

— Ни на какую рыбалку ты не поедешь, — сказала тогда Ксения. — Посидишь дома. С семьей. Спасибо Льву Христофоровичу, что пожалел бедную женщину. Теперь-то я с тобой, бесстыдник, хоть на выходные дни не расстанусь.

И видя тут, что человечек в сумке засуетился, осознавая, наконец, масштаб беды, в которую угодил, Ксения заговорила ласковым голосом:

— Корнюша, для твоего же блага! Это все любовь моя виновата. Век бы с тобой не расставалась, ласкала бы тебя, нежила.

К Удалову сверху свесился палец ростом с него самого, и этот палец нежно погладил Удалова по макушке, чуть не содрав с нее последние волосики. Удалов изловчился и укусил кончик пальца.

— Ну что ты, лапушка, ну что ты волнуешься, — огорчилась Ксения. — Посидишь немножко, придешь в себя. Поймешь, что так полезнее. Потом телевизор посмотрим. Я тебя в канареечную клетку посажу. Все равно пустует. Детишки не увидят. Детишек я на первый вечер к мамаше послала, потому что ты с непривычки можешь чего-нибудь лишнего натворить.

— Прекрати! — крикнул Удалов. — Немедленно прекрати. Ты что, с ума сошла со своим Львом Христофоровичем? Да я вас по судам загоняю! Мне на работу в понедельник.

Ксения только покачала сокрушенно головой, и ее волос канатом упал рядом с Удаловым.

— Завтра к вечеру, — сказала Ксения, — будешь как прежде. Ты кушать хочешь?

Удалов рухнул на вату и уткнулся в ее жесткие тол-

стые волокна лицом. Положение было обидное. Рыбалка погибла. Ксения полагала, что протест Корнелия вскоре иссякнет и тогда можно будет поговорить с ним по-хорошему и даже добиться его согласия проводить в канареечной клетке выходные дни. Тут же подумалось и об экономии: маленький Удалов съест, что птичка. Нет. Ксения, как вам известно, женщина не жестокая. И она честно полагала, что как только проучит мужа, как только добьется от него обещания уделять больше внимания семье, согласия ходить в гости к Антонине и другим родственникам, она его сразу выпустит на волю. Ведь должен же Удалов понять, что иного выхода нету. Если будет упрямиться, всегда можно снова подложить желтую крупинку. Не откажется же Удалов от домашней пищи — к другой он не приучен.

Но Удалов думал иначе. Он не смирится. Он собирался продолжать борьбу, потому что был глубоко оскорблен и кипел жадой мести — от развода с женой до убийства изобретателя Минца.

Ксения закрыла сумку на молнию и на замочек. Удалов, нащупав в крошечной темноте толстый и длинный Ксюшин волос, принялся плести из него лестницу, чтобы выбраться на волю.

Ксения приготовила манной каши и налила ее в блюдечко для варенья. Туда же капнула меда и отломил кусочек печенья. Пускай Корнюша побалуется, он так любит сладкое.

— Тебе хорошо, цыпочка? — спросила Ксения.

Маленький муж ей нравился даже больше, чем большой. Она с удовольствием носила бы его в ладонях, только боялась, что он будет царапаться. Удалов лежал недвижно на дне сумки.

— Корнелий, — сказала Ксения, — не притворяйся.

Корнелий не шевельнулся.

— Корнелий... — Ксения потрогала мужа пальцем, и тот безжизненно и податливо перевернулся на спину.

Ксения попыталась было нащупать пульс, но поняла, что так недолго сломать мужу ручку.

Обливаясь нахлынувшими слезами, Ксения вытащила мужа из сумки и положила на диван. Сама же бросилась к Минцу. Того не было дома. Метнулась обратно в комнату, и Удалов, который к тому времени уже вскочил и бежал по дивану, ища места, чтобы спрыгнуть, еле успел улечься

снова и принять безжизненную позу. Ксения не обратила внимания на то, что ее муж лежит не там, где был оставлен. Она вслух проклинала Минца, который погубил ее Корнелия, и собралась уже бежать в неотложку, но спохватилась — неотложка приезжает за людьми, что ей делать с птенчиком?

Удалов сам себя погубил. Ему показалось, что жена отвернулась, и он легонько подпрыгнул и сделал короткую перебежку к диванной подушке. Ксения увидела его притворство и ужасно оскорбилась.

— Ах так! — сказала она. — Притворяешься? Пугаешь самого близкого тебе человека, любящую тебя жену? Просидишь до завтрашнего вечера в сумке. Одумаешься.

И она бросила его в сумку, брезгливо держа двумя пальцами, словно гусеницу.

Удалов немного ушибся и проклял свое нетерпение. И снова принялся плести лестницу из волоса Ксении.

Ксения отказалась от мысли кормить Удалова. Пускай помучается. Правда, поставила ему в сумку свой наперсток и пояснила:

— Это тебе как ночной горшок. Понял?

— Я тебя ненавижу, — ответил Удалов с горечью.

И тут же его охватило бессильное озлобление, он начал бегать, проваливаясь по колену в вату, и махать кулачками.

— Ах так, — сказала Ксения и села к телевизору, включив его на полную громкость, чтобы не слышать упреков и оскорблений. А если до нее доносился голосок мужа, то она отвечала однообразно:

— Для твоего блага. Для твоего перевоспитания.

Но спокойствия в душе Ксении не было. Она приобрела то, что не смогла приобрести ни одна женщина на свете, — карманного мужчину. Но торжество ее было неполным. Во-первых, мужчина не желал быть карманным, во-вторых, ей не с кем было поделиться своим триумфом. И тогда Ксения решилась.

Она выключила телевизор на самом интересном месте, застегнула сумочку и собралась в гости к Антонине.

3

В пути Удалова укачало. Он перестал буянить и только заткнул уши, чтобы не слышать, как Ксения размышляет вслух об их будущей счастливой жизни.

Антонина не ожидала поздних гостей.

— Ксюша, — сказала она. — А я вас завтра звала.

Антонина отличалась удивительной бестактностью.

— Ничего, — ответила Ксения. — Мы ненадолго.

— А Корнелий придет? — спросила Антонина. — Мой-то дрыхнет. На футбол ходил. Вот и дрыхнет. Только пирога не жди. Пирог я на завтра запланировала. Придется кого-то еще звать на завтра вместо тебя. Как здоровье, Ксения? Ноги не беспокоят?

Ноги болели не у Ксении, а у ее двоюродной сестры Насти. Но Ксения спорить не стала, да и не было никакой возможности спорить, если ты пришла к тетке Антонине.

— Ты проходи, — пригласила Антонина, — чего стоишь в прихожей?

Ксения послушно прошла в комнату, тесно заставленную мебелью, потому что Антонина любила покупать новые вещи, но не могла заставить себя расстаться со старыми.

На тахте, зажатой между двумя буфетами — старым и новым, лежал Антонинин муж Геннадий, такой же сухой, жилистый и длинноносый, как Антонина, и, закрыв голову газетой, делал вид, что спит, надеялся, что его не тронут и уйдут в другую комнату.

— Вставай, — сказала строго Антонина. — Развлекай гостей. Я пойду чай поставлю. Нет хуже, чем гость не ко времени. А твой-то где?

— Со мной, — лукаво ответила Ксения.

— А, — согласилась Антонина, которая, как всегда, слушала плохо и была занята своими мыслями. — Никогда он ко мне не приходит. Брезгует. Ты вставай, Геннадий, вставай.

И Антонина ушла на кухню, оставив Ксению на попечение мужа, который так и не снял с лица газету.

В другой раз Ксения, может быть, и обиделась бы, ушла. Но сейчас понимала, что явилась к людям, когда не звали, а потому сама виновата. Но желание удивить родственников подавило все остальные чувства, так что Ксения послушно уселась за стол, поставив сумку рядом с собой на скатерть.

Минут через пять, в течение которых в комнате царил молчание, нарушаемое лишь демонстративным посапыванием Геннадия, вернулась Антонина.

— Так и знала, — сказала она. — Ты, глупая, сидишь,

словно клуша, а мой изображает из себя спящую красавицу. Ну, уж это слишком.

Антонина, быстро и споро накрывая на стол, выкроила секунду, чтобы потянуть мужа за ногу.

— А, племянница, — произнес Геннадий, словно и в самом деле только проснулся. — А где Корнелий?

— Здесь он.

— Ага. — Геннадий в одних носках подошел к столу и сел напротив Ксении. — Я тоже по гостям ходить не терплю. Все это сплошные бабские разговоры. Нет, меня не затянешь. А Корнелия за его упрямство даже уважаю.

Корнелий пошевелился в сумке, отчего та вдрогнула, а Ксения подвинула ее к себе.

— Шшшш! — велела она строго.

— Чего? — удивился дядя Геннадий.

— Не тебе, — сказала Ксения. — Это я Удалову.

Удалов больше не двигался. Он испугался, что его будут показывать, а это было унижение хуже смерти.

Тут Антонина принесла самовар. Сели пить чай.

— Ты сумку со стола убери, — сказала Антонина племяннице. — Не дело сумку на столе держать.

Ксения улыбнулась, но сумку убрала, поставила на пол, между туфель, чтобы кто случайно не задел, потому что очень любила своего Корнелия.

От толчка Корнелий пискнул: «Ой!»

— Все-таки, — сказала Ксения сладким голосом, чтобы заглушить крик мужа, а также навести разговор на нужную тему, — все-таки, будь моя воля, я бы мужиков далеко не отпускала. Ну, отработал, пришел домой, а дальше — никуда.

— Всю жизнь мучаюсь, — ответила Антонина в сердцах. — Всю жизнь.

— Это есть спесь и тщеславие, — рассудил дядя Геннадий. — Ты нам по маленькой не поставишь по случаю праздника?

— Молчи, — ответила Антонина. — В одиночестве пить — алкоголизм. Сам же читал в журнале «Здоровье».

— Если по маленькой — не алкоголизм, а удовольствие. Ведь и Ксения не откажется. Не откажешься, Ксюша?

Дядя Геннадий глядел на племянницу с надеждой.

— Не откажусь, — ответила Ксения. — И Корнелий не откажется.

Тут тетя Антонина не выдержала.

— Ксюша, ты здорова? — спросила она. — Если что — аспирину дам. Я же заметила, думаешь, глухая? Ты все твердишь — со мной Корнелий, рядом Корнелий. А мы-то видим, что нет его. Ты говори всю правду. Может, ушел совсем? Может, что случилось? Может, кого еще нашел?

— Ой нет, тетя Антонина. — Ксения так и лучилась удовольствием. — Только с мужем обращаться надо уметь. Вот ты всю жизнь прожила с дядей Геннадием, а он тебя избегает.

— Я бы от нее в Австралию убежал, к антиподам, — подтвердил Геннадий. — Может, еще завербуюсь на Сахалин.

— Молчи, — ответила Антонина. — Все равно выпить не дам.

Потом Антонина обернулась к племяннице и произнесла назидательно:

— Мужчину не удержишь. Мужчина — такое дикое животное, что требует свободы. Так что привыкай. К себе его не привяжешь и в сумку не положишь.

— Это точно, — сказал дядя Геннадий.

Наступил миг Ксении торжества.

— Кто не положит, — проговорила она. — А кто и положит.

С этими словами она достала сумку из-под стола, поставила ее рядом с чашкой и сказала, расстегивая:

— Может, тетя, Корнелию чайку нальешь? А то он у меня не ужинавши.

Она извлекла из сумки сопротивляющегося нагого человечка и двумя пальцами поставила на стол.

— Вот он, мой ласковый...

Ласковый стоял согнувшись, стеснялся и готов был плакать.

— Господи, — всплеснула руками Антонина, — ты что же с мужем сделала, безобразница?

— Уменьшила его, — ответила Ксения, — до удобного размера, чтобы носить с собой и не расставаться в выходные дни. Добрые люди помогли, дали средство.

— Так нельзя, — сказал Геннадий. — Это уж слишком. Если вы, бабы, будете своих мужей приводить в такое состояние, это вам даром не пройдет.

— Не пройдет! — закричал комаром Удалов. — Я требую развода! При свидетелях!

— Не спеши, — остановила его рассудительная Антонина. — Ты у своих, не опасайся. Мы тут в семье все и уладим.

Потом она поглядела на Ксению с укоризной:

— Ну зачем ты так, Ксюша? Мужчине перед людьми стыдно. Ему на службу идти, а как он такой жалкий на службу пойдет? Кто его слушаться будет? А если его завтра в горсовет вызовут?

— Я требую развода! — настаивал Удалов. Он забыл о своей наготе и бегал между чашек, норовя прорваться к Ксении, а Ксения отодвигала его ложкой от края стола, чтобы не свалился.

— А ты помолчи, — сказала ему Антонина. — Прикрой стыд. Не маленький.

Удалов опомнился, метнулся к чайнику с заваркой, но укрыться за ним не смог, в полном отчаянии схватился за край пол-литровой банки с вареньем, подтянулся и перевалился внутрь.

— Не беспокойся, тетечка, — сказала Ксения, следя, чтобы Удалов не утонул. — Это только на выходные и на праздники. С понедельника он придет в состояние.

— Не одобряю. — Антонина многого не одобряла. И шумела Антонина не из любви к Удалову, не из жалости, а из боязни всякого новшества, пускай даже на первый взгляд новшества, удобного для женщин.

— А ты вылезай, — строго сказала Антонина Удалову. — После тебя продукт придется выкидывать.

— А ты вынь меня, — пискнул Удалов. — Я же сам не вылезу.

Голосок у него стал слабенький, еле доносился из банки.

— Пчела! — закричал Удалов.

Пчела и в самом деле кружилась над ним, примериваясь. И спокойно могла бы закусать Удалова до смерти. Теперь ему многое грозило смертью.

Ксения вскочила, достала платок и стала гонять пчелу, а Антонина чем больше смотрела на это безобразие, тем больше сердилась, мрачнела и даже совсем замолкла, как пар в котле, прежде чем произойдет взрыв.

Чувствуя это и не желая терять времени понапрасну, дядя Геннадий тихонько встал из-за стола, подмигнул Удалову, к которому проникся сочувствием, на цыпочках отошел к буфету, открыл его и налил из графина себе в стакан, а Удалову в маленькую рюмочку, которая хоть и маленькая, а для Удалова была как ведро.

Прогнав пчелу, Ксения достала Удалова двумя пальца-

ми из варенья и, налив в блюдце горячей заварки из чайника и подув в нее, чтобы не обжечь мужа, окунула в заварку Удалова. Тому было горячо, он сопротивлялся, а Ксения смывала с него сироп и приговаривала:

— Потерпи, цыпочка, потерпи, лапочка.

— Вот что, — взорвалась наконец тетя Антонина. — Я тебя, Ксения, сегодня не звала. Так что можешь идти домой. В милицию я на твое поведение, так и быть, жаловаться не буду, но матери твоей непременно сообщу. Дожили. С голым карликом заявила. А ты, Геннадий, рюмки спрячь. Не время пить!

— Тоня, — произнес Геннадий миролюбиво, но стакан отставил и рюмку от Удалова отодвинул.

— Может, это в Париже так с мужьями поступают, но у себя мы этого не позволим. В крайнем случае в газету напишу. Там меня знают. А то сегодня я тебя, а завтра ты меня — человек человеку волк, да?

— Тетя Тоня, — пыталась возразить Ксения. — Я же для его блага. Чтобы муж не пил, не гулял, был при доме. Это же любовь!

Но Антонина подошла к Геннадию, вцепилась пятерней в его седые волосы, будто испугалась, как бы он и на самом деле не уменьшился, и ответила твердо:

— Я своего в обиду не дам. Пусть какой ни на есть паршивый да гулящий, но такой уж мне достался и менять его не буду. Живи со своими штучками, как ты того желаешь, но нас уволь. И если ты еще раз посмеешь с этим уродом ко мне в дом прийти, с порога выгоню. Иди.

Тут Антонина еще раз взглянула на бывшего Удалова, потерявшего от унижений и мучений дар речи, и по ее щекам неожиданно покатились слезы.

Ксения поняла, что делать ей в этом доме больше нечего. Она быстро затолкала мужа в сумочку и, не допив чая, пошла к двери. Антонина ее провожать не стала, а когда племянница ушла, повернулась к мужу и сказала сквозь слезы:

— Если выпить хочется, то выпей маленькую.

— Нет уж, спасибо, — отказался Геннадий, который тоже внутренне переживал эту тяжелую сцену.

Антонина уселась, подперла голову ладонью и думала, что счастье — это когда у тебя муж в настоящем размере, и опасалась немного, как бы старик сдуру не вздумал ее в сумку запихать, чтобы не ворчала. И дала себе слово

сдерживаться и старика не пилить. И держала это слово два дня, не меньше.

Ксения шла домой не спеша, переживала разлад в семье, сумка раскачивалась в руке, и Удалова бросало из угла в угол. Он хватался за вату, стонал и пытался слизать с себя остатки вишневого варенья.

4

К приходу домой настроение Ксении немного улучшилось. Она поставила сумку на трельяж, между духами и пудрой, а сама улеглась спать. Решила, что завтра покажет Удалова подруге Римме, которая работала в женской парикмахерской и была большой модницей. И с этой мыслью Ксения счастливо заснула, закрыв дверь в соседнюю комнату, чтобы ночью Удалов криками и стонами не мешал ей спать. Ей снилось, как все женщины города ходят по улицам и носят в сумках, а то и водят на голубых ленточках своих мужчин.

Все спали в шестнадцатом доме. Лишь Удалов мучился, словно граф Монте-Кристо в своей тюрьме, и кипел местью. Он уже проверил все швы и углы в сумке, но швы были крепкие, а нитки для него — как канаты, не разорвешь. И ножа нет. Даже перочинный ножик остался в кармане утерянных при уменьшении брюк.

Удалов попробовал подпрыгнуть, чтобы достать до потолка, но потолок сумки был далек, не достать. Удалов присел на вату, стараясь придумать какой-нибудь выход и мечтая о том, как, выбравшись наружу, он навсегда уйдет из дома и будет лишь раз в месяц присылать деньги на воспитание детей. Детей было жалко.

Вдруг Удалову показалось, что потолок чуть приблизился. И стенки сумки тоже приблизились. Несмотря на крошечную тьму, ощущение это было совершенно явственным.

Удалов протянул руку вперед, и она уткнулась в материю. Удалов поднялся, без труда дотянулся до крыши. И тут он понял, что действие крупинки кончается.

— Ура! — сказал он шепотом, чтобы не разбудить Ксению и не нарушить благоприятного процесса роста.

Еще ни один ребенок на свете так не радовался росту, как радовался Удалов. Тягостный плен кончался. Без труда Удалов провел рукой по потолку, но застежка молнии находилась снаружи. Становилось тесно. Пришлось сесть.

И тут Удалов немного испугался. Стенки сумки крепкие. Так можно и задохнуться. Рост все ускорялся. Удалов даже не успел позвать на помощь, как его тесно сдавила материя. Сумка оказалась, как назло, крепкой. Голова вжалась в плечи, и колени отчаянно вдавливались в ребра. И когда Удалов уже готов был завопить от боли и ужаса, сумка со страшным треском разлетелась в клочки, а Удалов грохнулся на пол. Зеркала на трельяже разлетелись вдребезги, осколки пулеметной очередью прошли стекло буфета, пронзив по очереди все чешские бокалы и праздничный сервиз, а упавшая от этого с буфета хрустальная ваза, врученная Удалову восемь лет назад за победу в городских соревнованиях по городкам, умудрилась врезаться в этажерку с любимыми комнатными растениями Ксении. Комнатные растения принялись прыгать вниз и вверх, спасаясь от несчастья, и один из горшков задел люстру, подвески которой принялись выбивать дробь по стеклам и оставшимся до того целыми стеклянным и фарфоровым предметам в комнате. От люстры осталась всего одна голая лампочка, и эта лампочка сама по себе загорелась и осветила помещение, по которому, не в силах остановиться, носились в разные стороны разбитые и поломанные предметы.

Удалов слушал этот грохот и наблюдал разрушение, словно прелестный сердцу балетный спектакль, потому что им владело чувство мести, и месть эта была удовлетворена. И по мере того, как разрушение комнаты, в которой было совершено посягательство на самое дорогое — на личную свободу Удалова, заканчивалось, Удалова охватило внутреннее удовлетворение и даже удовольствие. Он уже не сердился ни на Ксению, ни на слишком изобретательного Минца.

Когда через полторы минуты, теряя на бегу бигуди, в комнату ворвалась Ксения, она увидела жуткую картину мамаева побоища. А на полу, посреди этого, сидел совершенно обнаженный Корнелий Удалов и приводил в порядок удочки, чего не успел сделать перед ужином. До отъезда на рыбалку оставалось всего ничего.

Перед тем, как грохнуться в обморок, Ксения успела спросить:

— Это все ты?

— Нет, ты, — ответил Удалов, перекусывая леску.

ДВЕ КАПЛИ НА СТАКАН ВИНА

Профессор Лев Христофорович Минц, который поселился в городе Великий Гусляр, не мог сосредоточиться. Еще утром он приблизился к созданию формулы передачи энергии без проводов, но ему мешали эту формулу завершить.

Мешал Коля Гаврилов, который крутил пластинку с вызывающей музыкой. Мешали маляры, который ремонтировали у Ложкиных, но утомились, и, выпив вина, пели песни под самым окном. Мешали соседи, которые сидели за столом под отцветшей сиренью, играли в домино и с размаху ударяли ладонями о шатучий стол.

— Я больше не могу! — воскликнул профессор, спрятав свою лысую гениальную голову между ладоней.

В дверь постучали, и вошла Гаврилова, соседка, мать Николая.

— И я больше не могу, Лев Христофорович! — тоже воскликнула она, прикладывая ладонь ко лбу.

— Что случилось? — спросил профессор.

— Вместо сына у меня вырос бездельник! — сказала несчастная женщина. — Я в его годы минуту по дому впустую не сидела. Чуть мне кто из родителей подскажет какое дело, сразу бегу справить. Да что там, и просить не надо было: корову из стада привести, подоить, за свинками прибрать, во дворе подмести — все могла, все в охотку.

Гаврилова кривила душой — в деревне она бывала только на каникулах, и работой ее там не терзали. Но в беседах с сыном она настолько вжилась в роль трудолюбивого крестьянского подростка, что сама в это поверила.

— Меня в детстве тоже не баловали, — поддержал Гаврилову Минц. — Мой папа был настройщиком роялей, я носил за ним тяжелый чемодан с инструментами и часами на холоде ждал его у чужих подъездов. Приходя из школы, я садился за старый, полученный папой в подарок

рояль и играл гаммы. Без всякого напоминания со стороны родителей.

Профессор тоже кривил душой, но столь же невинно, ибо верил в свои слова. У настройщиков не бывает тяжелых чемоданов, и, если маленький Левушка увязывался с отцом, тот чемоданчика ему не доверял. Что касается занятий музыкой, Минц их ненавидел и часто подпиливал струны, потому что уже тогда был изобретателем.

— Помогли бы мне, — сказала Гаврилова. — Сил больше нету.

— Ну, как я могу? — ответил Минц, не поднимая глаз. — Мои возможности ограничены.

— Не говорите, — возразила Гаврилова. — Народ вам верит, Лев Христофорыч.

— Спасибо, — ответил Минц и задумался. Столь глубоко, что когда Гаврилова покинула комнату, он этого не заметил.

Наступила ночь. Во всех окнах дома № 16 погасли огни. Утомились игроки и певцы. Лишь в окне профессора Минца горел свет. Иногда высокая, с выступающим животом тень профессора проплывала по освещенному окну. Порой через форточку на двор вырывалось шуршание и треск разрезаемых страниц — профессор листал зарубежные журналы, заглядывая в достижения смежных наук.

От прочих ученых профессора Минца отличает не только феноменальный склад памяти, которая удерживает в себе все, что может пригодиться ученому, но также потрясающая скорость чтения, знакомство с двадцатью четырьмя языками и умение постичь специальные работы в любой области науки, от философии и ядерной физики до переплетного дела. И хоть формально профессор Минц — химик, работающий в области сельского хозяйства, и именно здесь он принес наибольшее количество пользы и вреда, в действительности он энциклопедист.

Утром профессор на двадцать минут сомкнул глаза. Когда он чувствовал, что близок к решению задачи, то закрывал глаза, засыпал быстро и безмятежно, как ребенок, и бодрствующая часть его мозга находила решение.

В 8 часов 40 минут утра профессор Минц проснулся и пошел чистить зубы. Решение было готово. Оставалось записать его на бумагу, воплотить в химическое соединение и подготовить краткое сообщение для коллег.

В 10 часов 30 минут заглянула Гаврилова, и Минц встретил несчастную женщину доброй улыбкой победителя.

— Садитесь. Мне кажется, что мы с вами у цели.

— Спасибо, — растроганно сказала Гаврилова. — А то я его сегодня еле разбудила. В техннкум на занятия идти не желает. А у них сейчас практика, мастер жутко требовательный. Чуть что — останешься без специальности.

Минц включил маленькую центрифугу, наполнившую комнату приятным деловитым гудением.

— Действовать наш с вами препарат будет по принципу противодействия, — объяснил Минц.

— Значит, капли? — спросила с недоверием Гаврилова.

— Лекарство. Без вкуса и запаха.

— Мой Коля никакого лекарства не принимает.

— А вы ему в чай накапайте.

— А в борщ можно? Борщ у меня сегодня.

— В борщ можно, — сказал Минц. — Итак, наше средство действует по принципу противодействия. Если я его приму, то ничего не произойдет. Как я работал, так и буду работать. Ибо я трудолюбив.

— Может, тогда и с Колей не произойдет?

— Не перебивайте меня. Со мной ничего не произойдет, потому что в моем организме нет никакого противодействия труду. С каплями или без капель я все равно работаю. Но чем противодействие больше, тем сильнее действие нашего с вами средства. Натолкнувшись на сопротивление, лекарство перерождает каждую клетку, которая до того пребывала в состоянии безделья и неги. Понимаете?

— Сложно у вас это получается, Лев Христофорыч. Но мне главное, чтобы мой Коленька поменьше баклуши бил.

— Желаю успехов, — произнес Лев Христофорович и передал Гавриловой склянку со средством.

А сам с чувством выполненного долга направился к своему рабочему столу и принялся было за восстановление в памяти формулы передачи энергии без проводов, но его отвлек голос Гавриловой, крикнувшей со двора:

— А по сколько капель?

— По десять, — ответил Минц, подходя к окну.

— А если по пять? — спросила Гаврилова.

Профессор махнул рукой. Он понимал, что сердце

матери заставляет ее дать сыну минимальную дозу, чтобы мальчик не отравился. В действительности одной капли хватило бы для перевоспитания двух человек. И средство было совершенно безвредным.

Под окном два маляра затянули песню. Песня была скучная и, по случаю раннего времени, негромкая. Маляры проработали уже минут тридцать и теперь намерены были ждать обеда.

Минц на минуту задумался, потом вспомнил, что где-то под столом должна стоять непочатая бутылка пива. Он разворошил бумаги, отыскал бутылку и, раскупорив, разлил пиво в два стакана. Затем, плеснув в стаканы средства от безделья, направился к окну.

— Доброе утро, орлы, — проговорил профессор бодро.

— С приветом, — ответил один из маляров.

— Пить хотите?

— Если воды или чаю — ответим твердое «нет», — сказал маляр. — Вот если бы вина предложил, дядя, мы бы тебе всю комнату побелили. В двадцать минут.

Через двор медленной походкой усталого человека шел Николай Гаврилов, который сбежал с практики и придумывал на ходу, как бы обмануть родную мать и убедить ее, что мастер заболел свинкой. Гаврилов обратил внимание, как солнце, отражаясь от лысины профессора, разлетается по двору зайчиками, и испытал полузабытое детское желание выстрелить в эту лысину из рогатки. Но он отвернулся, чтобы не соблазниться.

— А вы пиво уважаете? — заискивающе спросил профессор Минц.

— Шутишь, — ответил обиженно маляр. — Пива третий день как в магазине нет по случаю жаркой погоды.

— А у меня бутылка осталась, — сообщил Минц. Он поставил полные стаканы на подоконник, а малярам показал темно-зеленую бутылку.

— Погоди, — сказал деловито маляр. — Не двигайся с места, сейчас мы к тебе зайдем и разберемся.

Маляры вели себя деликатно, осмотрели потолок, дали профессору ценные советы насчет побелки и только потом с благодарностью выпили по стакану пива.

— Самогон изготавлиешь? — спросил с надеждой один из маляров, разглядывая колбы и банки.

— Нет, — ответил профессор. — Вам не хочется вернуться к ремонту квартиры товарища Ложкина?

Маляры весело засмеялись.

Минц смотрел на них внимательно, желая уловить момент, когда рвение трудиться охватит их с невиданной силой. Но маляры попрощались и ушли обратно во двор, допевать песню.

Было 11 часов 20 минут утра.

Вскоре Гаврилова принесла сыну тарелку борща с двумя каплями средства профессора Минца. Пять капель дать сыну не решилась. Николай смотрел на мать подозрительно. Почему-то она не ругалась и не укоряла сына. Это было странно и даже опасно. Мать могла принять какое-нибудь тревожное решение: написать отцу в Вологду, вызвать дядю или пойти в техникум. Гаврилов ел борщ безо всякого удовольствия. Потом кое-как управился с котлетами, и его потянуло в сон. Николай включил музыку не на полную мощность и задремал на диване, прикрыв глаза учебником математики: он верил, что когда спишь, то из книги в голову может что-нибудь перейти.

Минц не мог работать. В расчетах что-то не ладилось. Маляры лениво спорили со старухой Ложкиной, которая призывала их вернуться на трудовой пост. Потом стали выяснять, кому первому идти за вином. Из окна Гавриловых доносилась музыка. За стол под сиренью сели Кац с Василь Васильичем. Кац был на бюллетене и выздоравливал, а Василь Васильич работал в ночную смену. Они ждали, когда подойдет кто еще из партнеров. Жена Каца кричала из окна:

— Валентин, сколько раз тебе говорила, чтобы починил выключатель? Ты же все равно ничего не делаешь.

— Я заслуженно ничего не делаю, кисочка, — отвечал Валя Кац. — Я на бюллетене по поводу гриппа.

— Вот, — сказал сурово Минц. — Эти будут у меня в числе подопытных.

Он взял хозяйственную сумку и отправился в магазин.

Там продавали сухое вино из Венгрии, но брали его слабо, без энтузиазма. Ждали, когда привезут портвейн. Среди ожидавших уже был маляр. Минца он встретил как доброго знакомого и посоветовал ему:

— Ты погоди деньги-то тратить. Сейчас портвейн выбросят. Там у Риммы еще четыре ящика.

— Ничего, — смутился профессор Минц. — Мне для опыта. Мне не пить.

— Для опыта можно и молоко, — сказал осуждающе человек с сизым носом.

Цвет был такой интенсивный, что Минц засмотрелся на нос, а человек произнес с некоторой гордостью:

— Это я загорал. Кожа слезла.

Римма поставила перед Минцем шесть бутылок сухого вина.

— Большой опыт, — оценил маляр. — В гости позовешь?

И тут Минц решился.

— Всем ставлю! — воскликнул он голосом загулявшего купчика. — Все пьют!

В магазине стояло человек пятнадцать. Все, на взгляд Минца, бездельники. Все заслуживали перевоспитания.

— И не думайте, и не мечтайте, чтобы распивать! — возмутилась Римма, ложась большой грудью на прилавок и пронзая взглядом Минца. — Я вам покажу, алкоголики! Я живо милицию вызову.

— Пошли в парк, — предложил человек с сизым носом. — Здесь правды нет.

Они остановились на минуту у автоматов с газированной водой. Минц мог бы поклясться, что ни один из его новых знакомых не приближался к ним ближе чем на три шага, но шесть стаканов, стоявших в автоматах, тут же исчезли.

— Тебе первому, — сказал человек с сизым носом, вырывая зубами пробку. — Ты, старик, человек отзывчивый.

— Нет, что вы, я потом, — ответил Минц, поняв, что совершил ошибку. Как он подольет в вино свое средство? Ведь на него глядят пятнадцать пар глаз.

— Не тяни, не мучь душу, — поторопил маляр, поднося профессору стакан.

— Погодите, — нашелся тут Минц. — У меня одна штучка есть. Для крепости. Капнешь три капли, на десять градусов укрепляется.

Профессор достал из кармана склянку и быстро накапал себе в стакан.

На него смотрели недоверчиво и строго.

— Не знаю я такого, — проговорил маляр.

— А я читал. В одном журнале, — подтвердил человек с сизым носом. — Конденсатор называется.

— Правильно, — ответил Минц и быстро выпил вино.

Вино было прохладное, приятное на вкус. Профессор никогда не пил вина стаканами.

К этому времени остальные пять стаканов тоже были наполнены. Владельцы их смотрели на профессора выжидающе. Профессор тоже не спешил. Молчал.

— Слушай, старик, — сказал маляр. — Что-то ты меня не уважаешь.

— А что? — удивился Минц.

— Конденсатора капли, не жалей. У тебя же целая бутылка.

Рискованный психологический этюд удался.

— Ну, только по две капли, не больше, — смилился профессор, чтобы не раздражать собутыльников.

Он капал поочередно в протянутые стаканы, хвалил себя за сообразительность и чуть не стал причиной острой вражды.

— Это что же? — воскликнул вдруг маляр. — Ты ему почему три капли?

— Мне? Три? Да ты глаза протри!

— Спокойно, — втиснулся профессор между спорщиками. — Кому не хватило капли?

Маляр первым пригубил вино. Все смотрели на него.

У профессора замерло сердце.

Маляр опрокинул стакан, и вино с журчанием рухнуло в горло.

Маляр вздохнул и сказал:

— Десяти градусов не будет, а пять-шесть прибавляет. Поверьте моему опыту.

Остальные пришли к такому же выводу.

Из парка шли дружно, весело, обнявшись, пели песни, уговорили профессора еще раз заглянуть к Римме — может, принесли портвейн. У профессора шумело в голове, ему было хорошо, тепло, и он полюбил этих, таких разных и непохожих людей, которые еще не знают, какими трудолюбивыми они вскоре станут.

У Риммы портвейн был.

...Профессора проводили до дома и оставили у входа во двор, прислонив к стойке ворот. Первым его увидел Николай Гаврилов. Николай проснулся от странного свербящего чувства. Ему чего-то хотелось. И чувство было таким незнакомым и будоражащим, что он встал у окна и начал рассуждать, чего же ему хочется? Руки сами нашли пыльную тряпку, и Николай начал стирать пыль с подоконника

и рамы. В этот момент он увидел профессора и сказал тем, кто играл внизу в домино:

— Смотрите, профессор-то насосался, как комар!

Слова Гаврилова возмутили Василь Васильича, который велел подростку закрыть окно и прекратить хулиганство. Но потом Василь Васильич поглядел все-таки в сторону ворот и был настолько поражен, что открыл рот и замолчал.

А Минц вспомнил, что у него еще много дел, и часть дел связана с людьми, которые сидят вокруг стола и стучат по нему костяшками домино. Профессор оторвался от столба и нащупал в одном кармане пузырек со средством, в другом — недопитую бутылку портвейна, которую дали ему на прощание собутыльники. Вошедший во двор Корнелий Удалов подхватил профессора.

— Выпьем, и за работу, — сказал профессор Удалову.

— Стыд какой! — воскликнула Ложкина, закрывая окно.

— Надо помочь человеку, — решил Ложкин. — Это какой-то заговор. Товарищ Минц живет в нашем доме уже три месяца, и он непьющий.

— Вот и прорвало, — сказала старуха Ложкина. — Они иногда по полгода терпят, а потом прорывает. Теперь мы с ним намучаемся.

— Не хочу верить, — сказал Ложкин.

Коля Гаврилов протирал тряпкой окно, но в разговоры внизу не вмешивался. Ему жаль было отрываться от такого увлекательного занятия.

Профессор Минц, тяжело опираясь на Удалова, проследовал к столу. Соседи поднялись ему навстречу.

— Выпьем, — произнес профессор строго. — За успехи труда.

Он широким жестом сеятеля провел перед лицами соседей бутылкой портвейна. Никто к бутылке не потянулся.

— Не время, — ответил Удалов смущенно. — Если вечером, в кругу и так далее, мы будем польщены.

— И все-таки, — настаивал профессор. — Вы должны уважать в моем лице науку. Я могу оскорбиться. И наука оскорбится. И тогда произойдет нечто ужасное, чему нет названия.

Василь Васильич вздрогнул и сказал:

— Только из уважения.

Профессор Минц поставил бутылки на стол, провел непослушными руками по карманам, будто отыскивая пистолет, и, к удивлению присутствующих, достал оттуда граненый стакан.

— Вот, — показал он, — все будет по науке.

Он капал из склянки в стакан, доливал вином и заставлял пить, приговаривая:

— Как лекарство, как настойку, как триоксазин.

И соседи пили, не получая от этого никакого удовольствия и ощущая неловкость. Пили, как касторку.

Коля Гаврилов этого не видел. Он уже мыл пол и потому стоял на четвереньках.

Один из маляров, который беспутничал с Минцем в городском парке и за углом магазина, еще не вернулся — он заблудился и пришел в тот дом, где завершил работу две недели назад, зато другой подумал, что зря он здесь прохлаждается, взял кисть и поспешил наверх, к Ложкиным, предвкушая сладкое чувство приступа к любимой работе.

— Спасибо, — сказал профессор Минц, сел на скамью и глубоко задумался. Он утомился. Ради науки пришлось отступить от некоторых принципов.

Соседи расходились. В воротах показалась Гаврилова с хозяйственной сумкой. Она возвращалась из магазина. Несчастная мать остановилась в воротах и прислушалась. Ее сын Коля не включил проигрыватель. Это было странно. Наверно, он заболел. Не отравила ли она ребенка с помощью профессора Минца?

И тут Гаврилова увидела Минца. Минц сидел за столом, где соседи обычно играли в домино и, раскачиваясь, мычал какую-то песню. Над ним склонился Корнелий Удалов. В отдалении, понурившись, стояли Василь Васильич с Валей Кацем, и вид у них был смущенный.

— Что случилось? — воскликнула Гаврилова и крикнула громче: — Коля! Где ты! Что с тобой, Коля?

Сердце ее почуяло неладное.

Коля не отозвался. В этот момент он как раз отправился на кухню, чтобы вылить из таза грязную воду и набрать чистой. Ему захотелось вымыть пол снова, чтобы добиться первозданной белизны дерева.

Гаврилова, метнув гневный взгляд в сторону Минца, побежала домой.

— Я помогу вам, — сказал Удалов, поддерживая Минца. — Я вас провожу.

— Спасибо, друг, — ответил профессор Минц.

Они шли через двор в обнимку, профессор навалился на Удалова, старуха Ложкина глядела на них в окно и качала головой с осуждением. То, что один из маляров вновь принялся за работу, удивило ее, но не настолько, чтобы забыть о позоре профессора.

У дверей Минца с Удаловым обогнал второй маляр. Широкими шагами, подобно Петру Первому, он спешил на рабочее место.

— С дороги, — сказал он деловито.

И профессор Минц понял, что эксперимент удался.

Удалов помог профессору прилечь на его узкую девичью кроватку. Профессор тут же смежил веки и заснул. Удалов некоторое время стоял посреди комнаты, вдыхая запах химикалий. Профессор вел себя странно. А Удалов не верил в случайность такого поведения.

Профессор проснулся через три часа. Голова была чистой и готовой к новым испытаниям. Что-то хорошее и большое случилось в его жизни. Да, решена кардинальная проблема современности. Геншальный ум профессора нашел решение загадки, которая не давалась в руки таким людям, как Ньютон, Парацельс и Раздобудько.

За стеной слышалось шуршание и постукивание. Какие-то невнятные звуки доносились со двора. Профессор сел на кровать и сквозь скрип пружин услышал деликатный стук в дверь.

— Войдите, — разрешил профессор.

— Это я, — произнесла Гаврилова шепотом, протискиваясь в дверь.

— Ну и как? — спросил профессор голосом зубного врача, поглаживая лысину и легонько подмигивая несчастной матери.

У Гавриловой были безумные глаза.

— Ой, — сказала Гаврилова и села на край кровати. Она прижала ладони к покрасневшим щекам. — И не знаю.

— Ну так чего же? — Профессор вскочил с кровати и быстрыми шагами начал мерять комнату. — Появилось ли трудолюбие? Я что-то не слышу музыки.

— Какая там музыка, — вздохнула Гаврилова. — Страшно мне. Два раза сегодня в обмороке лежала. При моей комплекции. Что он с полом сделал? Что он со мной сделал...

Тут добрая женщина зарыдала, и профессор Минц неловко утешал ее, дотрагиваясь до ее пышных волос, и предлагал ей воду в стакане.

— Послушайте, — сказал он наконец, так как рыдания не прекращались. — Предлагаю вместе отправиться на место происшествия. Может, я смогу быть полезен.

— Пойдем, — согласилась женщина сквозь рыдания. — Если бы моя покойная мама...

В коридоре им пришлось задержаться. Маляры, завершив ремонт квартиры Ложкиных, принялись за коридор, что в их задание не входило. Тем более, что рабочий день кончился. Маляры уже ободрали со стен старую краску, прокупоросили плоскости. Работали они споро, весело, с прибаутками, не тратя зря ни минуты. Лишь на мгновение один из них оторвался от работы, чтобы подмигнуть профессору Минцу и кинуть ему вслед:

— Что прохлаждаешься, дядя? Так и жизнь пролетит без пользы и без толку.

Профессор был согласен с малярами. Он улыбнулся им доброй улыбкой. Старуха Ложкина выглядывала в щелку двери, смотрела на маляров загнув, потянула проходившего мимо профессора за рукав и прошептала ему в ухо:

— Я им ни одной копейки. Пусть не надеются. Они на государственной службе.

— А мы не за деньги, мамаша, — услышал ее шепот маляр. — Сам труд увлекает нас. Это дороже всяких денег.

— И славы, — добавил другой, размешивая краску в ведре.

Во дворе глазам профессора предстало странное зрелище. Василь Васильич с Валец Кацем благоустраивали территорию, подрезали кусты, разравнивали дорожки, подстригали траву. А сосед, имени которого профессор не знал, катил в ворота тачку с песком, чтобы соорудить песочницу для игр маленьким детям.

Соседи трудились так самозабвенно, что не обратили на Минца никакого внимания.

Гаврилова поглядела на них с некоторым страхом, и тут ей пришла в голову интересная мысль.

— Это не вы ли, Лев Христофорыч? — спросила она.

— Я, — скромно ответил профессор.

— Ой, что же это делается! — сказала Гаврилова.

В этот момент во дворе показался Корнелий Удалов, который нес на плече две доски для детского загона. Он

услышал слова Гавриловой, и они укрепили его подозрения. А так как Удалов в принципе никогда не испытывал неприязни к труду, то лекарство профессора подействовало на него умеренно, он смог пересилить страсть к работе, положил доски и последовал за профессором в квартиру Гавриловых.

Квартира встретила профессора невероятной, сказочной чистотой. Пол ее был выскоблен до серебряного блеска и покрыт сверкающей мастикой, подоконники и двери тщательно вымыты. В распахнутую дверь кухни были видны развешанные в ряд выстиранные занавески, вещи Коли Гаврилова и постельное белье, а в промежутках между простынями блистали бока начищенных кастрюль.

Самого Николая нигде не было видно.

Гаврилова остановилась на пороге, не смея вступить в свой дом.

— Коля, — позвала она слабым голосом. — Коленька.

Коля не отзывался.

Профессор тщательно вытер ноги о выстиранный половик и сделал шаг в комнату. Коля лежал на диване, обложившись учебниками, и быстро конспектировал их содержание.

Профессор склонился над ним и спросил:

— Как вы себя чувствуете, молодой человек?

Коля отмахнулся от голоса, как от мухи, и подвинул к себе новый учебник.

— Коля, — сказал профессор. — Ты так много сделал сегодня. Не пора ли немного отдохнуть?

— Как вы заблуждаетесь, — ответил ему Коля, не отрывая глаз от учебника. — Ведь столько надо совершить. А жизнь дьявольски коротка. У меня задолженность за этот курс, а мне по-человечески, глубоко и серьезно хочется пройти в этом году два курса. Может, три. Так что, умоляю, не отрывайте меня от учебы.

— Мальчик прав, — сказал профессор, оборачиваясь к Гавриловой и Удалову, наблюдавшим эту сцену от двери.

— Но он же переутомится, — сказала Гаврилова. — Он к этому непривычный.

— Мама, не тревожься, — возразил на это Коля Гаврилов. — В мозгу человека используется жалкая часть работоспособных клеток. Ты не представляешь, мама, какие у меня резервы. Кстати, обед — на плите, ужин — там же. Пожалуйста, не утруждай себя излишним трудом,

отдохни, почитай, посмотри телевизор, у тебя же давление.

Добрая женщина Гаврилова вновь зарыдала.

Удалов с профессором спустились во двор. При виде соседей Удалову захотелось включиться в трудовой процесс, но он сдержался и обернулся к Минцу.

— Лев Христофорыч, — сказал он проникательно. — Это ведь ваше средство. Вы у нас единственный химик.

— И гениальный, — без улыбки поддержал его профессор, довольный результатами эксперимента.

— И без вреда для здоровья? — спрашивал Удалов.

— Без вреда, — отвечал профессор. — Но с опасностью для образа жизни.

— И скоро в производство? — спросил Удалов, обламывая, чтобы не тратить времени задаром, сухие сучки на дереве.

— Что в производство?

— Средство от лени.

Удалов всегда брал быка за рога и называл вещи своими именами.

— Поймите, мой друг, — сказал профессор. — Какие бы лекарства ни изобретала наука для исправления человеческих недостатков, они всегда будут не более как протезами. Мы пока не можем химическим путем изменить натуру человека. Планомерное, последовательное, терпеливое воспитание человека-творца, человека-строителя — вот наша задача.

— Так, значит, все вернется на свои места? — Удалов был разочарован.

— Боюсь, что так.

— А если побольше дать? Вот вы нам по капле давали, а ведь можно и по стакану? Что, вредно?

— Нет, средство безвредное. Но мы не имеем права проводить эксперименты, пока препарат не испытают в Москве, пока его не утвердит Министерство здравоохранения, пока мы не запатентуем его для избежания международных конфликтов.

— Ну, зачем столько ждать? И при чем здесь международные конфликты? — возмутился Удалов.

— Очень просто. — Лицо профессора приобрело мудрое и чуть печальное выражение. — Представьте себе, что средство попадает в лапы акул империализма, эксплуататоров и неокolonизаторов. Вы подумали о последствиях?

Любое, самое благородное изобретение может быть обращено во вред человечеству.

— Да, — вздохнул Удалов. Он представил себе, как владельцы плантаций в некоторых странах Латинской Америки будут выжимать с помощью нового препарата последние соки из батраков и сезонных рабочих, как колонизаторы будут поить препаратом рабов в глубоких алмазных шахтах. Как будут неустанно строчить перьями наемные писаки и болтать в телевизор реакционные комментаторы. А дальше — еще хуже. Неустанно и терпеливо будут рыть подкопы под банки ожесточенные гангстеры, день и ночь будут трудиться фальшивомонетчики. Нет, такое средство надо охранять, а не пропагандировать!

Это Удалов высказал Минцу и тут же отправился пропалывать цветы на клумбе.

Теплый, душистый; приятный вечер опустился на город. Зажглись звезды. Ночные мотыльки бились о стекла уличных фонарей, на реке протяжно и мирно загудел пароходик. Профессор Минц стоял у ворот и смотрел на улицу. По улице двигалась небольшая группа людей, вооруженная метлами и совками. Среди этих людей Минц узнал знакомые по утренним похождениям лица. Люди подметали улицы, по дороге некоторые из них останавливались, влезали на столбы и заменяли перегоревшие фонари. За этой группой тружеников шли толпой обыватели и рассуждали, что все это может значить. То ли это заключенные, которым дали по пятнадцать суток за мелкое хулиганство, ведь среди них были завзятые алкоголики и тунеядцы, то ли эта компания пытается выиграть какой-то спор или даже делает это из озорства. Но, несмотря на насмешки, переродившиеся тунеядцы продолжали шествовать по улице.

Минц был встревожен. Он не смел никому признаться, что не предусмотрел таившейся в эксперименте опасности. Он не знал интенсивности взаимодействия препарата с бездельными клетками человеческого тела, он не знал, когда закончится действие лекарства.

За спиной Погосяна слышалось тяжелое дыхание маляров. Они неумоимо и воодушевленно красили стену дома в веселенький желтый цвет и, словно полярники, стремящиеся к полюсу, поддерживали друг друга примерами из жизни героев.

На скамейке неутешно горевала Гаврилова. Ее сын

уже одолел физику и химию за первое полугодие и для разнообразия решил переклеить обои, а потом перебрать паркет у соседки, одинокой женщины. Никто не обращал внимания на горе Гавриловой. Жильцы дома, за редким исключением, превращали ранее пустынную заднюю часть двора в спортивную площадку для молодежи всего квартала. Они уже вкопали столбы для баскетбола и волейбола и теперь сооружали небольшой бассейн для прыжков в воду.

— Что делать? Что делать? — беззвучно шевелились губы профессора. — Нужно противоядие.

Он быстро миновал двор, прижимаясь к стенам, чтобы не встретиться с затравленным взглядом Гавриловой, и поднялся к себе. Брызги желтой краски бабочками залетали в распахнутое окно. Профессор уселся за вычисления.

Он завершил их глубокой ночью. Маляры уже закончили покраску дома и, за неимением новой краски, скребли забор, чтобы покрыть его мебельным лаком для придания благородного вида. Жильцы дома уже выкопали бассейн, обмазали его цементом и подводили к нему трубы. Лишь Василь Васильич покинул свой пост. И то не по доброй воле. Просто его жена, беспокоясь за здоровье своего пожилого мужа, уговорила товарищей связать Василь Васильича и отнести на кровать для отдыха. Василь Васильич не соглашался засыпать, беспокоился, как без него трудятся товарищи, подбадривал их с постели громкими советами и пожеланиями успехов в труде.

Тунеядцы и пьяницы уже вычистили весь город, добрались до реки, там сортировали бревна по размеру и сорту и складывали их для погрузки на баржи.

Глубокой ночью Минц сделал два открытия. Во-первых, он вывел формулу ослабленного препарата, который не вызывал в человеке ничего, кроме нормального трудолюбия. Во-вторых, вычислил, что действие средства, введенного утром, закончится примерно через час.

Другой бы на месте Минца отправился спать. Но Минц был не таков. Он хотел на деле убедиться в правильности своих вычислений. Для этого надо было бодрствовать еще час. И Лев Христофорович решил потратить это время на приготовление ослабленной смеси. Правда, он пришел к выводу, что опыты с людьми слишком рискованны и нормальный препарат он будет испытывать на ложи́нском коте, который настолько обленился, что не ловил мышей.

Для начала следовало найти бутыль с остатками препарата и разбавить его до кондиции. Бутылка нашлась в кармане пиджака. На дне ее плескалась темная жидкость, которой хватило бы, чтобы на день привлечь к труду целое учреждение.

Поставив бутылку на стол, Минц начал разыскивать пустую посуду. Он доставал бутылки, колбы, бутылочки и пузырьки с полки, из-под стола и из других мест. О некоторых он давно уже забыл, другие вызывали в памяти профессора приятные воспоминания об удачах или тяжелые вздохи, свидетельствующие о временных отступлениях.

Вот колба, в которой незаменимое средство от комаров, не убивающее их, но заставляющее отлететь на два метра в сторону. От этого средства пришлось отказаться, потому что в порядке естественного отбора комары отращивали хоботки длиной ровно в два метра и доставали ими профессора из-за пределов охранной зоны.

Вот средство для развития музыкального слуха, вот пробирки неизвестно с чем, вот бутыль со стимулятором роста для шампиньонов, под влиянием которого грибы за одну ночь достигают метрового размера...

Профессор любовно перебирал сосуды и так увлекся, что не заметил, как пролетел час. Его вернул к действительности шум на дворе. Оказывается, маляры завершили работу и собирали кисти и ведра, с некоторым удивлением поглядывая на плоды своего труда, соседи прервали сооружение бассейна и прощались, отходя ко сну. Поодиночке, усталой походкой, с реки возвращались тунеядцы.

— Что-то будет завтра, — произнес Лев Христофорович и лег спать. Он питал надежды на то, что препарат не совсем выветрился из организмов хорошо потрудившихся людей.

Профессор спал крепко и смотрел сны, в которых всегда находил темы для завтрашней научной работы. Он не слышал, как тихонько отворилась дверь, и темная человеческая фигура, прикрывая ладонью свет электрического фонарика, проникла внутрь и остановилась у порога. Луч фонарика робко обшарил комнату, задержался на мгновение на кровати, зайчиком отразился от лысины профессора и замер на столе, среди бутылочек.

Человек на цыпочках подкрался к столу и остановился перед рядом сосудов. Он поднимал и просвечивал фонари-

ком бутылки до тех пор, пока не отыскал нужную. Тогда он спрятал ее за пазуху и покинул комнату, беззвучно закрыв за собою дверь. Профессор безмятежно спал и видел во сне пути к решению задачи увеличения веса крупного рогатого скота.

Утром профессор поднялся раньше всех и перед тем, как взяться за новые опыты, уселся у окна, глядя во двор.

Первыми прошли на работу Василь Васильич и Валя Кац. Были они оживлены и веселы. Казалось, вчерашнее переутомление никак на них не отразилось.

— Как дела? — спросил Минц.

— Отлично, Лев Христофорович, — ответил Валя. — Сегодня после работы будем бассейн завершать. Вы к нам не присоединитесь?

— С удовольствием, — согласился профессор.

Настроение у него улучшилось. Налицо был остаточный эффект, возможно, длительного свойства.

Показался Корнелий Удалов. Он тоже спешил на работу. При виде профессора он кивнул ему и почему-то схватился за оттопыренный карман. Профессор не заподозрил ничего неладного и спросил:

— Как самочувствие, Корнелий Иванович?

— Лучше некуда, — ответил Удалов и подмигнул ему.

Вслед за Удаловым вышел подросток Николай Гаврилов с учебниками и тетрадками под мышкой и сказал матери, высунувшейся из окна ему вслед:

— Мама, не утруждай себя. У тебя давление. А картошку я почищу, как только вернусь с практики.

Это тоже был добрый знак. Профессор проводил Гаврилова взглядом и потом перекинулся несколькими словами с его матерью.

Убедившись, что препарат никому из его знакомых не повредил, профессор совершил разведочный поход в магазин к Римме.

Римма скучала. Ей не с кем было воевать и ругаться. Вместо обычной нетерпеливой толпы тунеядцев в магазине ошивались лишь два субъекта, их лица профессору были незнакомы.

Лев Христофорович купил у Риммы две бутылки лимонада и сказал тунеядцам лукаво: «Вы у меня еще напьетесь. Вы еще потрудитесь, голубчики». Тунеядцы огрызнулись, не поняв слов профессора. А Минц поспешил домой.

По дороге он повстречался со знакомыми малярами. Они несли кисти и ведра на новый объект.

— Привет, папаша, — сказали они профессору. — Славно мы вчера потрудились.

— Сегодня не переутомляйтесь, — заботливо проговорил Минц.

— Не беспокойся, не переутомимся, — ответили маляры. — Но и поработаем с удовольствием.

Счастливая улыбка не покидала лица профессора. Он дошел до угла Пушкинской улицы, и тут улыбка сменилась выражением крайней тревоги.

Посреди Пушкинской улицы, рядом с катком и генератором, стояли группой дорожники в оранжевых жилетах и пластиковых касках. Перед бригадой, как Суворов перед строем Фанагорийского полка, шагал Удалов, держа в одной руке темную, знакомую профессору бутылку, в другой — столовую ложку. Он наливал в нее жидкость из бутылки и протягивал ложку очередному ремонтнику.

— Это вакцина, — приговаривал Удалов. — От эпидемии гриппа. Из области прислали. По списку. Обязательный прием внутрь.

Рабочие и техники послушно раскрывали рты и принимали жидкость.

— Корнелий Иванович, остановитесь! — крикнул профессор, подбегая к Удалову.

Но Удалов сначала убедился, что последний член бригады принял лекарство, и лишь затем обернулся к профессору и отвел к стоящему поодаль дереву.

— Вы меня, конечно, простите, что без разрешения. Но в интересах дела, — сказал он вполголоса, чтобы не услышали дорожники. — Они сегодня у меня до ночи проработают, а то квартальный план горит. Это не повредит. Пусть хоть разок выложатся. Я и в конторе вакцинацию провел, и в диспетчерской. По моим расчетам, к вечеру план выполним и выйдем в передовики.

— Ну как же так, — укоризненно произнес профессор. — Вам же пришлось, наверное, ночью ко мне в комнату заходить. Вы же могли споткнуться, упасть...

Добрый профессор был расстроен.

— Не беспокойтесь, Лев Христофорович, — ответил Удалов. — Я же с фонариком.

Он обернулся к дорожникам и сказал зычно:

— За работу, друзья.

Но с дорожниками творилось нечто странное. Они не стремились к лопатам и технике. Напевая, они сошлись в кружок, и бригадир помахал в воздухе рукой, наводя среди них музыкальный порядок.

— Что происходит? — удивился Удалов.

Бригадир поднял ладонь кверху, призывая к молчанию. Затем сказал:

— Раз-два-три!

И бригада затянула в четыре голоса сложную для исполнения грузинскую песню «Сулико».

Как пораженный громом, Удалов стоял под деревом. Окна в домах раскрывались, и люди прислушивались к пению, которому мог бы позавидовать ансамбль «Орэра».

— Что? Что? — Удалов гневно смотрел на профессора. — Это ваши штучки?

— Минутку... — Профессор поднес к носу пустую бутылочку. — Я так и думал. В темноте вы перепутали посуду. Это препарат для исправления музыкального слуха и создания хоровых коллективов.

— О, ужас! — воскликнул Удалов. — И сколько они будут петь?

— Долго, — ответил профессор.

— Но что тогда творится в конторе?

— Не убивайтесь, — сказал профессор, прислушиваясь к стройному пению дорожников, — можно гарантировать, что ваша стройконтора возьмет в области первое место среди коллективов самодеятельности.

— Ну что ж, — сказал печально Удалов. — Хоть что-то...

1973 г.

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Новая модель машины времени, сооруженная профессором Львом Христофоровичем Минцем с помощью золотых рук Саши Грубина, помещалась на первом этаже, под лестницей дома № 16 по Пушкинской улице. Она была замаскирована дверью в чулан, чтобы никто из детей, играя, не провалился случайно в другую эпоху.

Представляя собой тончайшую ленту, машина времени облегла изнутри раму двери и была покрашена суриком, так что посторонний взгляд никогда бы не заметил этого величайшего изобретения.

Если ты, открыв дверь в чулан, переместишь стрелочку на потайном циферблатике, а потом нажмешь синюю кнопку, то окажешься в прошедшем времени.

Теоретически можно отправиться и к динозаврам, но пока на это не хватало энергии, так что полвека были пределом.

Профессор Минц и узкий круг посвященных в составе соседей по дому и друзей — Александра Грубина, Корнелия Удалова и старика Ложкина — машиной не злоупотребляли и ее существование хранили в тайне. Полагали, что, когда наладят изобретение, отдадут его народу.

Порой кто-нибудь из экспериментаторов со всеми предосторожностями посещал прошлое. И это сходило с рук, пока не проштрафился Удалов.

Как-то вечером, с разрешения Минца, Корнелий Иванович решил заглянуть в пору собственного детства.

Минц контролировал опыт снаружи.

Удалов прошел в дверь чулана, набрал на циферблате 1948 год, нажал на синюю кнопку и оказался в том же чулане, но не таком пыльном и загроможденном. Отодвинув доску в задней стене, Удалов вышел во двор. Двор был почти таким же, как сегодня, только сирень еще не расрослась и стол для домино был небольшим.

Одѣт был Удалов в соответствии с эпохой. Об этом позаботился старик Ложкин, который ничего никогда не выкидывал и потому смог сосудить Корнелию военный френч со споротыми петлицами и широкие брюки. В кармане лежали сорок пять рублей дореформенными деньгами, сделанные Минцем на дубликаторе.

Никем не замеченный, Удалов прошел по улице и оказался в городском парке. Там играл духовой оркестр, а на веранде танцевали молодые люди, не сносившие еще своих гимнастеров, и подростки, постриженные под полубокс. Но куда больше там было девушек и женщин.

Ноги сами внесли Удалова на веранду. Играли Рио-Риту, а потом Розалинду. И тут Удалов увидел Леку, Леокадию.

И воспоминания ожгли сердце Удалова.

В том году Удалову было чуть больше десяти лет, а Леке около тридцати. Она была первой, недоступной, сказочной любовью Корнелия.

Лека торговала мороженым на углу Пушкинской и Советской. У нее была повозка, похожая на сундук голубого цвета. Сверху крышки: под одной — мороженое, под другой — вафельные крышечки, под третьей — банка с водой. Лека брала в руку прибор, похожий на небольшой олимпийский факел, вкладывала в расширение круглую вафельку, потом окунала ложку в воду, зачерпывала ею мороженое и клала на вафельку. Затем Лека прикрывала мороженое другой вафелькой и выталкивала готовую порцию из факела. Мороженое было круглым, зажатым между вафельками, его можно было сначала облизывать вокруг, а уж потом кусать.

Других детей интересовало только само мороженое, а Удалова потрясал процесс его изготовления. Увлечение процессом он перенес на саму Леку, большую, веселую, зеленоглазую, рыжую и добрую.

У Леки, как говорили, убили на фронте жениха, но она его все равно ждала.

Удалова Лека выделяла за верность. Она иногда предлагала ему порцию бесплатно, но Удалов и тогда уже был гордым. Даже если денег совсем не было, он терпел, но от подарка отказывался.

Через три года Лека вышла замуж за одного шахтера из Караганды, который приезжал в Великий Гусляр в отпуск, к тете. И уехала. И забылась.

И вдруг Удалов увидел ее на танцверанде. И сразу узнал. Хотя она оказалась совсем небольшой, ему по уху.

Лека танцевала с незнакомой девушкой. Удалов глядел на Леку и любовался ею. А Лека заметила настойчивый взгляд, сама подошла к нему после танца и сказала с улыбкой:

— Вроде ваше лицо знакомое, но не помню, кто вы. А вы все смотрите на меня так настойчиво. Почему?

— Мы с вами когда-то встречались, — ответил Удалов.

Аккордеонист заиграл «Брызги шампанского», и они пошли танцевать. Удалов сначала не знал, о чем говорить, и спросил, как идет торговля. Лека рассмеялась: «Какая там торговля! Одни детишки покупают!»

Когда танцы кончились, Удалов пошел провожать Леку до дома. Они посидели на лавочке над рекой. Там, на дальнем берегу, еще не было района пятиэтажек, а за слободой виднелся лес. Он казался черной пилой, а над самыми зубьями плыла полная луна.

Удалов держал руку Леки в ладонях. Ему было хорошо. Потом Лека сказала, что ей пора, потому что у нее сердитая хозяйка квартиры.

Удалов проводил Леку по темному, совсем заснувшему городку. У фонаря, что горел на перекрестке, они остановились. Лека сообщила, что дальше нельзя, хозяйка подсматривает из окна. Удалов вдруг произнес, что умеет гадать по руке. Лека не удержалась, попросила погадать. Удалов сказал, что через три года она выйдет замуж за шахтера из Караганды. Лека расстроилась. Три года показались ей бесконечным временем. А может быть, она еще немножко ждала своего погибшего жениха.

Потом Лека поняла шутку, рассмеялась и спросила, придет ли завтра Удалов на танцверанду.

— Я уже старый, — сказал Удалов.

— Я тоже не первой молодости, — улыбнулась Лека. — Мне уже под тридцать. И я предпочитаю солидных мужчин.

Она поцеловала Удалова в щеку и убежала.

А Удалов пошел домой и только у самого дома сообразил, что уже первый час ночи, что он пропал в прошедшем времени и Минц сходит с ума от беспокойства, а может, соображает спасательную экспедицию.

Но сходил с ума не Минц, а жена Удалова, Ксения. Она ждала у выхода из чулана. Она уже выдавила из Минца

всю правду об эксперименте. Сначала она обрадовалась мужу, но потом уловила запах духов «Красная Москва» и чуть было не убила Корнелия.

— Ясно теперь, какая у вас машина времени! — кричала она. — Я в партком пойду!

Минц еле уговорил Ксению подождать с походом в партком до утра.

Всю ночь Ксения прорыдала, собирала вещи, чтобы ехать к сестре в Саратов, а утром поставила ультиматум. Или ее пустят в прошлое на проверку, или она будет убеждена, что Удалов подземным ходом бежит из чулана к своей неизвестной любовнице.

Пришлось взять с Ксении слово о неразглашении и передать ей сорок пять экспериментальных рублей.

Ксения переделалась в платье Ложкиной, которое принес Ложкин, а экспериментаторы остались у двери в чулан и переживали.

Но Ксения вернулась, как и обещала, через час.

В путешествие во времени она поверила в тот момент, когда издала увидела в 1948 году свою маму, которая гуляла с ней, с Ксенией, в сквере у церкви Параскевы Пятницы.

Денег она с собой не принесла, потому что забрела в коммерческий магазин, о котором смутно помнила как о райском месте. Раньше ей там не приходилось бывать, потому что ее семья, как и большинство семей в городе, жила на карточки и бедствовала. А к коммерческому магазину она с подружками бегала поглядеть на изобилие на витрине. Так что было бы слишком жестоко корить Ксению за то, что она навела историческую справедливость, купив в коммерческом магазине банку красной икры, три банки крабов и шмат осетрины.

Когда Ксения признавалась в этом экспериментаторам, ее глаза тихо светились удовлетворенным сиянием, будто у львицы, скусавшей толстую зебру.

Объяснять, как случилось, что на следующее утро о покупках Ксении узнала жена Ложкина, нет нужды. И так все ясно. Но вот почему Ксения поведала об икре своей родственнице Антонине, которую не выносила, — загадка. А как узнали о продуктах двоюродные сестры Грубина — Шура и Оля, догадаться можно.

С утра следующего дня профессор Минц попал в осаду. Друзья его покинули. Они уже проиграли свои битвы.

Несколько женщин разного возраста сидели в его тесно заставленном книгами и приборами кабинете и осыпали профессора несправедливыми упреками. Минц понимал, что работы придется прекратить и, еще тщательнее засекретив, перенести за город. Но с женщинами надо было что-то делать. А так как Минц был добрым человеком, то придумал он следующее.

Коммерческий магазин образца 1948 года располагался на Пушкинской в старом особняке сосланного в Гусяр польского конфедерата пана Игнация Зомбковского. Теперь в помещении магазина устроили станцию юных авиа-моделистов.

Во второй половине дня, когда авиамоделисты разошлись по домам, к дверям особняка подошли экспериментаторы. Они споро прикрепили ко входу металлическую ленту машины времени. Так что теперь прошедший сквозь дверь немедленно оказывался в коммерческом магазине № 1 города Великий Гусяр в июле 1948 года.

Сделано так было потому, что Минц не мог допустить, дабы целый отряд наших современниц носился в поисках дефицита по улицам прошлого. Это неизбежно вызвало бы подозрения и скандал. Теперь же Минц запускал дам в магазин, минуя улицу. И можно было надеяться, что такой рейд не успеет привести к скандалу.

Все было готово. Женщины, числом восемь человек, с сумками в руках, перешептывались, волновались. Минц раздал им по сто рублей и сказал:

— Вести себя прилично, не ронять достоинства советского человека. Взяла, выходи, уступай очередь следующей.

По знаку Минца первой вошла в магазин Антонина.

На улице было тихо. Из соседнего дома вышла любопытствующая старушка. Ложкина отрядили отвлечь ее и увести из зоны.

Время шло. По расчетам Минца покупки должны были занять пять минут. Но и через десять Антонина не появилась. Минц и Грубин не беспокоились, они понимали, что Антонина так просто из магазина не уйдет. Но женщины с каждой минутой переживали все более, опасаясь, что Антонина купит слишком много и остальным не хватит.

И когда прошло пятнадцать минут, произошел неожиданный бунт.

С криком: «Мы не можем больше ждать!» жены, сестры

и матери смели Минца, сторожившего вход, и, сшибая друг дружку, пробились в дверь. Оказавшись в проеме, они исчезали. И когда исчезла последняя, старуха Ложкина, наступила трагическая тишина.

— Что делать? — спросил Удалов.

— А ничего, — ответил легкомысленный Грубин. — Купят, вернуться. Много денег вы им дали, Лев Христофорович. Раньше чем через полчаса ждать их не следует.

Грубин оказался прав. Наступила долгая пауза. И тянулась она более двадцати минут.

По истечении этого времени в проеме двери возник плотный молодой человек в военной форме с лейтенантскими погонами и в фуражке с бирюзовым околышем.

Он окинул наших современников грозным взглядом и спросил:

— Минц Лев Христофорович присутствует?

— Это я, — признался профессор.

— Оставаться на месте, — приказал лейтенант и тут же исчез снова.

Через минуту в проеме двери появился письменный стол. На нем стоял стул. Лейтенант двигался сзади стола, подталкивая его.

Затем лейтенант установил стул возле двери, уселся на него и сказал:

— Плохо ваше дело, гражданин Минц.

— Объясните! — воскликнул Минц. — Я ничего не понимаю.

— Вы признаетесь в организации антисоветского заговора? — спросил лейтенант. — Все ваши сообщники уже признались.

Удалов ахнул. Он догадался, что Ксения попала в беду.

— В чем вы меня обвиняете? — произнес Минц дрогнувшим голосом.

Откуда-то лейтенант извлек папку с надписью «Дело № 2451». Раскрыл ее.

— В обвинительном заключении говорится, — прочел он. — Отправив в город Великий Гусляр диверсионную группу в составе восьми человек, гражданин Минц Л.Х. поручил диверсанткам под видом приезжих покупателей икры отравить руководство города, а также взорвать мост через реку Гусь.

— Это чепуха! — возмутился Минц.

— Они признались, — кратко и даже печально отозвался лейтенант. — Здесь есть все их показания.

— Отпустите их, немедленно! — воскликнул Минц. — Они ни в чем не виноваты.

— Значит, признасте? — Губы лейтенанта тронула улыбка.

— Я признаюсь в чем угодно, — сказал Минц. — Вам все равно не понять.

— Следуйте за мной! — приказал лейтенант. — Заодно возьмите стол.

— Не ходи! — закричал Удалов. — Они не выпустят.

— Дело не во мне, — объяснил Минц. — Я отправил наших женщин в прошлое. Я несу за это ответственность.

— Но он же их не отпустит, — вмешался Грубин. — Они же с тобой по одному делу проходят.

— Разумеется, — сказал лейтенант. — Чрезвычайная тройка скажет свое слово. Если диверсантки не виновны, они вернутся к вам. Но если... — И с улыбкой лейтенант приложил ко лбу палец и щелкнул языком.

Удалов пошатнулся от ужаса.

— Прощайте, товарищи, — сказал Минц Удалову и Грубину и сделал шаг к двери.

И тут они услышали голос Ложкина, который вернулся к двери.

— Что тут происходит? — спросил он.

— Вы, гражданин, проходите, не задерживайтесь, — приказал лейтенант. — А то тоже попадетесь.

— Постой, постой, — проговорил Ложкин.

— Они арестовали наших женщин, — сообщил Удалов. — И теперь Минц идет жертвовать собой.

— Никуда он не идет, — не согласился Ложкин.

— С дороги! — прикрикнул на старика лейтенант.

А тот произнес:

— Узнаю, узнаю тебя, Коля.

— Что такое? Мы незнакомы.

— Мы еще как знакомы, — сказал Ложкин. — Был у меня в молодости эпизод. Демобилизовавшись, я прослужил некоторое время в органах. Знакомьтесь!

И тут все поняли, что лейтенант и есть Николай Ложкин, только сильно помолодевший.

— Не верю, — сказал лейтенант.

— Придется поверить. — Ложкин достал паспорт и протянул самому себе.

Лейтенант раскрыл паспорт, долго изучал фотографию, посмотрел на старика Ложкина. Закрыв паспорт.

— Черт знает что, — сказал он наконец, и что-то человеческое промелькнуло в его глазах.

— Так что, Коля, — заключил старик Ложкин. — Я — твоё будущее. Пенсионер районного масштаба. Честный уважаемый человек.

— Ты тоже заговорщик! — сказал лейтенант неуверенно. — Тебя тоже к стенке нужно.

— А Верку уже бросил или ещё живёшь с ней? — спросил старик Ложкин.

— Я ничего не знаю!

— Верку Рабинович, свою тайную любовь, дочку репрессированного врага народа, бросил, спрашиваю? Я себе этого до сих пор простить не могу. Своей трусости.

Друзья смотрели на старика Ложкина в изумлении. Знали они его уже много лет, всю жизнь он проработал бухгалтером... И вот, оказывается, эпизод!

— Бросил, — ответил лейтенант, потупив глаза.

— А к матери на могилку съездил, как дал себе клятву? Или все дела, процессы, заговоры?

— Я съезжу, — пообещал лейтенант, и Удалов подумал, что он ещё не погибший человек, только исполнительный и недалекий. Жертва эпохи.

— Так вот, слушай меня внимательно, — сказал Ложкин самому себе. — Никто, кроме тебя, этих женщин не видел и никто об этом липовом заговоре не знает. Никакой карьеры ты на нем не сделаешь. Сейчас отпустишь их всех, в том числе, должен тебе сказать, собственную жену, на которой ты женишься в конце пятидесят первого, но не здесь, а в Тюмени. И знаешь, почему в Тюмени?

— Почему? — упавшим голосом произнес лейтенант Ложкин.

— Потому что сегодня же ты подашь в отставку по поводу раны, которая мучает тебя с сорок второго года. Уедешь в Тюмень и станешь работать бухгалтером. Тебе все ясно? — Голос Ложкина-старшего стал громовым. — Исполняй, мальчишка!

— Есть.

Лейтенант оставил стол и стул и исчез в дверном проеме.

— Какой мерзавец, — сказал Ложкин-старший. — Неужели я так жил?

— Все бывает, — сказал Минц устало. Он смотрел на дверь, ожидая, когда в ней появятся женщины.

Но женщины не появлялись.

Удалов казалось, что кровь стучит в ушах, отбивая секунды.

— Так, — произнес наконец Ложкин. — Этого я и опасался. В молодости во мне сидел мерзавец. Это бывает с людьми. Пока нет обстоятельств, мерзавец спит, а появится возможность сделать карьеру, начинает нашептывать на ухо опасные слова... Я пошел туда!

— Нет, — возразил Минц. — Это опасно.

— Если я не остановлю его, он получит награду, поднимется по служебной лестнице. И тогда уже не остановится. А куда мне тогда деваться?

И Ложкин сделал шаг к двери.

— Эврика! — закричал Минц. — Мы все сделаем иначе!

Он достал из кармана маленький циферблат, осторожно кончиком ногтя подвинул назад стрелку.

— Поняли? — спросил он.

— Понятно, — улыбнулся Грубин.

— Сейчас я войду в магазин, но это сейчас будет не сейчас, а через секунду после того, как там окажутся наши женщины.

И с этими словами Минц скрылся в проеме двери.

И тут же началось невообразимое.

Одна за другой из двери начали вылетать женщины с сумками в руках. Они визжали, ругались, сопротивлялись, хватались руками за раму двери, стараясь вернуться в коммерческий магазин. Но Минц в гневе может быть ужасен, а друзья его так быстро и ловко подхватывали женщин и так энергично оттаскивали их от магазина, что через три минуты все участницы путешествия во времени оказались в 1988 году. И, разумеется, ни о каком лейтенанте они и слухом не слыхивали. Затем вышел Минц.

Удалов с Грубиным утешали женщин, пытались объяснить им, какой ужасной участи они чудом миновали. Но женщин гневало более всего не то, что они остались без икры, а то, что Антонина, самая первая, успела купить икры на сто рублей старыми деньгами.

Удалов пустил в ход все свои дипломатические способности и кое-как уговорил Антонину поделиться икрой с

товарками. Грубин быстро смотал с дверной рамы ленту машины времени, чтобы лейтенант Ложкин не вернулся за своим письменным столом.

А сам старик Ложкин обнял Минца и заплакал от радости. Ведь Минц спас его честь и биографию.

Но проницательный Грубин сказал:

— А я не особенно беспокоился. Ведь ты, Ложкин, среди нас. И честный пенсионер. А что это значит? А это значит, что лейтенант обязательно уйдет в отставку и уедет в Тюмень искать свою супругу.

1988 г.

РЕТРОГЕНЕТИКА

Славный майский день завершился небольшой образцово-показательной грозой с несколькими яркими молниями, жестяным нестрашным громом, пятиминутным ливнем и приятной свежестью в воздухе, напоенном запахом сирени. Районный центр Великий Гусляр нежился в этой свежести и запахах.

Пенсионер Николай Ложкин вышел на курчавый от молодой зелени, чистый и даже кокетливый по весне двор с большой книгой в руках. По двору гулял плотный лысый мужчина — профессор Лев Христофорович Минц, который приехал в тихий Гусляр для поправки здоровья, подорванного напряженной научной деятельностью.

Николай Ложкин любил побеседовать с профессором на умственные темы, даже порой поспорить, так как сам считал себя знатоком природы.

— Чем увлекаетесь? — спросил профессор. — Что за книгу вы так любовно прижимаете к груди?

— Увлекся антропологией, — сказал Ложкин. — Интересуюсь проблемой происхождения человека от обезьяны.

— Ну и как, что-нибудь новенькое?

— Боюсь, что наука в тупике, — пожаловался Ложкин. — Сколько всего откопали, а до главного не докопались: как, где и когда обезьяна превратилась в человека.

— Да, момент этот уловить трудно, — согласился Лев Христофорович. — Может быть, его и не было?

— Должен быть, — убежденно ответил Ложкин. — Не могло не быть такого момента. Ведь что получается? Выкопают где-нибудь в Индонезии или Африке отдельный доисторический зуб и гадают: человек его обронил или обезьяна. Один скажет — «человек». И назовет этого человека, скажем, древнеантропом. А другой поглядит на тот же зуб и отвечает: «Нет, это зуб обезьяний и принадлежал

он, конечно, древнепитеку». Казалось бы, какая разница, — никто не знает! А разница в принципе!

Минц наклонил умную лысую голову, скрестил руки на тугом, обтянутом пиджаком животе и спросил строго:

— И что же вы предлагаете?

— Ума не приложу, — сознался Ложкин. — Надо бы туда заглянуть. Но как? Ведь путешествие во времени вроде бы невозможно.

— Совершенная чепуха, — ответил Минц. — Я пытался сконструировать машину времени, забрался во вчерашний день и там остался.

— Не может быть! — воскликнул Ложкин. — Так и не вернулись?

— Так и не вернулся, — сказал Минц.

— А как же я вас наблюдаю?

— Ошибка зрения. Что для вас сегодня, для меня вчерашний день, — загадочно ответил Минц.

— Значит, никакой надежды?

Профессор глубоко задумался и ничего не ответил.

Дня через три профессор встретил Ложкина на улице.

— Послушайте, Ложкин, — сказал он. — Я вам очень благодарен.

— За что? — удивился Ложкин.

— За грандиозную идею.

— Что же, — ответил Ложкин, который не страдал излишней скромностью. — Пользуйтесь, мне не жалко.

— Вы открыли новое направление в биологии!

— Какое же? — поинтересовался Ложкин.

— Вы открыли генетику наоборот.

— Поясните, — сказал Ложкин ученым голосом.

— Помните нашу беседу о недостающем звене, о происхождении человека?

— Как же не помнить.

— И ваше желание заглянуть во мглу веков, чтобы отыскать момент превращения обезьяны в человека?

— Помню.

— Тогда я задумался: что такое жизнь на Земле? И сам себе ответил: непрерывная цепь генетических изменений. Вот среди амёб появился счастливый мутант, он быстрее других плавал в первобытном океане или глотка у него была шире... От него пошло прожорливое и шустрое потомство. Встретился внук этой амёбы с жуткой хищной

амебикой — вот и еще шаг в эволюции. И так далее, вплоть до человека. Улавливаете связь времен?

— Улавливаю, — ответил Ложкин и добавил: — В беседе со мной нет нужды прибегать к упрощениям.

— Хорошо. Мы, люди, активно вмешиваемся в этот процесс. Мы подглядели, как это делает природа, и продолжаем за нее скрещивание, отбор, создаем новые сорта пшеницы, продолжаем эволюцию собственными руками.

— Продолжаем, — согласился Ложкин. — Хочу на досуге вывести быстрорастущий забор.

— Молодец. Всегда у вас свежая идея. Так вот, после беседы с вами я задумался, а всегда ли правильно мы следуем за природой? Природа слепа. Она знает лишь один путь — вперед, независимо от того, хорош он или плох.

— Путь вперед всегда прогрессивен, — заметил Ложкин.

— Тонкое наблюдение. А если нарушить порядок? Если все перевернуть? Вы сказали: как бы увидеть недостающее звено? Отвечаю — распутать цепь наследственности. Прокрутить эволюцию наоборот. Углубляясь в историю, добраться до ее истоков.

— Нам и без этого дел хватает, — возразил Ложкин.

— А перспективы? — спросил профессор, наклонив голову и прищурившись.

— Это не перспективы, а ретроспективы, — сказал Ложкин.

— Великолечно! — воскликнул Минц. — Чем пользуется генетика? Скрещиванием и отбором. Нашу с вами новую науку мы назовем ретрогенетикой. Ретрогенетика будет пользоваться раскрещиванием, откращиванием и разбором. Генетика будет выводить новую породу овец, которой еще нет, а ретрогенетика — ту породу, которой уже нет. И ученым не надо будет копать в земле. Заказал палеонтолог в лаборатории: выведите мне первого неандертальца, хочу поглядеть, как он выглядел. Ему отвечают: будет сделано.

— Слабое место, — заявил Ложкин.

— Слабое место? У меня?

— Ваш неандерталец жил миллион лет назад. Вы что же, собираетесь миллион лет ждать, пока его снова выведете?

— Слушайте, Ложкин. Если бы мы отдавались на

милость природе, то сорта пшеницы, которые колосятся на колхозных полях, вывелись бы сами по себе через миллион лет. А может, и не вывелись бы, потому что природе они не нужны.

— Ну, не миллион лет, так тысячу, — не сдавался Ложкин. — Пока ваш неандерталец родится, да еще своих предков народит...

— Нет, нет и еще раз нет, — сказал профессор. — Зачем же нам реализовывать все поколения? В каждой клетке закодирована ее история. Все будет, дорогой друг, на молекулярном уровне, как учит академик Энгельгардт.

— Ну ладно, выведете вы, что было раньше. А что дальше? Какая польза от этого народному хозяйству?

Ответ на свой вопрос Ложкин получил через три месяца, когда пожелтели липы в городском саду и дети вернулись из пионерских лагерей.

Лев Христофорович стоял у ворот и чего-то ждал, когда Ложкин, возвращаясь из магазина с кефиром, увидел его.

— Как успехи? — поинтересовался он. — Когда увидим живого неандертальца?

— Мы его не увидим, — отрезал профессор. Он осунулся за последние недели: видно, много было умственной работы. — Есть более важные проблемы.

— Какие же?

— Вы знакомы с Иваном Сидоровичем Хатой?

— Не приходилось, — сказал Ложкин.

— Дстойный человек, заведующий фермой нашего пригородного хозяйства «Гуслярец». Зоотехник, смелый, рискованный. Большой души человек.

Тут в ворота въехал газик, из которого выскочил шустрый очкастый человечек большой души.

— Поехали? — предложил он, поздоровавшись.

— С нами Ложкин, — сказал Минц. — Представитель общественности. Пора общественность знакомить.

— Не рано ли? — обеспокоился Хата. — Спугнут...

— Нам ли опасаться гласности? — спросил Минц.

После короткого путешествия газик достиг животноводческой фермы. Рядом с коровником стоял новый высокий сарай.

— Ну что же, заходите, только халат наденьте.

Хата выдал Ложкину и Минцу халаты и сам тоже облачился. Ложкин ощутил покалывание в желудке и

приготовился увидеть что-нибудь необычное. Может, даже страшное. Но ничего страшного не увидел.

Под потолком горело несколько ярких ламп, освещая кучку мохнатых животных, жевавших сено в дальнем углу.

Ложкин присмотрелся. Животные были странными, таких ему раньше видеть не приходилось. Они были покрыты длинной рыжей шерстью, носы у них были длинные, ноги толстые, как столбы. При виде вошедших людей животные перестали жевать и уставились на них маленькими черными глазками. И вдруг захрюкали, заревели и со всех ног бросились навстречу Хате и Минцу, чуть не сшибли их, ластились, неуклюже прыгали, а профессор начал доставать из карманов халата куски сахара и угощать животных.

— Что за звери? — спросил Ложкин, отошедший к стенке, подальше от суматохи. — Почему не знаю?

— Не догадались? — удивился Хата. — Мамонтята. Каждому ясно.

— Мне не ясно, — сказал Ложкин, отступая перед мамонтенком, который тянул к нему недоразвитый хоботок, требуя угощения. — Где бивни, где хоботы? Почему мелкий размер?

— Все будет, — успокоил Ложкина Минц, оттаскивая мамонтенка за короткий хвостик, чтобы не приставал к гостю. — Все с возрастом отрастет. Ваше удивление мне понятно, потому что вам не приходилось еще сталкиваться с юными представителями этого славного рода.

— Я и со старыми не сталкивался, — возразил Ложкин. — И прожил, не жалею. Откуда вы их откопали?

— Неужели не догадались? Они же выведены методом ретрогенетики — раскрещиванием и разбором. Из слона мы получили предка слонов и мамонтов близкого к мастодонтам. Потом люди пошли обратно и вывели мамонта.

— Так быстро?

— На молекулярном уровне, Ложкин, на молекулярном уровне. Под электронным микроскопом. Методом раскрещивания, открещивания и разбора. И вы понимаете теперь, почему я отказался от соблазнительной идеи отыскать недостающее звено, а занялся мамонтами?

— Не понимаю, — сказал Ложкин.

— Вы, товарищ, видно, далеки от проблем животноводства, — вмешался Иван Хата. — Ни черта не понима-

сте, а критикуете. Нам мамонт совершенно необходим. Для нашей природной зоны.

— Жили без мамонта и прожили бы еще, — упорствовал Ложкин.

— Эх, товарищ Ложкин, — в голосе Хаты звучало сострадание. — Вы когда-нибудь думали, что мы имеем с мамонта?

— Не думал. Не было у меня мамонта.

— С мамонта мы имеем шерсть. С мамонта мы имеем питательное мясо, калорийное молоко и даже мамонтовую кость...

— Но главное, — воскликнул Минц, — бесстойловое содержание! Круглый год на открытом воздухе, ни тебе утепленных коровников, ни специальной пищи. А подумайте о труднодоступных районах Крайнего Севера: мамонт там — незаменимое транспортное средство для геологов и изыскателей.

Прошло еще три месяца.

Однажды к дому № 16 по Пушкинской, где проживал Лев Христофорович, подъехала сизая «волга», из которой вышел скромный на вид человек средних лет в дубленке. Он вынул изо рта трубку, поправил массивные очки, снисходительно оглядел непритязательный двор, и его взгляд остановился на Ксении Удаловой, которая развешивала белье:

— Скажите, гражданка, если меня не ввели в заблуждение...

— Вы корреспондент будете? — спросила Ксения.

— Вот именно. Из Москвы. А как вы догадались?

— А чего не догадаться, — ответила Ксения. — Восемнадцатый за неделю. Поднимитесь на второй этаж, дверь открыта. Лев Христофорович отдыхает.

Поднимаясь по скрипучей лестнице в скромную обитель великого профессора, журналист бормотал: «Шарлатанство. Ясно, шарлатанство. Вводят в заблуждение общественность...»

— Заходите, — откликнулся на стук профессор Минц. Он в тот момент отдыхал, а именно: читал «Химию и жизнь», слушал последние известия по радио, смотрел хоккей по телевизору, гладил брюки и думал.

— Из Москвы. Журналист, — сказал гость, протягивая удостоверение. — Это вы тут мамонтов разводите?

Журналист произнес это таким тоном, словно подразумевал: «Это вы водите за нос общественность?»

— И мамонтов, — скромно ответил профессор, прислушиваясь к сообщениям из Канберры и радуясь мастерству лучшего в сезоне хоккеиста.

— С помощью... — журналист извлек из замшевого кармана записную книжку, — ретро, простите, генетики?

Доверчивый Минц не уловил иронии в голосе журналиста.

— Именно так, — подтвердил он и набрал из стакана в рот воды, чтобы обрызгать брюки.

— И есть результаты?

Минц провел раскаленным утюгом по складке, поднялось облако пара.

— С этим надо что-то делать, — сказал Минц. Он имел в виду брюки и ситуацию в Австралии.

— И все-таки, — настаивал журналист. — Можно взглянуть на ваших мамонтов?

— А почему бы и нет? Они в поле пасутся. Добывают корм из-под снега.

— Ясно. А еще каких-нибудь животных вы можете вывести?

— Будете проходить мимо речки, — сказал Минц, — поглядите в полынью. Там бронтозавры. Думаем потом отправить их в Среднюю Азию для расчистки ирригационных сооружений.

В этот момент в окно постучала длинным, усеянным острыми зубами клювом образина. Крылья у образины были перепончатые, как у летучей мыши. Образина гаркнула так, что зазвенели стекла и форточка сама собой открылась.

— Не может быть! — сказал журналист, отступая к стене. — Это что такое? Мамонт?

— Мамонт? Нет, это Фомка. Фомка — птеродактиль. Когда вырастет, размахнет свои крылья на восемь метров.

Минц отыскал под столом пакет с тресковым филе, подошел к форточке и бросил пакет в разинутый клюв образине. Птеродактиль подхватил пакет и заглотнул, не разворачивая.

— Зачем вам птеродактиль? — спросил журналист. — Только людей пугать.

Он был уже не так скептически настроен, как в первый момент.

— Как зачем? Птеродактили нам позарез нужны. Из их крыльев мы будем делать плащи-болоньи, парашюты,

зонтики, наконец. К тому же научим их пасти овец и охранять стада от волков.

— От волков? Ну да, конечно... — Журналист прекратил расспросы и вскоре удалился.

«Возможно, это, до определенной степени, и не шарлатанство, — думал он, спускаясь по лестнице к своей машине, — но, по большому счету, это все-таки шарлатанство».

Весь день до обеда корреспондент ездил по городу, издали наблюдал за играми молодых мамонтов, недовольно морщился, когда на него падала тень пролетающего птеродактиля, и вздрагивал, услышав рев пещерного медвежонка.

— Нет, не шарлатанство, — повторял он упрямо. — Но кое в чем хуже, чем шарлатанство.

Весной в журнале, где состоял тот корреспондент, появилась статья под суровым заголовком:

«ПЛОДЫ ЛЕГКОМЫСЛИЯ»

Нет смысла передавать опасения и измышления гостя. Он предупреждал, что новые звери нарушат и без того неустойчивый экологический баланс, что пещерные медведи и мамонты представляют опасность для детей и взрослых. А в заключение журналист развернул страшную картину перспектив ретрогенетики:

«Безответственность периферийного ученого и пошедших у него на поводу практических работников гусярского животноводства заставляет меня бить тревогу. Эксперимент, не проверенный на мелких и безобидных тварях (жуках, кроликах и т.д.), наверняка приведет к плачевным результатам. Где гарантия тому, что мамонты не взбесятся и не потопчут зеленые насаждения? Что они не убегут в леса? Где гарантия тому, что бронтозавры не выползут на берег и не отправятся на поиски новых водоемов? Представьте себе этих рептилий, ползущих по улицам, сносящих столбы и киоски. Я убежден, что птеродактили, вместо того, чтобы пасти овец и жертвовать крыльями на изготовление зонтиков, начнут охотиться на домашнюю птицу, а может быть, на тех же овец. И все кончится тем, что на ликвидацию последствий непродуманного эксперимента придется мобилизовать трудящихся и тратить народные средства...»

Статья попала на глаза профессору Минцу лишь летом. Читая ее, профессор лукаво улыбался, а потом захватил журнал с собой на открытие межрайонной выставки.

Центром выставки, как и следовало предполагать, был павильон «Ретрогенетика». Именно сюда спешили люди со всех сторон, из других городов, областей и государств.

Пробившись сквозь интернациональную толпу к павильону, Лез Христофорович оказался у вольеры, где гуляли мамонты.

Было жарко, поэтому мамонты были коротко острижены и казались поджарыми, словно собаки породы эрдель-терьер. У некоторых уже прорезались бивни. Птеродактили сидели у них на спинах и выклевывали паразитов. В круглом бассейне посреди павильона плавали два бронтозавра. Время от времени они тяжело поднимались на задние лапы и, прижимая передние к блестящей груди, выпрашивали у зрителей плюшки. У кого из зрителей не было плюшки, кидали пятаки.

Здесь, между вольерой и бассейном, Минц увидел Ложкина и Хату и прочел друзьям скептическую статью.

Смеялись не только люди. Булькали от хохота бронтозавры, трубили мамонты, а один птеродактиль так расхохотался, что не мог закрыть пасть, пока не прибежал служитель и не стукнул весельчаку как следует деревянным молотком по нижней челюсти.

— Неужели, — сказал профессор, когда все отсмеялось, — этот наивный человек полагает, что мы стали бы выводить вымерших чудовищ, если бы не привили им генетически любви и уважения к человеку?

— Никогда, — отрезал Ложкин. — Ни в коем случае.

Птеродактиль, все еще вздрагивая от смеха, стуча когтями по полу, подошел к профессору, и тот угостил его конфетой. Маленькие дети по очереди катались верхом на мамонтах, подложив под попки подушечки, чтобы не колола остриженная жесткая шерсть. Бронтозавры собирали со дна бассейна монетки и честно передавали их служителям. В стороне скулил пещерный медведь, потому что его с утра никто не приласкал.

...В тот день столичного журналиста, неудачливого пророка, до полусмерти искусила его домашняя сиамская кошка.

ЧЕРНАЯ ИКРА

К числу рассказов, которые увидели свет через много лет после того, как были написаны, относится и «Черная икра». Но повод, помешавший рассказу появиться на страницах журнала «Химия и жизнь», для которого он был написан, оказался для меня неожиданным. Полежав некоторое время в редакции, рассказ вернулся с резолюцией, возражающей против публикации ввиду того, что рассказ наносит оскорбление (может, не так сильно — скажем, обиду) светлой памяти академика Несмеянова и его сотрудников, прославившихся изобретением синтетической черной икры, которая, к сожалению, получилась почти такой же хорошей и питательной, как настоящая, но уступала ей в чем-то неуловимом... И хоть даже была дешевле, не стала более популярной.

Я менее всего хотел наносить ущерб репутации академика Несмеянова и осмеивать его черную икру. Моя черная икра соперничать с настоящей синтетической не намеревалась.

Но редакторское слово сказано — вылетело в чистый воздух... Не догонишь. Так и остался рассказ бесхозным.

Несмотря на относительную дешевизну, консервативные гуслярцы вяло покупали баночки с изображением осетра и надписью: «Икра осетровая». Острое зрение покупателей не пропустило и вторую, мелкую надпись: «Синтетическая».

Профессор Лев Христофорович Минц знал, что по вкусовым качествам она практически не отличается от настоящей, по питательности почти превосходит ее и в отличие от натуральной абсолютно безвредна. Поэтому профессор соблазнился новым продуктом.

Вечером, за чаем, Лев Христофорович вскрыл банку, намазал икрой бутерброд, осторожно откусил, пожевал и признал, что икра обладает вкусовыми качествами, пита-

тельностью и безвредностью. Но чего-то в ней не хватало. Поэтому Минц отложил надкусанный бутерброд и задумался, как бы улучшить ее. Потом решил, что заниматься этим не будет — наверняка эту икру создавал целый институт, люди не глупее его. И дошли в своих попытках до разумного предела.

— Нет, — сказал он вслух. — Конкурировать мы не можем... Но!

Тут он поднялся из-за стола, взял пинцетом одну икринку и отнес к микроскопу. Разглядывая икринку, препарируя ее, он продолжал рассуждать вслух, эта привычка выработалась в нем за годы личного одиночества.

— Рутинеры, — бормотал он. — Тупиковые мыслители. Икру изобрели. Завтра изобретем куриное яйцо. Что за манера копировать природу и останавливаться на полпути?

На следующий день профессор Минц купил в зоомагазине небольшой аквариум, налил в него воды с добавками некоторых веществ, поставил рядом рефлектор, приспособил над аквариумом гроздь радоновых ламп и источник ультрафиолетового излучения, подключил датчики и термометры и перешел к другим делам и заботам.

Через две недели смелая идея профессора дала первые плоды. Икринки заметно прибавили в росте, и внутри них, сквозь синтетическую пленку, с которой смылась безвредная черная краска, можно было уже угадать скрученные колечком зародыши.

Еще через неделю, когда, разорвав оболочки, сантиметровые мальки засуетились в аквариуме, профессор отправился к мелкому, почти пересыхающему к осени пруду за церковью Параскевы Пятницы и выплеснул туда содержимое аквариума.

Вода в прудике была грязной, потому что окрестные жители кидали в него что ни попадя и сливали воду после стирки. Так что в прудике даже лягушки не водились.

Стоял светлый, ветреный весенний день.

Минц, прижимая пустой аквариум к груди, вышел на дорогу и остановил самосвал.

— Чего? — спросил мрачный шофер, высовываясь из кабины и глядя сверху на пожилого лысого мужчину в замшевом пиджаке, обтягивающем упругий живот. Мужчина протягивал к кабине пустой аквариум.

— У меня садик, — сказал лысый. — Вредители одолели. Травлю. Отлейте солярки.

Полученную солярку профессор тут же вылил в прудик. Он понимал, что совершает варварский поступок, но прудику придется потерпеть для науки.

Профессор подкармливал синтетических осетров не только соляркой. Как-то Удалов встретил профессора на окраине города, где с территории ткацкой фабрики к реке Гусь стремилась вонючая струя мутной воды. Профессор на глазах Удалова набрал полное ведро и потащил к отравленному прудику.

— Вы что, Лев Христофорович! — удивился Удалов. — Это же из красильного цеха! Опасно для здоровья.

— И замечательно! — ответил, не смутившись, профессор. — Чем хуже, тем лучше.

Вещества, залитые в прудик профессором Минцем, были многообразны, в основном неприятны на вид, и отвратительно пахли. Люди, привыкшие ходить мимо прудика на работу, удивлялись тому, что творится с этим маленьким водоемом, и начали обходить его стороной. Даже птицы его облетали стороной.

В один жаркий, июньский день, когда отдаленные раскаты надвигающейся грозы покачивали душистый от сирени воздух, профессор привел к прудику своего друга Сашу Грубина. Профессор нес ведро и большой сачок, Грубин — второе ведро.

Прудик произвел на Грубина жалкое впечатление. Трава по его берегам пожухла, вода имела мутный, бурый вид, и от нее исходило ощущение безжизненности.

— Что-то происходит с природой, — сказал Саша, ставя ведро на траву. — Экологическое бедствие. И вроде бы промышленности нет рядом, а вот, погибает пруд. И запах от него противный.

— Вы бы побывали здесь вечером вчера, — произнес, улыбаясь, профессор. — Я сюда вылил вчера литр азотной кислоты, ведро мазута и высыпал мешок асбестовой крошки.

— Зачем? — удивился Грубин. — Ведь сами же расстраиваетесь, что природа в опасности.

— Расстраиваюсь — не то слово, — ответил Минц. — Для меня это трагедия.

Он извлек из кармана пакет, от которого исходил отвратительный, гнилостный запах.

— С большим трудом достал, — сообщил он Грубину. — Не хотели давать...

— Это еще что?

— Ах, пустяки, — сказал Минц и вывалил содержимое пакета в прудик.

И в то же мгновение вода в нем вскипела, словно Минц ткнул в нее раскаленным стержнем. Среднего размера рыбины, само существование которых в таком пруду было немыслимым, отчаянно дрались за отвратительную пищу. Грубин отступил на шаг.

— Давайте ведро! — крикнул Минц, подбирая с земли сачок. — Держите крепче.

Он принялся подхватывать рыб сачком и кидать их в ведро. Через три минуты ведро были полны. В них толклись, пуча глаза, молодые осетры.

— Несколько штук оставим здесь, — сказал Минц, когда операция была закончена. — Для контроля и очистки.

Пока друзья шли от прудика к реке Гусь, Лев Христофорович поделился с Грубиным сутью смелого эксперимента.

— Я жевал эту синтетическую черную икру, — рассказывал он, — и думал: природа придумала икру дорогую и вкусную, но ученые-химики создали икру подешевле и похуже. В результате — никакого прогресса. Прогресс возможен только при смелости мышления. Это свойственно мне, но, к сожалению, не свойственно официальной науке. Я же задал естественный вопрос: если есть синтетическая осетровая икра, как насчет синтетических осетров?

— Исключено, — возразил Грубин. — От неживого живое не рождается.

Грубин заглянул в ведро и встретил бессмысленный взгляд молодого осетра.

— Он синтетический? — спросил Саша.

— Разумеется, — сказал Минц. И тут же продолжил мысль: — Допустим, я вывел из синтетической икры синтетических рыб. Но зачем?

— Зачем? Пруды губить?

— Мысль твоя, Грубин, движется правильно, но скучно, — ответил профессор. — Не губить, а спасать. Если я выведу синтетического осетра, то он будет нуждаться именно в синтетической пище. То есть в том, что ни прудам, ни речкам, ни настоящим рыбам не нужно. Основа синтетической икры — отходы нефти. Чего-чего, а этого добра, к сожалению, в наших водоемах уже достаточно. Значит, коллега, если получится синтетический осетр, он будет жрать отходы нефти и прочее безобразие, которым мы травим реки.

Они вышли на берег. Неподалеку от мебельной фабрики

ки и ткацкого предприятия, от которых к реке тянулись полоски нечистой воды, сливаясь с редкими пятнами радужного цвета, попавшими сюда с автобазы, Грубин снял ботинки, зашел в воду по колени и выпростал ведро с осетрами.

— Эй! — кричали мальчишки с моста. — Рыбаки наоборот! Кто так делает?

Грубин принял из рук Минца второе ведро. Видно было, как проголодавшиеся рыбы бросились к мазутным пятнам, поплыли к грязным струйкам...

Когда друзья шли обратно, Грубин осторожно спросил:

— А есть-то осетров твоих можно?

— Ни в коем случае! — воскликнул профессор. — Вот когда очистим наши реки, появятся там в изобилии настоящие осетры, тогда и наедемся с тобой вволю настоящей черной икры.

Грубин обеспокоился, сходил на следующий день в редакцию газеты «Гуслярское знамя», побеседовал там со своим приятелем Мишей Стендалем, тот сходил к пруду у Параскевы Пятницы, поглядел, как молодые осетры жрут дизельное топливо, которое Грубин капал в воду у берегов, пришел в восторг и добился у редактора Малюжкина разрешения опубликовать заметку-предостережение:

«Вниманию рыболовов-любителей!

В порядке эксперимента в реку Гусь выпущены специальные устройства для очистки воды от нефтяных и прочих отходов. Этим устройствам для практических целей придан вид осетровых рыб, которые в естественном виде в наших краях не водятся. При попадании подобного устройства в сеть или на удочку просим немедленно отпущать их обратно в воду. Прием устройств в пищу ведет к тяжелому отравлению».

Когда профессор прочел эту заметку, он сказал только:

— Наивный! Когда мой осетр попадет на удочку? Для него червяк — отравя.

Вскоре жители Гусляра привыкли видеть у фабрики или автобазы выросших за лето могучих рыб. Осетров, которые остались в прудике, пришлось перетащить в реку — уж очень накладно стало их кормить, да и очистившийся прудик стал им тесен.

К осени приехала из области комиссия по проверке эффективности очистки водоемов с помощью осетров. Комиссия была настроена скептически.

Река Гусь текла между зеленых берегов, поражая хрустальной чистотой воды. Тому способствовали не только осетры. Уже месяц, как пораженные наглядностью эксперимента руководители гусярских предприятий перестали сбрасывать в реку нечистую воду и прочие отходы.

Директор автобазы, ранее главный враг чистоты, а ныне почетный председатель общества охраны природы, встретил комиссию у реки. Он на глазах зачерпнул стаканом воды и поднял к солнцу. Искры засверкали в стакане.

— На пять процентов чище, чем в Байкале, — сообщил директор автобазы. — Можете проверить.

— Хорошо, — сказал председатель комиссии. — Отлично. А где же ваши так называемые осетры?

Директор автобазы честно ответил:

— Осетры вас не дождались. Уплыли.

— Значит, раньше были, а теперь уплыли? — недовольно сверкнул глазом председатель комиссии.

— Им у нас жрать нечего! Чисто слишком. Скоро настоящих запустим.

— Так, — сказал председатель комиссии, глядя в голубую даль. — Были и нет...

— Их надо теперь в Северной Двине искать, — сказал директор автобазы. — Мы туда уже предупреждение послали, чтобы не вылавливали.

— Значит, мы ехали, теряли время... — В голосе председателя комиссии послышалась угроза. — И что увидели?

— Результаты успешного эксперимента, — ответил Минц. — Настолько успешного, что кажется, будто его и не было...

— Но вода-то чистая! — воскликнул директор автобазы.

— Вода и должна быть чистой, — наставительно произнес председатель.

Наступила пауза. Все поняли, что надо прощаться... Чего тут докажешь?

И в этот момент послышался приближающийся грохот лодочного мотора. Директор автобазы нахмурился. В Великом Гусяре недавно было принято постановление о недопустимости пользования моторками на чистой реке. Поэтому реку бороздили экологически стерильные яхты.

С моторки увидели людей на берегу, и лодка круто завернула к ним. Нос ее уперся в берег.

— Доктора! — закричал с лодки приезжий турист в панаме и джинсах. — Мой друг отравился!

— Чем отравился? — спросил Минц.

— Мы вчера рыбку поймали. С утра поджарили...

— Большую рыбку? — спросил Минц у туриста.

— Да так... среднюю...

— Осетра?

— А вы откуда знаете? — Турист вдруг оробел.

— Длина полтора метра? — спросил сообразительный директор автобазы. — Динамитом глушили?

— Разве дело в частностях! Человеку плохо!

— Чтобы не почувствовать бензино-кислотного запаха, — задумчиво сказал Минц, — следовало принять значительное количество алкоголя...

— Да мы немного...

— Так вот, уважаемая комиссия, — сказал тогда директор автобазы. — Я приглашаю вас совершить путешествие к месту стоянки этих браконьеров и ознакомиться на месте с образцом синтетического осетра, который, к сожалению, не успел далеко отплыть от родных мест. По дороге мы захватим доктора и милиционера...

— Там только голова осталась, — в растерянности пролепетал турист. — Мы ее в землю закопали.

— Головы достаточно, — оборвал его директор автобазы.

Члены комиссии колебались.

— Не надо туда всем ехать, — сказал Саша Грубин. — Не надо.

Он показал пальцем на расплывшееся бензиновое пятно за кормой лодки. Натекло от мотора.

И тут все увидели, как огромная рыба с длинным, чуть курносым рылом, широко раскрывая рот, забирает с воды бензин. Радужное пятно уменьшалось на глазах...

— У меня идея, — тихо сказал Минц Грубину. — Когда будем выводить новую партию, подключим к аквариуму ток. Несильный, но ощутимый.

— Зачем?

— Будут они как электрические скаты. Ты его схватил, а он тебя, браконьера, током.

— Надо подумать, — сказал с сомнением Грубин. — Могут пострадать невинные купальщики.

1979 г.

ЛЕНЕЧКА-ЛЕОНАРДО

Долгое время в Великом Гусляре не происходило событий гражданского звучания. Пришельцы залетали туда из любопытства или из вредности, в крайнем случае в поисках галактического братства. Изобретения или стихийные бедствия случались бесконтрольно к социальному развитию города. А события областные или республиканские гуслярских дел не затрагивали.

Это было возможно до тех лишь пор, пока скорость развития нашего общества могла не ощущаться не только в Великом Гусляре, но и в Калуге. Как только эпоха застоя зашаталась, пошла трещинами, хоть на вид еще аппаратный корабль был непотопляем, некоторые новые веяния докатились и до Гусляра — все же там люди жили, а не картонные персонажи фантастических рассказов.

И тут, как только я поддался этому веянию, реакция на гуслярские рассказы, столь благожелательная и улыбка в первой половине семидесятых годов, в большинстве редакций стала куда более сдержанной. Доходило до случаев курьезных. Написал я как-то рассказ «Ленечка-Леонардо», а мне в журнале говорят:

— Голубчик, мы отлично понимаем, на какого Ленечку ты намекаешь. Тебе-то что, ты писатель, лицо безответственное. А нам надо держаться за свое место — ведь если нас выгонят, то и тебе негде будет печататься.

— Клянусь вам, — сопротивлялся я, — у меня Ленечка новорожденный и очень талантливый, а Ленечка, на которого вы намекаете, совсем пожилой, и таланты его ограничиваются областью художественной литературы.

— Поменяй Ленечке имя! — умоляли друзья-редакторы.

Честно говоря, давая имя герою-младенцу, я не вспомнил о Брежневe. Как и о миллионах Леонидов, живущих в нашей стране, каждый из которых имел право обидеться на меня за использование своего имени (к счастью, в те дни совершенно безболезненно прошел мой рассказ под ныне сомнительным названием «Если бы не Михаил»).

Мало-помалу отношение в издательских сферах к милому моему сердцу городку менялось к худшему. Я и не помышлял о складывании пальцев в кармане в фигу, а ее уже усматривали сквозь плотную брючную ткань.

Наступил день, когда мне пришлось впервые услышать фразу:

— Принесите что-нибудь, только не гусярское.

— Почему?

— Потому что Гусляр — не настоящая фантастика.

А так как рассказы порой имеют обыкновение писаться сами по себе, без авторского разрешения, то у меня в столе начали накапливаться совершенно невинные, но географически опороченные рассказы.

«Ленечке-Леонардо» повезло больше. Хоть я капитулировал, махнул рукой и согласился, чтобы после двухлетнего «вылеживания» он вышел под названием «Лешенька-Леонардо». Но при первой же возможности, включая его в сборник, я вернул рассказу первоначальное название.

— Ты чего так поздно? Опять у Щеглов была?

Всем своим видом Ложкин изображал покинутого, неухоженного мужа.

— Что ж поделаешь, — вздохнула его жена, спеша на кухню поставить чайник. — Надо помочь. Больше у них родственников нету. А сегодня — профсоюзное собрание. Боря — член месткома, а Клара в кассе взаимопомощи. Кому с Ленечкой сидеть?

— И все, конечно, тебе. В конце концов родили ребенка, должны были осознавать ответственность.

— Ты чего пирожки не ел? Я тебе на буфете оставила.

— Не хотелось.

Жена Ложкина быстро собирала на стол, разговаривала оживленно, чувствовала вину перед мужем, которого бросила ради чужого ребенка.

— А Ленечка такой веселенький. Такой милый, улыбается... Садись за стол, все готово. Сегодня увидел меня и лепечет: «Баба, баба!»

— Сколько ему?

— Третий месяц пошел.

— Преувеличиваешь. В три месяца они еще не разговаривают.

— Я и сама удивилась. Говорю Кларе: «Слышишь?», а Клара не слышала.

— Ну вот, не слышала...

— Возьми пирожок, ты любишь с капустой. А он вообще мальчик очень продвинутый. Мать сегодня в спешке кофту наизнанку надела, а он мне подмигнул — разве не смешно, тетя Даша?

— Воображение, — сказал Ложкин. — Пустое женское воображение.

— Не веришь? Пойди погляди. Всего два квартала до этого чуда природы.

— И пойду, — согласился Ложкин. — Завтра же пойду. Чтобы изгнать дурь из твоей головы.

В четверг Ложкин, сдержав слово, пошел к Щеглам. Щеглы, дальние родственники по материнской линии, как раз собирались в кино.

— Мы уж решили, что вы обманете, — с укором сказала Клара. Она умела и любила принимать одолжения.

— Сегодня Николай Иванович с Ленечкой посидит, — сообщила баба Даша. — Мне по дому дел много.

— Не с Ленечкой, а с Леонардо, — поправил Борис Щегол, завязывая галстук. — А у вас, Николай Иванович, есть опыт общения с грудными детьми?

— Троиш высшее образование дал, — произнес Ложкин. — Разлетелись мои птенцы.

— Высшее образование — не аргумент, — сказал Щегол. — Клара, помоги узел завязать. Высшее образование дает государство. Грудной ребенок — иная проблема. Почитайте книгу «Ваш ребенок», вон на полке стоит. Вы, наверно, ничего не слышали о научном обращении с детьми.

Ложкин не слушал. Он смотрел на ребенка, лежавшего в кровати. Ребенок осмысленно разглядывал погремушку, крутил в руках, думал.

— Агу, — проговорил Ложкин, — агусеньки.

— Агу, — откликнулся ребенок, как бы отвечая на приветствие.

— Боря, осталось десять минут, — напомнила Клара. — Где сахарная водичка, найдете? Пеленки в комодке на верхней полке.

Николай Иванович остался с ребенком один на один.

Он постоял у постельки, любуясь мальчиком, потом, неожиданно для самого себя, произнес:

— Тебе почитать чего-нибудь?

— Да, — сказал младенец.

— А что почитать-то?

— Селебяные коньки, — ответил Ленечка. — Баба читала.

Язык еще не полностью повиновался мальчику.

Ленечка-Леонардо протянул ручонку к шкафу, показывая, где стоит книжка.

— Может, про репку почитаем? — спросил Ложкин, но ребенок отрицательно подвигал головкой и отложил погремушку в сторону.

Ложкин читал книжку более часа, утомился, сам выпил всю сахарную водичку, а ребенок ни разу не намочил пеленок, не ныл, не спал, увлеченно слушал, лишь иногда прерывал чтение конкретными вопросами: «А что такое коньки? А что такое Амстелдам? А что такое опухоль головного мозга?»

Ложкин, как мог, удовлетворял любопытство младенца, все более попадая под очарование его открытой яркой личности.

К тому времени, когда родители вернулись из кино, дед с мальчиком подружились, на прощание Леонардик махал деду ручкой и лепетал:

— Сколей плиходи, завтра плиходи, деда.

Родители не прислушивались к щебетанию крошки.

С этого дня Ложкин старался почаще подменять жену. Фактически превратился в сиделку у мальчика. Щеглы не возражали. Они были молодыми активными людьми, любили кататься на коньках и лыжах, ходить в туристские походы, посещать кино и общаться с друзьями.

Месяца через два Ленечка научился садиться в постельке, язык его слушался, запас слов значительно вырос. Ленечка не раз выражал деду сожаление, что неокрепшие

ножки не позволяют ему выйти на улицу и побывать в интересующих его местах.

Порой Ложкин вывозил Ленечку в коляске, тот жадно крутил головкой по сторонам и непрерывно задавал вопросы: почему идет снег, что делает собачка у столба, почему у женщин усы не растут и так далее. Ложкин, как мог, удовлетворял его любопытство. Дома они вновь принимались за чтение или Ложкин рассказывал младенцу о своей долгой жизни, об интересных людях, с которыми встречался, о редких местах и несбыточных профессиях.

Как-то Ленечка сказал деду:

— Попроси маму Клару, пусть разрешит мне учиться читать. Ведь шестой месяц уже пошел. Я полагаю, что в моем возрасте Лев Толстой не только читал, но и начал замысливать сюжет «Войны и мира».

— Сомневаюсь, — ответил Ложкин, имея в виду и Льва Толстого, и маму Клару. — Но попробую.

Он прошел на кухню, где Клара, только что вернувшись из гостей, готовила на утро сырники.

— Клара, — начал он. — Что будем с Ленечкой делать?

— А что? Плохо себя чувствует? Лобик горячий?

Клара была неплохой матерью. Сына она любила, переживала за него, сама укачивала перед сном, что, правда, ребенку не нравилось, потому что отвлекало от серьезных мыслей.

— Лобик у него хороший. Только мы с ним думали, не пора ли научиться читать. В его возрасте Лев Толстой, возможно, уже и писал.

— Что старый, что малый, — усмехнулась Клара. — Шли бы вы домой, дядя Коля. Завтра не придете? А то я должна на службе задержаться. Да, и зайдите с утра на питательный пункт, за молоком и кефиром.

Ребенка Клара не кормила, да Ленечка и не настаивал на этом. Ему было бы неловко кормиться таким первобытным способом.

Как-то Ленечку отнесли к врачу, сдать анализы и проверить здоровье. Все оказалось в порядке, Ленечка по совету Ложкина держал язык за зубами, но заинтересовался медициной — на него произвела впечатление обстановка в больнице и медицинская аппаратура.

— Знаешь, дедушка, — сообщил он Ложкину по воз-

вращении, — мне захотелось стать врачом. Это — благородная профессия. Я понимаю, что придется упорно учиться, но я к этому готов.

В последующие недели Ленечка все-таки научился читать, и Ложкин подарил ему электрический фонарик, чтобы читать под одеялом, когда родители уснут.

Возникает естественный вопрос: а как же родители? Неужели они были так слепы и проглядели то, что было очевидно приходящему старику, который повторял своей жене: «Я углядываю знак судьбы в том, что ребенка назвали Леонардо Борисовичем. Полтысячи лет Земля ждала своего следующего универсального гения. И вот дождалась». Нет, родители оставались в слепом убеждении, что произвели на свет обычного ребенка.

За примерами недалеко ходить. В день Ленечкина девятимесячного юбилея Борис Щегол пришел к нему в комнату с новой погремушкой. Ленечка в это время сидел в кроватке и слушал, как Ложкин читает ему вслух «Опыты» Монтеня.

— Гляди, какая игрушечка, — показал Борис. Он, как всегда, спешил и поэтому собирался тут же покинуть сына, но Леонардик сказал вслух:

— Любопытно, что эта игрушка напоминает мне пространственную модель Солнечной системы.

Борис возмутился:

— Дядя Коля, что за чепуху вы ребенку читаете? Как будто нет хороших детских книг. Про курочку и яичко, например, я сам покупал. Куда вы ее задевали?

Ложкин не ответил, потому что Ленечка из книжки про курочку делал бумажных голубей, чтобы выяснить принципы планирующего полета.

Борис Щегол отобрал «Опыты» Монтеня и унес книжку из комнаты.

Еще через несколько дней произошла сцена с участием Клары Щегол. Она принесла Ленечке тарелочку с протертым супом, и, для того чтобы поставить ее, ей пришлось смахнуть со столика несколько свежих медицинских журналов и словарей.

— Вы о чем здесь бормочете? — спросила она миролюбиво у Ложкина.

— Шведским языком занимаемся, — откровенно ответил Николай Иванович.

— Ну, ладно, бормочите, — разрешила Клара.

Ленечка положил ручку на ладонь старику: не обращай, мол, внимания.

Тут же они услышали, как в соседней комнате Клара рассказывает приятельнице:

— Мой-то кроха, сейчас захожу в комнату, а он бормочет на птичьем языке.

— Он у тебя уже разговаривает?

— Скоро начнет. Он развитой. И что удивительно, к нам один старичок ходит, по хозяйству помогает, так он этот птичий язык понимает.

— Старички часто впадают в детство, — произнесла подруга.

Леонардик вздохнул и прошептал Ложкину:

— Не обижайся. В сущности, мои родители хорошие, милые люди. Но как я порой от них устаю!

В комнату вошла Клара с приятельницей. Приятельница принялась ахать и повторять, какой крохотулечка и тютюленька этот ребенок, и умоляла:

— Скажи: ма-ма.

— Мам-ма, — послушно ответил Ленечка.

— Прелестный младенец. И как на тебя похож!

Тут младенцу надоело, и он обернулся к Ложкину:

— Продолжим наши занятия?

Женщины этих слов не слышали. Они уже говорили о своем.

Когда Ленечка научился ходить, они с Ложкиным устроили тайник под половицей, куда старик складывал новые книги. Леонардик как раз принялся за свою первую статью о причинах детского диатеза. Чтобы не смущать родителей, он продиктовал Ложкину, и тот послал статью в химический журнал.

Где-то к полутора годам Леня, неожиданно для Ложкина, начал охладевать к естественным наукам и принялся поглощать литературу на морально-этические темы. Его детское воображение поразил Фрейд.

— Что с тобой творится? — допытывался Ложкин. — Ты забываешь о своем предназначении, — стать новым Леонардо и обогатить человечество великими открытиями. Ты забыл, что ты — гомо футурис, человек будущего?

— Допускаю такую возможность, — печально согла-

силсЯ ребенок. — Но должен сказать, что я стою перед неразрешимой дилеммой. Помимо долга перед человечеством, у меня долг перед родителями. Я не хочу пугать их тем, что я — моральный урод. Их инстинкт самосохранения протестует против моей исключительности. Они хотят, чтобы все было как положено или немного лучше. Они хотели бы гордиться мною, но только в тех рамках, в которых это понятно их друзьям. И я, жалея их, вынужден таиться. С каждым днем все более.

— Поговорим с ними в открытую. Еще раз.

— Ничего не выйдет.

Когда на следующий день Ложкин пришел к Щеглам, держа под мышкой с трудом добытый томик Спинозы, он увидел, что мальчик сидит за столом рядом с отцом и учится читать по складам.

— Ма-ма, Ма-ша, ка-ша... — покорно повторял он.

— Какие успехи! — торжествовал Борис. — В два года начинает читать! Мне никто на работе не поверит!

И тут Ложкин не выдержал.

— Это не так! — воскликнул он. — Ваш ребенок тратит половину своей творческой энергии на то, чтобы показаться вам таким, каким вы хотели бы его увидеть. Он постепенно превращается из универсального гения в гения лицемерия.

— Дедушка, не надо! — в голосе Ленечки булькали слезы.

— Чтобы угодить вам, он забросил научную работу.

— Издеваетесь, дядя Коля? — спросил Щегол.

— Неужели вы не замечаете, что дома лежат книги, в которых вы, Боря, не понимаете ни слова? Я напишу в Академию наук!

— Ах, напишешь? — Борис поднялся со стула. — Писать вы все умеете. А как позаботиться о ребенке — вас не дозовешься. Так вот, обойдемся мы без советчиков. Не дам тебе калечить ребенка!

— Он вундеркинд!

Ложкин схватился за сердце, и тогда Борис понял, что наговорил лишнего, и сказал:

— И вообще, не вмешивайтесь в нашу семейную жизнь. Леонардик — обыкновенный ребенок, и я этим горжусь.

— Не вмешивайся, деда, — попросил Ленечка. — Ничего хорошего из этого не выйдет. Мы бессильны преодолеть инерцию родительских стереотипов.

— Но ведь вас тоже ждет слава, — прибегнул к последнему аргументу Ложкин. — Как родителей гения. Ну представьте, что вы родили чемпиона мира по фигурному катанию...

— Это другое дело, — ответил Борис. — Это всем ясно. Это бывает.

И тогда Ложкин догадался, что Щегол давно обо всем подозревает, но отменяет подозрения.

— Мы сегодня выучили пять букв алфавита, — вмешался в беседу Ленечка. — И у папы хорошее настроение. С точки зрения морали, мне это важнее, чем все возможные открытия в области прикладной химии или свободного полета.

— Боря, неужели вы не слышите, как он говорит? — спросил Ложкин. — Ну откуда младенцу знать о прикладной химии?

— От вас набрался, — отрезал Боря. — И забудет.

— Забуду, папочка, — пообещал Леонардик.

С тех пор прошло три года.

Скоро Леонардик пойдет в школу. Он научился сносно читать и пишет почти без ошибок. Ложкин к Щеглам не ходит. Один раз он встретил Ленечку на улице, ринулся было к нему, но мальчик остановил его движением руки.

— Не надо, дедушка, — сказал он. — Подождем до института.

— Ты в это веришь?

Ленечка пожал плечами.

Сзади, в десяти шагах, шла Клара, катила коляску, в которой лежала девочка месяцев трех от роду и тихо напевала: «Под крылом самолета...» Клара остановилась, улыбнулась, с умилением глядя на своего второго ребенка, вынула из-под подушечки соску и дала ее девочке.

1973 г.



Перпендикулярный мир

Повесть

Вступление

Вначале Великий Гусляр развивался в пространстве. Почти каждый новый рассказ добавлял нечто к его географии. Возникали новые улицы, окрестные поселения и урочища...

Люди, которые появлялись в Гусляре, первые годы не вносили никакой динамики в городскую жизнь. И неважно было, какой рассказ повествует о событиях давних, а какой — о совсем свежих. Золотые рыбки могли появиться в зоомагазине и завтра, и вчера, а пришельцы заглядывали во двор к Удалову, не обращая внимания на календарь.

Какие-то персонажи в рассказах не приживались и покидали город или хотя бы Пушкинскую улицу, другие возникали вместо них. Некоторые появлялись лишь в одном рассказе, другие — в десятках. Уехал куда-то Василь Васильич, появился профессор Минц...

Но так не могло продолжаться бесконечно. С накоплением сведений о городе — с одной стороны, и с резкими переменами в нашей жизни — с другой, Великого Гусляра также коснулись бесконечные ветры современности. Растущие опасения редакторов имели под собой основания — фантастика вспомнила, что она — самый актуальный и оперативно откликающийся на проблемы общества вид литературного творчества, а это правомерно и по отношению к Великому Гусляру.

Перемены в стиле и содержании рассказов повлекли за собой нужду в хронологии. Оказалось, что Гусляр не может ограничиться двором дома № 16 и игрой в домино в узком кругу. В городе возникла нужда в руководителях различного уровня, а раз есть руководители, то есть и история. Потому что история — это наука о смене начальников.

Говоря обобщенно, в Великом Гусляре была своя эпоха стоя, которую после смутного времени сменила эпоха перестройки. Хронологические рамки этих эпох совпадают с подобными же рамками в советской истории.

Откуда же такая точность и совпадения?

Просто — я об этом раньше не задумывался, а теперь понял: для меня Великий Гусляр всегда был слепком нашей страны, младшим его близнецом. Так что социальные отношения, царившие в Гусляре, были сколком отношений в Советском Союзе.

Для тех читателей, которых интересует история как наука, я могу сообщить, что где-то с середины шестидесятых годов, когда я впервые познакомился с тем городом, там правил товарищ Батыев. Человек крутой, без затей, крепкий аппаратчик и по-своему патриот Великогуслярского района. Заместителем у него был некий Семен Карась, личность суетливая и ничтожная. Но что за дела творятся в высоких кабинетах — ни меня, ни читателей не интересовало.

Я сам узнал о существовании Батыева далеко не сразу. Точнее, когда писался сценарий кинофильма «Недостойный богатырь» и встал вопрос о гуслярской бюрократии.

В середине восьмидесятых, с падением Батыева и его областного покровителя тов. Чингизова, власть временно, но, к счастью, непрочно, захватил некто Пупыкин. Общественность сбросила его иго и избрала предгором Николая Белосельского, аборигена Великого Гусляра, соученика Удалова по классу, человека демократического и легкого на подъем, с именем которого гуслярцы со второй половины 80-х годов связывали надежды на лучшее будущее.

Некоторые другие представители городских властей — фигуры эпизодические и не все подолгу удерживаются на своих местах. Но есть среди них и старожилы, к числу которых относится редактор газеты «Гуслярское знамя» Малюжкин. Он всех начальников пережил и на пенсию не собирается. Такое творческое долголетие объяснимо умением Малюжкина искренне принимать руководящую точку зрения.

На мой взгляд, «Перпендикулярный мир» куда более отражает нашу действительность, чем предыдущие

рассказы. Десять лет назад я бы его и не понес в редакцию — зачем огорчать людей? А сегодня его фантастика во многом устарела — на эту тему написано немало фельетонов.

За десять минут до старта к народу вышел старик Ложкин.

Он был в длинных черных трусах и выцветшей розовой футболке с надписью «ЦДКА». В раскинутых руках Ложкин держал плакат с маршрутом. Маршрут меняли каждый день, чтобы было интересно бежать.

Участники пробега сгрудились, разглядывая сегодняшнюю задачу.

Бежать следовало в гору, до парка. Затем — по аллее до статуи девушки с веслом, вокруг летней эстрады, к строительной площадке нового цеха пластиковых игрушек, потом площадью Землепроходцев до пруда-бассейна за церковью Параскевы Пятницы. Финиш — перед городским музеем.

Без пяти восемь грянул духовой оркестр.

Оркестр стоял у самой реки, в начищенных трубах отражались зайчики от утренней ряби. С воды поднялись испуганные утки и понеслись к дальнему берегу.

Две пенсионерки, которые бегать не могли, но хотели участвовать, держали натянутой красную ленточку. Ложкин свернул плакат в трубку, передал его одной из старушек, а сам, приняв у нее мегафон, занял место во главе забега. В задачу Ложкина входил краеведческий комментарий о памятниках архитектуры и истории, которые встретятся на пути.

Отдаленно пробили куранты на пожарной каланче. Старушки опустили ленту, и толпа разноцветно и различно одетых бегунов двинулась в гору, к вековым липам городского парка.

Николай Белосельский бежал рядом с Удаловым. Бежал он легко, не скрывая счастливой улыбки. Ежедневные забеги здоровья перед началом трудового дня были его инициативой, и за последние два года он старался ни одного не пропустить.

Жяlistый старик Ложкин не отставал. На бегу он обернулся и крикнул в мегафон:

— Оглянитесь назад! Полюбуйтесь, как мирно несет

свои прозрачные, очищенные от промышленных отходов, воды наша любимая река Гусь. Даже отсюда видно, как резвятся в ней осетры и лещи!

Удалов послушно оглянулся. Осетров и лещей он не увидел, но подумал, что надо будет в субботу съездить на рыбалку на озеро Копенгаген. Позвать, что ли, Белосельского? Пора ему отдохнуть. Третий год без отпуска. По самой середине реки весело плыли три дельфина. Дельфины были приписаны к спасательной станции, но работы у них было мало — к этой весне в Великом Гусларе обучили плаванью последних упрямцев.

Рядом с Белосельским бежала директорша музыкальной школы. Разговорчивая хохотушка Зина Сочкина. Удалов знал, что она опять доказывает предгору необходимость создания класса арф в ее учебном заведении. Но с арфами трудно, даже в области они — дефицит.

Бегуны растянулись по крутой тропинке. Оркестр заметно отстал. Только флейты держались в основной группе. Среди отставших оказался и профессор Минц, человек грузный и к физкультуре непривычный. Но упрямый. Он уже три недели бился над проблемой гравитации. И хоть утверждал, что гравитация нужна любимому городу в строительстве, Удалов подозревал, что действительная причина — желание с помощью такого изобретения прославиться в утренних забегах.

Удалова оттолкнул редактор городской газеты Малюжкий. Его небольшое квадратное тело несло громадную львиную голову. В двух шагах сзади бежал, сверкая очками, Миша Стендаль, корреспондент той же газеты. У Миши был редакторский портфель.

Малюжкий втиснулся между Белосельским и директоршей Зиной.

— Будем писать передовую? — строго спросил он.

Белосельский вздрогнул. Как и все в городе, он боялся Малюжкина, неукротимого борца за гласность, правду и демократию. Это «Гусларское знамя», возглавляемое Малюжкиным, разоблало коррупцию на городском рынке, добилося регулярной подачи горячей воды в баню № 1, свалило презиравшего экологию директора фабрики игрушек, поддержало, по крайней мере, шесть смелых инициатив и раскрыло несколько случаев очковтирательства, включая приписки на звероферме. В последнем случае

досталось, и за дело, самому профессору Минцу. Это он вывел для зверофермы новую породу чернобурых лис с двумя хвостами, но не удосужился отразить в печати свое изобретение. А Пупыкин, который после снятия с должности предгора работал директором зверофермы, каждую лису сдавал государству за две, отчего перевыполнил все планы, получил множество премий и еще приторговывал хвостами на стороне. Борец за правду, Малюжкин опирался на широкие круги разбуженной общественности, а общественность опиралась на Малюжкина. Белосельский, как исполнительная власть в городе, от Малюжкина нередко страдал.

— Передовую писать не буду, — откликнулся Белосельский, переходя на спринтерскую скорость. Он нарушил маршрут и свернул на узкие дорожки биологического городка, где были воспроизведены для детишек ландшафты планеты. Заверещали макаки, разинул пасть крокодил. Белосельский обогнал баобаб и полагал, что в безопасности, но тут ему дорогу перекрыли три мамонта, выведенные методом ретрогенетики и сбежавшие по недосмотру зоотехника Левочки из пригородного хозяйства. Белосельский затормозил, Малюжкин настиг его и приставил диктофон к лицу Белосельского. Предгор был готов сдаться на милость прессы, но, к счастью, одна из макак выхватила магнитофон у Малюжкина.

Белосельский нагнал Удалова на главной аллее, у статуи девушки с веслом.

— Трудно? — спросил Корнелий Иванович.

— Нелегко, — согласился Белосельский. — Но трудности нас закаляют. Сделаем рывок до музея? На время?

— И не подумаешь, что в одном классе учились, — вздохнул Удалов. — На вид он лет на десять моложе. Вот что значит активная жизнь и умеренность во всем."

— На рыбалку в субботу поедem? — спросил Удалов, стараясь не сбить дыхание.

— В субботу? В субботу у меня жюри. Конкурс детских танцев. Потом будем на общественных началах палаты купца Демушкина раставривать. Давай в эту субботу вместе пореставрируем, а на рыбалку через неделю?

Удалов не ответил, потому что перед ним затормозил Ложкин и начал кричать в мегафон:

— Дорогие товарищи бегающие! Вы видите бывший

пруд у памятника шестнадцатого века церкви Параскевы Пятницы. Этот пруд стараниями общественности и учащихся речного техникума превращен в лучший в области открытый бассейн. На нем установлена девятиметровая вышка. Желающие прервать забег могут нырнуть с вышки.

Белосельский сразу побегал на вышку прыгать. А Удалов вспомнил, что у него в девять совещание в стройконторе, которой он руководил. А он еще не завтракал.

Удалов повернул на Цветочную, чтобы срезать квартал у рынка. К рынку тянулись подводы и автомашины — окрестные жители везли продукты и цветы на продажу.

Вот и Пушкинская. Скоро дом.

Хлопнула калитка. Из палисадника выскочил бывший предгор и завзверофермой Пупыкин. Был он в тренировочном костюме фирмы «Адидас», который некогда привез из командировки в Швейцарию. Он догнал Удалова и спросил:

— Белосельский участвовал?

— И Малюжкин тоже, — ответил Удалов, прибавляя ходу.

Пупыкина он не выносил — пустой человек, мелкий склочник и нечист на руку. Правильно сделали, что отправили его на пенсию.

— Скажешь Белосельскому, что я тоже участвовал, — сказал Пупыкин. — Я тренируюсь по индивидуальной программе.

Произнеся эти лживые слова, Пупыкин взмахнул руками как крыльями, сделал разворот и потрусил обратно к дому.

«Всегда у него так, — подумал Удалов. — Даже в добровольном кроссе втирает очки».

Удалов перешел на шаг. Надо привести в норму дыхание.

Солнце поднялось высоко, припекало. От быстрорастущих кедров, которыми была засажена Пушкинская, на розовые и голубые плитки мостовой падала рваная тень. Белка соскочила с нижней ветки и перебежала улицу. Удалов наклонился над фонтанчиком, который предлагал прохожему газированную воду, и напился.

Римма Казачкина, непутевая пышногрудая девица из соседнего дома, по слухам новая пассия архитектора Оболенского, проходя мимо, умудрилась задеть Удалова крутым бедром. Удалов сделал вид, что не заметил намека.

Появился профессор Минц.

Минц устал, лысина блестела от пота. Он сопел и кашлял.

— Каждый забег, — сообщил он Удалову, — прибавляет мне день жизни. Я теряю четыреста граммов.

— Это пустое, Лев Христофорович, — возразил Удалов, входя вместе с профессором во двор дома шестнадцать. — За первым же обедом вы прибавляете полкило.

Минц насупился. Никто не любит горькой правды.

Ксения Удалова высунулась из окна второго этажа и крикнула:

— Два раза из конторы звонили. Каша тоже остыла.

Удалов взбежал по лестнице, легко перепрыгивая через две ступеньки.

— Ну как козел, — сказала Ксения, открывая дверь. — Для кого молодиться?

— А ты займись, — предложил Удалов, проходя в ванную. — Тоже помолодеешь.

— Нам это не надо, — возразила Ксения.

Она ценила свое тело, круглое, налитое, солидное.

— Максимка в техникуме? — спросил Удалов.

— Ты бы ему велел патлы остричь. Люди на улицах показывают пальцами.

— Перебесится, — ответил Удалов. — Ты тоже в минн-юбке ходила.

Снизу негромко застучало — значит, сосед Грубин включил вечный двигатель. Он у него по ночам отдыхал. Под окном гуднула машина, что развозила по квартирам молоко и сметану. Ксения брякнула на стол тарелку с кашей и побежала вниз.

Начинался трудовой день в городе Великий Гусляр.

Удалов и Минц вместе пошли на совещание к Белосельскому.

Минц достал платок и высморкался.

— Боюсь, — сказал он, — что я сегодня простудился. Не надо было мне прыгать с вышки.

Площадь перед Гордомом была запружена народом.

Ближе всех к дверям стояли пенсионеры. Тесной, крепкой толпой. Две бабушки, которых Удалов видел

утром, развернули длинный плакат: «Спасем родной Гусляр от варварства!» Старик Ложкин уже в черном костюме, но с тем же мегафоном, медленно шел вдоль лозунга и проверял, нет ли грамматических ошибок.

Студенты речного техникума плакатов не принесли. Им достаточно было портретов архитектора Оболенского. Портреты были увеличены из паспортных фотографий, к ним были пририсованы усы, а сорочка с галстуком замарана зеленым, так что получился френч. Фотографии покачивались на палках, и при виде этого зрелища Удалов перенесся мыслями назад, в годы своего детства, когда Первомайская демонстрация в Гусляре текла к трибуне на центральной площади, а над ней покачивались портреты вождя.

Удалов подумал, что студенты зашли слишком далеко. О чем и сказал профессору Минцу, который тоже шел на совещание в горнсполком.

— Мы с вами — люди старшего поколения, — ответил профессор. — Чувство юмора мы склонны рассматривать как чью-то провокацию.

— Это уже не юмор, — откликнулся старик Ложкин. — Это недопустимый сарказм. Я думаю, что нам придется размежеваться с молодежью.

— Сейчас? — удивился Минц.

— Нет. Как только победим бездушных бюрократов!

Удалову стало стыдно под горящим савонароловским взглядом Ложкина. Но тут на площадь влетели рокеры на ревущих мотоциклах. Они тоже были одержимы гражданским чувством. Они носились вокруг толпы и выкрикивали нечто революционное. Сержант Пилипенко, который должен был следить за порядком, побежал к ним, размахивая жезлом, но рокеры умело уклонялись от его увещаний.

В стороне от входа, без лозунгов и плакатов, но настроенная решительно, стояла интеллигенция — общество охраны памятников, общество любителей книги, общество защиты животных, общество защиты детей... Их Удалов всех знал, ходил в гости. Но сейчас чувствовал отчуждение.

Нет, хотелось крикнуть ему, нет! Я всей душой с вами! Я желаю охранять и множить памятники древности! Но я вынужден выполнять приказы вышестоящего начальства, я должен экономить народные деньги и продвигать наш

город по пути прогресса. В нашем городе за годы Советской власти уже снесли семнадцать церквей и сто других памятников, зато почти решили жилищную проблему.

Тут Удалов оборвал этот внутренний монолог, потому что понял, что монолог этот принадлежит не ему: это буквальное воспроизведение речи начстроя Слабенко на последнем совещании.

А вот и Пупыкин! Он что здесь делает?

Пупыкин стоял в сторонке, с ним его семья — Марфа Варфоломеевна и двое детей. Все в зеленом, даже лица зеленые. Дети держат вдвоем портрет неприятного мужчины в папаше.

Пупыкин нервно схватил Удалова за рукав и спросил шепотом:

— Ты ему сказал, что я участвовал в забеге?

— Скажу, — пообещал Удалов. — А ты что, покрасился?

— Мы всей семьей, — сообщил Пупыкин, — организовали неформальное объединение: партию зеленых. Мы охраняем природу.

— Похвально, — сказал Минц. — А чей это портрет? Что-то не припомню такого эколога.

— Это самый главный зеленый, — сообщил Пупыкин. — Мы его в книжке нашли. Атаман Махно.

— Пупыкин, советую, спрячь портрет. Этот зеленый экологией не занимался, — сказал Удалов.

— А чем занимался? — спросил Пупыкин.

— Совершал ошибки.

К тому времени, когда Удалов вошел в дом, Пупыкины успели растоптать портрет.

Минц с Удаловым поднялись по неширокой лестнице в кабинет Белосельского. Дверь была настежь. У Белосельского всегда так — дверь настежь.

Внутри уже действовал главный архитектор города, подтянутый, благородный Елисей Оболенский. С помощью юной архитекторши он прикипчивал к стене виды проспекта Прогресса.

Редактор Малюжкин стоял в отдалении, смотрел на перспективы в бинокль. Миша Стендаль записывал что-то в блокнот.

Начстрой Слабенко уже сел и крепко положил локти на стол. Он был готов к бою.

Музейная дама Финифлюкина смотрела ему в спину пронзительным взглядом, но пронзить его не могла.

— Начнем? — спросил Белосельский.

Начали рассаживаться. Разговаривали, кто-то даже пошутил. Происходило это от волнения. Предстояла борьба.

“Живем в обстановке гласности, — подумал Удалов. — Вроде бы научились демократии, пожинаем плоды. А силы прошлого не сдаются”.

Сила прошлого в лице главного архитектора Оболенского получила слово, взяла в руку указку из самшита и подошла к стене.

Оболенский любил и умел выступать. Но сначала спросил:

— Может, закроем окна? Мы ведь работать пришли, а не с общественностью спорить.

— Ничего, — ответил Белосельский. — Нам не впервой. Чего нам народа бояться?

Часть толпы роилась за окнами. Шмелями жужжали винты, прикрепленные к наспинным ранцам. Эти летательные аппаратики, что продавались в спортивном отделе универмага под названием «Дружок Карлсон», были изобретены Минцем по просьбе туристов для преодоления водных преград и оврагов. Были они слабенкие, но, как оказалось, полюбились народу. И не все использовали их в туристических целях. Некоторые школьники забирались с их помощью во фруктовые сады, некий Иваницкий выследил свою жену в объятиях Ландруса на третьем этаже, были и другие нарушения. Удалов с грустью подумал: насколько гениален его сосед по дому Лев Христофорович! Все подвластно ему — и химия, и физика. Но последствия его блестящих изобретений, как назло, непредсказуемы. Только вчера птеродактиль, выведенный методом ретрогенетики из петуха, искушал липкинского доберман-пинчера, который своим лаем мешал птеродактилю отдыхать на ветвях кедра. Хорошо еще, что не самого Липкина. А взять скоростные яблони — шестнадцать урожаев собрали прошлым летом в пригородном хозяйстве. В результате лопнула овощная база, не справившись с нагрузками. Нет, за Минцем нужен глаз да глаз.

Оболенский держал указку как шпагу и в поисках моральной поддержки посмотрел на начстрой Слабенко. Тот еще крепче сплел свои крепкие пальцы и едва заметно кивнул союзнику. Бой начался.

— Вы видите, — сказал Оболенский, — светлое будущее нашего города.

Широкий проспект был застроен небоскребами с колоннами и портиками и усажен одинаковыми подстриженными липами, которые водятся только в версаях и на архитектурных перспективах.

Над проспектом расстилось синее небо с розовыми облаками. В конце его возвышались голубые горы со снежными вершинами. Неужели он хочет свой проспект дотянуть до Кавказа, испугался Удалов. Но потом спохватился, понял, что это — архитектурная условность.

В комнате царило молчание. Проспект гипнотизировал.

Оболенский победоносно окинул взглядом аудиторию, ткнул указкой в первый из небоскребов и заявил:

— Здесь мы расположим управление коммунального хозяйства.



Архитектор Елисей Оболенский в Гусляре человек новый, но уже укоренившийся.

Его импортировал Пупыкин.

Случилось это лет пять назад, когда Пупыкин совершал восхождение по служебной лестнице. Но пределов еще не достиг.

Как-то он прибыл в Москву, в командировку.

Помимо целей деловых, были у него идеалы. Хотелось найти в столице единомышленников, друзей. Особенно среди творческой интеллигенции. Пупыкин и сам был интеллигентом — учился в текстильном техникуме в Вологде, а затем на различных курсах. Он регулярно читал журналы и прессу.

Повезло Пупыкину на третий день. Он познакомился в гостиничном буфете с литературным критиком из Сызрани. Тот прибыл в Москву на семинар по реализму и хотел укрепиться в столице, потому что в Сызрани трудно развернуться таланту. Критик с Пупыкиным друг другу понравились, вместе ходили в шашлычную и в кино, а потом критик повез его к своему покровителю, молодежному поэту. У поэта сильно выпили, говорили о врагах и национальном духе. Поэт громко читал стихи о масонах, а

когда жена поэта всех их выгнала из дома, поехали к Елику Оболенскому.

Елик Оболенский, разведясь с очередной женой, жил в мастерской. Мастерская располагалась в подвале, по стенам висели иконы и прялки, в углах много пустых бутылок. Сам Елик Оболенский с первого взгляда Пупыкину не понравился. Показался духовно чужим по причине высокого роста, меньшевистской бородки, худобы и бархатной кофты. Оболенский курил трубку и грассировал.

Но товарищи сказали, что Оболенский — свой парень, из князей, рюрикович. В мастерской тоже пили, ругали масонов, захвативших в Москве ключевые посты, поэт читал стихи о Перуне и этрусках, от которых, как известно каждому культурному человеку, пошел русский народ. Потом поэт с критиком, обнявшись, уснули на диванчике, а Оболенский показал Пупыкину свои заветные картины. Город будущего.

Эти картины Оболенский показывал только близким друзьям.

Картины были плодом двадцатилетнего творческого пути, который начался еще в средней школе.

Однажды мальчик Елик Залипухин — фамилию отчима Оболенского он примет лишь при получении паспорта, пошел с мамой на Выставку достижений народного хозяйства. Они гуляли по аллеям, любовались павильонами, сфотографировались у фонтана «Золотой колос». Так Елик ознакомился с архитектурой. И заболел ею. В тетрадках по алгебре он рисовал колоннады и портики, стену над своей кроватью обклеил фотографиями любимых памятников архитектуры — выставочных павильонов, греческих храмов, вокзалов на Комсомольской площади и станций кольцевой линии московского метро. Даже гуляя по городу с любимой девушкой, Елик всегда приводил ее в конце концов на ВДНХ, где забывал о девушке, очарованный совершенством линий павильона Украинской ССР.

Поступил он, конечно, в АХИ, то есть в Архитектурный институт, поступал четыре года подряд и все неудачно. Но настолько за эти годы примелькался в институте, что постепенно все, включая директора, уверовали в то, что Оболенский — давнишний студент. У него принимали зачеты и посылали в подшефный колхоз на картошку. Вскоре он стал первым специалистом по отмылкам классических образцов.

Никто не мог лучше него изобразить светотень на бюсте Аполлона.

Оболенский стал своего рода знаменитостью.

В иные времена завершил бы образование с блеском, но тут для романтиков наступили тяжелые времена. В архитектуру стало внедряться типовое проектирование, а студенты принялись изучать творчество неприемлемых оболенскому сердцу Нимейеров и Корбюзье.

Успеваемость Оболенского пошла под уклон, он затерялся в толпе середнячков, обзавелся хвостами, а как раз перед дипломом обнаружилось, что в институте он не числится, как не прошедший по конкурсу.

Без сожаления Оболенский оставил институт, не отказавшись от своей великой мечты — перестроить должным образом все города мира. Устроился он не по специальности, но работал с удовольствием: изобретал и проектировал торты на кондитерской фабрике. Он соединил в тортах крем и архитектуру и тем прославился в кондитерских кругах. Ему персонально заказывали юбилейные торты для министров и народных артистов.

Но для интеллигентных друзей Елик Оболенский оставался архитектором и князем. Раздобыв через свою любовницу, что работала в отделе нежилых помещений, подвал и устроив там мастерскую, Оболенский подружился с борцами за национальный дух. В его мастерскую всегда можно было приехать с другом или девочкой, выпить и поговорить о насущных проблемах. Проекты городов будущего Оболенский показывал только близким, доверенным лицам, а молодежные поэты довольствовались лицемерием икон и прялок.

Как только Пупыкин стал предгором, он тут же написал Оболенского. Дал ему квартиру и пост главного архитектора города. Оболенский привез с собой вагон планшетов и начал лихорадочно готовить снос и воссоздание Великого Гусляра. Но не успел: Пупыкин потерял свой высокий пост и неудержимо покатился вниз.

Оболенский, которому некуда было деваться, остался в главных архитекторах, может, потому, что не завел себе врагов, если не считать обиженных мужей и брошенных девиц, может, потому, что сблизился с начстроем Слабенко. Слабенко тоже хотелось снести Великий Гусляр, мешавший начстрою развернуться. Правда, от полной

переделки Гусляра пришлось отказаться, но одну магистраль Оболенский со Слабенко надеялись пробить.

Магистраль должна была разрезать город пополам и тем сразу решить все транспортные проблемы, а также обеспечить СУ-1 впечатляющей работой на десятилетку. Замыслил ее Пупыкин, чтобы возить по ней областные и иностранные делегации. Но общественность давно уже подняла свою многоголовую голову и начала возражать. Так что магистраль, ради которой надо было снести шесть церквей, последний гостинный двор и шестнадцать зданий позапрошлого века, оказалась под угрозой.

— Без магистрали, — говорил Оболенский, расхаживая вдоль перспективы и иногда указывая на тот или иной ее участок, — наш город обречен задохнуться в транспортных проблемах и оказаться за бортом прогресса. Некоторые мои оппоненты твердят, что историческое лицо города разрушится. Это не то лицо, которое нам нужно. Позвольте спросить — хотят ли люди тащиться на работу по узким кривым улочкам наших дней или желают мчаться к воротам родного предприятия на скоростном автобусе по прямому проспекту...

Когда Оболенский кончил свою речь, в тишине раздался твердый голос Слабенко:

— Мы согласны.

Сам строитель, хоть и небольшого масштаба, Удалов понимал, что Слабенко куда удобнее и выгоднее получить для застройки большую, в полгорода, площадку и одним ударом развернуть эпопею. Когда куешь эпопею, не надо мелочиться. Что за жизнь у Слабенко сегодня? То на Грязнухе детский садик, то новый корпус для общежития, то втискиваешь жилой квартал над парком, то срываешь ремонт музыкальной школы — вот и бегаешь вдоль плотины, как тот самый голландский мальчик с вытянутым пальчиком. А вокруг бушуют зрители — то есть общественность, и все недовольны, что не так затыкаешь, как им хочется.

Ох и сердит Слабенко на общественность, ох и недоволен он Белосельским, который пошел у нее на поводу, развел гласность без пределов. Даже секретаршу отменил. Дверь не запирает. А если враг проникнет?

Клевреты спешат подражать предгору. Малюжкин, главный редактор газеты, уже второй год как перемет-

нулся на сторону гласности. Пошел даже дальше, чем городское руководство. Сорвал с петель дверь в свой кабинет и выкинул на свалку. А над дверным проемом прикрепил неоновую вывеску: «Прием в любое время суток!» В «Гуслярском знамени» любое начинание поддерживают. Правда, Малюжкин всегда сначала позвонит Белосельскому: «Как, Николай Иванович, есть мнение?» И каждый раз отвечает ему Белосельский: «А как твое мнение?» Тогда Малюжкин смело идет вперед.

— Сколько лет горе-проектировщики измываются над нашим горем? — воскликнул, поднимаясь, Малюжкин. — У меня в руках печальная статистика тридцатых и сороковых годов. Снесено несчетное количество памятников архитектуры. В оставшихся устроены склады, а колокольня собора превращена в парашютную вышку...

— Разве мы пришли сюда слушать лекцию о парашютах? — спросил Слабенко.

— При чем тут парашюты! — закричал Малюжкин. — Вы меня не сбивайте. Вы лучше ответьте народу, зачем в позапрошлом году затеяли реконструкцию под баню палат купца Гамоватого?

— Под сауну, — поправил Слабенко. — Для сотрудников зверофермы. Труженики хотели мыться.

— Под личную сауну для пресловутого Пупыкина, — подала реплику директорша библиотеки.

Кипел большой бой.

Трижды он прерывался, потому что массы под окнами требовали информации о ходе совещания, и эту информацию массам, разумеется, давали, поскольку в Великом Гусляре не бывает тайных дискуссий и закрытых совещаний.

Трудность была в том, что даже самые страстные ревнители города понимали: магистраль пробивать придется — иначе с транспортом не справиться. Но даже если отвергнуть планы Оболенского, часовня святого Филиппа и три старых особняка окажутся на ее пути.

На втором часу дискуссии Белосельский обернулся к профессору Минцу и спросил:

— А что думает городская наука? Неужели нет никакого выхода?

— Я держу на контроле эту проблему, — откликнулся Минц. — Конечно, неплохо бы построить туннель под

городом, но, к сожалению, бюджет Великого Гусляра этого не выдержит.

— Вот видите, — сказал Оболенский. — Даже Лев Христофорович осознает.

— Есть ли другой путь? — спросил Белосельский.

— Есть, и кардинальный, — произнес Минц.

— Подскажите, — попросил Белосельский.

— Гравитация, — сказал Минц. — Как только мы овладеем силами гравитации, мы сможем подвинуть любой дом и, кстати, обойтись без подъемных кранов.

— За чем же дело стало?

— К сожалению, антигравитацию я еще не изобрел, — виновато ответил Минц. — Теоретически все получается, но на практике...

— Чем вам помочь? — спросил Белосельский, переждав волну удивленных возгласов. — Может, нужны средства, помощники, аппаратура?

— Вряд ли кто-нибудь в мире сможет мне помочь, — ответил Минц и чихнул. — Второго такого гения Земля еще не родила... — Минц замолчал, медленно закрыл рот и задумчиво опустил на стул.

— Что с вами? — спросила Финифлюкина. — Может, воды принести?

Минц отрицательно покачал головой.

С минуту все молчали. Лишь с площади доносился ровный шум толпы. Наконец Минц поднял голову и оглядел присутствующих.

— Завтра я дам ответ.

— Это чепуха! — сказал Оболенский. — Это шарлатанство. Ни один институт в мире этого не добился, даже в Японии нет никакой гравитации. Надо хорошо проверить, из чьего колодца черпает Минц свои сомнительные идеи.

Слабенко лишь саркастически улыбался.

И тогда Белосельский сказал так:

— Я надеюсь, присутствующие здесь товарищи и представители общественности согласятся, что вопрос настолько серьезен, что лучше отложить его решение на два дня. Я лично глубоко верю в гений товарища Льва Христофоровича. Он не раз нам это доказывал.

Когда Оболенский стал выковыривать кнопки, чтобы снять свои радужные перспективы, Белосельский сказал:

— А вы, Елисей Елисеевич, оставьте эти произведения здесь. Пусть люди ходят в мой кабинет, смотря, создают мнение.



Удалов проводил Минца до дома. Тот совсем расклеился. Чихал, хрипел — утренний пробег роковым образом сказался на его здоровье, подорванном мыслительной деятельностью.

— Вы что замолчали, Лев Христофорович? — спросил Удалов. — Что за светлая идея пришла вам в голову?

— А вы догадались? — удивился профессор. — Я думал, что никто не заметил.

— Я вас хорошо знаю, сосед, — сказал Удалов. — Вспомните, сколько мы с вами всяких приключений пережили!

Удалов остановился, приложил ладонь ко лбу профессора и определил:

— Лев Христофорович, у вас жар. Сейчас примите аспирин и сразу в постельку.

— Нет! — воскликнул Минц. — Ни в коем случае! Я должен немедленно ехать... идти... перейти... Я дал слово. Город ждет!

— Лев Христофорович, — возразил Удалов. — Вы не правы. В таком состоянии вы ничего сделать не сможете. И если надо куда-то съездить, вы же знаете — я всегда готов. Тем более для родного города.

— Нет, — не согласился Лев Христофорович, пошатываясь от слабости. Простуда брала свое. — Предстоящее мне путешествие очень опасно. Потому что оно совершенно непредсказуемо.

— Путешествие?

— Да, своего рода путешествие.

Они дошли до ворот дома шестнадцать. Погода испортилась, начал накрапывать дождик. Желтые листья срывались с деревьев и приклеивались к мокрому асфальту. Минц остановился в воротах и сказал:

— Вам, Корнелий, я могу открыть опасную тайну, которая не должна стать достоянием корыстных людей и милитаристских кругов.

— Погодите, — перебил друга Корнелий. — Сначала

мы пойдем домой, чайку согреем, аспиричику хлопнем, а потом поговорим.

— К сожалению, у нас нет времени, — упирался Минц. — Вы же видите, в каком критическом положении оказался наш город. Слабенко имеет поддержку в области... От меня ждут быстрых решений. Я дал слово...

Все же Удалову, который был помоложе, удалось затащить Минца в подъезд. Он оставил его перед дверью в его квартиру и велел переодеться, а сам обещал тут же прийти.

Тут же прийти, конечно, не удалось. Пока сам умылся, да рассказал все Ксении...

За обедом включил телевизор, местную программу. Показывали общественный суд над Передоновым, который кинул на мостовую автобусный билет. Прокурор требовал изгнания из Гусляра, защитник нажимал на возраст и славную биографию. Преступник рыдал и клялся исправиться. Ограничились строгим порицанием. Потом была беседа с сержантом Пилипенко о бродячих кошках. Пилипенко полагал, что это происходит от недостаточной нашей любви к кошкам. Если кошку ласкать, она не уйдет из дома.

Вдруг словно звякнул внутри звоночек. Как там Минц? А вдруг он, презрев температуру, уйдет из дома?

В одну секунду Удалов сбросил домашние туфли, натянул ботинки и накинул пиджак. Еще через минуту он уже был у Минца, который без сил лежал на диване.

— Сейчас я согрею вам чаю, — сказал Удалов, включая плиту. — Вам нужен постельный режим.

— Нет! — закричал Минц.

Он попытался встать, но ноги его не держали.

Удалов принес чай и таблетки. Минц сдался. Он покорно выпил горячего чая, проглотил таблетки, и только потом Удалов согласился его слушать.

— Я знаю, — сказал Минц слабым голосом, — что за два дня проблему гравитации мне не решить. Слишком много еще не сделано. Но есть надежда, что один человек ближе меня подошел к решению загадки.

— И вы к нему собирались ехать?

— Вот именно.

— И куда, если не секрет? В Японию? В Конотоп?

В голосе Удалова звучала ирония. Уж он-то знал, что на Земле нет никого, кто сравнился бы гениальностью с профессором Минцем.

— Еще дальше, — улыбнулся Минц.

— Разумеется, за лесом вас ждет космический корабль.

— Вы почти угадали, мой друг, — сказал Минц.

— И как же зовут этого вашего благодетеля?

— Минц, — ответил профессор. — Его зовут Лев Христович Минц.

— Бредите, что ли? — испугался Удалов.

— Нет, я в полном сознании. Я хочу воспользоваться фактом существования параллельных миров.

— А они есть?

— Есть, и множество. Но каждый чем-то отличается от нашего. Я обнаружил тот из них, что развивается вместе с нами и различия которого с нашим минимальные.

— То есть существует Земля, — сразу сообразил Удалов, — где есть Великий Гусляр, есть профессор Минц...

— И даже Корнелий Удалов, — сказал профессор.

— Это точно?

— Это доказано теоретически.

— И вы хотите поехать туда?

— Вот именно. Там живет мой двойник.

— Но если вы не изобрели этой самой гравитации, почему вы решили, что он изобрел гравитацию?

— Параллельный мир, назовем его Земля-2, не совсем точная наша копия. Кое в чем он отличается. И если верить моим расчетам, он движется во времени на месяц впереди нашего. А уж за месяц я наверняка изобрету антигравитацию.

— Ну и отлично, — сказал Удалов, который умом, конечно же, согласился с очередным открытием Минца, но душа его такого оборота событий не восприняла. Трудно представить, что где-то за миллиарды галактик или миллионы световых лет живешь ты сам, и жена твоя Ксения, и профессор Минц, и даже товарищ Белосельский.

— Не верите? — спросил Минц.

— Верю-то верю, да не знаю... А далеко до него?

— Этого наука сказать не может, — ответил Минц. — Потому что существование параллельных миров подразумевает многомерность Вселенной. Она изогнута так

сложно, что параллельные миры фактически соприкасаются и в то же время отстоят на миллиарды световых лет. Нет, это выше понимания человека!

— Ну раз выше, то не надо объяснять, — согласился Удалов. — Выздоровеете, отлежитесь и отправляйтесь в ваш параллельный мир, поговорите с самим собой, может, и в самом деле поможет.

— Вы ничего не поняли! — воскликнул простуженный профессор. — Я же дал слово! Город ждет! Если через два дня я не изобрету антигравитацию, Оболенский начнет...

Голос профессора прервался.

— Не переживайте, — возразил Удалов. — Вы не один. С вами общественность.

— Я обещал, — слабым голосом повторил профессор.

Тут он принялся биться, бредить и довел Удалова своими стенаниями до того, что он заявил:

— Ладно уж, схожу вместо вас.

— Нет, это опасно!

— Почему?

— Мы не знаем, в чем разница между нашим и тем миром.

— А какая может быть разница, если миры параллельные?

— Параллельные, но не обязательно идентичные.

— Тогда тем более интересно.

— Я не могу взять на себя ответственность.

— Утречком, до работы и схожу.

— А если придется задержаться?

— Перекушу там. Деньги небось одинаковые?

— Удалов, вы задаете бессмысленные вопросы! — рассердился профессор. — Я там не был, никто там не был. Проголодаетесь, зайдите к самому себе, неужели не накормят?

— Значит, можно идти налегке, — сказал Удалов.

— По моим расчетам, путешествие займет часа два. Вам надо заглянуть в собственный дом, встретить меня, поговорить, все объяснить, взять формулы гравитации, если они есть, — и тут же обратно.

— Вот и договорились, — обрадовался Удалов. — Отдыхайте. Может, все же врача вызвать?

— Нет, мой организм справится, — ответил Минц.

— Дайте мне слово, что до утра с дивана не встанете!

После некоторого колебания Минц дал слово, и Удалов ушел к себе успокоенный. Слово Льва Христофоровича нерушимо.



К путешествию в параллельный мир Удалов отнесся без паники. Ему уже приходилось путешествовать. Правда, новое путешествие давало пищу для размышлений. И Удалов размышлял.

В тот вечер они пошли с Ксенией в отреставрированный городской театр, где давал концерт камерный оркестр под управлением Спивака. Теперь, когда духовная жизнь Великого Гусляра оживилась, туда приезжали многие выдающиеся артисты, даже из-за рубежа. На некоторые концерты было трудно попасть. Например, на вечер Адриано Челентано съехались зрители со всего района, даже из Тотьмы и Пьяного Бора.

Гастролеры также были довольны Гусляром. И его памятниками старины, и мирным добродушным гуслярским населением, и энтузиазмом любителей искусства. Но больше всего они ценили гуслярский театр, построенный в конце XVIII века радением купца Семибратова, правда, к концу прошлого века обветшавший и заброшенный. В годы первых пятилеток в нем был склад, затем его перестроили под галошную артель. Пупыкин, в краткую бытность свою главой города, хотел сделать в бывшем театре Дом приемов, но Оболенский уговорил его театр снести и на его месте воздвигнуть Дом приемов из белого мрамора. К счастью, Пупыкина сняли, а театр восстановили методом народной стройки. Каждый второй гусларец выходил на эту стройку добровольно, а кто не мог выйти, способствовал в меру сил шитьем портьер, изготовлением бронзовых дверных ручек или выпиливанием деревянных деталей. Когда театр, скромный, уютный, открыл свои двери, специалисты всего мира были поражены его акустикой. Даже шуршание актерских ресниц долетало до последнего ряда, облагораживаясь в полете.

А что касается музыкальных инструментов, то их звучание в зале, созданном руками безвестных гуслярских умельцев, резко менялось к лучшему. Стоявший на сцене рояль фабрики «Красный Октябрь» звучал чуть-чуть луч-

ше «Стенвея», а скрипки... Страдивари умер бы от зависти!

Удалов с Ксенией сидели в третьем ряду, наслаждаясь музыкой, вернее, Ксения наслаждалась, а Удалов думал. Если в том мире с гравитацией не выгорит, придется, видимо, искать еще один — ведь их бесконечное множество. Если с первого раза не удастся, придется взять отпуск за свой счет. Да, прав Минц: параллельные миры должны оставаться государственной тайной. Не дай Бог, если мерзавец решит воспользоваться ими для своих целей... А что если уже воспользовались? Что если где-то другой Минц уже разработал такое путешествие, но у него нет верного друга в лице Удалова? Доверился он какому-нибудь проходимцу, и тот уже здесь... Зачем он здесь? А затем, чтобы похитить ценную вещь из музея!

Эта мысль Удалова испугала, и он стал крутить головой, опасаясь увидеть пришельца. Потом понял — не увидишь. Ведь все пришельцы — двойники. Ты смотришь на него, думаешь: вот провизор Савич со своей супругой Вандой Казимировной. А на самом деле это дубль Савича и дубль его супруги. Или еще хуже — дубль Савича, а супруга настоящая... Постой, постой, а как же с Ксенией? Значит, там есть вторая Ксения? Такая же или чуть другая?

Удалов поглядел на свою жену. Она ничего не видела вокруг, сжимала в пальцах платок — печальная музыка Сибелнуса привела ее в состояние экстаза.

Когда они шли домой из театра, Удалов сказал Ксении, что завтра поедет в местную командировку, может задержаться.

— Куда? — спросила Ксения рассеянно. Она все еще находилась во власти искусства.

— Ты мне теплые носки приготовь. И пуговицу к плащу пришей.

Если бы не музыка, Ксения, конечно бы, выпытала у Удалова, куда он собрался. Но сейчас ей не хотелось ничего выпытывать. Вечер был тихий, чудесный, дождь перестал, ветер стих. По разноцветным плиткам новой мостовой медленно гуляли жители города, обогащенные искусством. Уютно светились витрины магазинов и кооперативных кафе. По дороге Удалов с Ксенией заглянули в гастроном, купили сервелата, немного красной икры,

бананов и сливок — на завтрак. Продавщица Дуся очень жалела, что не смогла побывать на концерте, но говорили, что Спивак обещал дать утренний концерт для тех, кто не смог послушать его вечером.

Отослав Ксению с покупками домой, Удалов осторожно заглянул к Минцу.

Минц спал. Во сне он шевелил губами, бормотал, волновался.

Утром Удалов чуть было все не погубил. Когда оделся, сделал уже шаг к двери, обернулся, поглядел на Ксению и подумал: а вдруг я ее больше не увижу? Потому он вернулся, обнял жену и поцеловал.

Эта нежность встревожила Ксению.

— Ты что? — испугалась она. — Ты куда?

— К вечеру вернусь, — произнес Удалов, но голос его дрогнул.

— Что-то тут неладно, — сказала Ксения. — Признавайся, кто она?

— Клянусь тебе, Ксюша, — ответил Удалов. — Отправляюсь в деловую командировку, в интересах города. А поцеловал тебя от возникшего чувства. Неужели этого не может быть?

— Что-то раньше ты меня по утрам не целовал, — резонно заметила Ксения. — А раз раньше не целовал, а теперь полез, значит, дело нечисто.

— Господи! — возмутился Удалов. — Собственную жену уже поцеловать нельзя без скандала!

Обиделся он на Ксению.

Ушел, хлопнув дверью. Чем, правда, Ксению несколько успокоил.

К Минцу Удалов вошел шумно, распахнул дверь, чуть не свалил этажерку с журналами.

Минц уже проснулся, он сидел на диване, закутанный в одеяло.

— Удивительное дело, — сказал он при виде Удалова. — Не могу встать. Слабость такая, даже стыдно.

— Ничего, — ответил Удалов. — Давайте не будем тратить времени даром. Лекарства принимали?

Удалов скинул плащ, быстро согрел чайник, по-то-

варищески приготовил завтрак, а тем временем Минц рассказал ему, что надо делать.

Переходить в параллельный мир придется в особой точке, которую вычислил Минц. Находится она в лесу, за городом, на шестом километре. И это хорошо, потому что переход сопровождается выбросом энергии, а выбрасывать ее лучше в безлюдном месте, чем среди людей, которых можно повредить. Для перехода надо вынуть из чемодана набор ограничителей, похожих на столовые ножи, воткнуть их в землю вокруг себя, затем нажать на кнопку энерготранслятора. Там, в параллельном мире, следует также оградить место входа ограничителями и запомнить место — в другом не перейдешь.

Выслушав инструкции, сложив в портфель набор ограничителей и прикрепив к рубашке маленький энерготранслятор, Удалов был готов к походу.

— Учтите, мой друг, — сказал Минц. — Перейти может только один человек. Я не смогу прийти к вам на помощь. Но я убежден, что в любом параллельном мире профессор Минц останется таким же профессором Минцем, а Корнелий Удалов — таким же отважным и добрым, как здесь. Так что при любых трудностях обращайтесь ко мне или к себе.

Минц приподнял слабую руку.

— Жду! — сказал он вслед Корнелию. — Со щитом, но не на щите.

Удалов вышел, раздумывая над смыслом неизвестной ему поговорки. Что, интересно, имел в виду профессор под щитом? Но вскоре он выкинул эту мысль из головы и поспешил к автобусу.

Автобус был полон — час пик, все спешат на работу. Он долго крутил по узким улицам, минут пять стоял на перекрестке — такое интенсивное движение было в Гусляре. И Удалов проникся важностью своей миссии. Именно он призван разгрузить транспортные потоки и спасти город. Народу трудно.

У гастронома в автобус влез Пупыкин. Как всегда, подобострастный, улыбающийся.

Как странно, подумал Удалов, что этот человечек с потными ладонками целый год пробыл во главе города и, не возмутись общественность, не наступил эра демократии, сейчас продолжал бы сживать со света честных людей.

— Корнелий Иванович! — пискнул Пупыкин. — Какое счастье. А я на утренний пробег спешу. Вы не бежите сегодня?

— Дела, — сказал Удалов. — Некогда сегодня. Завтра побегу.

— Ах, у меня тоже дела, — признался Пупыкин. — Нs надо показаться товарищу Белосельскому. Он может подумать, что я манкирую своим здоровьем. Правда?

— Не знаю, что думает товарищ Белосельский, — ответил Удалов. — У него и без вас забот много.

— Да, Николай Иванович страшно занят! Я лучше любого другого могу понять и разделить его заботы. Я слышал, что в управлении охраны природы ищут инструктора по пернатым. Вы не могли бы замолвить за меня словечко?

— Но я-то при чем? — с тоской спросил Удалов, глядя в окно автобуса.

— Вы имеете связи, — сказал Пупыкин убежденно. — Сам товарищ Белосельский с вами советуется.

— Какие уж там связи...

— Нет! — взвизгнул Пупыкин и попытался игриво ткнуть Удалова пальчиком в живот. — Есть связи, есть! А мне на пенсию рано. Бурлит энергия, хочу внести вклад!

Тут автобус остановился, и водитель произнес:

— Пристань. Следующая остановка — городской парк.

Удалов сильно подтолкнул Пупыкина к выходу, и тот пропал в толпе.

Еще недавно ты был другой, подумал Удалов, совсем другой. А какой настоящий? Этот Пупыкин или тот, кто вызывал Удалова на ковер и прочищал ему мозги?

В лесу на шестом километре Удалов отыскал нужное место.

Там Минц уже пометил мелом два ствола, между которыми надо ставить ограничители.

Удалов открыл портфель. В лесу было тихо, даже птицы не пели. Осень. Только случайный комар крутился возле уха.

Будем надеяться, сказал себе Удалов, что там, в параллельном, тоже нет дождя.

Он расставил ограничители, воткнул их поглубже в землю, чтобы кто из грибников не польстился на блестящие ножики, забросал их бурыми листьями.

Потом вошел в круг, нащупал у воротника кнопку на энерготрансляторе и, зажмурившись, нажал на нее.

И тут же его куда-то понесло, закрутило, он потерял равновесие и стал падать, ввинчиваясь в пространство.

На самом же деле он никуда не падал, и если бы случайный прохожий увидел его, то поразился бы полностью, средних лет человеку, который отчаянно машет руками, будто идет по проволоке, но притом не двигается с места. И постепенно растворяется в воздухе.

Когда верчение и дурнота пропали, Удалов открыл глаза.

Путешествие закончилось. А может, и не начиналось.

Потому что вокруг стоял такой же тихий лес, и точно так же звенел у уха поздний комар.

Потом далеко-далеко закуковала кукушка. Удалов стоял, слушал, сколько лет ему осталось прожить. Получалось тринадцать. Приемлемо. Как раз до пенсии. Откуда-то донеслись выстрелы. Неужели и здесь не истребили браконьеров?

Удалов огляделся, посмотрел, стоят ли ограничители.

Ограничителей не было. Земля пустая. А раз сказок и чудес на свете не бывает, значит, Удалов уже в параллельном мире. И надо его тоже пометить ограничителями.

Что Удалов и сделал. И так же, как в своем мире, он засыпал их сухими листьями.

Потом посмотрел на небо. Небо было пасмурным, дождь мог начаться в любую минуту. Куда идти?

“Глупый вопрос, — ответил сам себе Удалов. — Идти надо в город, к себе домой.”

Удалов решительно пошел к шоссе.

Первое различие с собственным миром Удалов заметил на автобусной остановке.

Сама остановка была такая же — бетонная площадка, на ней столб с номером и расписанием. Только столб покосился, а расписание было настолько избито дождями и ветрами, что не разберешь, когда ждать автобуса.

Время шло, автобус не появлялся. Мимо проехало несколько машин, но ни одна не остановилась, чтобы подобрать Удалова.

Тогда Удалов пошел пешком. До города шесть километров, но километра через два будут Выселки, а оттуда ходит двадцатка до самой Пушкинской.

Шагая, Удалов внимательно осматривался, отыскивая различия.

Различий было немного. Например, шоссе. В нашем мире его еще прошлой весной привели в порядок. Здесь, видно, недосуг это сделать. Встречались выбоины, ямы, кое-где большие трещины. Как специалист, Удалов понимал, что если не заняться шоссе в ближайшее время, придется вкладывать в ремонт большие деньги. Надо будет сказать... А кому сказать? Скажу Удалову, решил Удалов.

Наконец впереди показались крыши Выселков.

Удалов вышел на единственную улицу поселка. У магазина на завалинке сидели два грустных местных жителя. Дверь в магазин была раскрыта. На автобусной остановке ни души.

Удалов подошел к магазину и спросил у местного жителя:

— Автобус давно был?

— Автобус? — Человек поглядел на Удалова как на психа. — Какой тебе автобус?

— До центра, — сказал Удалов.

— Ему нужен автобус до центра, — сообщил человек своему напарнику.

— Бывает, — ответил тот.

Из дверей вышел еще один человек, постарше. Он нес в руке темную бутыль.

— Есть политура, — сказал он и быстро пошел прочь.

Собеседники Удалова помчались вслед за обладателем бутылки.

Удалов закричал:

— Автобус когда будет?

Мужчины не ответили, но старушка, что вышла из магазина вслед за человеком с бутылкой, сказала:

— Не будет автобуса, милоч. Отменили.

— Как отменили? Надолго?

— В виде исключения по просьбе трудящихся.

— А когда он придет?

— Никогда он не придет, — объяснила старушка. — И зачем ему приходить, если у нас есть такая просьба, чтобы он не приходил.

— Но до города четыре версты пехом!

— А ты не спеши, воздухом дыши. Потому автобус и отменили, чтобы люди больше воздухом дышали. Для здоровья.

— Ты, бабушка, не шутишь?

— Не дай Бог! Васька Иванов пошутил. Где он теперь? Молчишь? То-то.

Удалов не знал ни Васьки, ни его местопребывания. Но спрашивать не стал. Пошел дальше.

Четыре километра не такое большое расстояние. Тем более, когда дождя нет, ветер не дует, погода прохладная.

Вскоре Удалов догнал молодую женщину с рюкзаком и чемоданом.

Женщина была одета в ватник и лыжные штаны. На ногах мужские башмаки, голова закутана серым платком.

— Помочь? — предложил Удалов, поравнявшись.

— Не надо, — ответила женщина, отворачиваясь.

Чем-то ее лицо Удалову было знакомо. Он пошел рядом, стараясь вспомнить.

— Чего смотрите? — спросила женщина, не глядя в его сторону. — Не признаете, что ли?

— Знакомое лицо, — сказал он. — Недавно видел... Вы простите, конечно, но одежда совсем у вас непривычная.

— Ну, Удалов! — рассмеялась тут женщина. — Ну, вы осторожный!

И по тому, как женщина произнесла слова, и как улыбнулась, и как блеснула стальная коронка в правом углу рта, Удалов признал Зиночку Сочкину — хохотушку, резвушку, директоршу музыкальной школы и активную общественницу. Еще вчера они бежали рядом в утреннем забеге, и она требовала открыть класс арф. Но перемена, произошедшая в этой милой интеллигентной женщине, была столь разительна, что ее не сразу узнал бы собственный отец. Лицо ее осунулось, обгорело под солнцем, покрылось сеточкой ранних морщин. Курчавые волосы были скрыты под платком, ресницы не накрашены, губы обкусаны. Да и взгляд пустой, без смелости и озорства.

— Нет, — сказал Удалов, — я, честно, не узнал, Зиночка. Я же тебя совсем другой знаю. Что с тобой произошло?

И тут же Удалов спохватился: ты не дома, Корнелий, ты в параллельном мире! И изменение в Зиночке — еще одно отличие мира тутошнего от нашего.

— Шутите? — спросила Зина, спрятав улыбку. — Вам легко шутить.

И так горько сказала, что Удалов понял — допустил неактивность.

Но сейчас ему было не до дипломатии. Считай, что повезло, встретил знакомую, которая тебя узнала. Надо осторожно вытащить из нее информацию, так, чтобы не поставить под удар собственного двойника, который и не подозревает, что ты разгуливаешь по его Великому Гусляру.

— Откуда возвращаешься? — спросил Удалов.

При этом он сделал еще одну попытку отобрать у молодой женщины чемодан. Видно, от неожиданности она чемодан отпустила, но тут же спохватилась и стала тащить на себя. Чемодан был тяжелый, Удалов сопротивлялся и повторял:

— Я же только помочь хочу, понимаешь?

Но женщина упрямо продолжала тянуть чемодан, и тот не выдержал такой борьбы, раскрылся, и из него покатились по асфальту картошка — мокрая, грязная...

Женщина в ужасе отпрянула, закрыла глаза руками и зарыдала.

— Ты прости, я не знал, — сказал Удалов. — Я не хотел.

Он поставил открытый чемодан на дорогу и, нагнувшись, стал собирать в него картошку.

Раздался скрип тормозов.

— Ты чего здесь расселся, мать твою так-перетак!

Удалов поднял голову.

Над ним стоял мотоцикл. В седле, упершись одной ногой об асфальт, сидел старый знакомый — сержант Пилипенко. Только он был при усах и в капитанских погонах.

— Ты что, не знаешь, какая это трасса! Я тебя живо изолирую!

— Сема, Пилипенко! — удивился Удалов. — Какая трасса?

— А, это ты, — сказал Пилипенко. Узнал все-таки. — Ты чего вырядился?..

А ничего странного на Удалове не было надето — модный плащ, сделанный в Гусляре кооперативной фабрикой «Мода Парижской Коммуны», голландская шляпа,

купленная в универмаге, и знаменитые армянские штиблеты — одежда как одежда.

— Что ты здесь делаешь? — спросил с подозрением бывший сержант, а ныне капитан Пилипенко.

— Видишь же, — ответил Удалов. — Картошку рассыпал.

— Картошку? Откуда взял?

— Послушай, Пилипенко, что ты себе позволяешь? Я же тебя с детства знаю.

Удалов оглянулся в поисках Зины, но ее нигде не было, и потому он решил взять все на себя — хуже не будет.

— Моя картошка, — ответил Удалов, почти не колеблясь.

— Ты меня удивляешь, — сказал Пилипенко. — В твоём-то положении.

— А чем тебе не нравится мое положение?

— Шутишь?

— Не шучу — спрашиваю.

— Давай, скорее собирай, чего дорогу занимаешь? — совсем осерчал Пилипенко. Отталкиваясь правой ногой, он подкатил мотоцикл и стал подгонять носком сапога картофелины поближе к Удалову.

Вдали послышался тревожный вой.

— Долой! — взревел Пилипенко.

Удалов, так и не закрыв чемодана, оттащил его в сторону.

— Закрывай! — крикнул Пилипенко и нажал на газ.

Мотоцикл подпрыгнул и понесся вперед.

Удалов закрыл чемодан и распрямился.

Тут же из-за поворота вылетела черная «волга» с двумя флажками, как у посольской машины, — справа государственный, слева с гусярским гербом: ладья под парусом, на корме сидит певец с гусями, а над мачтой — медвежья нога под красной звездочкой.

В машине мелькнул чей-то знакомый профиль, на мгновение голова повернулась, и глаза уперлись в лицо Удалова. Удалов не успел угадать — кто же едет.

За первой машиной мчались еще две «волги», серая и зеленая, потом «жигуленок» и напоследок — мотоциклист в милицейской форме.

Кортеж пролетел мимо и растворился, оставив газовый туман и ошметки пронзительных звуков.

Удалов обернулся к кустам у дороги, спросил:

— Зина, ты здесь?

— Я здесь, — слышалось в ответ.

Сочкина выбралась из кустов. Она была бледной, даже руки тряслись.

— Кто это был? — спросил Удалов.

— Он, — ответила Зина, — с охоты возвращаются. Неужели не догадались?

— Я пошутил, — сказал Удалов.

— А мне было не до шуток. Думала, конец мне пришел.

— Да ты что? — удивился Удалов. — Что ты такого сделала, чтобы пугаться?

— А не понимаете?

— Ума не приложу.

— Корнелий Иванович, — произнесла с укором Зиновья. — Вы со мной в одном городе живете, ваша роль мне, к сожалению, известна. Мне одно непонятно — почему вы на себя мое преступление взяли, головой рискуете?

— Ничем я не рискую, — признался Удалов, — но многого не понимаю.

Он поднял чемодан и пошел по шоссе. Зина шла рядом.

— Я знаю, в чем дело, — сказала она. — В вас совесть проснулась. Мне Ксения говорила, что вы не такой подонок, как кажется. Я ей не поверила.

— Где же она тебе это говорила?

Тут Зина остановилась, поглядела на Удалова и проговорила загадочно:

— Там, где картошка растет. — И вдруг взъерилась: — Лицемер проклятый! Отдайте мне чемодан!

Удалов вернул чемодан.

— А теперь уходите, — велела Зина. — Я не знаю, может, у вас в душе и шевельнулось что-то, но, скорее всего, это страх перед расплатой. Прощайте. Я вас не видала, вы меня не видели. И в город я не ходила.

Удалову стало ясно, что вопросов далее лучше не задавать. Чего-то он не понимает, за что-то Зина его не любит. А ведь еще вчера у них были чудесные отношения. Правда, не здесь.

Зина свернула с шоссе на тропинку, а Удалов вошел в Великий Гусляр.

Начались одноэтажные домики окраины, спрятанные в облетающих садах, дальше — темная чаша городского парка. За ним дома повыше, колокольни и купола церквей. Издали — похоже на родной город.

Вот и первая, куда как знакомая Удалову улица. В нее превращается, вливаясь в город, шоссе. Ленивая улица — так ее испокон века кличут. Вряд ли потому, что на ней жили ленивцы или лентяи, — просто течет эта улица лениво, чуть изгибаясь, как речка.

На первом же заборе Удалов увидел свежую табличку. Белую, с черной строгой надписью: «Ул. Трудящаяся».

Еще одно различие, подумал Удалов. И внутренне согласился — пожалуй, давно пора переименовать, а то приезжают туристы, иностранные делегации, могут составить превратное представление о характере гуслярцев. Надо будет и у себя поднять вопрос.

Поперек улицы висел широкий красный транспарант. На нем белыми буквами: «Превратим наш город в образцовый!»

Удалов и против такого призыва не возражал. К этому всегда надо стремиться.

Заборы были недавно покрашены, красиво, в зеленый цвет. Одинаково. И этому Удалов нашел объяснение: видно, бывают здесь с масляной краской перебои, а тут завезли зеленую, приятную для глаза, вот обыватели и покрасились. Мысль о том, что заборы покрашены, чтобы радовать глаз проезжающего после охоты начальства, ему в голову не пришла.

Тротуаров нет — пыльные тропинки среди пыльных лопухов. Тут у вас отставание, подумал Удалов. Мы это все в позапрошлом году замостили. Ему было интересно идти и сравнивать. Как на картинке, какие бывают в детских журналах: отыщите десять различий в двух одинаковых рисунках. Вот и ломаешь голову — на одной стул с длинной ножкой, а на второй с короткой, на одной три птицы летят, на второй — четыре.

На пересечении бывшей Ленивой улицы с Торговым переулком, который здесь, как установил Удалов, именовался «Проспектом Бескорыстия», стоял большой деревянный щит на ножках. Щит изображал девицу в народном

костюме с громадным снопом, который она прижимала к груди как доброго молодца. Над ней надпись: «Завалим родную Гуслярщину хлебами!»

Удалов вздохнул: у этих оформителей порой не хватает образования. Они, конечно, хотели как лучше, но получилось неточно.

Здесь надо повернуть налево, вспомнил Удалов. Так короче выйти к Горной. Мимо рынка, задами артели инвалидов.

Он свернул в проход: сейчас перед ним откроется бурная, привычная глазу картина продовольственного рынка.

Удалов обрадовался, углядев дыру в рыночном заборе, точно такую же, как дома. Единственная разница — там дыра как дыра, а здесь над ней небольшая надпись: «Проход воспрещен».

Тут Удалов увидел, как из прохода вылезает парнишка с соломенным веником в руке. Лицо вроде знакомое. Парнишка даже кивнул Удалову, и Удалов ему кивнул. Потом сообразил: вчера только его видел — длинноволосым рокером — младший брат Гаврилова! Но этот парень был коротко подстрижен, почти под ноль, а вместо кожаной куртки серый пиджачок. Вот и не узнал сразу.

Осмелев, Удалов тоже преодолел дыру и оказался на рынке.

С первого же взгляда рынок поразил Удалова. Если где и чувствовалась разница с нашим Гусляром, так это на рынке.

На нашем рынке жизнь кипит. Ближе к дыре должны быть ряды картофельные, свекольные и капустные. Там картошка одна к одной, отборная, кочаны крепкие, белые. Дальше ряд фруктовый. Там свои яблоки да груши, персики да хурма из экспериментального тепличного хозяйства, поздняя малина, и банки с вареньями, соленьями, маринадами. Тут и гости с юга: узбеки с виноградом «дамские пальчики», грузины с сухим вином и мандаринами, армяне с персиками славной формы и вкуса, индусы с кокосовыми орехами и плодами манго, китайцы... нет, китайцы большей частью в мясном павильоне. Там они торгуют пекинскими утками, мясом трепангов и особенной кисло-сладкой свининой. Рядом с датчанами — те привозят на гуслярский рынок лучшее в мире масло, — да с исландцами — кто лучше их засолит селедочку?

Эти мысли пронесли в голове Удалова, вызвав обычный образ обычного гусярского рынка, и даже вызвали слюноотделение. Но параллельная действительность предстала совсем иной.

Картофельный и свекольный ряды были пусты, если не считать одной женщины, что торговала семечками. Удалов подошел к ней, спросил:

— Попробовать можно?

Та пожала плечами.

Удалов взял семечко — было оно горелым и пересушенным.

— Плохо, — сказал он.

— Скажи спасибо, что такое есть.

Удалов направился мимо пустых прилавков, где не видно было ни кокосов, ни яблок, к мясному павильону, но увидел над ним яркий плакат: «Выставка-продажа веников».

И в самом деле — внутри торговали вениками, шибко торговали, люди в очереди стояли. А мяса не было и в помине.

“В неудачный день я попал”, — подумал Удалов. Он взглянул на прилавки, где обычно продавали молоко, сметану и творог.

Там стоял один мужик мрачного вида, перед ним — банки.

— Что есть? — спросил Удалов, полагая, что масло и сметана таятся под прилавком.

— Как что? — удивился мужик. — Не видишь, что ли? Банки.

— Пустые?

— А тебе полные, что ли, подавай?

— Понял, — сказал Удалов и пошел дальше.

Присмотрелся к очереди за вениками, нашел в ней знакомые лица. Даже возникло желание — купить веник Ксюше. Правда, дома веник есть, но раз все стоят, очень хочется встать. Это атавизм, понял Удалов, преодолевая себя. Атавизм, оставшийся с тех времен, когда еще был дефицит. Это надо выдавливать из себя по капле — так, кажется, учил писатель Чехов.

Удалов ничего на рынке не приобрел. Но от этого проголодался. Вроде бы обедать рано, но когда видишь, что пищи вокруг нет — начинает мучить голод. Удалов не стал заходить в музей рынка, что стоял на месте кооператива

«Розы и гвоздики», а поспешил к выходу. Там, направо от входа, есть столовая «Пышка», славная столовая, сытная, недорогая, на семейном подраде Муссалимовых.

У входа Удалов нагнал знакомого провизора Савича. Савич нес два венника.

— Никита! — позвал Удалов. — Ты почему не на службе?

Это он так сказал, в шутку.

— Что? — Савич испуганно оглянулся. — Я имею бюллетень! — Но тут узнал Удалова и оттаял. — Чего пугаешь? Так и до инфаркта довести недолго. Я уж решил, что дружинник.

Лицо Савича было потное, мучнистого цвета. Свободной рукой он стянул с лица шляпу и начал вытирать ею лоб и щеки.

— Прости, — сказал Удалов. — Я и не подумал, что тебя испугаю. Вижу, ты — вот, думаю, хорошо, родную душу встретил. Ты венники покупал?

— Вот, выкинули.

— Хорошие венники, — вежливо согласился Удалов. — А как вообще жизнь?

— Ты же знаешь, что жизнь отличная, лучшая жизнь, — произнес Савич странным, срывающимся голосом.

— Это правильно, — сказал Удалов. — В утренних забегах участвуешь?

— Ты что имеешь в виду? — насторожился Савич.

Они уже вышли с рынка и остановились.

— Так, к слову пришлось. — Удалов понял, что опять проговорился.

— Корнелий Иванович, — сказал вдруг Савич. — Тебе направо, мне налево. Нехорошо, если нас вместе увидят.

— Чего в этом плохого?

— Не хочешь — как хочешь, — согласился Савич уныло. — Только учти — у меня бюллетень. Все по закону. И за Ванду я не обижаюсь.

— А что с Вандой? — спросил Удалов.

— С Вандой? Ты еще спрашиваешь? — Лицо Савича было трагическое, вот-вот заплачет.

— Ну, привет ей передавай, — сказал Удалов. Пора прощаться, пока не наговорил еще чего лишнего.

— Ей? Привет? От тебя?

Савич повернулся и побежал прочь, волоча за собой два веника как ненужный букет.

Надо срочно поговорить с самим собой, решил Удалов. Без этого тайны только накапливаются.

Поэтому он повернул направо. В сторону Пушкинской улицы.

Прошел под плакатом, натянутым над улицей: «Хозяйство должно быть хозяйственным!» Не понял его, посмотрел направо, где должен был стоять кооператив «Пышка». Кооператива там не было. На месте вывески — скромная надпись: «Прокат флагов и лозунгов».

Прохожих на улице было немного, некоторые лица знакомые, с ними Удалов по инерции раскланивался. Люди кланялись в ответ, но кое-кто при виде его прятал глаза и спешил мимо с опущенной головой.

Тут должен быть гастроном, сказал себе Удалов. Зайду, куплю своему двойнику что-нибудь. Ведь неудобно в гости сваливаться без подарка. Икорки возьму, шампанского — впрочем, неизвестно, что здесь есть, чего нет. Возьму, что есть.

Витрина гастронома обрадовала Удалова. Наконец-то все вернулось на свои места. Она почти такая же, как в родном Гусляре. Грудой лежит посреди витрины бычья туша, по бокам поленищами разные колбасы, за колбасами разделанная осетрина и лососина. Именно лососина Удалова и обрадовала, потому что такой розовой и крупной он давно не видел. Значит, с рынком ложная тревога — второй Гусляр кое в чем нас даже обогнал.

Удалов вошел в магазин и удивился его пустынности. Смотри-ка, сказал он себе: свято здесь соблюдают рабочее время. Даже домашние хозяйки по магазинам в рабочее время не ходят. А может быть, здесь разработана всеобщая система доставки товаров на дом?

Удалов подошел к рыбному отделу. Но на прилавке не обнаружил ни лососины, ни осетрины. Даже шпротов не было.

— Девушка! — позвал он продавщицу, что вязала в углу.

— Чего? — спросила она, поднимая голову.

Господи, понял Удалов, это же Ванда Казимировна, жена Савича, директор универсама.

— Вандочка! — воскликнул Удалов в большой радости. — Ты что здесь делаешь?

— Корнелий? — Ванда отложила вязание. И замолчала, глядя враждебными глазами.

— У тебя неприятности? — спросил Удалов. — Я сейчас Никиту встретил на рынке, он венники покупал. Я его про тебя спросил, а он мне ничего не рассказал.

— И что же прикажете рассказывать? — спросила Ванда.

Она осунулась, выглядела лет на десять старше, глаза тусклые.

Удалов осознал: беда. Каждый торговый работник живет под угрозой ревизии. У нас в Гусляре милиции и общественности пришлось потрудиться, прежде чем всех торговых жуликов разогнали. Но Ванда! Ванда всегда честной была! Ее универмаг первое место в области занял! И хор продавщиц в Москву выезжал!

Здесьняя Ванда была совсем другой. Может, согрешила? Человек слаб...

— Чего вам надо, Корнелий Иванович? — спросила Ванда.

— Я там на витрине лососину видел, — сказал Удалов. — Ты мне не свещаешь грамм триста?

— Что? — тихо проговорила Ванда. Так, словно Удалов сказал неприличное слово, к которому она не была приучена.

— Грамм триста, не больше.

— И, может, еще осетрины захотел, провокатор? — произнесла Ванда угрожающе.

— Кончилась, да? — спросил Удалов миролюбиво. — Если кончилась, я понимаю. Но ты мне можешь и с витрины снять.

— Слушай, а пошел ты... — и тут Ванда произнесла такую фразу, что не только сама знать ее не могла, но и Удалов лишь подозревал, что люди умеют так ругаться. — Мне терять нечего! Так что можешь принимать меры, жаловаться, уничтожать... Не запугаешь!

— Ванда, Вандочка, но я-то при чем? — лепетал Удалов. — Я шел, вижу продукты на витрине лежат...

— Какие продукты? Картонные продукты лежат, из папье-маше продукты лежат, на случай иностранной делегации или областной комиссии...

Тут Ванда зарыдала и убежала в подсобку.

Удалов стоял в растерянности.

Вокруг было тихо. И тут до Удалова дошло, что немногочисленные посетители магазина, стоявшие в очереди в бакалейный отдел за кофейным напитком «Овсяный крепкий», обернулись в его сторону. Смотрели на него и продавцы. Все молчали.

— Простите, — сказал Удалов. — Я не знал...

И он вышел из магазина.

С улицы он еще раз посмотрел на витрину. И понял, что только наивный взор человека, привыкшего к продуктовому изобилию — скажем, взор бельгийского туриста или жителя нашего, настоящего Гуслера, — мог принять этот муляж за настоящую лососину.

«Ой, неладно, — подумал Удалов. — Пожалуй, хватит гулять по городу. Скорей бы добраться до дома и все узнать у себя самого».

Изнутри к стеклу витрины прижались лица покупателей и продавцов — все смотрели на Удалова. Как голодные рыбки из аквариума.

Удалов поспешил домой.

Правда, ушел он недалеко. Дорогу ему преградила длинная колонна школьников. Они шли по двое, в ногу, впереди учительница и сзади учительница. Школьники несли флажки и маленькие лопатки.

Они хором пели:

Наш родной счастливый дом
Воздвигается трудом,
Чем склонения зубрить,
Лучше сваю в землю вбить.

Левой — правой, левой — правой!
География отравя,
Все науки срунда,
Без созидательного труда.

Учительница подняла руку. Дети перестали петь и приоткрыли ротик.

— Безродному Чебурашке! — закричала она.

— Позор, позор, позор! — со страстью закричали детишки.

— Тунейдца Карлсона! — закричала вторая учительница, что шла сзади.

— Долой, долой, долой! — вопили дети.

Движение колонны возобновилось, и Удалов пошел сзади, размышляя над словами детей.

Но ему недолго пришлось сопровождать эту охваченную энтузiazмом колонну. Дети вышли на площадь. На такую знакомую площадь, ограниченную с одной стороны торговыми рядами, с другой — Городским домом. Там должна возвышаться статуя землепроходцам, уходившим с незапамятных времен из Великого Гусляра, чтобы открывать Чукотку, Камчатку и Калифорнию. Тут Удалова ждало потрясение. Статуи — коллективного портрета землепроходцев, сгрудившихся на носу стилизованной ладьи, — не было. Остался только постамент в виде ладьи. А из ладьи вырастали громадные бетонные ноги в брюках. Ноги сходились на высоте трехэтажного дома. Дальше монумент еще не был возведен — наверху сустились бетонщики.

Площадь вокруг монумента была перекопана. Бульдозеры разравнивали землю, экскаваторы рыли траншеи, множество людей трудилось, разгружая саженцы и внедряя их в специальные ямы. Школьников, с песней вышедших на площадь, сразу погнали в сторону, где создавались клумбы. И школьники, достав лопаточки, принялись вскапывать почву.

На балконе Гордома струдился духовой оркестр и оглашал окрестности веселыми маршевыми звуками.

Удалов стоял, как прикованный к месту, и лихорадочно рассуждал: кто из великих людей проживал в Гусляре или хотя бы бывал здесь проездом? Пушкин? Не было здесь Пушкина. Толстой? А может, Ломоносов на пути из Холмогор? Но зачем для этого свергать землепроходцев?

Тут Удалов узнал бульдозериста. Это был Эдик из его ремонтной конторы.

Удалов подошел к бульдозеру, понимая, что вопрос следует задавать не в лоб, осторожно.

Бульдозерист Эдик тоже увидел своего начальника и удивился:

— Корнеллий Иванович, почему не в спецбуфете?

По крайней мере, Эдик на Удалова не сердился.

— Расхотелось, — ответил Удалов. — Как дела продвигаются?

— С опережением, — сказал бульдозерист. — Взятые обязательства перевыполним! Сделаем монумент на три метра выше проекта!

— Сделаем, — согласился Удалов, понимая, что к разгадке монумента не приблизился. Конечно, надо уходить, не маячить же на площади. Но любопытство — страшный порок.

— Внушительно получилось, правда? — спросил он.

— Чего внушительно?

— Фигура внушительная.

— Вам лучше знать, Корнелий Иванович, — ответил бульдозерист.

— Крупная личность? Большой ученый?

— Это вам виднее, — неуверенно ответил бульдозерист.

Значит, не ученый. Или писатель, или политический деятель.

— А когда он умер, не помнишь? — спросил Удалов, показывая на памятник.

Взгляд бульдозериста был дикий. Видно, Удалов сморозил глупость. И дата смерти человека, нижняя половина которого уже стояла на площади, была известна каждому ребенку.

— Нет, ты не думай, — поспешил Удалов исправить положение. — Я знаю, когда он умер. Просто тебя проверить хотел.

— Проверить?

Но тут бульдозер начал медленно разворачиваться ножом на Удалова. В движении была какая-то угроза.

— Если бы не очередь на квартиру, — сказал без улыбки Эдик, — я бы иначе с тобой поговорил.

— Все! — закричал Удалов. — Ухожу. Я пошутил.

Он быстро пошел в сторону, стараясь не попасть под лопату бульдозера, и чуть не наступил на девчущку, которая ручками размельчала комья земли на будущей клумбе.

— Девочка, девочка, как тебя зовут? — спросил Удалов.

— Ниночка, — ответила девочка.

— Молодец, а ты в садик ходишь?

— В садик, — сказала девочка. — А ты кто?

— А я на работу хожу, — признался Удалов. — Скажи, крошка, это какому дяде памятник делают?

— Хорошему дяде, — ответила девочка уверенно.

— Он книжки пишет? — спросил Удалов.

— Книжки пишет, — подтвердила девочка.

— Он с бородой?

— С бородой, — сказала девочка покорно.

— Это дядя Толстой? — догадался Удалов.

— Ой! — воскликнула девочка, дивясь такой догадливости Удалова.

Она вскочила и побежала к воспитательнице, которая в окружении других малышей высаживала в землю кусты роз.

— Марья Пална! — закричала девочка. — Марья Пална! А этот дядя говорит, что наш памятник толстый!

— Гражданин! — Воспитательница оказалась красивой женщиной ниже среднего роста. — Вы что здесь делаете?

— Не обращайтесь внимания, — сказал Удалов. — Я обедать иду. Хотел девчужке помочь — пускай воспитывается. А она у вас молодчина. Знает, что памятник Толстому возводится.

— Что? — Женщина дернула девочку к себе, чтобы добрая рука Удалова не успела опуститься на ее голову. — Уйдите! Не травмируйте ребенка! Я буду жаловаться!

На крик стали оборачиваться люди, и Удалов быстрыми шагами пошел к пьедесталу. Сзади был шум, как будто объяснения, вроде бы готовилась погоня.

Он обогнул пьедестал и увидел, что там лежит отдельно громадная бетонная рука с зажатым в ней портфелем, другая рука с раскрытыми пальцами, куски бюста, но главное, под большим брезентом — голова. Шар в рост человека.

Ноги сами понесли Удалова посмотреть на голову. Хоть и призналась девочка, что памятник будет Толстому, все равно хотелось проверить.

Удалов деловито подошел к голове, протянул руку, приподнял край тяжелого брезента, но увидел только ухо. И в этот момент сзади раздался пронзительный свист — к нему бежал милиционер, за ним — другие люди и дети.

Удалов понял: дело плохо. Он кинулся бежать с площади.

Но далеко не убежал — с другой стороны уже ехала «скорая помощь». Она затормозила у раскопанной траншеи, из машины выскочили санитары с носилками и также кинулись к Удалову. Удалов, как заяц, метался по полю, перепрыгивая через ямы, но кольцо преследователей все сужалось.

Удалова поймали бы, если бы не неожиданное отвлечение.

Внезапно воздух потемнел, на город напозла черная туча.

— Красная игрушка! — раздались крики в толпе. — Красная игрушка!

И тут же люди побежали прочь, ища укрытия, подхватывая на пути детишек.

Через полминуты Удалов остался один посреди площади.

Гроза идет, понял он и, благодаря природу за своевременное вмешательство, поспешил к торговым рядам, чтобы укрыться там. Но далеко отойти не успел, потому что все время оглядывался.

И с неба сорвались первые капли влаги.

Капли были черными, едкими, они жгли лицо и проникали сквозь одежду. Удалов побежал быстрее, но дождь становился все гуще. К тому времени, когда Удалов добежал до какого-то пустого подъезда, все тело горело от ожогов, а одежда начала расползаться и слезать с тела.

“Черт знает что, — рассердился Удалов. — Знал бы, никогда бы не согласился на такое путешествие. Вечно этот Минц с его открытиями!” Но внутренний голос поправил Удалова: Корнелий, сказал он, тебя никто не заставлял бегать по площадям и задавать вопросы. Пошел бы прямо на Пушкинскую, уже, наверное, возвратился бы домой с формулами в руках. Сам виноват.

Удалов согласился с внутренним голосом, хотя ему было жалко костюма, плаща и шляпы, не говоря уж о ботинках.

Кислотный дождь прекратился, но туча еще висела над городом, и улицы были пустынными. Удалов побежал домой.

Бежал он с трудом. Тротуары были скользкими и чер-

ными от зловонной жижи, плащ расползся, костюм держался еле-еле, у правого ботинка отклеилась подошва, а брюки пришлось поддерживать руками.

В таком плачевном виде Удалов пробежал по Пушкинской, влетел в ворота своего дома и сразу нырнул в подъезд.

Вот и родная лестница, вот и привычная дверь.

Удалов нажал на кнопку и услышал столь знакомый звон, прозвучавший в квартире.



Дверь открылась далеко не сразу.

В дверях стояла чем-то знакомая молодая блондинка. Приятной внешности, в цветастом халатике, натянувшемся на высокой груди.

— Корнелий! — воскликнула молодая женщина. — Как же ты не уберешься!

— Я... понимаете... понимаешь... — тут Удалов совсем смешался, потому что ожидал встретить совсем другую женщину. Бывает, смотришь на человека и понимаешь: где-то ты его видел, или в детском саду с ним состоял, или в школу ходил, или в Ялте отдыхал. Но кто она? Кто она? Почему она здесь? Где Ксюша?

— Тебе лучше не заходить, — сказала молодая женщина, загораживая проход. — Сначала погуляй, обсохни.

— Я с тобой не согласен, — возразил Удалов. У него зуб на зуб не попадал.

— Только в комнаты не заходи. — Женщина отступила, не скрывая отвращения от запаха и вида Удалова. — Все здесь сбрасывай и сразу в ванную!

Перед Удаловым стояла трудная проблема. Ему предлагали раздеться догола, полагая, что он не тот Удалов. Причем, ладно бы предлагала Ксюша — перед Ксюшей, даже чужой, можно было не стесняться. Но с этой молодой красоткой... как при ней разденешься?

— Ты что? — спросила молодая женщина. — Оробел что ли, мой орел общипанный?

— Знаешь, — сказал Удалов, — я лучше так в ванную пройду. Там я разденусь.

— Чтобы всю ванную провонял? У меня там импортные шампуня стоят.

В голосе молодой женщины слышались пронзительные нотки, и этим она напомнила Удалову Ксению. Но только напомнила. Была она лет на двадцать моложе его жены, глаза намазаны, щеки поддурманы, во взгляде поволока...

Удалов, возя ногой по ноге, стянул с себя распадающиеся ботинки, с ними сошли и носки. Потом все же двинулся к двери в комнату.

— Стой! — Молодая женщина загородила руками проход. — Убью!

Халат ее распахнулся, обнаружив кружевное нижнее белье, но это совсем не смутило красотку.

Тогда Удалов, понимая, что выхода нет, начал стаскивать с себя остатки костюма, делая это очень медленно, оттягивая время в надежде, что другой Удалов придет и освободит его от позорного действия, и в то же время опасаясь, что другой Удалов может его неправильно понять.

— Ты чего домой пришел? — спросила тем временем красотка.

— Я... я обедать пришел, — вспомнил Удалов.

— Обедать? Домой? Ты же в спецбуфете обедаешь! Откуда у меня для тебя обед?

Костюм упал на пол, Удалов остался в трусах и майке — хорошо, что они не расплзлись от кислотного дождя. Но были ветхими, ненадежными. Приходилось поддерживать трусы руками.

Удалов готов был сгореть от стыда, но понимал: если он сейчас признается, что он — не настоящий Удалов, может произойти трагедия.

От страха и полной растерянности Удалов стал агрессивным. Ну что за отношение к нему в собственном доме? Куда-то дели родную жену и еще приказывают!

— Дай мне халат какой-нибудь, — сказал Удалов.

— Вмоешься, получишь халат, — ответила молодая женщина.

А вдруг это моя новая жена, подумал Удалов. Все в этом мире так же, как в нашем, только жена у меня не Ксения, а молодая и красивая.

И как только он об этом подумал, он поглядел на

женщину совсем другими, можно сказать, хозяйскими глазами. Но в то же время что-то смущало, и было неловко перед Ксенией.

— Дай халат, — повторил он, делая еще один шаг вперед.

Женщина отступила, но не столько от страха перед Удаловым, сколько от нежелания об него испачкаться.

Приходя в доме Удаловых невелика, так что в три шага Удалов достиг входа в комнату и повторил еще громче и смелее:

— Дай халат!

Тут произошло совсем уж странное событие — его халат возник в приоткрытой двери. Он двигался по воздуху, потому что его держала обнаженная мужская рука.

Удалов принял из мужской руки халат и увидел в щели главного архитектора города Оболенского, можно сказать, в одних кальсонах.

— Это что? — спросил Удалов, полностью переключаясь на роль своего двойника.

— А что? — спросила молодая женщина, стараясь закрыть спиной дверь.

“Может, не жена? — подумал Удалов. — Я тут бушую, а она, может, и не жена, а вовсе жена архитектора Оболенского?”

— Что Оболенский там делает? — спросил Удалов.

— Оболенский? — удивилась молодая женщина. — Какой-такой Оболенский?

— Архитектор! — воскликнул Удалов и, отодвинув женщину, распахнул дверь в комнату.

В окне мелькнула темная тень, послышался треск ветвей и глухой удар о землю.

Удалов кинулся к окну.

Оболенский с трудом поднялся с земли и, прихрамывая, заковылял к воротам. Он был полураздет, подмышкой нес недостающую одежду.

— Эй! — крикнул ему Удалов. — Стой! Поговорить надо.

Но архитектор Оболенский даже не обернулся.

Тогда Удалов обернулся к молодой женщине.

— Попрошу объяснения, — сказал он.

— Объяснения? — Женщина была возмущена. — Кто ты такой, чтобы давать тебе объяснения!

— А вот такой! — ответил Удалов, потому что не знал, кто он такой.

— Человек в гости пришел, чаю попить.

Видно, не хватало наглости у молодой женщины — в голос прозвучала попытка оправдаться.

— Чаю попить? — закричал Удалов. — Чаю попить в халате?

— А у него горячей воды нет, — ответила женщина, отступая перед яростью Удалова. — Воды нет, вот и пришел ванну принять. И в конце концов — какое твое дело?

— Какое мое дело? — Удалов понял, что открылась возможность выяснить, кем ему приходится эта женщина. — Ты мне жена или не жена?

— Ну, жена, — ответила женщина. — Ну и что?

— А то, что таких жен душат на месте!

— А ты придуши, придуши, Отеллю! Посмотрим, какой ты завтра будешь!

— А мне плевать, какой я буду завтра! — зарычал Удалов и, подняв растопыренные руки, пошел на молодую жену.

Молодая жена отступала в комнату, нагло хихикая и покачивая бедрами. И по этим бедрам Удалов узнал непутевую Римку, что заигрывала с ним на улице. Может показаться невероятным, что Удалов не сразу узнал ее, увидев дома. Но встаньте на его место — придите домой, найдите там молодую малознакомую соседку, облаченную в халат вашей жены, еще посмотрим, сразу ли вы ее узнаете.

Тут Римма завопила, словно он ее уже начал душить.

Бешеными глазами она уставилась за спину Удалова.

А от двери послышался удивленный голос:

— Что такое?

Рот Риммы раскрылся, глаза закатились, и она медленно опустилась на пол.

Удалов тоже оглянулся и увидел, что в дверях стоит он сам, собственной персоной. Только в плаще, костюме и кепке, надвинутой на уши.

— Ты кто такой? — грозно спросил пришедший Удалов.

— Стой, стой, стой! — закричал первый Удалов. — Все в порядке! Все путем. Навожу порядок в нашей семье.

Но тут пришедший Удалов узнал первого Удалова.

Он, конечно, не поверил собственным глазам, потому что зажмурился и долго не разожмурился.

А молодая жена лежала на ковре у его ног и почти не дышала.

— Слушай меня внимательно! — быстро сказал первый Удалов своему двойнику. Говорил он напористо, чтобы не дать двойнику опомниться. — Я — это ты, тут никакой мистики, одна наука. Все объясню потом. Возьми себя в руки, Корнелий.

— А она? — спросил, не разожмуриваясь, двойник.

— Римма пускай полегит в обмороке, — сказал Удалов. — Ничего не случится. Есть дела более важные.

— Вот это ты брось! — Двойник открыл глаза. Характер у него был удаловский, упрямый.

Он резким движением сбросил плащ, присел на корточки возле молодой женщины и взял ее пальцами за кисть руки. Слушал пульс.

— Ну что я тебе говорил? — спросил Удалов. — Нормальный пульс?

— Пульс слабый, — ответил двойник.

— Давай ее на диван положим, — предложил Удалов.

— Я сам, — сказал двойник. — Ты же грязный.

Он поднатужился, поднял крепкое молодое тело и дотащил его до дивана. Молодая жена не проявляла признаков жизни.

Сделав это, двойник обратился к Удалову:

— Ты чего здесь в одних трусах делаешь?

В голосе его прозвучала ревность.

— Не по адресу обращаешься, — ответил Удалов. — Ты не меня подозревай, а того, кто через окно сбежал.

— Через окно? — Двойник бросился к окну.

— Нет его там, — сообщил Удалов.

— А кто был?

— Кто? Сам небось знаешь.

— Честное слово, не знаю, — ответил двойник.

— Архитектор Оболенский.

— Так я и знал! — сказал двойник. — Козел старый!

— А ты чего хотел? — вскинулся Удалов. — Если старую жену на молодую поменял, учитывай риск. Сам небось не Аполлон.

— Да помолчи ты! — огрызнулся двойник. Он смотрел

на свою молодую жену со странным чувством, которого Удалов разгадать не смог.

— Она думала, что ты обедать будешь в буфете, — добавил Удалов.

— Буфет кислотным дождем затопило. Сквозь крышу просочилось. Даже Сам без обеда остался, — ответил двойник. — А ты откуда?

— Знаешь что, — сказал Удалов, — можно, я помоюсь сначала?

— У тебя что, дома своего нет? — спросил двойник.

— Есть, но далеко, в трусах не добежать. А мне с тобой поговорить нужно.

— О чем? — Видно, двойник все еще был в шоке.

— Пойдешь со мной, — сказал Удалов. — Побудешь со мной в ванной, пока я буду мыться.

— Не хочу. Мне на совещание надо.

— Корнелий, не спорь — разговор у нас секретный. А секретные разговоры лучше вести в ванной, когда там вода течет и никто подслушать не может.

Удалов решительно пошел в ванную, двойник колебался. Молодая неверная жена лежала без чувств, неизвестно было, то ли ее жалеть, то ли убить.

Для начала он накрыл ее пледом, потом все же пошел в ванную.

Удалов включил газовую горелку, разделся. Двойника он не стеснялся. Двойник с удивленным смотрел на большую родинку под правым плечом. Понятно почему — наверняка у него такая же.

— Потерпи, — сказал Удалов двойнику. — Сначала ополоснусь.

— А ты Оболенского точно видел? — спросил двойник.

— Точно, — ответил Удалов. Щадить двойника он не хотел.

— Этого не может быть, — усомнился двойник. — Она меня любит.

— Дверь закрой на крючок, — сказал Удалов. — Чтобы Римма случайно не заглянула.

— Объясни, прошу, что это значит? — взмолился двойник.

— Все в свое время, — ответил Удалов, садясь на край ванны и указывая двойнику на табуретку.

Теперь они могли говорить, сблизив головы. Головы

отражались в зеркале — это было видно обоим, и оба этому дивились.

“Ох и молодец Минц, — думал Удалов. — Вот гений человечества!”

“Что творится, — думал второй Удалов. — Неужели я сплю? Или это вражеская провокация?”

Но когда он попытался ущипнуть себя, Удалов сказал ему:

— Не старайся, все это объективная реальность. Я — твой двойник из параллельного мира.

— Ага, — согласился двойник, но вроде бы не понял.

— Где Ксения? — спросил Удалов.

— Развод, — ответил двойник.

— А я в нашем мире с ней живу. И разводиться не собираюсь.

— Долг выше привычки, — сказал двойник.

— Ты меня удивил. Я, конечно, понимаю, что наша Ксения — не подарок. Но когда четверть века отбарабанили вместе... А где Максимка?

— С ней, — кратко ответил двойник. Говорить ему об этом не хотелось.

“Ну ладно, — решил Удалов, — мы еще вернемся к этой проблеме”.

— А новая, Римма? — спросил он. — Как она тебя подцепила?

— Она секретаршей была. У Самого. А когда я развелся, он мне ее рекомендовал.

— Кто, Белосельский?

— Белосельский?

— Ты что, Колю Белосельского не знаешь? Мы же с ним в одном классе учились. Он у нас предгор!

— Не знаю, — сказал двойник, косясь на дверь. — Тебе уходить пора.

— Что-то у вас здесь неладно, — определил Удалов. — Я, когда сюда приехал, думал, что все, как у нас. А вижу, что у вас не параллельный мир, а в некотором смысле... перпендикулярный.

— Какой еще мир? Что ты городишь?

— Ты о параллельных мирах разве не слыхал? Известная теория. Наш профессор Минц ее разработал и отправил меня к вам, чтобы одно дельце решить... Ты что отворачиваешься?

— Не знаю никакого профессора Минца, — ответил ему двойник.

— Вот это ты брось, — сказал Удалов. — Этот номер у тебя не пройдет. Сейчас пойду к Минцу, он мне все объяснит.

— Не ходи.

— Почему?

— Нет там Минца.

— Как так нет Минца?

— Нет и — с концами.

— А где же он?

— Где положено.

— Мне трудно поверить глазам, — сказал Удалов. — Ты — это я. И в то же время ты — это не я. Как это могло произойти? У нас и мама с папой одинаковые, и в школы мы ходили одинаково. И характер должен быть одинаковый.

— Я не хочу тебя слушать.

— Почему?

— Потому что надо разобраться, на чью мельницу ты льешь воду.

— Ну — воше! — возмутился Удалов. — Сейчас же говори, что произошло в Гусяре, что за катаклизмы такие? И почему ты изменился? То-то я чувствую — Ванда на меня волком смотрела. И Савич. Они не на меня волком смотрели — они на тебя волком смотрели.

— Открой! — раздался голос за дверью. — Открой, мне надо!

Голос принадлежал Римме-секретарше.

— Подожди, кисочка! — испугался двойник. — Подожди, я к тебе выйду.

— Открой, тебе говорят! — воскликнула Римма.

— Что будет, что будет? — Двойник стал крутить головой, искать, куда бы спрятать Удалова.

Над их головами было небольшое окошко — оно вело на черную лестницу.

— Лезь туда! — шепотом приказал двойник.

— Не полезу!

— Лезь, ты погубить меня хочешь?

Дверь зашаталась — видно, Римма пыталась ее сломать.

— Открой, мерзавец! — вопила она. — Довел меня до инфаркта, это тебе даром не пройдет!

Двойник буквально на руках поднял Удалова, стараясь выпихнуть его через окошечко, но пролезала только голова. Двойник был в такой панике, что не понимал этого, а только шипел:

— Ну же! Скорей! Скорей!

Тут дверь все же распахнулась — не выдержал крючок, и Римма увидела, как ее муж пытается себя же, только совершенно голого, поднять на руках, как Атлант Землю.

От неожиданности двойник выпустил Удалова, тот упал в ванну, двойник на него, а Римма завопила, как зарезанная, и выпала из ванной на спину — снова в обморок.

Удалов поднялся, скользя по мокрой ванне, потер ушибленный бок и помог выбраться из ванны своему обалдевшему двойнику.

Тот лишь вздыхал, охал и не мог сказать ни слова.

И тут со двора послышался резкий звук сирены.

— Меня, — сказал двойник, глядя на распростертое тело жены. — Вызывают. Уже актив начинается, а я здесь...

И в голосе его была полная безнадежность.

Со двора снова донесся звук сирены.

— А ты пойдя, — посоветовал Удалов. — Скажи, что не можешь, жена заболела.

— Да ты что? — удивился двойник. — Меня же вызывают! Я опоздал!

— Ну тогда я скажу, — заявил Удалов.

Двойник повис на нем, как мать, которая не пускает сына на фронт. Волоча двойника на себе, Удалов дошел до середины комнаты, но тут вспомнил о своем внешнем виде и, сбросив двойника, завернулся в штору — только голова наружу. Высунулся в окно.

Под окном стоял мотоцикл с коляской. В нем капитан Пилипенко. Давил на сигнал.

— Ты чего? — спросил Удалов. — Весь дом перепугаешь.

— Удалов! — ответил Пилипенко. — Личное приказание — тебя на ковер. Садись в коляску!

— Я не могу, я из ванны! — ответил Удалов. Он почувствовал, что сзади шевелится, вот-вот вылезет на свет двойник, и, не оборачиваясь, оттолкнул его подальше,

а сам, сбросив штору, предстал перед капитаном в полной нагоде.

— Видишь?

— Мне плевать, — ответил Пилипенко. — Если сам не спустишься, под конвоем поведу.

Тут, видно, нервы у двойника не выдержали, потому что за спиной Удалова раздался крик:

— Иду, спешу! Сейчас!

И послышался топот.

Удалов понял, что в таком состоянии его двойник — не боец. Нет, не боец. Он догнал его у дверей ванной, где двойник замер над распростертым телом Риммы.

— Послушай, — сказал Удалов. — Давай рассуждать спокойно. Нельзя тебе в таком состоянии на актив. Отговорись чем-нибудь.

— Ты ничего не понимаешь! Дело идет о жизни и смерти!

Римма пошевелинулась, попыталась открыть глаза.

— Сейчас она в себя придет, — предупредил Удалов. — Если ты ей не сможешь доказать...

— Она к нему побежит! Она меня погубит!

— Не рыдай, — сказал Удалов. — Есть выход. Я сейчас с Пилипенко поеду на этот самый актив. И отсижу там...

— Тебя узнают!

— Кто меня узнает? Я же — ты.

— Но тебе надо будет говорить, и они догадаются!

За окном снова взревела сирена.

— Я буду молчать. Не впервой отмалчиваться на совещаниях. Я привычный. У тебя специфических грехов нету?

— У меня вообще грехов нету!

Римма снова пошевелилась, и двойник вздрогнул.

— Улаживай свои семейные дела, и — бегом на центральную площадь. Затаись там, за памятником. Я в перерыве к тебе выбегу, и ты меня заменишь. Ясно?

Двойник кивнул и лихорадочно прошептал:

— Только молчи! Кивай и молчи. Ты ничего не знаешь, а погубить меня — проще простого.

Удалов не стал тратить времени даром, кинулся в комнату, распахнул шкаф. Слава Богу — шкаф на месте и вещи лежат, как положено. Вытащил выходной костюм, тот, что Ксюша в Вологде покупала, начал было натяги-

вать на голое тело, сообразил, вытащил белье — и с бельем в руке, как с белым флагом, выскочил к окну, помахав Пилипенко:

— Айн момент! — крикнул ему.

Сжимая галстук в кулаке, выбежал в коридор. Его двойник сидел на корточках перед своей молодой женой — ничего не соображал.

Удалов повторил:

— За памятником! Черные очки надень, помнишь, где лежат?

И выбежал на лестницу.

Но не сразу вниз: метнулся по коридору до минцевской квартиры, хотел предупредить Минца, что скоро придет, потом остановился в изумлении: на месте замочной скважины — веревочка, на ней пластилиновая пломба — опечатана квартира. Значит, и в самом деле — умер старик? Да какой он старик? Шестидесяти нет. Но что случилось? Сердце у Льва Христофоровича как мотор... Эх, зря связался со спасением двойника — скорее надо узнать, что произошло с профессором, ведь такая же опасность ему может грозить и в нашем мире. Не думаем мы о здоровье, а потом становится поздно.

С этой мыслью, под вой сирены Пилипенко, Удалов выбежал во двор, с ходу вскочил в коляску. Пилипенко лишь рывкнул:

— Убью! — и дал газ. Мотоцикл, как норовистый конь, выскочил на улицу.

С Пилипенко говорить невозможно: мотоцикл ревет, Пилипенко матерится, люди шарахаются с улицы.

В пять минут долетели до Гордома, Пилипенко затормозил так, что Удалов вылетел головой вперед из коляски, и его подхватил какой-то незнакомый молодой человек.

— Эх, Корнелий Иванович! — сказал он укоризненно, помогая Удалову подняться. — Ждут вас, серчают. — И он буквально поволок Удалова наверх по знакомой лестнице, к кабинету предгора.

Удалов старался на ходу завязать галстук.

В приемной было тесновато — три стола, за ними три секретарши. Все молодые, яркие, наглые, наманикюренные, перманентные, все похожи на Римму.

А у двери, обитой натуральной кожей, по обе стороны

стояли два молодых спортсмена в серых костюмах, как часовые джинны из восточной сказки, но с красными повязками дружинников на руках.

Молодой человек подтолкнул Удалова.

Один из спортсменов быстро подтянул его к себе, второй провел ручищами по бокам.

— Ты чего? — удивился Удалов.

А спортсмены даже не стали отвечать, правда, может, и не умели. Молодой человек раскрыл дверь, и спортсмены втолкнули Удалова внутрь кабинета.

Там сразу наступила тишина.

Знакомо, буквой «т», стояли полированные столы.

За главным столом, на месте Белосельского, сидел Пупыкин.

Именно Пупыкин, никто другой.

Оттого, что он сидел, он казался крупнее, даже выше ростом. Но Удалову настоящий рост Пупыкина был известен.

Пупыкин здешний от нашего Пупыкина отличался разительно.

И не только потому, что отрастил усы и еще более облысел, и не только потому, что одет был в строгий черный костюм с красным галстуком — но взгляд — Боже мой, у него же другой взгляд! Разве такой человек смог бы участвовать в утренних забегах и пресмыкаться перед Удаловым? Разве такой Пупыкин мог бы таиться на краю общественности, измазанный зеленкой, и ратовать за сохранение часовни Филиппа? Взгляд у Пупыкина был тигринный, тяжелый, из-под сведенных бровей.

Другой Пупыкин, куда добрее, с лукавой усмешкой, глядел на Удалова с большой картины, что висела на стене, за живым Пупыкиным. На картине он принимал букет роз от девчушки, в которой Удалов сразу узнал младшую дочку Пупыкина. На заднем плане толпились рукоплещущие зрители, среди них, как ни странно, и сам Удалов.

Тяжелым взглядом Пупыкин уперся в Удалова.

И все люди, что сидели за ножкой буквы «т», тоже уперлись в Удалова тяжелыми взглядами.

Встречаясь с этими взглядами, Удалов узнавал их обладателей, но порой с трудом.

Вот смотрит на него главстрой Слабенко. Ох и тяжел этот взгляд! Вот уставился, наглец какой, архитектор Оболенский. Забыл уже, как из окна выпадал? А это взгляд редактора Малюжкина. Тоже не без тяжести. Неужели и Малюжкин, радатель за гласность, так переменился? Вот смотрит Финифлюкина, директорша музея, — куда делась приветливость во взоре? А старик Ложкин...

Удалов не успел рассмотреть остальных, как Пупыкин открыл рот, медленно открыл, с оттяжкой, показал неровные мелкие зубы и рявкнул:

— Садись, с тобой потом разберемся!

И тут же все отвернулись от Удалова. Будто его и не было.

Удалов нашел место с краю стола, сел, а Малюжкин, что был рядом, отодвинулся, скрипнув стулом.

И наступила тишина.

— Нас прервали, — сказал Пупыкин. — Но мы продолжим.

И Удалов вздрогнул от угрозы в голосе Пупыкина.

— Продолжай, Мимеонов, — приказал Пупыкин.

— Спонтанный выброс в атмосферу незначительного количества загрязненного воздуха, — сказал, покорно поднявшись, Мимеонов, уже год как снятый с должности директора фабрики пластмассовых игрушек, потому что был ретроградом; он принялся перебирать бумажки, что держал в руках.

— А ты нам не по бумажке, — велел Пупыкин. — По бумажке каждый наврет, недорого возьмет. Бумажки ты для ревизии подготовь, а с нами, со своими товарищами, говори открытым текстом. Опозорился?

— Опозорился, — сказал Мимеонов, — но имею объективные причины. — Он все же развернул бумажку и быстро начал читать: — За прошедший год вверенная мне фабрика перевыполнила план на два и три десятых процента, выпустив для нужд населения изделий номер один — шестьсот двадцать пять, изделий номер два-бис — двести тридцать четыре, в том числе восемнадцать сверх плана. Изделий номер пять...

— Стой! — остановил Мимеонова Пупыкин.

— Расширять?

— Ты с ума сошел! Ты лучше расскажи, почему ты наш родной город чуть не погубил.

— А я неоднократно писал, говорил даже вам, Василий Парфеныч, — сгнили фильтры, кончились. Надо из Вологды специалистов звать, производство останавливать. Сами знаете...

— Какие будут предложения? — спросил Пупыкин.

— Я думаю, что сделаем фельетон, — предложил Малюжкин. — О некоторых хозяйственниках. Не пощадим.

— Хорошая мысль, — согласился Пупыкин. — Пускай народ знает, что мы ни одного отрицательного факта без внимания не оставим.

— А вдруг в области прочтут? — спросил Оболенский, нагло улыбаясь. — И комиссию к нам, а?

— А пускай прочтут. Нам гласность не страшна, — ответил Пупыкин твердо. — Пускай весь мир читает.

— И там тоже? — выкрикнул старик Ложкин. — Импералисты тоже?

— Это ты, Ложкин, брось! — рассердился Пупыкин. — Тебя здесь как ветерана держат, а не как провокатора.

— У меня есть предложение, можно? — спросил Савульский — его Удалов тоже знал, он работал санитарным главврачом.

— Говори. Только короче, надоел ты нам со своими речами, — поморщился Пупыкин.

— Я буду краток. — Савульский потер ладоши. — Факт, вопиющий. Он еще почему вопиющий — многие не ожидали, попали под дождик и потеряли одежду. А при том напряженном положении, которое существует в торговле...

— Савульский, я тебе сказал, — пригрозил Пупыкин. — Не рассусоливай. Про положение в торговле я лучше тебя знаю и знаю, что оно улучшается, правда?

Пупыкин взглянул на начальника торго, и тот сразу с места ответил:

— Принимаем меры!

— Видишь, человек меры принимает, а ты обезоруживаешь. Ты к делу. Но учти, если твое предложение будет неподходящим, головы тебе не сносить. Давно уже общественность тобой недовольна, плохо ты охраняешь нашу экологию. Так что на растерзанье тебя можно в любой момент кинуть, правда, Малюжкин?

Лицо редактора газеты озарила лукавая усмешка.

— Фельетон уже готов, — сообщил он. — Лежит у меня в столе.

Савульский побледнел и качнулся.

— Ничего, продолжай. Что ты нам хотел сказать?

— Мы провели анализы, — сказал Савульский глухо, будто набрал полон рот картошки. — И выяснили, что выброса с завода детской игрушки не было.

— Вот это да! — даже Пупыкин удивился.

— А что же было?

— А была туча неизвестного происхождения, которая прорвалась в наше родное небо из-за пределов района.

— А что, идея? — спросил Пупыкин.

— Можно поправку? — вмешалась директорша музея.

— Только по делу.

— Мне кажется, что туча могла прийти и из-за пределов нашей области.

— Слушай, а что если... — Голос Пупыкина замер.

И тут Удалова черт дернул за язык.

— Я думаю, — сказал он, — что этот дождик вернее всего к нам приплыл из Южно-Африканской Республики, от тамошних расистов.

— А что? — Пупыкин даже привстал в кресле. — А что? Расисты — они плохо к народу относятся... — Но тут до него дошло, что Удалов шутит и допускает перебор. Он сел обратно, насупился и сказал: — Ладно. Ты, Малюжнин, подготовь материал про тучу из Потемского района. А ты, Удалов, считай, уже допрыгался.

Люди стали отодвигать стулья подальше от Удалова, а тот себя проклинал: ведь ему-то что — он сегодня дома будет, а все неприятности достанутся его двойнику.

— И учти, Мимеонов, — закончил Пупыкин, — твой вопрос с повестки дня не снят. Допустишь еще такой выброс — выброшу тебя из города. Сам знаешь куда.

— Но ведь план...

— А план ты нам дашь. И с перевыполнением. Какой дедуший вопрос?

— Градостроительство, — сказал Оболенский.

— Вот это мне по душе. Это настоящий прогресс. Давай тогда изобразительную продукцию.

По знаку Оболенского молодой порученец открыл дверь. Десять юношей и девушек втащили десять стендов и установили их рядом, чтобы было общее ощущение.

Удалов с ужасом понял, что призывы и надежды Оболенского, который хотел в нашем мире изгадить магистраль, здесь достигли сказочных масштабов.

— Вот наша главная улица. Наше завтра, — сказал Оболенский тихо и радостно. Но непроизвольно почесал ушибленное бедро.

— Улица имени Василия Пупыкина, — прошелестел чей-то голос.

— Кто сказал? — нахмурился Пупыкин. — Молчите? А ведь знаете, чего я не терплю. Ты, Ложкин?

Пойманный на месте преступления, Ложкин потупился, встал, как нашкодивший первоклассник, и сказал:

— Вы, Василий Парфенович, не терпите лести и подхалимства.

— И заруби себе это на носу. Народ будет решать, как назвать наш проспект. Народ, а не ты, Ложкин.

— Ну, это вы неправы! — вдруг взвился Малюжкин. — Ложкин — представитель народа. Лучшей его части, ветеран труда.

— Ладно, ладно, без прений, — смиловившись Пупыкин. — Садись, ветеран, чтобы больше с такими предложениями не лез.

Оболенский дождался паузы и обернулся к перспективе.

Через весь город, как стало ясно Удалову, протянется широкая магистраль. Шириной в полкилометра. По обе стороны ее возвысятся различные, но чем-то схожие здания. Каждое здание опирается на множество колонн, над каждым рядом колонн — портики с одинаковыми фигурами. На крышах зданий также стоят статуи. Все здания при этом украшены финтифлюшками и похожи на торты, сделанные к юбилею древнегреческой церкви.

“Как же пройдет у них эта магистраль?” — лихорадочно старался представить Удалов. Видно, от всего центра ничего не останется.

Конечно же — вот она, центральная площадь, вот он, выросший вдесятеро, напоминающий одновременно египетскую пирамиду и китайскую пагоду, Гордом, вот она — десятиэтажная статуя в центре... Уже с головой, с портфелем... Статуя самого Пупыкина!

Удалов говорил себе: только не смеяться! Только не улыбаться. Все это меня не касается, а засмеюсь — накажу двойника.

— Мы с вами шествуем, — донесся до обалдевшего Удалова голос архитектора Оболенского, — мимо городского театра. Здание его, прекрасное, выдержанное в стиле гуслярского социалистического ампир-барокко, встанет на месте устаревшей развалюхи, которая была построена космополитически настроенными купцами...

“Молчи, Корнелий, — повторял про себя Удалов, — молчи, крепись...”

Но язык его предал.

Язык сам по себе сказал:

— В старом театре лучшая в мире акустика. Сюда симфонические оркестры приезжают.

Оболенский поперхнулся.

— Вы что хотите сказать, Корнелий Иванович, — мягко спросил он, — наш новый театр хуже старого?

Что здесь поднялось! Как все накнулись на Удалова! Он оказался ретроградом, отсталым элементом и уж, конечно, чьим-то наймитом. Слово «наймит» носилось по воздуху и било наотмашь Удалова.

Но язык Удалова — о враг его! — не выдержал снова и, выислав паузу в хоре осуждения, крикнул:

— Это бред, а не проект!

— Что? Он ставит под сомнение мою компетентность?

Оболенский так растерялся, что обернулся за поддержкой к Пупыкину. А Пупыкин молча покручивал ус, ждал, хотел, видно, чтобы Удалов окончательно высказался.

— Меньше по чужим женам бегать надо! — крикнул испуганный Удалов. — Лучше бы архитектуре учился!

Тут и у Оболенского нервы не выдержали.

В наступившей роковой тишине он закричал в ответ:

— Она меня любит! У нас любовь! Ты ее недостойн!

— Поговорили? — раздался громовой голос.

Удалов взглянул на Пупыкина и понял, что говорит тот в мегафон — достал откуда-то трубу раструбом. Видно, берег для особых случаев.

— Поговорили и хватит! Всем сидеть!

Все сели. И замолчали.

— Оболенский, сядь. С тобой все ясно, старый козел. Заключительное слово по данному вопросу имеет товарищ Слабенко. После этого перерыв. После перерыва обсуждение персонального дела бывшего директора стройконторы,

бывшего члена городского президиума, бывшего, не побоюсь этого слова, моего друга, Корнелия Удалова.

И так всем стало страшно, что даже твердокаменный Слабенко не сразу смог начать свою речь. Он отпил воды из графина, стоявшего перед ним, и руки его дрожали.

А от Удалова не только все отодвинулись, но даже стол отодвинули. Он теперь сидел один на пустынном пространстве ковра.

— Снос, — сказал Слабенко, — начинаем с понедельника. Мобилизуем общественность. Она уже подготовлена, радуется.

— Это хорошо, — одобрил Пупыкин. — Пресса, от тебя зависит многое. Если что не так — ответишь головой!

— Я вам завтра полосу принесу, — сказал Малюжкин. — У меня уже голоса народа подготовлены, пожелания трудящихся, все как надо. Народ жаждет преобразований.

— За полгода управимся, — сообщил Слабенко.

— Что? За полгода?

— Техники маловато. К тому же эти чертовы эксплуататоры из кирпича строили...

— Взорвать! — сказал Пупыкин.

— Там жилые кварталы — трудно.

— Выселить, — решил Пупыкин. — Пилипенко ко мне вызовет и прокурора, подумаем, как оформить. Чтобы за две недели центр снести.

— Постараемся, конечно, — Слабенко сомневался.

Удалов поглядел на Оболенского. Оболенский прожигал его ненавидящим взглядом и скалился, но укусить не мог — далеко.

— Ты мне не старайся, ты сделай. Сносить это барахлю будем методом народной стройки. Главное — энтузиазм, ясно, Малюжкин?

— Надо будет трудящимся перспективу дать, — напомнил Малюжкин. — Надо будет сообщить, что всем нуждающимся на проспекте вашего имени будут отдельные квартиры.

— Этого делать нельзя, — вдруг возразил Ложкин. — Это будет неправда. Народ нас не поймет. У нас же на проспекте только общественные здания.

— Как так общественные? — вскинулся Оболенский. — А жилой дом для отцов города?

— Но это же один дом... и для отцов.

— Ложкин, — перебил его Пупыкин. — Учти, что у нас в Гусляре нет проблемы отцов и детей, и даже конфликтов таких нету. Они надуманные. Так что если мы строим для отцов города, значит, строим и для детей. У меня у самого двое детей. Все знают.

Тут людей прорвало, все начали аплодировать, а когда отаплодировали, постановили наемкнуть на квартиры в следующем номере газеты. Без деталей.

Хотелось, конечно, Удалову встать и объяснить, что он думает, но удерживался — и без того уже погубил карьеру своего двойника.

Потом выступали другие отцы города. Каждый рапортовал, какую лепту внесет в общий котел. Тут Удалову открылась тайна — что же за изделия изготавливались на фабрике пластмассовых игрушек, которая чуть не отравила город. Оказалось, что изделие номер один — это статуя Пупыкина в полный рост для украшения крыш на проспекте, а изделие номер два — Пупыкин в детстве. Такие статуи народ требовал для детских садов. И делали те статуи не из гипса, а из долговечного пластика под мрамор. Вот и работала фабрика с таким напряжением, что допускала выбросы в атмосферу.

Потом Слабенко снова выступил по вопросу о главной статуе, что возводилась на главной площади.

— Саботаж, — произнес он твердо, — до которого докатился так называемый якобы профессор Минц, поставил нас в тяжелое положение.

— Тяжелое, но не безвыходное, — сказал Пупыкин.

— Безвыходных положений, конечно, не бывает, — огласился Слабенко. — Но как нам, простите, вашу голову поднять на такую высоту, куда ни один кран не достанет — мы еще не решили. Без этого... гравитатора... не уложимся. Да и в сооружении проспекта он нам нужен.

— Мы эти речи слышали, — поморщился Пупыкин. — Я бы назвал их капитулянтскими. Тысячи лет различные народы строили великие сооружения и без башенных кранов, а тем более — без профессора Минца.

— Еще надо выяснить, на какую разведку он работает, — крикнула с места директорша музея Финифлюкина.

— Ясно, на какую, — сказал Ложкин. — На сионистскую.

“Господи, — испугался Удалов. — Что же это происходит? Даже Ложкин — милый сварливый старик, всю жизнь рядом прожили! Он же Минца как брата уважает”. Но тут же Удалов себя поправил — ведь это в нашем мире. А тут перпендикулярный.

— С Минцем ведется разъяснительная работа, — произнес Пупыкин. — Мы не теряем надежд. Однако должен предупредить тебя, Слабенко, что пирамиды в Египте и колокольня Ивана Великого строились без башенных кранов.

— Так на них голов нету, — неудачно возразил Слабенко.

На него так зашикали, что ему пришлось сесть.

И тут Пупыкин объявил перерыв.

— Идите в буфет, — сказал он, — крышу починили, икру привезли. А ты, Удалов, задержись.

Удалов задержался. Те, кто спешил в буфет есть икру, обходили Удалова по стенке.

— Что-то ты у меня сегодня не трепещешь? По глазам вижу, что не трепещешь, — заметил Пупыкин.

“Проницательный, черт, — подумал Удалов. — И в самом деле не трепещу. Но по какой причине — ему не догадаться. А ведь жил бы я здесь, наверное бы, трепетал. У него весь город в руках”.

— Для меня твоё провокационное выступление на активе не неожиданность, — сказал Пупыкин, задумчиво покручивая усы. — С утра мне сигналы на тебя поступают. Но я тебе не враг, мы с тобой славно вместе поработали — ты от меня ничего, кроме добра, не видел. Потому хочу сначала разобраться. Может быть, обойдемся без персонального дела, как ты думаешь?

Удалову стало жалко своего двойника, и он ответил:

— Лучше, чтобы без персонального.

— Ну и молодец, Корнюша. Ты садись, в ногах правды нет.

Пупыкин подождал, пока Удалов сел, и сам уселся напротив Удалова.

— Смешно прямо, — сказал он, — как барбосы, му прямо, как барбосы. Стоило мне неудовольствие к тебе выразить, как они уже тебя растерзать готовы. А я пони-

маю — у тебя душевный стресс. В самом деле Оболенского с Римкой поймал?

— Поймал, — признался Удалов. — Он в окно выскочил, со второго этажа.

— То-то хромает, бес в ребро! Я-то, когда тебе Римку передавал, можно сказать, с собственного плеча, думал, что достигнешь ты простого человеческого счастья. А сейчас вижу — ошибся я. Виноват, я свои ошибки всегда признаю. Жаль только, что другие не следуют моему примеру. Знаешь что, ради дружбы я тебе Верку уступлю. Огонь-баба — блондинка. А хочешь, Светку? Она справа сидит, новая, у нее в роду цыгане были, честное слово! Ты ее дома запрешь, чадру повесишь, как занавеску. В виде исключения. А если нужно справку — директор поликлиники выдаст: экзема лица. Ну как, подходит? А Римку мы Оболенскому всучим. Лежалый товар!

И Пупыкин зашелся в смехе, совсем под стол ушел, такой махонький стал, одним ногтем придавить можно.

— Не в этом дело, — сказал Удалов. — Мне и с Ксюшей неплохо было.

— Ну это ты брось! Нам такие Ксюши не нужны. Пускай знает свое место. Нет, дорогой, мы с тобой еще молодые, мы еще дров наломаем, на всю землю прославимся. Так что об этой интриганке забудь!

“Ага, — подумал Удалов, — значит, Ксения чем-то Пупыкину не угодила. Может, двойник ее все же любит? Хорошо бы любил — приятнее так думать”.

— Чего задумался? Не согласен?

— Как скажете, — ответил Удалов.

— В покорность играешь? Ой, непрост ты, Удалов, ой, непрост. Скажи мне, дружище, ты чего сегодня утром на шоссе картошку собирал? Или тебе из распределителя мало картошки выдают?

— А как вы думаете? — нашелся Удалов.

— Есть у меня подозрение, — произнес Пупыкин. — Но такое тяжелое, такое, можно сказать, страшное, что и не смею сказать.

— А вы скажите.

— А я скажу. Я скажу, что, может быть, ты врагам нашего народа картошку носил?

— Каким таким врагам?

— Вот, видишь, таишься, значит — врешь! По глазам

вижу, что врешь! Кому носил? Все равно донесут, все равно дознаюсь!

— Нет, просто так, — решил спасти своего двойника Удалов. — Увидел, что рассыпанная, вот и собрал.

— Это чтобы в моем городе кто-то картошку рассыпал? Опять врешь. И что делал в такое время на шоссе — тоже забыл?

— Гулял.

— А о чем с Савичем на рынке разговаривал? — Пупыкин вскочил и побежал по кабинету. Удалов увидел, какие у него высокие каблукки. Вопросы сыпались из него быстро, один за другим: — Зачем в магазине изображал черт знает что? Зачем хотел картонную лососину покупать? В оппозицию играешь? А на площади, у моего монумента, зачем крутился? Зачем народ агитировал, что я уже умер?

— Я Льва Толстого имел в виду.

— Кто у нас предгор? Я или Толстой?

— Вы.

— Ты меня свалить захотел?

— Все — набор случайностей.

— Случайность — это осознанная необходимость, — сказал Пупыкин. — Учить теорию надо. Ну что, будешь каяться или разгромим, в пример другим маловерам?

— Как знаете. — Удалов посмотрел на часы. Скоро перерыв кончится. А надо еще настоящего Удалова предупредить, что его ждет.

— Тогда идейный и организационный разгром, — подвел итог беседе Пупыкин.

— Ну, вы прямо диктатор.

— Не лично я диктатор, — ответил Пупыкин, — но осуществляю диктатуру масс. Массы мне доверяют, и я осуществляю.

— Ох, раскусят тебя массы, — предупредил Удалов.

Он тоже поднялся, и от этого движения Пупыкин метнулся в угол, протянул руку к кнопке.

— Не зови свою охрану, — сказал Удалов. — Я пойду перекушу в буфет.

— А вот в буфет тебе вход уже закрыт, — осклабился Пупыкин. — Мне на таких, как ты, тратить икру нежелательно.

— Значит, еще до начала разговора со мной знал, чем он кончится?

— А моя работа такая — знать заранее, что чем кончится. Подожди в приемной, далеко не отходи. Никуда тебе от меня не скрыться.

Удалов вышел из кабинета. Спортсмены с повязками дружинников его пропустили. Удалов поглядел на секретарш. Вот черненькая — могла бы стать его женой и таить личико под занавеской, а вот и беленькая — тоже мог получить. Где же ты, Ксюша, где же ты, родная моя? И Удалов затосковал по Ксюше за двоих — за себя и за своего двойника.

На улице моросил дождик, но работы вокруг монумента не прекращались. Детишки вскапывали клумбы, воспитательницы сажали рассаду, монтажники крепили к боку статуи руку с портфелем, бригада дорожников сыпала щебенку под асфальтовое покрытие.

Удалов, отворачиваясь от людей, быстро прошел к памятнику. За массивным постаментом таился невысокий полный мужчина в плаще с поднятым воротником, в шляпс, натянутой на уши, и в черных очках. “Значит, вот как я выгляжу со стороны”, — подумал Удалов и подошел к двойнику.

— Ждешь? — сказал он.

— Тише! Тут люди рядом. Ты куда пропал?

— Пупыкин меня допрашивал.

— Ой, тогда я пошел! Лучше сразу в ноги!

— погоди, разве не хочешь послушать, что тебя ждет?

— А что?

— И переодеться не хочешь?

— Зачем?

— Затем, что Удалов не может выйти на перерыв из кабинета в одном костюме, а вернуться в другом. Вижу, ты, мой брат, совсем поглупел.

— Тогда бежим — вон там подсобка, вроде пустая.

— Бежим.

Они побежали, а Удалов сказал по пути двойнику:

— Ты хорошенько подумай, прежде чем туда возвращаться.

— А что?

— Как только они икру съедят...

— Сегодня икру в буфете дают? — с тоской спросил двойник. С такой искренней тоской, что Удалов даже остановился.

— Ты что, серьезно?

— Но мне же положено, — ответил двойник.

— А раз положено, надо взять?

— Как же не взять, раз положено?

Они побежали дальше, забрались в вагончик. Он в самом деле был пуст. На крючках висели пиджаки, на столике стояли пустые миски.

Двойник сразу начал раздеваться. Удалов последовал его примеру.

— Смотрю я на тебя, — сказал он, — и думаю: если ты, мой полный двойник, смог так превратиться в такое... значит, и во мне это сидит?

— Что сидит? — не понял двойник.

— Рабство. Лакейство.

— Я, прости, не раб и не лакей, — ответил второй Удалов, — я на ответственной работе, не ворую, морально устойчив...

— И воруюшь, и морально неустойчив, — отрезал Удалов. — Только сам уже этого не замечаешь. Если икру тебе в буфете дают, а другим не положено, значит, ты се воруюшь. Понял?

— Ты с ума сошел! Разве ты не понимаешь, что мы, руководящие работники, должны поддерживать свои умственные способности? У нас же особенная работа, организационная!

— А в детском саду икру дают?

— Не знаю. Там молоко дают.

— Ну и погряз ты, Кориелий, не ожидал я от тебя.

— А чем ты лучше?

— Я светлое будущее строю.

— Я тоже. Под водительством товарища Пупыкина. А ты под чьим водительством?

— Дурак ты, Кориелий. У нас водительство демократическое.

— У нас тоже.

— Не путай демократию с круговой порукой.

Второй Корнелий начал натягивать брюки. Разговор с двойником его встревожил и даже разозлил.

— Может, у вас и демократия, — сказал он. — Только твоей заслуги в том нет. Не прижали тебя, вот и гордый. А попал бы на мое место, куда бы делся? Некоторые сопротивлялись. Что это им дало? Что это дало народу? Где Стендаль? Где Ксения? Где Минц? Где Ванда?

— Где?

— В разных местах. Наш народ еще не дорос до демократии. Нам твердая рука нужна. Хорошо служишь — тебя ценят.

— Как ценят, не знаю, но сейчас будут разбирать твое персональное дело.

— Чего? — двойник сжался, как от удара в живот.

— Не чевокай, а слушай. Меня утром на шоссе видели, что я картошку собирал. Решили, что это ты.

— А зачем ты картошку собирал?

— Зиночке Сочкиной помочь хотел. Она ее в город несла.

— Это же преступление! Картошка по талонам, а она ее с поля украла!

— Помочь человеку, учти, это никогда не преступление. Потом я в магазин хотел купить лососины...

— Откуда лососина в магазине? Что за глупость?

— Я и говорю, что нет лососины в магазине. Так что эту глупость тебе припишут. Потом я на этой площади сказал, что Пупыкин уже помер...

— Я тебя убью! Ты меня погубить вздумал?

— Откуда я знал, что у вас такие порядки? Но главное то, что я на вашем активе Оболенскому про его моральный уровень сообщил.

— Ну кто тебя просил! Оболенский же пупыкинский друг!

— А никто меня не просил, кроме чувства собственного достоинства. Честь твою защищал.

— Что ты понимаешь в чести!

— А ты?

— Я-то понимаю. Честь — это дисциплина.

— Вот именно. В этом у нас расхождение. Так пойдешь на свою казнь или смоемся, пока не поздно?

— Я все объясню. Василий Парфенович меня простит.

— Ты там от всего отпирайся, — посоветовал Уда-
лов. — Я не я, корова не моя.

Но двойник уже не слушал. Он рвался прочь.

— погоди! — крикнул ему вслед Удалов. — Где мне
Минца отыскать?

Двойник ничего не ответил. Ежась от дождя, он бежал
через площадь к входу в Гордом, навстречу своей горькой
судьбе.

Тогда Удалов, избегая людных мест, поспешил к свое-
му дому. Он знал, кого ему искать. Старый друг и сосед,
изобретатель Грубин не мог измениться.

Но и Грубин изменился.

Удалов заглянул к нему со двора. Комната была еще
более захламлена, чем обычно. В ней почему-то было
много частей человеческого тела, изготовленных из белой
пластмассы, и Грубин сидел на продавленной кровати,
держал голову в руках, будто хотел отвинтить. И медленно
раскачивался.

Наверное, зубы болят, решил Удалов и постучал в
окно.

Грубин поднял голову, посмотрел на Удалова тупым
взглядом и вновь опустил голову.

Удалов тихонько вошел в дом, поглядел наверх — не
смотрит ли кто со второго этажа — и толкнул дверь к
Грубину. К счастью, она была открыта.

Удалов вошел в комнату и сказал:

— Привет, Саша. Ты чем-то расстроен?

— А ты не знаешь? — спросил Грубин, не поднимая
головы.

— Пытаюсь понять.

— Тебе все ясно, — ответил Грубин. — Ты нашел свое
место.

— А ты?

— Вот в том и ужас! — закричал Грубин. — Как же я
так мог попасться? Ты мне скажи, как я мог попасться? Ну
ладно, ты человек слабый, угодил в силки, даже биться не
стал. Куда несут, туда и идешь. Но я-то творческая интел-
лигенция, всю жизнь гордился своей независимостью. И
вот — стал соучастником преступления!

— Погоди, не все сразу. Давай по порядку.

Удалову захотелось понять, что произошло с Грубиным. Может быть, изменения только внешние, тогда еще не все потеряно.

— Мне с тобой говорить не о чем, — сказал Грубин.

— Почему же?

— Сам знаешь. Ты — номенклатура. Я — продавшаяся интеллигенция.

— А ты все-таки скажи. Допусти, что перед тобой не Удалов, а какой-то другой человек.

— Какой-то другой к Пилипенко доносить не побежит. А Удалов побежит.

— Не побегу, — возразил Удалов. — Честное слово.

— Ты правды захотел? Тогда держись! Скажу тебе, Корнелий, что за последние три года ты сильно изменился. С тех пор, как тебя этот Пупыкин приблизил, ты сам на себя не похож. Готов землю за ним лизать. А с Ксенией что вы сделали?

— А что?

— Только не говори, что ты подчинился силе! Другой бы никогда жену не отдал. Залег бы в прихожей с пулеметом, отбивался бы до последнего патрона. А ты выбрал Пупыкина. Ну, выбрал и пресмыкайся.

— А еще что? — спросил Удалов. Горько ему было слушать такие слова о своем двойнике. Но надо слушать. На чужих ошибках учатся.

— А с Минцем ты как поступил? Ты зачем Минца топил?

— Я? Минца?

— Зря я с тобой разговариваю — время впустую трачу. Только удивительно — как быстро меняются люди.

— Тогда слушай ты, — решился Удалов. — И постарайся мне поверить.

Он произнес эти слова так значительно, что Грубин в удивлении уставился на него...

— Я не Удалов, — сказал Корнелий Иванович. — То есть я Удалов, но вовсе другой Удалов. А настоящий Удалов сидит сейчас в Гордоме, на активе, и соратники топчут его ногами.

Вот что удивительно — Грубин поверил Удалову мгновенно!

— У тебя глаза другие, — признал он. — У тебя глаза прежние. Может, даже смелее. Объясни.

И Удалов объяснил. И про изобретение Минца, и про то, как Минц простудился и пришлось Удалову идти в параллельный мир вместо друга.

По мере того как он рассказывал, лицо Грубина светлело, морщины разглаживались, даже волосы начали завиваться.

Грубин вскочил, принялся бегать по комнате, опрокидывая предметы и расшвыривая пластиковые руки и ноги.

— Сейчас же! — закричал он, не дав Удалову договорить. — Сейчас же обратно! Беги отсюда! Тебе здесь не место. И если можешь, возьми меня с собой. Больше я здесь жить не могу!

— Спокойно, — остановил его Удалов. — Без паники. У меня задача — найти Минца. И вторая — во всем разобраться. А как исправлять положение, подумаем вместе. Рассказывай. Коротко, внятно. Начинай!

Последнее слово прозвучало приказом, и Грубин подчинился ему. Он остановился у стола, задумался.

— Даже не знаю, как начать. Произошло это три с половиной года назад. Был у нас предгором Селиванов.

— Помню, — подтвердил Удалов. — У нас он тоже предгором был. Потом на пенсию ушел.

— И занял то место его заместитель Пупыкин, Василий Парфеныч.

— У нас тоже. Все пока сходится.

— Времена, ты знаешь, были тихие, ни шатко, ни валко... Утвердили Пупыкина предгором, он сначала ничего вроде бы и не делал. Все повторял: как нас учил товарищ Селиванов... Продолжая дело товарища Селиванова...

— Смотри-ка, у нас тоже так начинал!

— Потом начались кадровые перестановки. То один на пенсию, то другой, того с места убрали, того на новое место назначили... и тон у Пупыкина менялся. Уверенный тон становился. Ботинки заказал себе в Вологде на высоких каблуках... Пилюпенку приблизил... Это наш старшина милиции.

— Знаю, он у нас до сих пор старшина. Простой мужик, душевный. Председатель общества охраны животных.

— Против Пупыкина боролись. Был у нас такой Белосельский, не знаешь? Коля? В классе с нами учился.

— Еще бы не знать, — улыбнулся Удалов.

— Так этот Белосельский выступил. Потребовал, чтобы покомичить с приписками и обманом, а развивать трудовую инициативу и демократию... да, демократию...

Удалов кивнул. Он эту историю отлично помнил.

— Не знаю уж, каким образом, все было сделано тихо — куда-то Пупыкин написал, кому-то позвонил, что-то против Белосельского раскопал. Только слетел Белосельский со своего места. И пришлось ему уехать за правдой в область. Не знаю уж, отыскал он ее там или нет — только в город он не вернулся. А для многих его поражение стало хорошим уроком. Поняли: опасно идти против Пупыкина.

— Вот как у вас дело повернулось, — вздохнул Удалов. — Теперь мне многое понятно.

— А дальше — пошло, покатилося. Пупыкин всюду выступал, говорил, какие мы счастливые, как наш город движется вперед семимильными шагами. И чем меньше товаров в магазинах становилось, тем громче выступал Пупыкин. И что грустно — как только люди убедились, что Пупыкин твердо сидит, не скovenуть его, они по углам разбежались, каждый у себя дома боролся за демократию и гласность, а на собраниях голосовали, как надо.

— Понятно.

— Через год и ты, прости, Корнелий, сообразил, что лучше быть при начальнике, чем против. Как-то на собрании ты выступил против Пупыкина. И тут же тебе — выговор за выговором, а потом открыли против тебя уголовное дело за хищение стройматериалов.

— Да чтобы я похищал!

— Верю, что не похищал. Только ты после этого сник, со мной даже разговаривать перестал, а стал рядом с Пупыкиным на трибуне стоять.

— Быстро вы ко всему привыкли!

— А что откладывать в долгий ящик? Если тебе с утра до вечера объясняют, как повезло тебе с таким хорошим начальником, то лучше согласиться.

— И ты тоже согласился?

— В этом мое преступление! — воскликнул Грубин. —

Ты же знаешь, я неплохой изобретатель. Я предложенье сделал, чтобы пластмассу усовершенствовать, из которой игрушки на фабрике делали. И формы новые изобрел — думал сделать для дома отдыха шахматы в виде рыцарей ростом в человека, но легкие. А директор фабрики Мимеонов в то время решил Пупыкину угодить — наладить массовое производство его бюстов. Для того чтобы в каждом учреждении и в каждой квартире стояли. Вот он этим способом и воспользовался. Пупыкину эта инициатива понравилась. Меня консультантом на фабрику пригласили, премию дали. А когда Мимеонов начал для будущего счастливого города Великого Пупыкина статуи — в натуральную величину изготавливать, приложил и я руку к этому безобразию. Теперь мучаюсь.

— Значит, другие не мучились и воспевали, а ты мучился, но тоже воспевал? — спросил Удалов.

— Только не надо иронии, — сказал Грубин. — Я же все понимал. И даже предупреждал Мимеонова — умерь свой пыл! Фильтров на заводе нету, отбросы у нас вредные, прорвет — весь город погубим. Ты когда к нам приехал?

— Сегодня утром. Видел я, до чего ваша деятельность довела. Костюм погубил и вообще всю одежду.

— Больше я на фабрику не выйду! Лучше пусть меня выселяют на сельское шефство, лучше на принудотдых... Что угодно — больше я с ними вместе шагу не сделаю.

— Погоди, не части. Мне ваша система не совсем понятна.

— А у вас иначе?

— Мне сейчас некогда тебе объяснять — скажу только, что твой Пупыкин уже на пенсии, уголовное дело против него возбуждено...

— Что? Не может быть! Какое счастье!

— Не суетись. Будет время — расскажу. Мне сейчас главное — узнать, где Минц, что с ним, здоров ли, почему его дверь опечатана?

— Не знаешь? Он же на принудотдыхе. За саботаж.

— Минц? За саботаж?

— Он не оправдал. Гравитационный подъемник собственными руками сломал, чтобы статую не воздвигать.

— Говоришь, гравитацию изобрел?

— Точно знаю — изобрел, мы с ним вместе испытывали.

— А для Пупыкина — ни-ни?
— Он принципиальный.
— Значит, есть все-таки принципиальные?
— Принципиальные, конечно, есть. Немного, но есть, — признался Грубин. — Но за принципы приходится дорого платить. И Минц заплатил. И Ксюша твоя...

— Да, совсем забыл. Что за история с Риммой?

— Когда Ксюшу на сельхозшестство отправили...

— Помытее!

— У нас сельское население разбежалось, — объяснил Грубин. — По другим областям. Хозяйства обезлюдели. А Пупыкин в область всегда рапортует, что у нас постоянный прогресс. Что ни год, сеем на пять дней раньше, собираем на три дня раньше, и растут урожаи на три процента в год. Поставки он всегда выполняет. Только из-за этого в городе жрать нечего, а в поле работать отправляют всех, кто несогласный, или подозрительный, или кто не нужен. Половину учителей отправили, врачей больше половины, весь речной техникум там копает и пропаживает... А из футболистов и самбистов Пупыкин создал дружины, которые людей придерживают. Их на усиленном питании держат.

— Значит, крепостное хозяйство?

— Нет, это сельхозшестством у нас называется. Но что странно, Корнелий, — те, кто в городе остался, считают, что с сельским хозяйством все нормально. Потому что каждый день в газете нам рассказывают, как мы хорошо живем.

— А что случилось с Ксюшей?

— Как-то товарищ Пупыкин лично к тебе домой, то есть к Удалову, приехал, чтобы показать свое к нему расположение. А Ксения вместо обеда ему скандал закатила, всю правду выложила. Ты знаешь Ксению — она неуправляемая. Обиделся Пупыкин, на следующее утро ее скрутили, посадили на мотоцикл к Пилипенко — и в деревню, перевоспитываться, на сельхозшестство без права возвращения в город.

— А я? То есть, а он?

— А он... он побегал к Пупыкину, просит — верни мою жену! А Пупыкин, говорят, погладил его по головке и говорит: не нужна тебе такая старая и непослушная жена. Она меня не уважает, значит, и тебя не уважает, и

нашу великую родину не уважает. Мы тебе сделаем сегодня же развод, и отдам я тебе любую из своих секретарш. Так и сделал. Развел, на Римке женил. Она мне сама рассказывала.

— Ясно, — сказал Удалов. — Общая картина мне понятна. Пошли к Минцу. Где он отдыхает?

— Принудотдых, Корнелий, это по-старому тюрьма. Находится она в подвалах под гостинным двором, где раньше склады были. Там особо недовольные отдыхают.

— Ты хочешь сказать, что профессор Лев Христофорович Минц, лауреат двадцати премий, профессор тридцати университетов, находится в подвалах инквизиции?

— Ну, не то чтобы инквизиции, — смутился Грубин. — Но в подвалах...

— Срочно едем в область! Это не должно продолжаться.

— До области ты не доедешь, — ответил Грубин. — Некоторые пытались. В область специальное разрешение нужно. Его лично Пилипенко подписывает. Только проверенные оптимисты туда попадают. Так что в области о Великом Гусляре самое лучшее представление.

— Но ведь кто-то приезжает!

— Если приезжает, то на витрины с картонной лососиной смотрят, а потом в предгорском буфете обедают. Ясно?

— Минца надо освободить!

— Надо. Но не знаю, как.

— Может, прессу поднять?

— Малюжкина? Ты сам видел. Его голове нужна ясность. А ясность он получает сверху.

— Ну что ж, — сказал Удалов, — тогда пошли в подвал.

— Подвалы заперты, там дружинники.

— Саша, ведь недаром я столько лет ремонтами занимаюсь. Неужели мне подземные ходы в этом городе неизвестны?

— А есть ход?

— Должен быть. По крайней мере, в моем мире есть и даже расчищен археологами. Его воры в пятнадцатом веке прокопали — тюки из гостиного двора выносили.

Когда они с Грубиным вышли во двор, Удалов вдруг услышал:

— Корнелий, ты куда? Ты почему домой не идешь?
Голос был женский, жалобный.

Удалов поднял голову. В окне его квартиры стояла молодая жена Римма, неглиже, лицо опухло от слез.

— Я раскаиваюсь! — крикнула она. — Это была минутная слабость. Он старался меня безуспешно соблазнить. Вернись, Корнелий. И не верь клевете Грубина. Он тебе завидует! Вернись в мои страстные объятия!

— Не по адресу обращаетесь, гражданка, — ехидно ответил Удалов.

А Грубин добавил:

— Чего на тебя клеветать? На тебя клеветщи, не клеветщи — пробы ставить некуда.

И молодая жена Римма плюнула им вслед.



По бывшей Яблоневой, а ныне Прогрессивной улице мимо лозунга на столбах: «Пупыкин сказал — народ делает!», мимо дома-музея В.П.Пупыкина друзья спустились к реке в том месте, где к обрыву примыкают реставрационные мастерские. В удаловском мире эти мастерские кипят жизнью и деятельностью. В этом они стояли пустынные, ворота прикрыты, всюду грязь.

Удалов уверенно прошел за сарай, там отодвинул гнилую доску, и перед ними обнаружился вход в подземелье, кое-как укрепленный семью бревнами. Грубин достал заготовленный дома фонарик.

Идти пришлось долго, порой Удалов останавливался, заглядывал в боковые ответвления, выкопанные то ли кладонскаателями, то ли разбойниками, но ни разу дороги не потерял. Ход окончился возле окованной железными полосами двери.

— Здесь, — сказал Удалов. — Теперь полная тишина!

И тут же раздался жуткий скрип, потому что Удалов стал открывать дверь, которую лет сто никто не открывал.

К счастью, никто скрипа не слышал.

Его заглушил отчаянный человеческий крик.

Они стояли в подземных складах гостинного двора, превращенных волей Пупыкина в место для изоляции и принудотдыха.

Впереди тянулся низкий сводчатый туннель, кое-где освещенный голыми лампочками. Крик доносился из-за одной двери — туда и поспешили друзья, полагая, что именно там пытаются непокорного профессора.

Но они ошиблись.

Сквозь приоткрытую дверь они увидели, что в побеленной камере на стуле сидит удрученный Удалов. Перед ним, широко расставив ноги, стоит капитан Пилипенко.

Пилипенко Удалова не бил. Он только читал ему что-то по бумажке.

— Нет! — кричал Удалов. — Не было заговора! И долларов я в глаза не видал.

Пилипенко подождал, пока Удалов кончит вопить, и спокойно продолжал чтение.

Было слышно:

— «Получив тридцать серебряных долларов от сионистского агента Минца, я согласился поджечь детский сад номер два и отравить колодец у родильного дома...»

— Нет! — закричал Удалов. — Я люблю детей!

— Ну что, освободим? — спросил шепотом Удалов у Грубина.

— Не стоит тебя освобождать, — искренне возразил Грубин. — Не стоишь ты этого. А то вмешаемся в драку, сами погибнем и Минца не спасем.

Нельзя сказать, что Удалов был полностью согласен с другом. Трудно наблюдать, когда тебя самого заточили в тюрьму и еще издеваются. Но Удалов признал правоту Грубина. Есть цель. И цель благородная. Она — в первую очередь.

Они прошли на цыпочках мимо камеры, в которую угодил двойник Удалова, и остановились перед следующей, которая была закрыта на засов.

Грубин резко отодвинул засов и открыл дверь.

В камере было темно.

— Лев Христофорович, — позвал Грубин. — Вы здесь?

— Ошиблись адресом, — ответил спокойный голос. — Лев Христофорович живет в следующем номере. Имсю честь с ним перестукиваться.

— А вы кто? — спросил Удалов.

— Учитель рисования Елистратов, — послышалось в ответ.

— Семен Борисович! — воскликнул Удалов. — А вас за что?

— За то, что я отказался писать картину «Пупыкин обзореваает плодородные нивы».

— Выходите, пожалуйста, — попросил Грубин.

— Это официальное решение?

— Нет, мы хотим вас освободить.

— Простите, я останусь, — ответил учитель рисования. — Я выйду только после моей полной и абсолютной реабилитации.

— Тогда ждите, — сказал Удалов.

Времени терять было нельзя. В любой момент в коридоре могли появиться охранники. Они перебежали к следующей двери. Грубин открыл и ее.

— Лев Христофорович?

— Собственной персоной. Вы почему здесь, Саша?

— Я к вам гостя привел, — произнес Грубин.

Они вошли в камеру, закрыли за собой дверь. Грубин посветил фонариком. Профессор Минц, сидевший на каменном полу, подстелив под себя пиджак, прикрыл глаза ладонью.

— Потушите, — попросил он. — Мои глаза отвыкли от света.

— Я к вам гостя привел, — повторил Грубин.

— Кого? Кто осмелился залезть в это узилище? Кто мой друг?

— Это я, Корнелий, — проговорил Удалов.

— Отказываюсь верить собственным ушам! Разве не вы первый на разборе моего персонального дела предложили изолировать меня в этом доме подземного отдыха?

— Нет, не я, — честно ответил Удалов.

— Не вы ли заклеили меня званием врага народа и иностранного агента?

— Нет, не я.

— Вы лжец, Удалов! — воскликнул Минц. — И я не намерен с вами разговаривать.

— Тот Удалов, который голосовал и призывал, — ответил Корнелий, — сейчас сидит через две камеры от вас. Пилипенко ему террористический заговор шьет. А я — совсем другой Удалов.

— Не понял!

— Я живу в параллельном мире. Меня послал сюда

наш Лев Христофорович. По делу. Но когда я узнал, что у вас творится...

— Стойте! — закричал профессор. — Это же великолепно! Грубин, осветите фонариком.

И Минц бросился в объятия к Удалову.

— Значит, параллельные миры существуют! — радовался ученый. — Значит, мои предположения и теоретические расчеты были правильны. Да здравствует наука! И что же просил передать мой двойник?

— Лев Христофорович стоит перед проблемой, — сказал Удалов. — Нам нужно прокладывать магистраль через Гусляр, а у него никак не получается с антигравитацией. Он сам простудился и просил меня сгонять к вам и взять расчеты.

— Вы говорите правду? — насторожился Минц.

— А зачем мне врать?

— А затем, что это может быть дьявольской выдумкой Пупыкина. Ему нужна моя гравитация. Ради нее он пойдет на все. Он способен даже выдумать параллельный мир.

— Нет, Удалов правду говорит! — сказал Грубин. — Я верю.

— А я не верю! — сказал Минц. — Если в вашем параллельном мире тоже прокладывают магистраль, мой двойник никогда не согласится участвовать в преступлении против нашего города. Он, как и я, предпочел кончить свои дни в темнице, но не пошел бы в услужение к варварам.

— Но в нашем мире, — возразил Удалов, — антигравитация нужна, чтобы подвинуть часовню Филиппа и не разрушить памятники.

Минц все еще колебался.

Тогда Грубин сказал:

— Есть выход. Хотите доказательства?

— Хочу.

— Тогда пошли с нами, я покажу второго Удалова.

Минц поднялся и, поддерживаемый Грубиным, вышел в коридор.

Через минуту они были у камеры, где Пилипенко допрашивал второго Удалова.

Минц заглянул в дверь, потом обернулся к Удалову.

— Простите, что я вам не поверил. Но доверчивость нам слишком дорого обходится.

— Как мне приятно это слышать, — ответил Удалов. — Я сначала испугался, что здесь все смирились с тираном.

— Это не тиран. Это мелкий бандит, — возразил Минц. — Тираны отжили свой век, но тиранство еще живет.

Последние слова он произнес слишком громко. Пилипенко услышал шум в коридоре, метнулся к двери, отворил ее и увидел Минца.

— Выскочил? Бежать вздумал? — заревел капитан, засовывая руку в кобуру.

Минц оторопел. Он не знал, что делать в таких случаях. Но Удалов, который вырос без отца, на улице, отлично знал, что надо в таких случаях делать. Он отодвинул в сторону Минца, шагнул вперед и сказал:

— Все, Пилипенко. Доигрался ты.

У Пилипенко отвисла челюсть. Он, как кролик на удава, смотрел на Удалова. Потом метнул глазами в открытую дверь и увидел там второго Удалова.

— Аааа, — лепетал Пилипенко...

Грубин не терял времени даром.

— Корнелий! — крикнул он двойнику Удалова. — Выходи!

А первый Корнелий тем временем отобрал у оторопевшего милиционера пистолет, а самого его затолкал в камеру и закрыл дверь на засов. Пилипенко даже не возражал.

— Теперь бежать! — поторопил Грубин.

Они побежали по коридору к подземному ходу.

И вовремя. Потому что Пилипенко опомнился, стал молотить в дверь, звать на помощь и издали слышались шаги — от входа в подземелье бежали дружинники-самбисты.

Но дверь в подземелье уже была закрыта, и, незамеченные, наши герои поспешили к реставрационным мастерским.

Если погоня и была, она их потеряла.

Без приключений они выбрались из-под земли, уселись за сараем, чтобы перевести дух.

Был хороший осенний вечер. Солнце уже спряталось за стросениями, небо прояснилось, было бесцветным, а редкие облака подсвечивало золотом по краям, словно они были большими осенними листьями.

Удалов смотрел на своего двойника — у того синяк под глазом, царапина на щеке, и вообще вид потрепанный.

— Били? — спросил Удалов с сочувствием.

— Пилипенко, — ответил двойник. — Я до него доберусь.

— Нет, — сказал профессор Минц. — Судить его будет народ.

— Кто? — вздохнул двойник Удалова. — Прокурор? Судья? Так они все у Пупыкина в кармане.

— Бригаду пришлют, из области, — произнес Грубин. — Или даже из Москвы. Неподкупную.

— Революция! — сказал Удалов-двойник мрачно. — Только революция сможет смести весь этот вертеп.

— Революцию устраивать нельзя, — объяснил Грубин. — Мы живем в социалистическом государстве, у нас законы, профсоюзы, против кого ты хочешь революцию устраивать?

— Без революции не обойтись.

— А как ты ее организуешь?

— Пойду к народу, раскрою ему глаза.

— Скажи, — спросил Грубин, — а у тебя до сегодняшнего дня глаза что, закрыты были?

— Нет, я видел, конечно, недостатки... — Удалов смешался, замолчал.

— И заедал их черной икрой из спецбуфета, — закончил за него фразу Грубин. И горько улыбнулся. И все улыбнулись, потому что в словах Грубина была жизненная правда.

— Надо писать, — предложил Минц, — пришлют комиссию.

— Многие писали, — возразил Грубин. — Только все письма на почте перехватывают, а потом где этот писатель? На трудовом шефстве. Да еще, как назло, наш горид железной дороги не имеет и окружен непроходимыми лесами.

— Не такими уж непроходимыми, — вмешался Удалов.

— Я боюсь, Пупыкин справится с любой комиссией. У

него по этой части опыт. У него документация отработана. Комар носу не подточит.

— Странно мне смотреть на вас, друзья, — сказал Удалов. — Вы все такие же самые, как и в настоящем мире. И внешние, и по голосу. И в то же время — не такие. Ну, мог ли я когда предположить, что Корнелий Удалов, человек честный, прямой и даже добрый, может стать прислужником у мелкого диктатора?

— Не надо, — попросил двойник. — Это в прошлом. Я все осознал.

— Что же, одного Пупыкина достаточно, чтобы вы из энтузиастов, строителей светлого будущего, превратились в болото?

— Пупыкин не один, — вздохнул Минц. — Это целое направление: пупыковщина. Подлая личность не может изменить историю, если не сколотит банду таких же подлецов. У них на словах все так же, как в нормальных местах. А бумаги фиксируют счастье и прогресс. Пупыкин многим нужен. При Пупыкине можно не думать. А служить. Хорошо служишь — все имеешь. Даже жену молодую тебе могут на дом доставить. Не проявляешь верности... сами понимаете. И с каждым днем становится все больше верных служителей. И пресса у него в руках.

— Вернусь домой — скажу Малюжкину, какую он роль играет при Пупыкине, — он меня убьет, собственными руками убьет. Он же жизнь отдаст за свободу и демократию, — проговорил Удалов.

— И встераны, — продолжал Минц.

— Вы Ложкина не знаете — он вчера на площади демонстрацией руководил за спасение часовни Филиппа!

— Нет, я сам видел, как Ложкин эту часовню собственными руками на субботнике рушил, — возразил Грубин.

— А ты, Грубин, молчи. Я-то знаю, на что ты в самом деле способен. Весь наш город гордится твоими изобретениями!

Стало прохладно. Облака потемнели, снова подул ветер.

— Мне пора возвращаться, — напомнил Удалов. — Только желательно от Минца формулы получить.

— Формулы у меня в голове, — сказал Минц, — я все бумаги съел.

Ситуация была какая-то ненастоящая, мистическая, словно приснилась. Стоял Удалов в своем родном Гусляре, окруженный не только друзьями, но и самим собой. Сейчас бы пойти посидеть в кафе или в театр махнуть, как культурные люди. А вместо этого они таятся за сараем на опустевшей базе реставраторов и даже не знают, куда деться и что делать дальше.

— Я в подшефное хозяйство пойду, — решил вдруг двойник Удалова. — Пойду Ксюшу проведу. Мне ведь тоже домой нельзя.

Слова двойника Удалова обрадовали — значит, все же не чужие они люди.

И он принял решение.

— Значит, так, — начал он, и все его внимательно слушали.

Потому что Удалов приехал из нормального мира.

— В наш мир сейчас отправится Лев Христофорович. Он сразу пойдет в гости к нашему Минцу и все ему расскажет. Заодно и формулы сообщит. У Минца голова государственная, что-нибудь придумает. А два Минца тем более придумают. Если нужно, сходите к Белосельскому, он может подсказать, к кому в области обращаться. А то и в Москву. Как решите — сразу обратно. Мы будем ждать.

— А вы, Корнелий Иванович? — спросил Минц.

— А я вместе с моим близнецом на сельскохозяйственные работы отправлюсь. Боюсь, что ему без меня у Ксюши прощения не получить.

— Спасибо, ты настоящий друг, — произнес второй Удалов, и скупая слеза покатилась по его грязной исцарапанной щеке.

Удалов достал платок, вытер ему слезу.

— А мне что делать? — спросил Грубин. — Я тоже хочу участвовать.

— Ты будешь ждать. В резерве, — определил Удалов. — Веди пропаганду в народе, готовь перевыборы.

Все послушались Удалова и, выйдя из-за сарая, стали подниматься вверх, переулком, чтобы не попасть на глаза противникам.

Уже поднялись до половины склона, как вдруг Минц остановился.

— То, что вы предложили, Корнелий, — сказал он, — очень разумно. В каком-нибудь фантастическом романе,

наверное, так бы и произошло. Я бы отправился в параллельный мир, оттуда получил бы совет и помощь, вы бы с Удаловым подняли восстание в подшефном хозяйстве, где много горючего человеческого материала. И был бы счастливый конец. Но я сейчас сообразил: мы же не в романе!

— Ты прав, Лев Христофорович, — поддержал Грубин. — Мы в реальной жизни. И действовать должны, как будто никаких параллельных миров и нет. Может, их и в самом деле нет?

— Как так? А я? — спросил Удалов.

— А ты нам только снишься, — заключил Грубин.

— Точно, — подтвердил второй Удалов. — Ты прав, Саша. Сами мы Пупыкина вырастили, сами и ликвидируем.

— У нас не может быть революции! — напомнил Удалов.

— Кто говорит о революции? — ответил Минц. — Мы собираемся навести порядок в своем доме.

Трое друзей переглянулись и согласно кивнули.

— Минутку, — сказал Минц и вытащил из кармана записную книжку. Быстро набросал на ней три строчки цифр и протянул Удалову: — Вот это передай моему двойнику. Это, конечно, не расчеты, но если бы я был на его месте, то обязательно бы догадался, каким путем идти.

— Спасибо, — произнес Удалов. — Хотя все равно считаю, что вас, как ведущего ученого, мы должны эвакуировать в наш мир.

— Эвакуировать пришлось бы весь город, — ответил Минц. Он протянул Удалову руку и добавил: — Спасибо, что к нам заехали. Вы нам сильно помогли. Действием и примером.

— Спасибо, Корнелий, — сказал Грубин, прощаясь с Удаловым. — Рад был встретиться.

Последним с ним попрощался двойник.

— Надеюсь, что Ксения поймет, — сказал он.

— Все образуется, — успокоил его Удалов. — Она у нас отходчивая.

И они троим, как три мушкетера, так и не объяснив Удалову, что намерены делать, быстро пошли вверх по улице.

Страшно за них было. И приятно смотреть на мужскую дружбу. Прямо, как крейсер «Варяг», подумал Удалов, когда он уходил в свой последний неравный бой.

Удалову стало одиноко.

Он сложил вчетверо бумажку с формулами, спрятал в ботинок. Если задержат, может, не найдут.

Когда распрямлялся, услышал сверху короткий хлопок.

Выстрел?

Он взгляделся. Нет, не выстрел. Это хлопнула калитка. Кто-то вышел на улицу и пошел рядом с тремя мушкетерами.

Удалов потоптался на месте еще с минуту...

И припустил в гору за друзьями, которые уже скрылись за ее гребнем.

А когда догнал их, увидел, что рядом с ними идут человек десять, не меньше. А двери и калитки все раскрываются...

1988 г.



Марсианское зелье

Повесть

Мне приходится пойти на нарушение хронологии, поместив повесть «Марсианское зелье» в конец книги, тогда как она была написана одной из первых, куда раньше большинства рассказов и всех иных гуслярских повестей. Однако в дни, когда я писал повесть, мне и в голову не приходило, что я еще не раз вернусь в Великий Гусляр. Так что определенные последствия событий, описанных в ней, настолько радикальны, что, допустим, Александр Грубин больше уже не имеет права участвовать в рассказах. Отныне его пути и пути Великого Гусляра разошлись.

Признаюсь, что я сам эту действительность, созданную мной, долго игнорировал. Может, по причине того, что повесть в полном виде более десяти лет я не мог опубликовать и она как-то переместилась на далекую периферию памяти.

Не будучи целиком напечатана у нас, повесть, первоначально называвшаяся «Рыцари на перекрестке», вышла между тем в Польше и Германии, затем по ней был снят Майоровым кинофильм «Шанс», и лишь сравнительно недавно ее опубликовали полностью в Минске. В том не было никаких политических мотивов — просто повести не очень везло.

Кинофильм «Шанс» снимался в том же калужском море, что и «Золотые рыбки», но актер, игравший Корнелия Удалова, сменился, как сменились и другие актеры, игравшие основных персонажей. Мне это казалось странным и противоестественным, но кино есть кино.

Чтобы не переписывать давно написанную повесть, я счел лучшим сдвинуть ее в пределах сборника таким образом, чтобы Грубин после нее уже больше нам не встретился. А если встретился, то без упоминания его имени.

Ведь, судя по всему, Грубин сейчас трудится в Москве

в Академии наук вместе со своей прекрасной молодой женой, а Елена Сергеевна переселилась за Уральский хребет.

1

Корнелий Удалов не решился один идти с жалобой в универмаг. Он спустился вниз, позвал на помощь соседа. Грубин, услышав просьбу, долго хохотал, но не отказал и даже был польщен. Отодвинул микроскоп, закатал рисовое зернышко в мягкую бумагу, положил в ящик стола. Потом шагнул к трехсотлитровому самодельному аквариуму и взял брошенный на него черный пиджак с блеском на локтях. Пиджаком Грубин спасал тропических рыбок от говорящего ворона. Ворон их пугал, болтал клювом в воде.

— Ты, Корнелий, не робей, — говорил Грубин, надевая пиджак поверх голубой застиранной майки. — В ракостроении перекосов быть не должно.

Ворон забил крыльями, запросился на волю, но Грубин его с собой не взял, напротив — сунул в шкаф, запер.

Удалов подхватил большой прозрачный мешок, в котором покоилась оказавшаяся дефектной красная пластиковая ракета на желтой пусковой установке, купленная в подарок сыну Максимке, понизже надвинул соломенную шляпу и первым направился к двери.

Грубин, превосходивший Корнелия ростом на три головы, шагал размашисто, мотал нечесаной шевелюрой, посмеивался и громко рассуждал.

Удалов шел мелко, потел и боялся, что его увидят знакомые.

Жена Удалова, Ксения, крикнула им вслед со двора:

— Без замены не являйся!

— Ну-ну, — сказал Грубин негромко.

Они пошли по улице.

Двухэтажный, большей частью каменный, некогда купеческий, а теперь районный центр, город Великий Гусляр к концу июня раскалится от затяжной засухи. Редкие грузовики, газики и автобусы, проезжавшие по Пушкинской улице, тянули за собой длинные конусы желтой пыли и оттого напоминали приземлившихся парашютистов.

Был второй час дня и самая жара. На улицах показыв

вались только те люди, которым это было крайне необходимо. Потому Корнелий и выбрал такое время, а не вечер. Он даже пожертвовал обеденным перерывом: надеялся, универмаг пуст и не стыдно будет поднимать разговор из-за пустяковой игрушки.

Миновали аптеку. Грубин поздоровался с сидевшим у открытого окна провизором Савичем.

— Не жарко? — спросил Савич, поглядев на Грубина поверх очков. Сам Савич был потный и дышал ртом.

— Идем на конфликт! — громко известил Грубин. — Вменяем иск против государства!

Удалов уже жалел, что позвал Грубина. Он дернул соседа за полу пиджака, чтобы тот не задерживался.

— И вы тоже, товарищ Удалов? — Провизор обрадовался случаю отвлечься. — У вас опять неприятности?

Удалов буркнул невнятное и прибавил ходу. Головой повертел, чтобы поглубже ушла в шляпу, и даже стал прихрамывать: хотел быть неузнаваемым.

Грубин догнал его в два шага и сказал:

— Правильно он тебе намекнул. Я давно задумываюсь, как с помощью материализма объяснить, что половина всех невезений в городе падает на тебя?

— Архив покрасить пора, — уклончиво сказал Корнелий.

Грубин удивился и посмотрел на церковь Параскевы Пятницы, в которой размещался районный архив.

— Твое дело, — сказал Грубин. — Ты у нас начальник.

По другую сторону улицы стоял Спасо-Трофимовский монастырь, отданный после революции речному техникуму. Дюжие мальчишки на велосипедах выезжали оттуда и катили на пляж. Монастырь, в отличие от Параскевы Пятницы, был хорошо покрашен, и купола главного собора сверкали, как стеклянные адские котлы, наполненные лавой.

— Мне твоя жена говорила, — продолжал Грубин, — что тебе в десятом классе на экзамене тринадцатый билет по истории достался и ты медаль не получил. Правда?

— Я бы ее и так не получил, — возразил Удалов.

А сам подумал: «Зря Ксения такие сплетни распространяет. Это дело старое, счеты с Кагельской, тогдашней историчкой. Если бы можно жизнь повторить сначала, смучил бы все про Радищева». Сколько лет прошло, не

думал тогда, что станет директором ремстройконторы, а видел перед собой прямую дорогу вдаль.

— Я жизнью удовлетворен, — произнес Удалов твердо, и Грубин хохотнул, глядя сверху. То ли не поверил другу, то ли был сам не удовлетворен.

Универмаг находился в бывшем магазине купца Титова. Купец перед самой первой мировой получил потомственное дворянство и герб с тремя кабанами: Смелость, Упорство, Благополучие. Теперь кабаны с герба осыпались, а рыцарская шляпа с перьями над щитом осталась. И купидоны по сторонам.

У входа в универмаг сидели в ряд обалдевшие от жары бабки из пригородного совхоза. Сидели с ночи — поддались слухам, что будут давать трикотажные кофточки по низким ценам.

Удалов отвернулся от бабок и боком постарался вспрыгнуть на три ступеньки. Он хотел сделать это легко, спортивно, но споткнулся о верхнюю ступеньку и упал животом на прозрачный пакет с пластиковой ракетой.

Грубин только ахнул.

Бабки очнулись и зашептались. Ракета жалобно скрипнула и распалась, как пустой гороховый стручок. Пусковая установка желтого цвета сплющилась в квадратную лепешку.

Корнелий, не смея обернуться, вскочил, взглянул вниз на останки ракеты, закинул мешок за спину и, пригнувшись, вбежал в полутьму магазина.

— Ну, что я говорил? — спросил у бабок Грубин.

Те оробели от дикого вида и значительного роста Грубина и затихли.

— Задача осложняется, — объяснил им Грубин и поспешил за Корнелием в нутро магазина.

Удалов передвигался по магазину медленно, будто по колесу в воде. Свободной рукой растирал ушибленный бок. Так дошел до прилавка с игрушками, остановился и подождал, прислушиваясь, пока не подошел Грубин.

— Плохо дело, — сказал Грубин. — Может, пойдём домой?

— Жена, — прошептал Корнелий.

Шурочка Родионова, продащица игрушек, ждала обещанного перерыва и читала переводную книгу Зенона Кисидовского «Библейские сказания». Шурочка собиралась

быть археологом и три года занималась в историческом кружке у Елены Сергеевны Кастельской, которая была тогда директором музея. Школу Шурочка кончила хорошо, но в Вологду в институт поступать не поехала: с деньгами плохо. Пошла на год в продавщицы, хотя от планов не отказалась, читала книги и учила английский язык. К девятнадцати годам стала Шурочка так хороша, что многие мужчины, у которых не было детей, ходили в универмаг покупать игрушки.

Шурочка слышала шум у дверей, но не отвлеклась — читала комментарий про ошибки автора. Только когда Грубин с Удаловым подошли вплотную, она подняла голову, поправила золотую челку и сказала: «Пожалуйста». А мысленно еще оставалась вблизи города Иерихона на Ближнем Востоке и переживала его трагедию.

Обоих посетителей она знала. Один, маленький, толстый — Удалов, директор ремконторы. Второй — длинный, колючий, лохматый — заведовал пунктом вторсырья у рынка и принимал пустые бутылки.

— Здравствуйте, — сказали посетители.

Удалов поморщился и вытащил из-за спины большой прозрачный мешок с жалкими остатками пластиковой ракеты.

— Ой! — воскликнула Шурочка. — Что же у вас случилось?

— Замените! — произнес Удалов. — Брак!

— Как же так?

Шурочка положила книжку на прилавок и забыла об Иерихоне.

— Не видите, что ли? — все так же сердито спросил Удалов.

Шурочка не знала, что говорит он строго от робости и сознания своей неправоты. Она обиделась и отвечала:

— Я вам, гражданин, такого не продавала. Я сейчас изведующую позову... Ванда Казимировна!

Корнелий совсем оробел и сказал:

— Ну-ка дайте мне жалобную книгу!

Он хотел отодвинуть шляпу на затылок, но не рассчитал, шляпа слетела и шмякнулась на пол. Удалов пошел за щипцом.

— Вы нас поймите правильно, — разъяснил Грубин. — Брак заключался в ракете раньше, чем случился инцидент.

Пришла заведующая, Ванда Казимировна, женщина масштабная, решительная и жена провизора Савича.

— Такое добро, — сказала она Грубину с намеком, — надо в утильсырье нести, а не в универмаг.

Бабки от входа пришли на разговор, и одна сказала:

— Чем торгуют! Постыдились бы.

Другая спросила:

— Кофточки сегодня будут давать?

— Спокойствие, — настаивал Грубин. — Я вам все покажу.

Он вынул из мешка две половинки ракеты, сложил их в стручок и показал заведующей:

— Трещину видите в хвостовой части? Вот с этой трещиной нам товар и продали.

Трещин в хвостовой части было несколько, и найти нужную было нелегко.

Шурочка совсем обиделась.

— Они издеваются, что ли? — спросила она.

— Алкоголики, — определила одна из бабок.

— Вот чек, — сказал, подходя, Корнелий. Шляпу он держал под мышкой. — Только вчера покупали. У меня чек сохранился. Пришел домой — вижу, трещина.

— Какая там трещина! — возмутилась заведующая. — Шурочка, не расстраивайся. Мы им на работу сообщим. Это не ракета, а результат землетрясения.

— Вы не обращайте внимания, что ракета расколо-та, — произнес Грубин. — Это потом уже случилось. А землетрясений у нас не бывает. Людям доверять надо.

И в этот момент в Великом Гусляре началось землетрясение.

Глухой шум возник на улице. Земля рванулась из-под ног. Дрогнули полки. Стопки тарелок, будто выпущенные неопытным жонглером, разлетелись по магазину, чашки и чайники, хлопая о прилавки, разбивались гранатами-лимонками, целлулоидные куклы и плюшевые медведи им скакали вниз, цветастые платки и наволочки воспарили коврами-самолетами, стойки с костюмами и плащами шатались — казалось, пожелали выйти на улицу вслед за бабками, убежавшими из универмага с криками и плачем. Разбившиеся пузырьки с духами и одеколоном окутали магазин неповторимым, фантастическим букетом запахов. С потолка хлопьями посыпалась известка...

Грубин одной рукой подхватил прозрачный мешок с остатками ракетной установки, другой поддержал через прилавок Шурочку Родионову. Он единственный не потерял присутствия духа. Крикнул:

— Сохранять спокойствие!

Корнелий вцепился в шляпу, будто она могла помочь в эти жуткие секунды. Быстрое его воображение породило образ разрушенного стихией Великого Гусяря, развалины вдоль засоренных кирпичами улиц, бушующие по городу пожары, стоны жертв и плач бездомных детей и стариков. И он, Корнелий, идет по улице, не зная, с чего начать, чувствуя беспомощность и понимая, что как руководитель ремонтной бригады он — основная надежда засыпанных и бездомных. Но нет техники, нет рабочих рук, царят отчаяние и Ванька.

И тут над головой рев реактивных самолетов — белыми лилиями распускаются в небе парашюты. Это другие города прислали помощь. Сборные дома, мосты и заводы спускаются медленно и занимают места, заранее запланированные в Центре, сыплется с неба дождем калорийный зеленый горошек, стучатся о землю, гнутся, но не разбиваются банки со сгущенным молоком и сардинами. Помощь пришла вовремя. Корнелий поднимает голову выше и слушает наступившую мирную тишину...

И в самом деле наступила мирная тишина.

Подземное возмущение окончилось так же неожиданно, как и началось. Тяжелое, катастрофическое безмолвие охватило универмаг и давило на уши, как рев реактивного самолета.

— Покинуть помещение! — оглушительно крикнул Грубин. Он бросил на пол мешок, взял одну из половинок ракетного стручка, вторую сунул Удалову и повлек всех за собой раскапывать дома и оказывать помощь населению.

Корнелий послушно бежал сзади, хоть ничего перед собой не видел — скатерть опустилась ему на голову и сделала его похожим на бедуина или английского разведчика Лоуренса.

К счастью, раскапывать никого не пришлось. Стихийное бедствие, поразившее Великий Гусярь, не было землетрясением.

Метрах в двадцати от входа в универмаг мостовая наступила, и в провал ушел задними колесами тяжело

груженный лесовоз. Еще не улегшаяся пыль висела вокруг машины и, подсвеченная солнцем, придавала картине загадочный, неземной характер.

— Провал, — сказал обыкновенным голосом Удалов, стаскивая с головы скатерть и аккуратно складывая ее.

Провалы в городе случались нередко, так как он был стар и богат подземными ходами и подвалами царских времен.

— Опять не повезло тебе, Корнелий! — Грубин бросил в досаде на землю половинку ракеты. — Теперь тебе не до замен. Мостовую ремонтировать придется.

— Квартал, кстати, кончается, — ответил Корнелий. Он обернулся к заведующей и добавил: — Я, Ванда Камирировна, вашим телефончиком воспользуюсь. Надо экскаватор вызвать.

Из пылевой завесы вышел бледный, мелко дрожащий от пережитого шофер лесовоза. Он узнал Удалова и бросился к нему с претензией.

— Товарищ директор, — заявил он, — до каких пор мы должны жизнью рисковать? А если бы я стекло вез? Или взрывчатку?

— Ну уж, взрывчатку! — передразнил Грубин. — Кто тебе ее доверит?

— Кому надо, тот и доверит, — обиделся шофер. Увидев Шурочку, перестал дрожать, подтянулся.

— Провал как провал, — сказал Удалов. — Не первый и не последний. Сейчас вытащим, дыру засыплем, и будет как в аптеке. Сходили бы до милиции, пусть поставят знак, что проезда нет. А автобус пустят по Красной Мейской.

2

Елена Сергеевна прищурилась и отсыпала в кастрюлю ровно полстакана маюки из синей квадратной банки с надписью «Сахар». Молоко вадыбилось, будто крупяной кашей обожгла его, но Елена Сергеевна успела взболтнуть кашу серебряной ложкой, которую держала наготове.

Ваня втащил на кухню танк, сделанный из тома «Полного собрания сочинений» за 1865 год и спичечных коробков.

— Не нужна мне твоя каша, — сказал он.

— Подай соль, — велела Елена Сергеевна.

— Посолить забыла, баба? — спросил Ваня.

Елена Сергеевна не стала дожидаться, пока Ваня развернет танк в сторону черного буфета, сама широко шагнула туда, достала солонку и при виде ее вспомнила, что уже сыпала соль в молоко. Елена Сергеевна поставила солонку обратно.

— Баба, — занял Ваня противным голосом, — не нужна мне твоя каша... Хочу гоголь-моголь...

На самом деле он не хотел ни того, ни другого. Он хотел устроить скандал.

Елена Сергеевна отлично поняла его и потому ничего не ответила. За месяц они с Ваней надоели друг другу, но дочь заберет его только через две недели.

Елена Сергеевна обнаружила, что к шестидесяти годам она охладела к детям. Она утратила способность быть с ними снисходительной и терпимой. После скандалов с Ваней она успокаивалась медленней, чем внук.

А ведь Елена Сергеевна сама попросила дочь прислать Ваню в Великий Гусляр. Она устала от одиночества долгих сумерек, когда неверный синий свет вливается в комнату, в нем чернеют и разбухают старые шкафы, которые давно следовало бы освободить от старых журналов и разного барахла.

Раньше Елена Сергеевна думала, что на пенсии она не только отдохнет, но и сможет многое сделать из того, что откладывалось за делами и совещаниями. Написать, например, историю Гусляра, съездить к сестре в Ленинград, разобрать на досуге фонды музея и библиотеку, — там все время сменялись бестолковые девчонки, которые через месяц выходили замуж или убегали на другую работу, где платили хотя бы на десятку больше, чем в бедном зарплатой городском музее.

Но ничего не вышло. История Великого Гусляра лежала на столе и почти не продвигалась. У сестры болели дети, и, вместо того чтобы не спеша обойти все ленинградские музеи и театры, Елене Сергеевне пришлось возиться по хозяйству.

В музее появился новый директор, ранее руководитель речного техникума. Директор рассматривал свое пребывание в музее как несправедливое наказание и ждал, пока утихнет гнев высокого районного начальства, чтобы вновь двинуться вверх по служебной лестнице. Директор был

Елене Сергеевне враждебен. Ее заботы о кружках и фондах отвлечали от важного начинания: сооружения памятника землепроходцам, уходившим в отдаленные времена на освоение Сибири и Дальнего Востока. Землепроходцам часто уходили из Великого Гусляра — города купеческого, беспокойного, соперника Архангельска и Вологды.

— Баба, а в каше много будет комков? — спросил Ваня.

Елена Сергеевна покачала головой и чуть улыбнулась. Комки, конечно, будут. За шестьдесят с лишним лет она так и не научилась варить манную кашу. Если бы удалось начать жизнь сначала, Елена Сергеевна обязательно подсмотрела бы, как это делала покойная мама.

Кто-то стукнул в окно.

Ваня забыл о танке и побежал открыть занавеску. Он никого не увидел — в окно стучали знакомые, прежде чем войти в калитку, обогнуть дом и постучать со двора.

Елена Сергеевна убавила огонь и решила, что успеет открыть дверь, прежде чем каша закипит. Она быстро прошла в темные сени. От каждого шага, сухого и короткого, взвизгивали половицы.

За дверью стояла Шурочка Родионова, повзрослевшая и похорошевшая за весну и остригшая косу, чтобы казаться старше.

— Вытри ноги, — сказала Елена Сергеевна, любясь Шурочкой.

Шурочка покраснела; у нее была тонкая, персиковая кожа, Шурочка легко краснела и становилась похожей на купчихинских барышень.

Шурочка поздоровалась, вытерла ноги, хоть на улице было сухо, и прошла на кухню за Еленой Сергеевной. Девушка была взволнована и говорила быстро, без знакомых препинаний:

— Такое событие Елена Сергеевна грузовик ехал по Пушкинской и провалился народу видимо-невидимо думали землетрясение и Удалов из ремконторы говорит заспать будем и там подвал а директора музея нет ускал в область на совещание по землепроходцам и надо остановить это безобразие там могут быть ценности...

— Погоди, — сказала Елена Сергеевна. — Я вот тут Ваню кормить собралась. Садись и повтори все медленнее и логичнее.

Когда Шурочка говорила, она из молодой и красивой

женщины превращалась в ученицу-отличницу, в старосту исторического кружка.

Елена Сергеевна положила кашу в тарелку и посыпала ее сахарным песком.

Ваня хотел было потребовать малинового варенья, но забыл. Он был заинтригован неожиданным визитом и быстрой речью гостыи. Он послушно сел к столу, взял ложку и смотрел в рот Шурочке. Как во сне зачерпнул ложкой кашу и замер, беззвучно шевеля губами, повторяя рассказ Шурочки слово за словом, чтобы стало понятнее.

— Значит, ехал грузовик по Пушкинской, — говорила Шурочка чуть медленнее, но все равно без знаков. — И сразу провалился задними колесами думали землетрясение все из магазина выскочили а там подвал...

— Где именно? — спросила Елена Сергеевна.

— Недалеко от угла Толстовской.

— Там когда-то проходил Адов переулок. — Елена Сергеевна прищурилась и представила себе карту города в промежутках между пятнадцатым и восемнадцатым веками.

— Правильно, — обрадовалась Шурочка. — Вы нам еще в кружке рассказывали там Адов переулок был и кузнецы работали ширина два метра и упирался в городскую стену я так и сказала Удалову из ремконторы а он говорит что квартал кончается и он обязан сдать Пушкинскую они ее три месяца асфальтировали а то премии не получат.

— Безобразие! — возмутилась Елена Сергеевна. — Ваня, не дуй в ложку... Мне не с кем его оставить.

— Так я посижу, Елена Сергеевна, — сказала Шурочка. — Без вас они засыплют, а вас даже Белосельский слушается.

— Я власти не имею, — напомнила Елена Сергеевна. — Я в отставке.

— Вас весь город знает.

— Я сейчас.

Елена Сергеевна прошла в маленькую комнату и скоро вернулась. Она причесалась, заколола седые волосы в пучок на затылке. На ней было темное учительское платье с отложным, очень белым воротничком, и Шурочка снова почувствовала робость, как пять лет назад, когда она в первый раз пришла в исторический кружок. Елена Сергеевна

евна, в таком же темном платье, повела их наверх, в первый зал музея, где стоял прислоненный к стене потертый бивень мамонта, висела картина, изображающая повседневный быт людей каменного века, а на витрине под стеклом лежали в ряд черепки и наконечники стрел из неолита, найденные у реки Гусь дореволюционными гимназистами.

— Так ты посидишь немного? — спросила Елена Сергеевна.

— Конечно, я сегодня с обеда свободна.

Елена Сергеевна спустилась с крыльца, молодо процокала каблучками по деревянной дорожке двора, прикрыла калитку и пошла по Слободской к центру, через мост над Грязнухой, что испокон веку делит город на Гуслар и Слободу.

За мостом по правую руку стоит здание детской больницы. Раньше там был дом купцов Синицыных, и в нем сохранились чудесные изразцовые печи второй половины восемнадцатого века. По левую руку — церковь Бориса и Глеба, шестнадцатый век, уникальное строение, требует реставрации. За церковью — одним фасадом на улицу, другим на реку — мужская гимназия, ныне первая средняя школа. За гимназией — широкая и всегда ветреная площадь, наполовину занятая газонами. Здесь до революции стояли гостиные ряды, но в тридцатом, когда ломали церкви, сломали заодно и их, хотя можно было использовать ряды под колхозный рынок. Теперь здесь стоит, вглядываясь в даль, бронзовый землепроходец.

По ту сторону площади — двухэтажный музей, памятник городской архитектуры восемнадцатого века, охраняется государством.

Но Елена Сергеевна переходить площадь не стала, а у продовольственного свернула на Толстовскую.

На углу встретился провизор Савич, давнишний знакомый.

— Ты слышала, Лена, — сообщил он, отдуваясь и обмахиваясь растрепанной книжкой, — грузовик провалился?

— А куда, ты полагаешь, я иду? — спросила Елена Сергеевна. — Обследовать финифтяную артель?

— Ну уж, Леночка, — ответил мягко Савич, — не надо волноваться. Если мне не изменяет память, это третий провал за последние годы?

— Четвертый, Никита, — сказала Елена Сергеевна. — Четвертый. Я пойду, а то как бы они чего не натворили.

— Разумеется. Если б не такая жара, я бы сам посмотрел. Но обеденный перерыв короток, а мое брюхо требует пищи. Я так и полагал, что тебя встречу. Тебя все в городе касается.

— Касалось. Теперь я на пенсии. Передай привет Ванде Казимировне.

— Спасибо, мы все к вам в гости собираемся...

Но последних слов Елена Сергеевна уже не слышала. Она быстро шла к Пушкинской.

Савич поправил очки и побрел дальше, размышляя, есть ли в холодильнике бутылка пива. Он представил запотевшую темно-зеленую бутылку, шипение освобожденного напитка, зажмурился и заспешил.

На Пушкинской, не доходя до универмага, стояла толпа. Толпа казалась неподвижным, неживым телом, и только мальчишки кружились вокруг нее, влетая внутрь и снова выскакивая, как пчелы из роя.

По улице не спеша шел гусеничный экскаватор.

Вблизи толпа распалась на отдельных людей, большей частью знакомых — учеников, друзей, соседей и просто горожан, о которых ничего не знаешь, но здороваешься на улице.

Елена Сергеевна пронзила толпу и оказалась у провала. Асфальт расходился трещинами, прогибался, будто был мягким, как резиновый коврик, и обрывался овальным черным колодцем. По другую сторону колодца стоял лесовоз, — его уже вытащили из ямы. Бревна лежали на мостовой рядком.

У провала спорили два человека. Один из них был низок ростом, агрессивен, и лицо его было скрыто под соломенной шляпой. Второй — баскетбольного типа, с нечесаной шевелюрой, в черном пиджаке, надетом прямо на голубую майку, — отступал под натиском низенького, но сопротивления не прекращал.

— Для меня это скандал и безобразие, — уверял низкий.

Елена Сергеевна сразу поняла, что это и есть директор ремконторы.

— Мы окончили асфальтирование участка, рапортова-

ли и ожидаем заслуженной премии — не лично я, а коллектив, — а ты что мне советуешь?

Низенький сделал шаг вперед, и длинный отступил, рискуя свалиться в пропасть.

— Корнелий, ты забыл о науке, о славе родного города, — протестовал он, балансируя над провалом.

— А люди премии лишатся?.. Эй, Эрик! — Это низенький увидел экскаватор. — Давай сюда, Эрик!

— Подождите, — произнесла Елена Сергеевна.

— А вы еще по какому праву? — спросил низенький, не поднимая головы. — Давай, Эрик!

— Вот что, Корнелий, — сказала тогда Елена Сергеевна, которая наконец узнала, кто же скрывается под соломенной шляпой. — Сними шляпу и подними голову.

Кто-то в толпе хихикнул. Экскаваторщик заглушил мотор и подошел поближе.

— Где тут яма, — спросил он, — которая представляет исторический интерес?

Директор ремконторы послушно снял шляпу и поднял вверх чистые голубые глаза неуспевающего ученика. Он уже все понял и сдался.

— Здравствуйте, Елена Сергеевна, — сказал он. — Я вас сразу не узнал.

— Дело не в этом, Корнелий.

— Правильно, не в этом. Новы войдите в мое положение.

— А если бы на Красной площади такое случилось? — спросила строго Елена Сергеевна. — Ты думаешь, Удалов, что правительство разрешило бы вызвать экскаватор и засыпать провал, не дав возможности ученым его обследовать?

— Так то Красная площадь...

— Так его! — пришел в восторг Грубин. — Я сейчас мигом все осматриву.

— Кстати, если не исследовать, куда ведет провал, — добавила Елена Сергеевна, — то не исключено, что завтра произойдет катастрофа в десяти метрах отсюда, вон там, например.

Все испуганно посмотрели в направлении, указанном Еленой Сергеевной.

Грубин присел на корточки и постарался разглядеть, что таится в провале. Но ничего не увидел.

— Фонарь нужен, — сказал он.

— Фонарь есть. — Из толпы вышел мальчик с длинным электрическим фонарем. — Только меня с собой возьмите.

— Здесь мы не шутки шутить собрались. — Грубин отобрал фонарь у мальчика. — Я пойду, а, Елена Сергеевна?

— Подождите. Нужно, чтобы туда спустился представитель музея.

— Так там нет никого. А вы отсюда будете контролировать.

Рядом с Еленой Сергеевной возник человек с фотоаппаратом.

— Я готов, — сказал он. — Я работаю в районной газете, и моя фамилия Стендаль. Миша Стендаль. Я кончал истфак.

— Так будем стоять или будем засыпать? — спросил экскаваторщик. — Простой получается.

— Идите, — согласилась с Мишей Елена Сергеевна.

— Тогда и я пойду, — сказал вдруг экскаваторщик. — Мне нужно посмотреть, куда землю сыпать. Да и физическая сила может пригодиться.

И на это Елена Сергеевна согласилась.

Удалов хотел было возразить, но потом махнул рукой. Не везет, так никогда не везет.

— Здесь неглубоко, — оповестил Грубин, посветив фонариком вглубь.

Он лег на асфальт, свесил ноги в провал и съехал на животе в темноту. Ухнул и пропал.

— Давайте сюда! — прилетел через несколько секунд утробный подземный голос.

Толпа сдвинулась поближе к краям провала, и Елена Сергеевна сказала:

— Отойдите, товарищи. Сами упадете и других покалечите.

— Сказано же, — оживился Удалов, — осадите!

Экскаваторщик прыгнул вниз и подхватил Мишу Стендаля.

— Ну, как там? — крикнул Удалов. Он опустил на колени, крепко упершись пухлыми ладошками в асфальт, и голос его прозвучал тихо, отраженный невидимыми стенами провала.

— Тут ход есть! — отозвался снизу чей-то голос.

— Там ход есть, — повторил кто-то в толпе.

— Ход...

И все замерли, замолчали. Даже мальчишки замолчали, охваченные близостью тайны. В людях зашевелились древние инстинкты кладонскателей, которые дремлют в каждом человеке и только в редких деятельных натурах неожиданно просыпаются и влекут к приключениям и дальним странствиям.

3

Сверху провал представлялся Милице Федоровне Бакшт чернильной кляксой. Она наблюдала за событиями из окна второго этажа. Пододвинула качалку к самому подоконнику и положила на подоконник розовую атласную подушечку, чтобы локтям было мягче. Подушечка уместилась между двумя большими цветочными горшками, украшенными бумажными фестончиками.

Очень старая сиамская кошка с разными глазами взмахнула хвостом и тяжело вспрыгнула на подоконник. Она тоже смотрела на улицу в щель между горшками.

В отличие от остальных, Милица Федоровна хорошо помнила то время, когда улица не была мощеной и звалась Елизаветинской. Тогда напротив дома Бакштов, рядом с лабазом Титовых, стоял богатый дом отца Серафима с резными наличниками и дубовыми колоннами, покрашенными под мрамор. Дом отца Серафима сгорел в шестидесятом, за год до освобождения крестьян, и отец Серафим, не согласившись в душе с суровостью провидения, горько запыл.

Отлично помнила Милица Федоровна и приезд губернатора. Тот был у Бакштов с визитом, ибо обучался со вторым супругом Милицы Федоровны в пажеском корпусе. Хозяйка велела в тот вечер не жалеть свечей, и это высокопревосходительство, презрев условности, весь вечер провел у ее ног, шевеля бакенбардами, а господин Бакшт был польщен и вскоре стал предводителем уездного дворянского собрания.

Память играла в последние годы странные шутки с Милицей Федоровной. Она отказывалась удерживать события последних лет и услужливо подсовывала образы давно усопших родственников и приятелей мужа и даже

куда более давние сцены: петербургские, окутанные дымкой романтических увлечений.

В годы революции Милица Федоровна была уже очень стара, и за ней ходила компаньонка из монашек. С тех лет ей почему-то врезалось в память какое-то шествие. Перед шествием молодые люди несли черный гроб с белой надписью «Керзон». Кто такой Керзон, Милица Федоровна так и не сподобилась узнать.

И еще помнился последний визит Любезного друга. Любезный друг сильно сдал, ходил с клюкой, и борода его поседела. Задерживаться в городе он не смог и вынужден был покинуть гостеприимный дом вдовы Бакшт, не исполнив своих планов.

Появление провала на Пушкинской отвлекло Милицу Федоровну от привычных мыслей. Она даже запомнила, что ровно в три к ней должны были прийти пионеры. Им Милица Федоровна обещала рассказать о прошлом родного города. Задумала этот визит настойчивая соседка ее, Шурочка, девица интеллигентная, однако носящая короткие юбки. Милица Федоровна обещала показать пионерам альбом, в который ее знакомые еще до революции записывали мысли и стихотворения.

Шурочку Милица Федоровна разглядела среди людей, окруживших провал. На зрение госпожа Бакшт не жаловалась: грех жаловаться в таком возрасте.

Потом Милица Федоровна задремала, но сон был короток и непрочен. Нечто необъяснимое волновало ее. Нечто необъяснимое было связано с провалом. Ей привиделся Любезный друг, грозивший костлявым пальцем и повторявший: «Как на духу, Милица!»

Когда Милица Федоровна вновь открыла глаза, у провала уже командовала известная ей Елена Сергеевна Кастельская, худая дама, работавшая в музее и приходившая лет десять-пятнадцать назад к Бакшт в поисках старых документов. Но Милице Федоровне не понравилась сухость и некоторая резкость в обращении музейной дамы, и той пришлось уйти ни с чем. При этом воспоминании Милица Федоровна позволила улыбке чуть тронуть уголки ее сухих, поджатых губ. Раньше губы были другими — и цветом, и полнотой. Но улыбка, та же улыбка, когда-то сводила с ума кавалергардов.

Тут Милицу Федоровну вновь сморила дремота. Она

зевнула, смежила веки и отъехала на кресле в угол, в уютную полутьму у печки.

Снамяская кошка привычно прыгнула ей на колени.

«В три часа придут... В три часа...» — сквозь дремоту думала Милица Федоровна, но так и не вспомнила, кто же придет в три часа, а вместо этого опять увидела Любезного друга, который был разгневан и суров. Взор его пронзал трепетную душу Милицы Федоровны и наэлектризовывал душный, застойный воздух в гостиной — единственной комнате, оставленной после революции госпоже Бакшт.

4

За те полчаса, что было открыто влиянию жаркого воздуха, подzemелье почти не проветрилось. Вековая прохлада наполняла его, как старое вино. Миша Стендаль оперся на протянутую из тьмы квадратную ладонь экскаваторщика, прижал к груди фотоаппарат и сиганул туда, в неизвестность.

В провале стояла тишина. Тяжелое дыхание людей металось по нему и глохло у невидимых стен.

В голубом овальном окне над головой обрисовывался круглый предмет, превышающий размером человеческую голову. Из предмета донесся голос:

— Ну как там?

Голос принадлежал маленькому директору ремконторы, которого так ловко поставила на место старуха Кастельская из музея. Предмет был соломенной шляпой, скрывавшей лицо Удалова.

— Тут ход есть, — ответил другой голос, в стороне, неподалеку от Миши.

По темноте елозил луч фонарика. Грубин начал исследования.

— Там ход... ход... — шелестом донеслись голоса в толпе наверху. Голоса были далеки и невнятные.

Миша Стендаль сделал шаг в сторону хода, но наткнулся на спину экскаваторщика. Спина была жесткая. Глаза начали привыкать к темноте. В той стороне, куда двигался Грубин, она была гуще.

— Пошли, — сказал экскаваторщик.

Миша по-слепому протянул вперед руку, и через два

шага пальцы уперлись во что-то — испугались, отдернулись, сжались в кулак.

— Тут стена, скользкая, — прошептал Миша. Шепот был приемлемее в темноте.

Толстые, надежные бревна поднимались вверх, под самый асфальт. Комната получалась длинная, потолок к углу провалился. Дальняя стена, у которой стоял Грубин и шарил лучом, была кирпичной. Кирпичи осели, пошли трещинами. Посреди стены — низенькая, перетянутая, как старый сундук, железными ржавыми полосами дверь.

Грубин уже изучил дверь: замка не было, кольцо кованое, но за него тяни не тяни — не поддается.

— Дай-ка мне, — сказал экскаваторщик.

— Нет, — возразил Миша Стендаль. — На это мы не имеем права. У нас нет открытого листа. Надо хотя бы сфотографировать.

Миша Стендаль читал незадолго до этого книгу про то, как была открыта в Египте гробница Тутанхамона. Там, тоже была дверь и исследователи перед ней. И момент, вошедший в историю.

— Мы не на раскопках, — возразил Грубин. — Там, может, тоже земля. И конец нашему путешествию.

— Чего уж! — сказал Эрик. — Директорша велела посмотреть, так мы посмотрим. Все равно Удалов своего добьется. Засыплет, и поминай как звали — у него план.

Экскаваторщик присмотрелся к двери:

— Ты фонарь держи покрепче. Не дрожи рукой. Сюда, левее...

Он стал похож на хирурга. Грубин ассистировал ему. Миша Стендаль — студент-практикант, человек без пользы делу.

— Она внутрь открывается, — сказал экскаваторщик. Нашел место, то самое, единственное, в которое надо было упереться плечом, и нажал.

Дверь заскрипела жутко, ушла в темноту, кирпичи зашуршали, оседая, и экскаваторщик — береженого Бог бережет — прыгнул назад, чуть не сбив Мишу с ног. Фонарь погас — видно, Грубин отпустил кнопку, — в подвале возникла грозная тишина, и все были оглушены звоном в ушах.

— Что случилось? — спросил голос сверху. Голос был близок до странности. Вроде бы за эти минуты трое иссле-

дователей ушли далеко от людей, а тут, в трех метрах, Удалов задает вопросы голосом тревожным, но обычным.

— Полный порядок, — сказал экскаваторщик. Он бодрился и о прыжке своем уже позабыл. — Свети прямо, — приказал он.

Грубин послушался и посветил.

Экскаваторщик закрыл спиной большую часть двери — всматривался, а Миша Стендаль почувствовал обиду. Он был наиболее исторически образован и морально чувствовал себя вправе руководить поисками. Но экскаваторщик этого не чувствовал, и как-то случилось, что впереди был он. Миша даже сделал шаг, хотел оттеснить экскаваторщика и дать какое-нибудь, пусть зряшное, но указание. Тут экскаваторщик обернулся и посмотрел на Мишу. Глаз его, в который попал луч фонаря, засветился желто и недобро.

Миша ощутил внутреннее стеснение и приостановил дыхание. Там, за дверью, могли таиться сундуки с золотом и жемчужными ожерельями, серебряные кубки, украшенные сценами княжеской охоты на бой-туров, булатные мечи-кладенцы и скелет неудачливого грабителя — глазницы черепа черные, пустые... А экскаваторщик сейчас выхватит острый, чуть зазубренный от частого употребления кинжал и вонзит под сердце Стендалю.

Экскаваторщик отнял у Грубина фонарь: так ему было удобнее.

— Тоже комната, товарищи, — сказал он.

Скорчившись вдвое, он перешагнул высокий порог и пропал во тьме.

Грубин с Мишей стояли и ждали.

Изнутри голос произнес:

— Давайте за мной. Не оступитесь.

Вторая комната оказалась меньше первой. Луч фонаря, не успев достаточно расшириться, уперся желтым блюдцем в противоположную стену, порезав по пути светлым лезвием странные предметы и, что совсем непонятно, осветив пыльные гнутые стекла — бутылки, колбы и крупные сосуды темного стекла. Луч метался и позволял глазам по частям обозреть комнату — кирпичную, сводчатую, длинный стол посреди, — а дальний конец комнаты обвален и видится мешаниной кирпичей и железа.

— Типография, — определил Грубин. Помолчал. По-

думал. — Может, здесь печаталась «Искра». Или даже «Колокол».

— Печатного станка нету, — резонно заметил экскаваторщик.

— Отойдите, — сказал Миша. — Ничего не трогайте. У меня вспышка. Сделаем кадры.

Послушались. В руках у Миши была техника. Его спутники технику уважали.

Миша долго копался, готовил в темноте аппарат к действию. Эрик помогал, светил начавшим тускнеть фонариком. Потом вспыхнула лампа. Еще раз.

— Все? — спросил экскаваторщик.

— Все, — кивнул Стендаль.

— На свет вынуть придется, — сказал Эрик. Он вернул фонарь Грубину, подхватил бутылку покрупнее и понес к выходу.

— Какого времени подвал? — спросил Грубин.

— Трудно сказать, — ответил Миша. — Вернее всего, не очень старый.

— Жаль, — произнес Грубин. — Второе расстройство за день.

— А первое?..

— Первое, когда думал, что землетрясение началось. Так вы уверены, товарищ Стендаль?

— Посуда довольно современная. И книги...

Миша подошел к столу, распахнул книгу в кожаном переплете.

— Ну, скоро? — спросил Эрик. — Там уже заждались.

— Наверху посмотрим, — решил Грубин. Подхватил еще одну бутылку и колбу.

Миша шел сзади с книгами в руках.

Шляпа Удалова отпрянула от провала. Зажмурившись от дневного, неистового сияния, Эрик протянул ему бутылку. Миша стоял в трех шагах сзади. Столб света, спускавшийся в провал, показался ему вещественным и упругим. Экскаваторщик, озаренный светом, был подобен скульптуре человека, стремящегося к звездам. Бутылка надежно покоилась у него на ладонях.

Вместо шляпы в провал спустились сухие руки Елены Сергеевны. Она приняла бутылку. Миша поднял вверх тяжелые фолианты.

— Вот так-то, — проговорил некто в толпе осуждающе. — А он засыпать хотел.

Удалов сделал вид, что не слышит. Он взял у Стендаля книги и положил их на асфальт. Рядом уже стояла бутылка, обросшая плесенью. Сквозь разрывы плесени проглядывала черная жидкость. Другие сосуды тоже встали рядом.

Удалову было холодно. Он даже застегнул верхнюю пуговицу синей шелковой рубашки. Удалова мучила совесть. Когда он вызвал экскаватор для засыпки провала, он действовал в интересах родного города. Его буйное воображение уже подсказывало страшные картины, торопившие к принятию мер и будившие энергию. Одна картина представляла собой автобус с пассажирами, едущий по Пушкинской улице. Автобус ухнул в провал, и только задний мост торчит наружу. А рядом иностранный корреспондент щелкает неустанно своим аппаратом, и потом в обкоме или даже в ЦК смотрят на фото в иностранной газете и говорят: «Ну уж этот Удалов! Довел-таки до ручки городское хозяйство в своем древнем городе!» И качают головами.

Была другая причина — куда более трагичная. Малос дитя в школьном передничке бежит с прыгалками по мостовой. И вокруг летают бабочки и певчие птицы. И ребенок смеется. И даже Удалов, наблюдающий за этой картиной, смеется. И вдруг — черной пастью провал. И отдаленный крик ребенка. И только осиротевшие прыгалки на растерзанном трещинами асфальте. И мать, несчастная мать ребенка, которая кричит: «Ничего мне не надо! Дайте мне только Удалова! Дайте его мне, я разорву его на части!...»

Пока не приехал экскаватор, Удалов неустанно боролся со своим воображением и все оглядывался, не бежит ли ребенок с прыгалками, не видел ли иностранный корреспондент, которому здесь делать нечего.

Удалов верил, что в провале ничего не обнаружится. Сколько их было на его памяти, и ничего не обнаруживалось. Он и причуды Кастельской не принял всерьез. Просто не стал воевать с общественностью. Накладно. Все равно засыплем. Все провалы — и тот, у архиерейского дома, и тот, что был на строительстве бани, и тот, у мясокомбината, — все они вызывали оживление в районном музее, даже в области. Но Удалову и городским властям никакой радости — провал не запланируешь. В провале есть что-то

постыдное для хозяйственного работника — стихия мелкого порядка, пакостная стихия.

Теперь у ямы стояли бутылки. И книги. И были они не только прошлым — будущим тоже. Будущим, в котором имя Удалова будут склонять работники культуры вплоть до Вологды и корить за узкоглядство. Он даже слово такое знал — «узкоглядство». Так что надо было спасать положение и руководить.

— Много там добра? — спросил Удалов, приподнимая шляпу и показывая щенячий лоб с залысинками.

— Целая лаборатория, — ответил из-под земли экскаваторщик, который уже забыл о своей первоначальной задаче — переметнулся.

— Стоит законсервировать находку, — отозвался Миша из-за спины экскаваторщика. — Пригласить специалистов из области.

— Ошибка, — трезво рассудил Удалов. — Специалисты у нас не хуже областных. У нас есть, товарищи, Капельская!

Последнее слово он произнес громко, будто ждал аплодисментов. И удивительное дело — есть такая особенная интонация, которую знают люди, поднаторевшие в речах, и эта интонация заставляет присутствующих сложить ладони одна к другой и бессознательно шлепнуть ими.

При слове «Капельская» в толпе раздались аплодисменты.

Удалов потаенно улыбнулся. Он овладел толпой. Положение спасено. Подвал будет засыпан.

Елена Сергеевна в любом другом случае на такой ход не поддавалась бы. Отшутилась бы, съязвила — она это умела делать. Но тут, пока стояла и ждала, что найдут, пока смотрела на принесенные вещи, поняла — нет смысла начинать войну с Удаловым. Вещи были не Бог весть какими древними.

— Сейчас мы, товарищи, под наблюдением Елены Сергеевны, спасем культурные ценности и отправим их в музей. Правильно?

— Правильно, — сказали слушатели.

— Ну, где у нас культурная ценность номер один?

Корнелий посмотрел на большую бутылку и поймал себя на жгучем желании наподдать ногой по ценности номер один. Даже захотелось сказать народу, что все эти шту-

ки — дореволюционная самогонная мастерская. Но Удалов сдержался.

Исследователи подземелья, прослушав речь Удалова, пошли снова в дальнюю комнату выносить остальные вещи. Удалов послал гонцов в универмаг за оберточной бумагой. Елена Сергеевна присела на корточки и подняла одну из книг. Осторожно, поддев ногтем, открыла ржавые застёжки переплета и перевернула первый лист.

Зрители склонились над книгой и шевелили в два десятка губ, разбирая ее название.

5

Милица Федоровна проснулась. Ее томило предчувствие. В виске по-молодому тревожила-билась жилка. Что-то произошло за минуты сна. Каретные часы Павла Буре показывали три. Альбом в сафьяновом переплете лежал на столе, был приготовлен для чего-то. Сквозь стекло, с улицы, прилетали обрывки голосов. Надо было вернуться к окну. Тогда мысли проснутся, как проснулось тело, и все станет на места. Потревоженная кошка удивилась резвости движений хозяйки. Портреты знакомых, акварели и желтые фотографии взирали на Милицу Федоровну равнодушно или враждебно. Одни умерли давно, другие не простили госпоже Бакшт завидного долголетия.

Розовая подушечка ждала на подоконнике. Милица Федоровна уперла острый локоток и выглянула между горшками. На улице мало что изменилось. Толпа поредела. Перед Еленой Сергеевной Капельской стояли на асфальте какие-то предметы и бутылки старинного вида. Сама же музейная дама на корточках, в непристойной возрасту позе, листала трепаную книгу.

Значит, подвал не пуст. В подвале оказались находки. Милица Федоровна заставила себя задуматься. В мозгу вздрогнули склеротические сосуды, живее побежала кровь, и по дому разнесся тихий треск — будто заводили бронзовым ключиком старые часы.

Куда вел ход из того подвала? Ведь не с улицы заходили в него?.. К отцу Серафиму? Нет, дом его, пока не сторел, стоял в глубине, за кустами персидской сирени. Может, в дом, соседний с бакштовским, по той же стороне? И того быть не могло — там испокон веку был лабаз.

Может, во флигель? Там были зеленые ставни с прорезями в виде сердец. И что-то еще связано с флигелем...

— Милица! — Мужской голос возник от двери, голос знакомый и вечно молодой. — Не пугайтесь. Вы узнаете меня?

— Я не пугаюсь, друг мой, — ответила Милица Федоровна, стараясь обернуться. Ответила степенно и тихо. — Я отвыкла пугаться. Подойдите к свету.

Старик подошел поближе к окну. Он тяжело опирался на суковатую палку из самшита. Борода седая, в желть, недавно подстрижена. Грубый запах одеколона «Шипр», запах дешевой парикмахерской, разнесся по комнате, чужой другим, обжившимся здесь запахам. Те, родные — нафталиновый, ванильный, шерстяной, камфарный, — толкали пришельца, гнали его, но шипровый нагло занял самую середину комнаты.

— Простите, Милица, — сказал старик. — Я сейчас из парикмахерской.

— Давно у нас, Любезный друг? — спросила Милица Федоровна. Она протянула старику тонкую, изящную, хоть и опухшую подагрически в суставах руку.

Старик оперся покрепче о палку, нагнулся и поцеловал пальцы.

— Сдал я, — сознался он, распрямляясь. — Сильно сдал.

— Садитесь, Любезный друг, — предложила Милица Федоровна. — Там стул есть.

— Спасибо. Я с черного хода пришел. Задами. Не хотел встречать людей.

— Надолго к нам?

— Не скажу, Милица. Сам не знаю. Если то дело, что ранее не совершил, удастся — может, задержусь. А то помирать придется.

— Не говорите о смерти, — запротестовала Милица. — Она может услышать. Мы слишком слабо связаны с жизнью. Нить тонка.

— Пустое, — проговорил Любезный друг. — Вами, Милица, движет любопытство. Это значит — вы еще живы.

— Там странное, — сказала Милица Федоровна. — Провалилась мостовая. Волнуются, бегают.

— Суeta суeta, — сказал старик. — Сколько я вас не видел? Лет пятьдесят.

— Вы опять за свое.

— Я прям и неделикатен. И жизнь меня ожесточила. Пятьдесят лет — большой срок.

Милице Федоровне не хотелось расспрашивать гостя о том, что произошло с ним за эти годы. Для нее они протекли однообразно. Одиноко. Иногда голодно. Последнее время — лучше. Соседи выхлопотали старухе пенсию. Нет, лучше не расспрашивать. Пусть будет встреча, хоть и долгожданная, без времени, вне его пут и шагов.

Старик осмотрелся. Портреты узнали его. Он их признал тоже. Кивнул вежливо. Те в ответ закивали; взмахнули бакенбардами, бородами, усами, многократно улыбнулись знаменитой улыбкой Милицы, пожали обнаженными плечами, качнули локонами и кудрями...

Милица смотрела на него, узнавала то, что уже скрылось под сетью морщин. Предчувствия и сны указывали верно — Любезный друг пришел.

— Откройте форточку, — попросила Милица, стесняясь своей немощи. — Мне душно. А встаю редко. Весьма редко.

Старик встал, подошел к окну. Был он высок. Взглянул, открывая форточку, на улицу, вниз, увидел дыру в асфальте и книги рядом. И бутылки с ретортами.

— О Боже! — сказал он. Сказал, как человек, и которому смерть пришла за час до свадьбы.

Старик вцепился в раму, и узловатые пальцы заметно побелели. Ноги не держали его.

— Что с вами? — спросила Милица, не поняв причин смутения. — Вам плохо?

Старик не смотрел на нее.

— Ничего, — ответил он. — Это пройдет. Все пройдет.

— Кстати, — проговорила успокоенная Милица Федоровна, которой знакомы по себе были приступы слабости и удушья, — куда бы мог вести ход из этого подвала?

— Куда?

— Ну, конечно. Я сначала подумала — не в дом ли отца Серафима? Вы помните отца Серафима? Он страшно пил, когда дом у него сторел. Нет, думаю, не туда. Тот дом в глубине стоял. Еще колонны были покрашены под мрамор. И лабаз рядом. Зачем лабазу такой подвал?.. Может, в лабаз?

— Не в лабаз, — прохрипел старик. — Не в лабаз.

Какой еще лабаз? Ход к вам шел во флигель. Господи, несчастье-то какое...

«Правильно, — резонно подумала Милица Федоровна. — Конечно, выход из подвала должен быть под флигелем». Но она такого не помнит. Совсем не помнит. Запомняла. А может, и не знала о подвале.

А Любезный друг сердился. Глаза его увеличивались, росли и гневались. И он взлетел под потолок и оттуда грозил сухим пальцем и говорил беззвучно...

Это Милице Федоровне уже снилось. Она задремала. Старик не взлетал и не грозил пальцем. Он стоял, прислонившись лбом к стеклу, и тяжело стонал.

6

Елена Сергеевна задерживалась. Шурочка отвечала на Ванины вопросы, и было это подобно клубку — ниточка тянулась, вопрос за вопросом, и смысла в них не заключалось. За беготней Шурочка чуть не забыла — обещала с пионерами пойти на экскурсию к старухе Бакшт.

Кукушка нехотя выползла из деревянных ходиков и два раза скрипнула, не раскрывая клюва. На третий раз ее не хватило. Стрелки стояли на трех без пяти. А Елены Сергеевны все не было.

В магазине Шурочку отпустили после обеда. Там не хватает. Но пионеры ждут.

— Пошли погуляем, Ванечка, — сказала Шура, подлизываясь. (Ванечка мог и не пожелать.) — Может, бабушку найдем.

Шурочка убедила Ваню надеть панаму. Ваня потащил за собой танк на спичечных коробках, — согласился гулять на таких условиях.

На мосту через Грязнуху Шурочку с Ваней обогнали знакомые из речного техникума. Дюжие мальчишки на велосипедах. Ехали с купания и потому были бодры. Увидев Шурочку, стали делать вид, что Ваня — ее сын, отчего очень развеселились. Шурочка обиделась на грубые шутки, Ваня испугался, захотел вниз к речке — посидеть на берегу. Он бил каблуками по булыжникам и упирался. Речникам надоело шутить на жару, они нажали на педали. Один отстал, обернулся, сказал, что купил два билета в

кино, на девять, и будет ждать. Шурочка почти не слушала. Она уговаривала Ваню.

— Ванечка, — говорила она, — пойдем к бабушке. Я тебе конфетку дам, «Золотой ключик».

— Нельзя мне конфеты... — канючил Ваня. — Я хочу ананас. У меня коренной зуб болит...

— А мы сейчас посмотрим твой зуб, — послышался добрый голос сзади. — И может, даже вырвем его с корнем.

Провизор Савич поровнялся с ними. Он возвращался с обеда в аптеку.

— Я за Елену Сергеевну посидеть взялась, — сказала Шурочка. — А она не идет.

Савич посмотрел на внука Елены Сергеевны и пожалел, что нет с собой конфеты или другого предмета, которые обычно дарят детям. У него детей не было, а могли бы быть внуки.

— Я хочу золотую рыбку поймать, — сообщил Ваня, не испугавшись доктора.

— Золотая рыбка достается трудом, мальчик, — произнес Савич. Он не умел говорить с детьми.

— Я буду с трудом, — согласился Ваня.

Шурочка воспользовалась разговором и сдвинула Ваню с места. Савич шел рядом и старался по-свойски говорить с ребенком, но отвечал невпопад. Провизор в это время думал о жизни, которая не удалась.

От снесенных торговых рядов осталась башня с часами. Сначала ее использовали, как каланчу, а потом пристроили четырехэтажный дом для исполкомовцев и прикрепили электрические часы, что висят на столбах в больших городах, — круглые и неточные. Часы показывали десять минут четвертого.

— Ой! — испугалась Шурочка. — Нас пионеры ждут. Мы побежали...

Ваня бежать согласился: Савич ему надоел.

Шурочка с Ваней побежали к школе, и за ними по пустой горячей мостовой запрыгал танк, сделанный из тома «Современника» и спичечных коробков. Один из коробков вскоре оторвался и остался лежать на мостовой. Провизор поднял его. Повертел рассеянно в пальцах. На коробке было изображено дерево без листьев и написано: «Себялюбивый человек засыхает, словно одинокое бесплодное дерево. Тургенев».

Шурочка увлекла Ваню в переулок. У новой кирпичной школы стоял дуб. Дуб был очень стар. Завуч школы любил повторять древнее предание о том, как землепроходец Баранов, перед тем как уйти открывать левые притоки Амура, посадил дуб в родном городе. Завуч сам это предание и придумал. Новому директору музея оно нравилось. Он надеялся найти ему документальное подтверждение.

В тени дуба маялись шесть пионеров из исторического кружка. Летом кружок не занимался, но Шурочка разыскала его активных членов, оставшихся в городе, и уговорила пойти к старухе Бакшт.

Стояла жара, и пионеры беспокоились. Они любили историю, но им хотелось купаться.

Золотая челка Шурочки Родионовой прилипла ко лбу. Рядом семенил дошкольник.

Пионеры зашевелились и достали записные книжки.

— Пошли, ребята, — сказала Шурочка, — а то опоздаем.

Пионеры нехотя выползли на солнцепек.

Путь их лежал мимо провала, и потому начало экскурсии пришлось отложить еще на несколько минут. Пионеры встали в толпу у ямы, через минуту были уже в курсе всех событий, и Шурочка даже если захотела бы увести их домой к Бакшт, не смогла бы этого сделать.

Удалов под наблюдением Елены Сергеевны заворачивал в оберточную бумагу принесенные вещи. Эрик с Грубиным вынимали из подземелья последние предметы, Миша Стендаль принимал их, складывал на асфальт.

Пахло одеколоном «Шипр». Запах испускал высокий костлявый старик с желтоватой, недавно подстриженной бородой. Старик нервничал, ломал корявые пальцы.

Провизор Никита Савич, обогнавший Шурочку, увидел Ваню и вернул ему спичечную коробку.

— Баба, — сказал Ваня, — пошли домой.

— Ты что тут делаешь? — удивилась Елена Сергеевна.

— Где Шурочка?

— Я здесь, — откликнулась Шурочка. — Я беспокоюсь начала, куда мы пропали, но потом пошла с Ваней и вспомнила: у меня экскурсия и пионеры ждут, и мы пошли школу и зашли к вам.

Ваня тем временем заинтересовался дыркой в земле, подошел поближе, нагнулся и свалился в провал.

Толпа ахнула.

Но с Ваней ничего страшного не случилось. В этот момент кверху поднимался стул. Ваня встретился с ним на полпути, упал на него и через несколько секунд уже вернулся на поверхность.

Однако его падение послужило завязкой других событий.

К провалу бросились провизор Савич, старик, пахнувший одеколоном «Шипр», Миша Стендаль и Удалов, который понял, что его видение оказалось вещим. Четверо столкнулись над провалом и помешали друг другу подхватить ребенка. Удалов, самый несчастливый, натолкнулся на старика, потерял равновесие и кулем свалился вниз.

В замешательстве, вызванном возвращением Вани и исчезновением Удалова, старик с палкой неожиданно подхватил одну из бутылей, отбросил самшитовую палку и взметывая колени, побежал по улице.

Елена Сергеевна прижимала к груди ничуть не испуганного Ваню. Она этого не видела.

Провизор Савич хотел было крикнуть «Стой!», но считая неудобным. Только Миша Стендаль, быстро сообразивший, что к чему, бросился вслед. Старик нырнул за угол.

За углом был двор. Во дворе стояла бутылка. Старик прислонился к стенке. Он дышал редко, втягивая воздух, как чай — с хлюпаньем.

— Возьмите, — сказал он. — Я пошутил. Только не разбейте.

Стендаль все-таки сделал шаг к нему, не к бутылке. Бутылка сама не уйдет.

— Не трогайте меня, — произнес старик строго. — Возьмите бутылку и идите обратно.

В глазах старика вспыхнули яростные огни, и Стендаль не посмел послушаться.

Он обнял бутылку, тяжелую и согревшуюся под солнцем. Повернулся и шагнул за угол. И встретил остальных преследователей. Он шел быстро, решительно, и никто не подумал, что преступник не задержан. Люди послушно последовали за бутылкой. Так и вернулись к провалу.

Тем временем Грубин и экскаваторщик вытаскивали Удалова, у которого была повреждена рука. Первую помощь ему оказали в аптеке.

Добычу понесли в музей. Идти недалеко, и помощники

«ов достаточно. Впереди шла Елена Сергеевна, вела за руку Ваню и несла одну из книг, потоньше прочих, порастрпанной. За ней Миша Стендаль с двумя бутылками. Темная жидкость полоскалась в них и раскачивала Мишу. Фотоаппарат бился между бутылками и стучал в грудь.

Потом шли пионеры с Шурочкой во главе. Каждому досталось по находке. Последним шел экскаваторщик Эрик и нес стул.

Музей был заперт по случаю выходного дня. Но сторожиха вышла с ключами — она хранила верность старому директору, хотя и дотошной, но образованной.

Елена Сергеевна прошла прямо в кабинет директора. Там все и сложили частично на пол, частично на кожаный диван для посетителей из области.

Когда все ушли, Елена Сергеевна уложила Ваню на диван, подвинув находки, а сама провела еще час, проглядывая книги и разбирая надписи на бумажках, приклеенных к бутылкам костяным клеем. Потом две малые бутылки перела в сейф, а с собой взяла потрепанную тетрадку.

Ваня все время хныкал, требовал мороженого. Елена Сергеевна была задумчива, вспоминала прочитанное, неуверенно покачивала головой.

...Удалову Савич наложил шины и спросил, дойдет ли он сам до больницы сделать рентген. Но Удалову стало совсем худо. Он лежал в комнате, где делают лекарства. Обе молоденькие помощницы Савича ему сочувствовали, и одна принесла воды, другая приготовила шприц — сделать обезболивающий укол. Но Удалова это внимание не трогало. Его мучило от аптекарского запаха, который ни мушки, ни провизор не замечали — привыкли. Грубин рассматривал химикалии, запоминая на будущее, что есть наличини: может, когда-нибудь пригодится.

Савич позвонил по телефону, и приехала «скорая помощь». Приехала с опозданием — пришлось объезжать по переулкам: провал мешал движению.

Удалов все порывался отдать распоряжения, но голос ему отказывал. Ему казалось, что он говорит, но окружающие слышали только невнятные стоны и послушно кивали, чтобы успокоить больного. Корнелию, отуманенному веном и дурнотой, чудилось, как не засыпанный вовремя провал начинает осыпаться с краев и поглощать дома. Вот повалз внутрь универмага, и через черный ход выскакивают

продавщицы во главе с Вандой Казимировной. И пытаются спасти некоторые товары из ювелирного отдела. За углом вериагом — Корнелий увидел это явственно — уползает в глубь земли церковь Параскевы Пятницы (слава Богу, что хоть покрасить не успел), архивные материалы, смесительные катаклизмом, вырываются из узких окон и взлетают белыми лебедями в гусярское небо. А навстречу архиву в пропасть едет речной техникум. Толстостенные монастырские здания сопротивляются земному тяготению, гнут на краю. Дюжие мальчики, взявшись за канаты, стараются помочь своим общежитиям и классным комнатам, но им без толку — как нитки рвутся канаты, бегут врассыпную мальчики, и монастырь, вплоть до золотых куполов, приваливается в бездну...

Тут Корнелий Удалов потерял сознание.

Грубин проводил носилки с Удаловым до «скорой помощи», попрощался с провизором и его помощницами, велел врачам активнее бороться за жизнь и здоровье больного, потом пошел домой.

Первое дело было самым тяжелым — рассказать жене соседа о беде.

Грубин постучал к ней в дверь.

— Ну как? — спросила Ксения Удалова, не оборачиваясь. Она была занята у плиты, готовила обед. — Обменялись?

— Корнелий в больницу попал, — без подготовки сказал Грубин.

— Ах!

Жена Корнелия уронила кусок мяса мимо кастрюли прямо в помойное ведро.

— Что с ним? Я не переживу... — прошептала она.

— Ничего страшного, — смягчил удар Грубин, — руку вывихнул. Максимум — трещина в кости.

Жена Корнелия смотрела на Грубина круглыми злыми глазами — не верила.

— А почему домой не пришел? — спросила она.

— Ему в больницу пришлось идти. Может срочно неправильно. Но врачи обещают — все обойдется.

Жена Корнелия все не верила. Она сняла фартук, бросила на пол, и фартук мягко опустился вниз, деформировал форму ее объемистого живота. Она наступала на Грубина как пума, у которой хотят отнять котенка, будто Грубин

во всем виноват. Мысли ее были сложными. С одной стороны, она не верила Грубину, думала, что хочет успокоить, а в самом деле Удалову плохо, очень плохо. Но тут же, зная мужа, она предполагала заговор: пребывание Удалова в пивной или, того хуже, в вытрезвителе. Такого с Удаловым не случалось, но случиться должно было обязательно в силу его невезучести.

— Где он? — требовала она.

И Грубин не верил глазам своим. Еще вчера вечером была она добра к нему, стучалась в холостяцкую комнату, свала пить чай.

— В городской больнице, — сказал Грубин быстро, мотнул шевелюрой, шмыгнул к себе, двери захлопнул и прислушался — не рвется ли?

Не рвалась. Выскочила во двор и побежала к больнице.

Грубин снял черный пиджак, постоял немного, держа его на вытянутой руке. От пиджака веяло жаром, исходил пар. В шкафу скреблись.

— Погоди. — Грубин положил проветренный пиджак на аквариум. Достал ключик, отворил шкаф.

Ворон вышел на пол, застучал когтями, разминаясь, расправил крылья, поглядел зло на аквариум и по-куриному протрусил к старому кожаному креслу с вылезающими пружинами.

Кресло, как и многое другое в комнате Грубина, досталось ему почти задаром, через лавку вторсырья, которой он заведовал. Любая вещь, кроме микроскопа, стоявшая, лежавшая либо валявшаяся в углу, была добыта им по случаю и могла похвастаться длительной историей.

Взять, к примеру, кресло. Пружины его были сломаны от излишнего пользования, торчали опасно. Один подлокотник был начисто лишен кожи, второй — цел. Очевидно, владелец любил опираться о локоть. Еще были два пореза на сиденье, будто кто-то вспарывал кресло саблей, да сквозные отверстия в спинке. Может быть, стреляли в спину сидевшему. Картину дополняли всевозможные пятна, от чернильных до яичных, разбросанные в различных местах.

Ворон метко вспрыгнул на кресло, чтобы не напороться на обломок пружины, нахохлился.

Ворон был обижен недоверием.

— Хочешь погулять? — спросил Грубин.

Он подошел к окошку и открыл его.

Ворон еще с минуту крепился, обижался. Потом прыгнул на подоконник. И улетел.

— Ну ладно. — Грубин заткнул за пояс голубую майку. Идти на рынок, открывать лавку, принимать от населения бутылки и вторичное сырье не хотелось. День вышел увлекательный.

Грубин поднял ногу, повозил ею о другую, стаскивая ботинок. Повторил операцию со вторым ботинком.

Со двора в комнату плыла истома и медовый запах лип.

Грубин улегся на кровать с никелированными шарами на спинке, но спать не стал — смотрел, как на захламленном верстаке крутится, поскрипывает вечный двигатель. Маленький, опытная модель. Двигатель крутился второй месяц, только в плохую погоду отсыревал, и его приходилось тогда подталкивать рукой.

Грубин был доволен жизнью. Она ничего не требовала от него, но оставляла время для невинных удовольствий и рукоделий.

7

Шурочка подвела пионеров к комнате Милицы Федоровны Бакшт. С ними увязался Миша Стендаль. Пришлось и его взять. Постучала осторожно. Знала, что у старухи слух хороший. Если не спит, откроет. Прислушалась. Ей показалось: за дверью голоса, шепот, шаги. Потом стихло.

— Сейчас, — сказала за дверью Бакшт. — Входите.

Все в комнате как прежде: та же застойность замкнутого воздуха, те же акварели и гравюра на выцветших обоях, банки с дремучими цветами на подоконнике, в углу фикус в расплзшейся кадке. Милица Федоровна сидит за круглым столом. На скатерти, темно-зеленой, чуть тронутой молью, альбом в красном сафьяновом переплете с золотыми застежками в виде львиных голов.

Милица Федоровна выглядела странно. Она будто утратила долю своей царственности, обмякла, сломалась. Редкие белоснежные волосы, сквозь которые просвечивали розовая сухая кожа, чуть растрепались на висках, чего никогда ранее не было. Пергаментные щеки были в пятнах, темных, почти красных.

— Извините, — сказала Шурочка. — Мы к вам пришли, как договаривались. Вы нам рассказать обещали.

— Помню. — Бакшт кивнула. — Пусть дети войдут.

Дети вошли, поздоровались. Старуху Бакшт они раньше не видели и удивились, что бывают такие старые люди. Голова Милицы Федоровны совсем ушла в плечи, руки распухли и лежали на столе будто чужие, неживые. Нос спустился к верхней губе, и даже на нем были глубокие морщины. Только глаза, большие, серые, в темных ресницах, разнились от остального.

— Садитесь, — предложила Милица Федоровна. — Ведите себя тихо и не курите.

— Не курю, — сказал Стендаль, потому что Шурочка посмотрела на него строго.

— Я не могу уделить вам время, коего вы бы желали, — продолжала старуха. — Посмотрите мой альбом. Подойдите к столу, не робейте.

В комнате произошло движение, воздух качнулся, запахи шафрана, камфары, ванили перемешались между собой, и к ним прибавился выскочивший из-за ширмы запах одеколона «Шипр».

Стендаль потянул носом, посмотрел на ширму. Из-под нее были видны носки мужских сапог. Знакомые носки. Сапоги принадлежали старику-похитителю. Но Миша ничего резкого предпринимать не стал. Пока дети склонялись над альбомом, начал незаметно передвигаться к ширме.

— На этой фотографии, — говорила размеренно старуха, — изображена я в форме сестры милосердия.

— До революции? — спросил рыженький пионер.

— Да, в Севастополе.

Значение этих слов ускользнуло от пионеров. Шурочка удивилась. Она этот альбом раньше не видела. Средних лет женщина в длинном белом платье и наkolке на голове стояла на фоне мешков с песком, окружавших старинную пушку. По обе стороны ее — офицеры в высоких фуражках. Лицо одного было чем-то знакомо...

— Кто это? — спросила Шурочка.

— Один знакомый. Не помню уж сейчас, как его звали, — сказала Бакшт. — Кажется, Левочкой.

Стендаль продолжал движение к ширме. Он наступал на носки и только потом опускал пятки. Пока его движение не было замечено.

— А тут стихи поэта Полонского. Вы, очевидно, не знаете такого. Это был отличный поэт. Сам государь император высоко о нем отзывался.

Стихи были посвящены хозяйке дома.

Милица Федоровна начала читать их на память, и пионеры следили за ней по тексту. Читала она правильно.

До ширмы оставалось метра полтора. Носки зашевелились и отступили вглубь. Облезлая серая кошка выскочила из-под ширмы и бросилась на грудь Стендалю. Миша от неожиданности отскочил. Чуть не свалил фикус.

— Господи! Что происходит? — закричала молодым голосом Милица Федоровна.

— Кошка, — объяснил Стендаль.

— Вернитесь немедленно сюда, — велела Милица Федоровна. — В ином случае я буду вынуждена указать всем на дверь.

— Я ничего... — смутился Стендаль. — Мне показалось...

— Миша! — строго произнесла Шурочка.

В комнате наступил мир. Стендаль вернулся к столу. Он тоже стал смотреть альбом, но глазом косил на ширму. Кошка улеглась старухе на колени и тоже косила глаза — на Мишу. Как бы угрожала.

— А теперь обратимся к моей молодости, — сказала Бакшт. Она торопилась, волновалась. Говорила громко.

На следующей странице была нарисована акварелью девушка в платье с глубоким вырезом на груди.

— Это я, — сказала Милица Федоровна. — В бытность мою в Санкт-Петербурге. А эти стихи написал мне в альбом Александр Сергеевич Пушкин. Он танцевал со мной на балу у Вяземских.

Пионеры, Шурочка и Стендаль замерли как пораженные громом. Старуха сказала эти слова так просто, что не оставалось места для недоверия. Страница была испещрена быстрыми летучими буквами. И внизу была подпись «Пушкин».

В этот момент из-за ширмы быстро вышел старик с желтоватой бородой и, в два шага достигнув двери, исчез за нею, унеся с собой настойчивый одеколонный запах. Никто не заметил его. Даже Стендаль. Только сиамский кот проводил его разными глазами: один — красным, другой — голубой.

Вечер, пожалев измученный жарой и происшествиями город, выполз из-за синего леса, отогнал солнце к горизонту и принялся играть красками заката. Пыль отсвечивала розовым, дома порозовели, зазолотились стекла. Лишь провал оставался черным на сизом асфальте. Вокруг уже было надежное ограждение: веревки на столбиках. Все смягчилось — и воздух, и люди. Кто шел в кино или просто погулять, останавливались у провала, распространяли различные слухи о сказочных находках, сделанных в нем.

Рассказывали об одном экскаваторщике, унесшем втихомолку золотую цепь в два пуда весом, и хвалились знакомством с ним. Указывали на следователя, что гулял с женой по Пушкинской, уверяли, что не гуляет, а выслеживает. Экскаваторщику сильно завидовали, но наделись, что его поймают и дадут по заслугам.

Удалов лежал у окна в небольшой палате. Боль в руке утихла. Грубин угадал — оказалась трещина. Хоть в этом повезло. Обещали завтра отпустить домой. Прибегала жена. Сначала беспокоилась, сердилась, потом оттаяла, принесла из дома пирог с капустой. Перед уходом постояла у окна, подержала мужа за здоровую руку.

Прибегал сын Максимка, приводил друзей из школы, крестился отцом в больничном окошке.

Проходившие люди кивали, здоровались. Удалову внимание надоело, он отодвинулся от окна, подогнув ноги и переложив подушку на середину кровати. Он не знал, что его имя также склоняют в связи с сокровищем. Одни говорили, что Удалов пострадал, задерживая человека с золотой цепью. Другие — что старался убежать вместе с преступником для дележа добычи, но оступился.

Пришел к провалу и провизор Савич. Посмотрел в испроглядную глубину и решил все-таки зайти в гости к Елене. Давно не был. Домой ему идти не хотелось.

Пока Савич добрался до Кастельской, наступили сумерки. Первые фонари зажелтели по улицам. В окне Елены горел свет. Она читала. Савич вдруг оробел.

Напротив, у автобусной остановки, стояла скамейка — чугунные ножки в виде лап. Савич сел, сделал вид, что ждет автобус, а сам повторял мысленно речь, кото-

рую произнес бы, если бы набрался храбрости и вошел к Елене.

Он сказал бы: «Елена, сорок лет назад мы не закончили разговора. Я понимаю, дело прошлое, время необратимо. Где-то на перекрестке мы избрали не ту дорогу. Но если, Елена, ошибку нельзя исправить, в ней стоит хотя бы признаться».

Темнело медленно, и небо на западе было зеленым. Дюжий мальчик из речного техникума не дождался Шурочку на девятичасовой сеанс, продал лишний билет и пошел один. И пил с горя лимонад в буфете.

Удалов поужинал без аппетита и задремал, обдумывая один план.

Старухе Милице Федоровне Бакшт не спалось. Она достала трость, с которой выходила в собес или на рынок, накинула кашемировую шаль с розами темно-красного цвета и пошла погулять. По пути раздумывала, не совершила ли ошибки, показав автограф Пушкина пионерам. Но дело шло о ее женской чести — Любезному другу надо было уйти незамеченным.

Грубин проснулся, покормил рыбок, потушил свет и отправился проводить соседа, Корнелия Удалова.

Ванда Казимировна, директор универмага и супруга Савича, съела в одиночестве остывший ужин, взгрустнула и стала мучиться ревностью.

Совсем стемнело. Над лесами собралась гроза, и зарницы вырывались из-за гребенки деревьев, будто злоумышленник сигнализировал фонарем.

Удалов шептался с Грубиным, стоявшим под окном больницы. Удалов решил убежать и ждал удобного момента. Назавтра ему вновь собирались делать рентген и процедуры — он их боялся. Было и другое соображение. Кончался квартал — надо срочно покончить с провалом и другими недостатками. Удалов сильно рассчитывал на премию.

Сторожиха музея проверила, заперты ли все двери — она. Посидела на лавочке под отцветшим кустом сирени, но комары скоро прогнали ее в дом. Она вздохнула, перекрестилась на здание городского архива и ушла.

На реке было тихо, и ее лента с черными полосками заснувших барж была чуть светлее синего неба.

Во двор музея вошел старик с тяжелой палкой. Занавес

одеколону отпугивал комаров, те кружили, кричали комариными, тонкими голосами, сердились на старика, но сесты не осмеливались. Старик медленно поднялся по лестнице на крыльцо; не спешил, утихомиривал скрип ступенек. Прислушался у двери, рассеянно водя пальцем по стеклянной вывеске «Городской музей».

Из парка долетало буханье барабана — играли вальс «На сопках Манчжурии». Никого.

Старик вынул из кармана отмычку и принялся елозить ею в солидном музейном замке. Замок долго сопротивлялся — старый был, надежный, — но поддался, оглушительно щелкнул. От замочного звука заахали, замельтешили окрестные собаки. Старик поглядел на дверь сторожки — нет, сторожиха не беспокоилась... Старик снял замок, положил осторожно на перила и потянул на себя дверь, обшитую коленкором. Тянул и ждал скрипа. При скрипе замирал, потом снова на полвершка оттягивал дверь на себя. Наконец образовалась щель. Старик просунул вперед палку, потом сам проскользнул внутрь с ловкостью, неожиданной для своего возраста. Прикрыл за собой дверь. Прислонился к ней широкой сторбленной спиной и долго хрипел — отдыхал от волнения.

Сначала старик сделал ошибку — отправился в музейные фонды. Он знал расположение комнат. В темноте спустился вниз, в полуподвал, поработал отмычкой над фондовой металлической дверью, — торопился и потратил на открывание минуты три. Анфилада фондовых комнат тонула во тьме. Старик вынул из кармана тонкий, с авторучку, фонарик, и, прикрывая его ладонью от окон, медленно прошел по комнатам.

Портреты уездных помещиков в золотых багетах глядели со стен, разрозненные гарнитуры, впритык друг к другу, заполняли комнаты. В шкафах таились выцветшие сарафаны, купеческие платья и мундиры городских. Керосиновые лампы с бронзовыми и фарфоровыми подставками тянули к потолкам пыльные фитили, и давно остановившиеся позолоченные часы — пастух и пастушка — поблескивали под случайно упавшим лучом фонарика.

В фондах не было того, что искал старик. Он вышел, прикрыл за собой дверь — запирать не стал: времени нет — и остановился в задумчивости. Куда они могли все спрятать? Потом крикнул: как же раньше не догадался? И

поспешил, постукивая палкой, в кабинет директора на втором этаже.

На этот раз он не ошибся. Три бутылки и колба стояли на столе, рядом с макетом памятника землепроходцам. И две книги. Еще книги и пустые реторты лежали на черном кожаном диване.

Движения старика приобрели силу и уверенность. Он ощупывал бутылки, светил им фонариком в бока, угадывал жидкость по цвету. Одну бутылку раскупорил и понюхал. Сморщился, как от доброго табаку, чихнул и заткнул снова резиновой пробкой. Перебрал книги на диване. Одну реторту, с порошком на дне, положил осторожно за пазуху. Еще раз пересмотрел бутылки и книги.

Никак не мог найти чего-то крайне нужного, ценного, ради чего пришел сюда в такой час.

Старик тяжело вздохнул и остановился в задумчивости у сейфа. Сейф вызывал в нем подозрения. Двух бутылок не хватало. Старик с минуту постоял, раздумывая, почему пропали именно те две бутылки? Ему вдруг захотелось, чтобы их в сейфе не оказалось, ибо если они отделены от остальных, значит, кто-то разгадал, хотя бы частично, его секрет.

Сейф сдался через двадцать минут. На верхней полке его лежали музейные важные дела, ведомости членских взносов, печать и менее нужные бумаги. На нижней полке — две небольшие бутылки. Старик угадал, и правильность догадки его не обрадовала. Тем более отсутствовала одна вещь, наличие которой было необходимо для успеха предприятия. И он начал догадываться, куда она могла деться.

Старик медленно и грустно спустился по лестнице, утопив бутылки в обширных карманах. Забыл, что находится в музее нелегально, широко распахнул входную дверь. Дверь взвизгнула петлями. Старик не слышал визга. Он думал. Дверь гулко захлопнулась. Внизу под лестницей поджидала перепуганная сторожиха, прижав к губам миллицейский свисток.

Старик не сразу заметил сторожиху. Из задумчивости его вывел свист, короткий, захлебнувшийся, — сторожиха оробела и не смогла толком дунуть. Рука дрожала, свисток молотил по зубам.

— Ты что здесь делаешь? — спросил старик, все еще

думая о другом. — Ты зачем здесь? — повторил он с пристрастием.

— Батюшки! — Сторожиха отступила назад, топча музейную клумбу. — Туда же нельзя. Музей закрыт.

— А я в музей не собираюсь, — сказал старик. Он пришел в себя, вспомнил, где он и почему здесь.

— Батюшки... — повторила сторожиха. — Неужто это вы? По голосу узнала. Дитем была, а по голосу узнала.

— Обозналась, — сказал старик. — Я приезжий. Хотел с достопримечательностями ознакомиться. Хожу. Смотрю.

— Да чего же от меня скрываться, — обиделась сторожиха. — Я хоть и дитем была, но помню, как сейчас помню.

— Ладно, — сказал старик. Он уже спустился по лестнице и стоял на дорожке, высясь над сторожихой. Карманы оттопыривались, и жидкость явственно булькала в бутылках.

Сторожиха, смущенная встречей, растерянная, уже не злилась. С горечью решила, что старик пьет и спиртное носит в карманах.

— Может, переночевать негде? — спросила она.

Старик помягчел.

— Не беспокойся, старая, — сказал он. — Лето сейчас. Комар меня не берет. Добро всякое кто сегодня приносил в музей?

— Старая директорша, Елена Сергеевна. Они потом еще долго здесь просидели.

— Чего с собой унесла?

— С внуком она была, с Ваней. На пенсии она теперь.

— Книжка была у нее? Старая.

— Она зачастую с книжками ходит.

— Она уходила — книжка была у нее?

— Была, была. Конечно, была, как не быть книжке.

— Давно ушла?

— Еще светло было...

— Куда пошла?

— Домой к себе, на Слободскую...

Удалов уже совсем собрался бежать из больницы, но тут кончился девятичасовой сеанс в кино, по улице пошли

люди, с разговорами и смехом. Зажигали спички, прикуривали. Луны не было — из-за леса натянуло грозовые тучи. Грубин прижался к стене. Удалов присел за подоконником. В палате уже было темно, свет выключен, больные спят.

— Миновали, — прошептал наконец Грубин, давая сигнал.

Последним прошел киномеханик, звеня ключами от кинобудки.

Можно было начинать бегство. Удалову очень хотелось, чтобы прошло оно незаметно и благополучно. Если его поймут сейчас и вернут, будет немало смеха и издевательских разговоров. Но утра ждать нельзя. Утром в больнице наберется много врачей и персонала. Не отпустят. Удалов оперся на здоровую руку и сел на подоконник.

Сзади скрипнула дверь... Сестра. Удалов зажмурился и прыгнул вниз, в руки Грубину. Больную руку держал кверху, чтобы не повредить. Так и замерли под окном скульптурной группой.

Перед носом Корнелия шевелились грубинские пышные волосы. Удалов зажмурился, ожидая сестринского крика. И ему уже чудилось, как зажигаются во всех больничных окнах огни, как начинают суетиться по коридорам нянечки и медсестры и все кричат: «Убежал! Убежал! Обманул доверие!»

— Ай! — простонал Корнелий.

Грубин толкнул его головой в рот, чтобы хранил молчание.

В палате было тихо. Может, сестра не заметила, что одного пациента не хватает. А может, и не сестра это была, а кто-нибудь из ходячих больных пошел в коридор. Корнелий тяжело вздохнул, обмяк и попросил:

— Подожди минутку, передохну. Я все-таки больной человек.

И тут они услышали тяжелые неровные шаги. Шаги приближались неумолимо и сурово, будто передвигался не человек, а памятник. По самой середине улицы, не скрываясь, прошел высокий старик с палкой. Прошел, неровно и скупо освещенный редкими фонарями, и только тень его еще некоторое время удлинялась и покачивала головой у ног Удалова.

Остался запах одеколона, странное бульканье, исходившее от старика, да постукивание палки.

— Подозрительный старик, — сказал Удалов шепотом. Старика он испугался и потому теперь хотел его унижить. — У провала вертелся, помнишь? Меня в пропасть толкнул.

— Ты сам толкнулся. Нечего уж... — отозвался справедливый Грубин.

— И не извинился, — добавил Удалов. — Человека довел до больницы, до травмы, а не извинился. Травма моя — бытовая, и по бюллетеню платить не будут. Надо с него взыскать.

— Кончай, Корнелий, — увещевал Грубин. — Чего возьмешь со старика.

— Я ему иск вменю, — решил Удалов. Теперь он понял, кто во всем виноват.

Удалов вскочил и, неся впереди большую руку как ручной пулемет, мелко побежал по улице вслед за стариком. Бежал негромко: ему хотелось узнать, где живет старик, но говорить с ним сейчас, на темной улице, не стоило. У старика палка. А Удалов вне закона. Беглец.

Грубин вздохнул и догнал Корнелия. Он шел рядом и отговаривал. Намекал, что такая погоня может отразиться на здоровье. Удалов отмахивался. От друга и от злых комаров...

Шурочка уже три раза сказала Стендалю, что ей пора домой, но не уходила. Ей и в самом деле пора было домой. Стендаль отвечал: «Нет, посидим еще». Он неоднократно ходил на угол, где стояла мороженщица, и приносил Шурочке эскимо. И снова разговаривал о поэзии, чудесных совпадениях, планах на будущее, преимуществах журналистской жизни, маме, оставшейся в Ленинграде, любви к животным, долголетию и все прерывал себя вопросом: «Посидим еще?»

Шурочке было чуть зябко от предчувствий, но, когда стало совсем поздно, она встала и сказала:

— Я пошла. Мама будет ругаться.

— Завтра вы свободны? — спросил Стендаль.

— Не знаю, — сказала Шурочка. — Ты меня не провожай.

Она боялась, что дюжие мальчишки из техникума увидят Стендаля с ней и побьют Мишу.

И тут раздались шаги. Шаги были тяжелые, с палоч-

ным приступом. По улице, направляясь к мосту через Грязнуху, шел старик с палкой. Знакомый запах одеколона сопровождал его.

Стендаль почувствовал, как все внутри его напряжилось. Старик был тайной. В нем было нечто зловещее.

— Идем, — сказал Стендаль. — Этого человека упустить нельзя.

...Милица Федоровна Бакшт в задумчивости гуляла куда дольше, чем положено в ее возрасте. Попала даже на Слободу, чего не случалось уже лет тридцать. Она брела домой в ночи, пора бы спать, слабые ноги онемели, и проносившиеся с ревом автобусы пугали, заставляли прижиматься к стенам домов. Может, уже и не дойти до дома, до фикуса и шафранной полутьмы. Кошка послушно семенила сзади, стараясь не отставать, и глаза ее горели тускло, как в тумане.

Крупная женщина обогнала Милицу Федоровну, но не посмотрела в ее сторону. Женщину Милица Федоровна знала плохо — видела раза два из окна, когда та выходила из универсама.

Савич узнал жену по походке. Когда-то этот перезвон каблучков его пленял, казался легким, элегантным. Потом прошло — осталось умение гадать издали, среагировать. И сейчас среагировал. Понял, что жена мучается ревностью, разыскивает его. В два прыжка перемахнул через улицу и спрятался за калиткой во дворе Капельской. Ванда Казимировна задержалась перед окном, заглянула, увидела, что Капельская одна. Сидит за столом, читает. Савича там нет. Успокоилась и пошла дальше, к мосту, медленнее, как бы прогуливаясь.

Савич собрался было вернуться на улицу, но только сделал движение, как снова послышались шаги. С двух сторон. Одни — тихие, шаркающие, будто человек не двигается с места, а устало вытирает ноги о шершавый половик. Другие — тяжелые, уверенные. Савич остался в тени. Калитка дернулась под ударом, распахнулась. Задрожал заборчик. Высокий старик с палкой ворвался во двор, чуть не задел Савича плечом, обогнул дом и — раз-два-три! — взгромоздился по ступенькам к двери. Постучал.

Савич выпрямился. Старика он где-то видел. Старик ему не понравился. Было в нем нечто агрессивное, угрожающее Елене. Савич хотел подойти к старику задать воп-

рос, но удержался, боялся попасть в неудобное положение: сам-то он что здесь делает?

Пока Савич колебался, произошли другие события. Во-первых, дверь к Елене открылась, и старик, не спрашивая разрешения, шагнул внутрь. Во-вторых, в калитку вбежал молодой человек в очках. Он тащил за руку очаровательную Шурочку Родионову, подчиненную Ванды. Молодые люди остановились, не зная, куда идти дальше. Тут же перед калиткой обозначились еще две фигуры: одна держала перед собой вытянутую вперед белую толстую руку; вторая была высока, и лохматая ее голова под светом уличного фонаря казалась головой Медузы Горгоны. Удалов замесался перед калиткой, а Грубин вытянул жилистую шею, заглянул в окно Капельской и сказал:

— Он там.

Удалов тут же устремился во двор, обогнал, не видя ничего перед собой, Шурочку с ее спутником и принялся барабанить в дверь.

— Что-нибудь случилось? — спросил Савич, выйдя из темноты.

— Не знаю, — искренне ответил Грубин. — Может быть.

— Я ж тебе говорил, — сказал Миша Стендаль Шурочке и тоже подошел к крыльцу.

Первым вбежал в комнату Удалов. Хотел даже поздороваться, но слова застряли в горле. Старик прижал Елену Сергеевну в углу и старался отнять у нее растрепанную тетрадь в кожаной обложке. Елена Сергеевна прижимала тетрадь к груди обеими руками, молчала, смотрела на старика пронзительным взглядом.

— Ах ты!.. — сказал Удалов. Он выставил вперед записанную руку и с размаху ткнул ею старика в спину.

Старик сопротивлялся.

На помощь Удалову подоспел Савич: им двигал страх за судьбу некогда любимой женщины.

Старик охал, рычал, но не сдавался.

Уже и Грубин, и Удалов, и Стендаль, даже Шурочка отрывали его, тянули, а он все сопротивлялся, поддаваясь, правда, понемногу совместным усилиям противников.

Бой шел в вытеснении, вздохах, крикании, но без слов.

А слова прозвучали от двери.

— Прекратите! — произнес старческий голос. — Немедленно прекратите.

В дверях, опираясь на трость, стояла вконец утомленная Милица Федоровна Бакшт. У ног ее, сжавшись пантерой, присела старая сиамская кошка.

Старик отпустил тетрадь и отступил под тяжестью насевших на него врагов. Повел плечами, страхнул всех и как ни в чем не бывало сел на стул.

— Как дети, — сказала Милица Федоровна. — Дайте стул и мне. Я устала.

10

— Любезный друг, — начала Милица Федоровна, — вы вели себя недостойно. Вы позволили себе поднять руку на даму. Извинитесь.

— Прошу прощения, — проговорил старик смущенно.

Елена Сергеевна еще не пришла в себя. Прижимала к груди тетрадь, не садилась.

— Мой друг не имел в мыслях дурного, — продолжала Милица Федоровна. — Однако он взволнован возможной потерей.

— Мне он с самого начала не понравился, — сказал Удалов. — Милицию надо вызвать.

— Справимся, — успокоил Стендаль.

— Так разговора не получится, Елена Сергеевна, — сказал старик.

— Ну-ну, — возразил Удалов. Он был смел: с ним была общественность. — Я руку из-за вас сломал.

— Сам прыгнул, — сказал старик без уважения.

— Любезный друг, — произнесла старуха Бакшт, — боюсь, что теперь поздно ставить условия.

Затем она обернулась к Удалову и Стендалю.

— Мой друг не повторит прискорбных поступков. Я ручаюсь. — В голосе ее звучала нестарушечья твердость.

Удалову стало неловко. Он потупился. Стендаль хотел возразить, но Шурочка дернула его за рукав.

— Я полагаю, — продолжала Бакшт, — что наступило время обо всем рассказать.

— Да, стоит объясниться, — согласилась Елена Сергеевна.

Она положила злополучную тетрадь на стол, на видное место.

— Что вы знаете? — спросил старик у Елены Сергеевны.

— То, что написано здесь.

Старик кивнул. Оперся широкими ладонями о набалдашник палки. Был он очень стар. Неправдоподобно стар.

— Ладно, сказал он. — Суть дела в том, что я родился в тысяча шестьсот третьем году.

Удалов хихикнул. Засмеялся негромко, поглаживая курчавые ростки вокруг лысины, Савич. Заразился смехом, прыснул Стендаль. Широко улыбался Грубин. Шурочка тоже улыбнулась, но осеклась, согнала улыбку, вспомнила альбом старухи Бакшт.

Сама Бакшт не смеялась.

...Ванда Казимировна заглянула в окно, увидела мужа веселым, в компании. Это переполнило чашу ее терпения. Она вошла в дом. Она была в гневе. Топнула мускулистой ногой, прерывая веселье, и спросила, обращаясь большей частью к мужу:

— Смеетесь? Веселитесь?

Савич опал с лица. Хотел встать, извиниться, хотя и не был виноват. Но и тут порядок навела старуха Бакшт. Она сказала громко и строго:

— Кто хочет смеяться, идите в синематограф. А вы, мадам, садитесь и не мешайте разговору.

Удивительно, но всем раскотелось смеяться. И Ванда Казимировна села на свободный стул рядом с Шурочкой и притихла.

Старик будто ждал этой паузы. Он произнес размеренно:

— Я родился в тысяча шестьсот третьем году.

На этот раз никто его не перебил, никто не улыбнулся. Стало ясно, что старик не врет. Что он в самом деле родился так давно, что он — чудо природы, уникал, судьба которого таинственным и чудесным образом связана с провалом на Пушкинской улице.

— Отец мой был беден. Мать умерла от родов. Жили мы здесь, в городе Великий Гусляр, на Вологодской улице. Отец был сапожником, крестили меня в Никольской церкви, что и поныне возвышается на углу улиц Красногвардейской и Мира. Окрестили Алмазом. Ныне имя редкое и неизвестное.

Старик закашлялся. Кашлял долго, сотрясал большое, видно, совсем уже пустое внутри тело.

— Испить не найдется, Елена Сергеевна? — спросил старик.

Шурочка сбегала на кухню, принесла стакан холодного молока. Старик выпил молоко, вытер не спеша усы синим платком.

— Мальчиком отдали меня в услужение купцу Томиле Перфирьеву, человеку скаредному, нечистому на руку. Бил он меня нещадно. Но рос я ребенком сильным, хотя мясо видал лишь по большим церковным праздникам. Помню, были слухи о поляках, которые взяли Москву. До нас поляки, правда, не добрались, но было великое смятение.

Старик говорил медленно, стараясь вобрать в современные, понятные слушателям слова события семнадцатого века. Будто сам уже не очень верил в то, что были они. И сам себе казался лживым — что за дело этим людям до бестолкового шума базарной площади, до заикающегося дьяка с грамотой в руках, до затоптанной нищенки и тройного солнца — зловещего знамения! Было ли такое или подсмотрено в кино через триста лет?

— Кому скучно, может уйти, не настаиваю, — сказал вдруг зло старик. Ему почудились насмешки на лицах.

Никто не ответил. Провизор Савич понимал, что надо требовать доказательств, потому что иначе получался кошмар. Нереальность подчеркивалась тем, что в одной комнате, впервые за много лет, оказались Ванда и Елена.

Старик молчал, смотрел пронзительно, и утихал скрип стульев, шевеление, перегляды.

— Уличил я как-то хозяина в обмере, и это случилось на людях... Шрамы эти до сего дня не совсем сгладились — избил он меня. Ничего, отдышался, но кличку приобрел «Битый». Так звали. Получается — Алмаз Битый. Правда, я имя неоднократно менял, и в советском паспорте написано Битов. Но это не так важно. Подрос я, убежал из Великого Гусляра, и начались мои многолетние странствия. Сначала пристал я к торговым людям, что шли в Сибирь. Молодой и еще был и многое принял на себя. Если рассказывать, получится длинный роман со многими приключениями.

Дошел я с казаками до земли камчатской, бывал и в Индии, а когда вернулся в Россию, было мне уже под пятьдесят, обладал я некоторой известностью как отважный и склонный к правде человек, и если кто из вас имеет доступ к архивам, то сможет найти там, коли уцелели после многих пожаров, столбцы, в которых упомянуто и

моих делах и походах. Было вокруг угнетение и чванство, обиды и скорбь. И тогда я подался на юг, в Запорожскую Сечь. Стал я полковником запорожского войска и думал, что завершу жизнь в походах и боях, но случилось однажды такое событие...

Старец Алмаз прервал речь, помолчал с полминуты.

Слушатели заинтересовались, поддались гипнозу сухих фраз, за которыми вставали события, правдивые потому, что говорилось о них так кратко и сдержанно.

— Вам такого имени, как Брюховецкий, Ивашка Брюховецкий, слышать не приходилось? И вам, Елена Сергеевна? Это понятно. Человек этот канул в Лету и известен только историкам-специалистам. А ведь в мое время имя его на Сечи, да и во всей Руси, было весьма знаменитым. Для людей он был гетманом запорожским, для меня — прямым начальником...

Вызывает этот Брюховецкий меня к себе и говорит: «Есть к тебе, Алмаз Федотович, тайное и срочное дело. Порадовал меня царь грамотой, велел охрану выслать, старца Мелетия встретить и до безопасных мест проводить. Я-то людей послал, да они пощипали того старца, все, что при нем было — шесть возов да грамоты заморские, — себе взяли. Теперь царь гневается. Где, спрашивает, награбленное? Второй день у меня подъячий Тайного приказа Порфирий Оловенников сидит, списки награбленного показывает, требует вернуть. Грозит... Выручай, Алмаз. Что делать?» Я сразу понял: юлит Ивашка Брюховецкий, потому как не иначе грабители с ним щедро поделились. А расставаться с добром кому захочется. Я и спрашиваю: «Грамотки где? Вряд ли царь стал Оловенникова, хитрого человека, к тебе посылать из-за шести возов. Грамотки покажи». Брюховецкий поотнекивался — вроде не знает, где грамоты, слухом не слыхивал. Потом вспомнил вроде, принес. Я попросил разобраться. Брюховецкий спорить не стал. Сказал только — с утра призовет, чтобы все было ясно. И вернулся я к себе домой...

«По-моему, я встречала эту фамилию — Брюховецкий», — думала Елена Сергеевна. Разогнала воздух перед лицом — надымили курильщики.

Стендалю стало скучно. Он вертелся на стуле, шуметь не осмеливался, кидал взгляды на Шурочку. Удалов баюкал руку — видно, ныла. Грубин слушал внимательно —

представлял спесивого гетмана, у которого под дверью сидит московский подьячий из приказа тайных дел.

— Я позвал одного писаря, грека, не помню, как его звали. С ним мы грамотки разобрали. И были они любопытные — в них восточные патриархи признавали власть Алексея Михайловича беспредельной. А Никона, русского патриарха, ставили ниже царя. Грамоты были куда как важны — подьячий не зря тратил время. Царь хотел с Никоном покончить, да не смел своей властью патриаршего сана лишить. Послов в Иерусалим, в Антиохию слал, тамошних патриархов задабривал, помощи просил. Был среди бумаг один список — очень меня заинтересовал. Список был с грамоты самого Никона. Честил в ней Никон царя и бояр, звал к правде, жаловался на произвол царский, грозил войной. Очень эта грамота соответствовала моему душевному состоянию — я много лет справедливости искал, и вот она, писцами переписанная, справедливость, великим человеком высказанная, который против царя и бояр идет. Я тогда в патриаршей политике не разбирался, решил — буду жив, увижу старца, попрошу, чтобы направил меня на путь истинный.

Утром пришел к Ивашке Брюховецкому и советую ему: «Ты, говорю, отдай чего-то из взятого, пустяк отдай. Но вот эти четыре грамоты, патриархами написанные, обязательно возврати. И от тебя царь отступится. Скажи, все у казаков забрал, в церковь сложил, а церковь возьми и сгори». Ивашка меня пытается: «А обойдется ли?» — «Обойдется», — говорю.

Так Брюховецкий и сделал. Подьячий, как увидел патриаршие грамотки, в лице цветом восстановился, — за этим и ехал...

Старик разговорился, голос окреп; он взмахивал палкой, словно булавой либо саблей, забыл о слушателях — не до них было. События обрастали плотью, пыльным именами превращались в людей.

— Я стремился в Москву. Но попал туда только годд через два-три, когда уже к Москве подъезжали через Грузию, по Волге, царем созванные восточные патриархи, чтобы судить Никона. Брюховецкий тогда в Москву поехал, к царю на поклон. И удалось мне через подставных людей с Никоном связь установить. В то время грозила ему ссылка простым монахом-чернецом в северный монастырь,

но старик не сдавался, борьбу конченной не считал. По-современному говоря, были у него еще большие связи в верхах. За них держался. А с другой стороны, обратил свое внимание к народу. Может, и не от большой любви — а что делать? Бой-то проигран. Меня Никон пригнал в одном монастыре, старцем Сергием называли. Но саблю я еще в руках держать мог. Сидение в монастыре томилло меня, хотя Никон обнадеживал: надвигаются, говорил, времена. Послужишь ты еще, Алмаз, правому делу...

— Вы уж потерпите, — сказал вдруг старик миролюбиво Стендалю, который вынул записную книжку и что-то свое стал писать в ней. — Мне недолго осталось. Сейчас к делу перейду. Без этого, что рассказал, вам моя позиция и судьба останется неясной.

— Я ничего, я конспектирую, — смутился Стендаль и закрыл книжечку.

— С юга, с Волги, пришли вести: поднялся Стенька Разин. Он Долгорукому смерть брата своего Ивана простить не мог. Смелый был человек. И хоть Прозоровский, астраханский воевода, ему прощение за старые дела от царского имени высказал, он все равно по Волге пошел, царя решил скинуть. Как на подворье у нас об этом заговорили, понял я: не сегодня-завтра меня к Никону призвут. Был тогда Никон простым монахом, опозоренный, в Ферапонтовом монастыре, в наших вологодских местах, заточен. Но в монастыре его знали, опасались, что он мог еще властью пользоваться. Призвал меня, сказал: «Ты, казак Алмаз, иди к Степану Тимофеевичу на Волгу. Без меня, говорит, Степану с царем не совладать. Он сам это знает. Слышал я, есть среди его стругов один, черным бархатом обит, и пустил Степан слух, что в этом струге я плыву. Так поезжай туда, посмотри, вроде как мой посол будешь». Благословил меня Никон, и ушел я на Волгу. Я и в Астрахани был, когда Прозоровского с раската кинули, и Царицын брал, и под Симбирском с войском стоял. Все было. Только, конечно, рясу-то скинул и, хоть звали меня по-прежнему старцем Сергием, дрался я по-казацки. Тогда-то с Милицей я и познакомился.

Алмаз указал узловатым пальцем на старушку, дремавшую в углу с кошкой на коленях.

Все послушно обернулись к ней.

— Была она тогда и сейчас есть — персидская княжна,

про которую известную песню сложили. Будто ее Степан Тимофеевич за борт в Волгу кидал.

— Ой! — удивилась Шурочка Родионова. — Я думала, что это — сказка.

— Не будите ее, — сказал Алмаз. Да никто и не собирался будить Милицу Федоровну. — В песне говорится, что Степан Тимофеевич ее за борт кинул, так неправда это. Грозился, клялся даже, чтобы ревнивых казаков успокоить. Но ведь не бандитом он был. Был он к тому времени государственным деятелем, армию вел за собой. Инцидент, правда, был, признаю. Я тогда на том же струге, что и Степан, находился. Мы спорили с ним сильно. Расхождения у нас были. А тут пришли некоторые руководители. Сказали: Симбирск скоро, там законная супруга ожидает; нехорошо, коли с княжной появитесь, для морального состояния войск. И Степан Тимофеевич согласился. Девка по-русски ни слова не знала. Только глазами вертела, казаков с ума сводила. Степан выругался, велел ее мне, как человеку надежному, взять ночью, перевезти на черный никоновский струг. Там она и была. А в Симбирске мы ее в доме одном поселили. И ты, кудрявый, не скалься. Если все будет как надо, завтра вы ее не узнаете. Первая красавица в Персии она была. Первой красавицей и здесь будет.

Старик уморился, перевел дыхание. Воздух проходил в легкие тяжело, громко. Старик вынул пачку «Беломора», закурил.

Вокруг заговорили, но слова были будничные, никто о рассказанном не упоминал, не знал еще, как и что надо будет сказать.

Шурочка принесла напиться Ванде Казимировне.

Елена накинула шаль на плечи Милице Федоровне, чтобы та не замерзла.

За окном была тишь, темень, прохлада. Собака вдали брехала лениво, сонно. Будто комар ее укусил, вот и отругивала его.

— Дальше рассказывать — одна печаль, — сказал старик. — Восстание, как вы знаете, было подавлено. В Арзамасе князь Долгорукий двести виселиц поставил. На каждой по полсотне людей погибло. Вот и считайте... Но меня при том не было. Я с двумя сотнями казаков на севор пошел, к Ферапонтову монастырю. Узнал меня Ником,

обрадовался, да поосторожничал. Мы его уговаривали: возьмем Кириллов монастырь — там казна большая, пушки — и на Волгу, на помощь Степану спешить надо. Да не осмелился Никон. Остался... А нам возвращаться поздно было. К тому времени Степана с Фролом уже в Москву везли. Казаков я отпустил — пусть каждый, как может, счастья ищет. А сам хотел в лес уйти. Да был один, князь Самойла Шайсунов, приставленный к Никону царем... У Шайсунова соглядатам, всюду свои люди. Донесли. Поймали меня неподалеку от монастыря, заковали — и в Москву, как самого опасного государева преступника. Я царю — как подарок. Если сознаюсь — конец Никону, что на наш приход да на зазывные речи не донес. Никона и так уже в крепость, в Кириллов монастырь, в строгость перевели. А мои показания были бы ему могильным камнем. Привезли меня в Москву, и тут случилось непредвиденное происшествие, которое к сегодняшнему дню имеет отношение.

11

Руки Сергию завязывали подле кистей веревками, обшитыми войлоком, ноги стягивали ремнями, и поднимали тело на воздух. Палач наступал ногой на конец ремня, тянул, разрывал тело, суставы выворачивались из рук, и потом палач бил по спине кнутом изредка, в час ударов тридцать, и от каждого удара будто ножом вырезана полоса. Разжигали железные клещи на красном, хватали за ребра...

Старец Сергей от наветов отказывался. Фрола Разина, его признавшего, встретил глазами пустыми, а чернецам, которые его у бывшего патриарха Никона видели входящим и выходящим, противные слова говорил. Старец Сергей силен еще, но после пыток сдал, голова болталась, язык распух, и говорить он не мог.

Алексей Михайлович, мучаясь одышкой и страхами, перешел ночью из дворца в подвал Тайного приказа. Нес с собой бумажку, на которой собственной рукой записал вопросы для старца.

«За что вселенских Стенька побить хотел? Они по правде ли извергли Никона и что он им приказывал?» — повторял про себя государь слова записки. «О Кореле.

Грамоту от него за Никоновой печатью к царскому величеству шлют из-за рубежа». Это о шведах. Шведы ненадежны, вредны, Котошихина, беглого бунтовщика, спрятали, печатные дворы держат, в курантах про вора Стеньку печатают и ложные известия о Никоне сообщают. Старец знать про это должен.

Дьяк Данило Полянский шел сзади, на полшага, держал свечу, чтобы государю не удариться головой о притолоку. В переходе было сырадно, вонюче, стрелец у дверей в пыточную засуетился, открывал, пятился, и оттого государю было еще тошней. Полянский сказывал, что старец Сергей молчит. Худо. А еще людишки, верные вроде, твердят, что Сергей — не Сергей вовсе, не старец, а казачий полковник.

Ступеньки в подвал склизкие, грязные, могли бы и помыть, все-таки государь ходит, да не стал государь говорить Полянскому, твердил слова вопросов, и слова улетали, запутывались в разных тревожных мыслях, и горело внутри, пекло — видно, напустили порчу немчины, лскари. Горько было царю на людскую неблагодарность, на вражду, местничество, злобу, наветы.

— Лестницы бы вымыли, — сказал вдруг государь Полянскому, хотя говорить уже раздумал.

Мимо камор шли в пыточную. За решетками шевелились тени, бледные руки лезли из тряпья, и цепи звенели, будто отбивали зубную дробь.

Старец Сергей висел на дыбе безжизненно. Седые волосы, в грязи и крови, колтуном торчали вбок, будто боярский сын набекрень надел шапку. Подьячий, что вел допрос, вскочил из-за стола, но царь в его сторону не посмотрел. Подошел к Сергию, заглянул в лицо. Палач, чтобы удобнее государю было, шустро отбежал, отпустил веревку, и Сергей ногами стал на пол, только ноги пошли в сторону — не держали.

— Что сказал? — спросил царь, глядя на старца, столько нужного для спокойствия и торжества власти.

— Молчит, — ответил подьячий тихо. Боялся царского гнева.

Язык Сергия, распухший, черный, вылезал изо рта, не помещался. Глаза закатились — не закрывались.

— Мне он живой нужен, — произнес вдруг царь обвиненно, будто без гнева, а с тоской.

И даже Полянский дрожь почувствовал. Тишайший государь был весьма озабочен, и это многим могло стоить жизни.

— Пусть поутру его дохтур осмотрит, зелье даст. И не пытатъ, пока сам не кончу.

Алмаза окатили водой, втащили бесчувственного в камору, кинули на пол. До утра дохтура звать не стали. Старик крепкий.

Алмазу казалось, что он в пустыне. Жарко и больно ногам, ободраннм о камни. И озера лишь манят, а оказываются вихрями, бьющими по обожженной коже. Потом ласковая прохлада коснулась лба. Вода холодная — зубы ломило — сама влилась в рот. Стало легко и блаженно.

— Вам лучше? — спросил тихий нежный голос, будто прохлада в пустыне.

— Да, — ответил Алмаз. Открыл глаза.

В теле была боль, ломота, но была она не так важна, и голова стала ясней. Голос звучал где-то внутри, будто кто-то пальчиком гладил по темени. Рядом, на куче прелой соломы, лежал маленький человек, ниц распростершись, и касался исхудалыми руками Алмаза: во тме зрочки его светились по-кошачьи.

— Нечистая сила, — сказал Алмаз. — Изыди...

— Тише, — произнес голос в голове у Алмаза. И рот у маленького человека не открывался, сжат был, губы в струночку. Только глаза зеленою светятся. — Тише, — голос покоил, нежил, — услышат — придут. Снова казнить примутся. Я добра желаю. Немошен я, измучен, ноги переломаны.

Темь в каморе стояла, но Алмаз увидал: ноги соседа на соломе распластались, неживы. Кровь изо рта запеклась на щеке. У Алмаза страх миновал. Язык тяжел, но ворочается.

— Пей, — беззвучно сказал сосед, протянул ладошку, а в ней вода, как на листе роса. Не было зла и порчи в малом человеке.

Алмаз наклонил голову, слизал росу.

— На дыбе был? — спросил сосед.

— Не жить мне, — отозвался Алмаз. — Сам государь поутру примется.

— Бунтовщик ты? Со Стенькой разбойничал?

— Неважно, — сказал Алмаз. Было в нем подозрение, не дьяками ли тайными человек подставлен.

— Не опасайся, — сказал человек. — Я твои мысли знаю. Считаю, что дохтур я. Из фрязинской земли. В колдовстве меня обвинили. Огнем пытали, ноги ломали. Я секрет знаю, как уйти отсюда, да ног нет.

Алмаз долгую жизнь прожил, многого нагляделся. Дохтур так дохтур. На фрязинских землях, на немецких чудес много. И сам Алмаз до Индии ходил, Турцию видел, но в чудеса само собой верил.

— Ты мне о себе расскажи, — молил сосед. — Хоть не словами. Думай — я пойму.

Зеленоватые глаза заглядывали в душу, высматривали, что скрыл; а скрыл Алмаз в рассказе немного — лишь то, что касалось патриарха Никона. Это пускай сосед читает сам — нечистой ли силой, просто колдовством.

Порой сосед просил повторить, подробности выпрашивал, интересовался, будто не обречен, как и Алмаз, на неминуемую смерть. Доволен оказался. Говорил, что надежда в нем появилась, повезло ему, что сосед — Алмаз. Не надеялся уже, веру потерял. Смерть близка.

Бежать из Тайного приказа некуда, это Алмаз понимал. Никто отсюда не скрылся еще. Может, малый человек ума лишился? А может, слово знает?

— Нет, — возразил сосед. — Слова не знаю. Но вижу сквозь стены. Как ни пытай, не отвечу, не понять тебе.

Алмаз не спорил. Секретные и странные вещи признавал, но сам колдунов и тайных людей бежал. Может, и сквозь стены зрит человек. Дано ему.

— Здесь стена в одном месте тонка, — сообщил человек. — В один кирпич. Дверь заложена. В старые времена ход был в другое подземелье, но, видно, после пожара забыли, замуровали. Под Кремлем в разных местах ходы и подвалы вырыты, многие и не найдешь. Давно здесь государи живут, а государям надо тайны иметь, тайники и пыточные места.

За решеткой прошел стрелец. Заглянул в темноту, ничего не увидел. Окликнул:

— Старец Сергей, а старец Сергей, живой ты?

Алмаз промычал нераздельно, простонал.

— Живой, — определил стрелец. — С утра дохтурм приведут. Равно как к боярину. — Стрелец рассмеялся. — Как к боярину, — повторил. Пошел дальше.

— Как же мы кирпичи разберем? — спросил Алмаз.

— Тише, не говори языком, — прозвучал как бы внутри головы голос соседа. — Ты думай, я все угадаю.

— Тяжко, привычки нет.

— Я кирпичи еще со вчера расшатал. Ты меня вытащишь, понесешь. Кирпичи на место положишь. Может, не сразу спохватятся.

— Согласен я, — сказал Алмаз, потому что был человеком трезвым и понимал: не убежишь ночью — новые пытки, а там и смерть, покажется она благостной, долгожданной, как невеста.

— Жди, — услышал он голос внутри.

Человек, опираясь на локти, поволочил безжизненное тело к дальней стене, и от боли его, что передавалась нечаянно Алмазу, мутило, ибо ложилась она на боль Алмаза.

— Сюда ползи, только не шуми, — был приказ оттуда.

И Алмаз подобрался, рукой нащупал тело рядом. Тот подхватил руку, поднес к стене. Один кирпич уже вынут был. Второй шатался.

— Ты сильнее, — слышал Алмаз мысли. — Вынимай их. Раствор старый, крошится. Я перекладывать буду.

Снова прошел стрелец, топотал сапогами: озяб в подвале.

— Караула ждет, — объяснил ему сосед. — Думает о том, как бы согреться. Думает, что ты за ночь отойдешь, дохтура не надо будет. И тебе легче. Добрый человек.

Алмаз кивнул, согласился.

Алмаз кирпичи вынимал из стены, сосед перекладывал их в сторону. Ощупал дыру — узка, но пробраться можно. Сосед подтолкнул в спину: «Давай, мол», — угадал, о чем Алмаз подумал. Алмаз прополз в дыру. Оттуда шел холод и мрак, пыточные камеры Тайного приказа рядом с ним теплым раем казались. Руки уперлись в ледяную жижу. Плечи схватило болью, сил не было тело проташить. Человек сзади подталкивал, да был немощен, без пользы помогал. Своё дыхание Алмаз слышал, — как отдается хрипом по длинному невидимому ходу, шумит, словно домовый в печи.

— Давай, давай еще, поднатужься, немного осталось. Там воля!..

Слова человека, уговоры в голосе стучали, как кровь, и Алмаз елозил руками по жиже, тянул непослушное тело

свое, и оно перевесило, голова упала в вонь и лед, и от того прибавилось силы — от отвращения и жути. Отдохнул самую малость, выпростал из дыры ноги и приподнялся, чтобы лицо отворотить от жижи.

— Меня возьми, не забудь... — умолял человек.

Но Алмаз и не помышлял оставить в беде товарища, тот ему дорогу к воле показал, а Алмаз никогда людей не предавал. И видно, человек угадал его мысли, затих и ждал покорно, пока Алмаз, отдохнувши, протянет к нему в дыру руки и вытянет, немощного, бессильного, невесомого, в черный ход.

Алмаз поднялся во весь рост, морщась от боли и злобы на свои непослушные члены. Свод был низок, пришлось пригнуться, и холодные капли падали ожогами на израненную спину. Человека Алмаз взял на руки, словно младенца; на закорках нести не мог, хоть сподручней — поротая спина саднила. Через несколько шагов переложил было под мышку, чтобы рукой одной впереди шарить. Да это и не нужно оказалось — человек подсказывал, куда идти, где поворачивать, словно кошка во тьме дорогу различал, и Алмаз уже не удивлялся — сил не было на думы: слушался, шел, спотыкался, скользил по грязи.

Прошли подземную палату, потолок вверх ушел, распрямиться можно. Рукой сбоку ощупал — ящики, ларцы, сундуки. Видно, богатства затерянные.

— Нет, — сказал человек, — это книги, столбцы, грамоты. Старые. От царя Ивана Васильича остались.

— Не слышал, чтобы царь книгами баловался.

— Интересовался. Тут большие богатства спрятаны. Государственные тайны. Их многие уже ищут, да не найти. Ходы с земли не видны.

Далеко сзади, усиленный ходами, будто боевыми трубами, пришел шум, сбивался в кучу, разделялся на голоса.

— Нас хватились, — сообщил человек. — Теперь не найдут. Пока решатся в ходы сунуться, да пока по ним проплутают, мы далеко будем.

... Вышли они населенным летучими мышами и крысами, полузаваленным мусором, подземным ходом, что кончался на том берегу Москвы-реки, у Кадашевской слободы. Куча бревен да камни — все, что осталось от часовенки, — скрывали древний ход. Рассветало. Мальчишка гнал из

ночного коней, а навстречу, чуть видная в тумане, шла баба с ведрами к озерку у Болота. Слева были сады, и там перекликались сторожа — берегли царское добро. Из тумана вылезали, словно копыя, колокольни кадашевских церквей. Было мирно, и даже собаки не лаяли, не беспокоили людей в такую обычную ночь.

— Пойдем берегом, — сказал человек. — Знаю, где лодка.

Тут только Алмаз увидел толком спутника. Боль в нем, избитом и истерзанном, была великая. Сквозь рубище смотрели кровоподтеки и синяки, руки были исцарапаны, словно кто-то с них кожу сдергивал, да и на лице целы были одни глаза. Глаза под утренней синевой потеряли кошачий блеск и нутряной свет — были синими, словно воздух, и бездонными, и была в них мысль и мука.

— Ты уж потерпи, — попросил человек. — Донеси меня.

— Неужто, — отозвался Алмаз и даже улыбнулся: подумал, что и сам, видно, страшен и непотребен.

— Что правда, то правда, — подтвердил человек.

Алмаз уже привычно взял его под мышку — перебитые ноги болтались почти до земли, рассекали высокую прибрежную траву.

Лодка была в положенном месте. Человек снова прав. И весла, забытые либо нарочно оставленные, лежали в уключинах.

Через час добрались до леса, а там пролежали весь день, упрятав в камышах лодку.

Алмаз набрал ягод, сыроежек — поел; спутник от всего отказался, только пил воду, но не из реки, как Алмаз, а из своих ладоней, как в Тайном приказе, когда поил этой водой-росой своего соседа.

Потом снова они шли, обходили деревни, шли и ночью и лишь ко второму утру, чуть живые, добрались до яра, в котором стояло, прикрытое пожелтевшими ветками, нечто невиданное, схожее со стругом либо ковчегом, и Алмаз тогда оробел и лишился чувств от бессилия и конца пути.

Очнулся Алмаз внутри ковчега, на мягкой постели, при солнечном свете, хоть и был ковчег без окон. Был Алмаз гол и намазан снадобьями и зельями. Спутник его, в нное переодетый, ковылял вокруг на самодельных костылях, посмеивался тонкими губами, бормотал по-своему,

был рад, уговаривал Алмаза, что он — не нечистая сила, а странник. Но Алмаз слушал плохо, тяжело — его тело отказывалось жить и переносить такие муки, била его горячка, и разум мутился.

— Что ж, — услышал он в последний раз, — придется прибегнуть к особым мерам.

Может, и так сказал странник — снова было забытье, словно глубокий сон, и во сне надо было удержаться за борт ладьи, а не удержавшись — унесет волжская волна, ударит о крутой утес. Но Алмаз удержался, и когда очнулся вновь, все в том же ковчеге, человек сказал ему:

— Опасался я, что сердце твое не выдержит. Но ты сильный человек, выдержало сердце.

Был человек уже без костылей, бегал резво. Видно, немало времени прошло.

— Нет, — улыбнулся он, опять мысль Алмаза угадал, — один день всего прошел. Погляди на себя.

Человек протянул Алмазу круглое зеркало, и на Алмаза глянуло молодое лицо, чем-то знакомое, чем-то чужое, и подумал сначала Алмаз, что это портрет, писанный лик, но человек все смеялся и велел в зеркало смотреть.

И тогда Алмаз понял, что стал молодым...

— ...Ну вот и все, — закончил старик и снова потянулся к пачке за папиросой. — Он улетел к своим. Я тогда понятия не имел, кто он такой, что такое, откуда. Объяснение воспринял для себя самое простое — дух, вернее всего, Божий посланник. Оставил он мне все снадобья, которыми мне молодость вернул, взял с меня клятву, что тайну сохранию, ибо рано еще людям о таком знать. И улетел. Еще велел пользоваться зельем, ждать его, обещал через сто лет вернуться и меня обязательно найти. Я больше ста лет ждал. Не вернулся он. Может, что случилось. Может, прилетит еще. Один раз я нарушил его завет. Был в Симбирске, разыскал подругу свою Милицу и вернул ей молодость. А с тех пор как себя молодил, так и с ней приезжал, где бы она ни была. И все. Хотите казните меня за скрытность, хотите — хвалите. Но скоро триста лет будет, а ведь даже Милица по сей день не знала, почему с ней волшебство такое происходит. Думала, мои заслуга. А уж какая там...

Старик замолчал. Устал. Возвращались в двадцатый век слушатели, переглядывались, качали головами, и ни

было недоверия. Уж очень страшная история. Да и зачем старику ночью рассказывать сказки людям, которые в сказки давно не верят.

Милица все дремала на кресле, кошка — на коленях. Голова склонилась к морщинистым рукам.

— Если так, то пришельцы — не миф, — произнес Стендаль.

Он первый нарушил тишину, что наступает после окончания длинного доклада, прежде чем слушатели соберутся с мыслями, начнут посылать на трибуну записки с вопросами.

— Ну что же теперь? Дадите мне выпить мою долю? — спросил старик. — Я все как на духу рассказал. Мне молодость не для шуток, для дела нужна. И за Милицу прошу. Она мне верит.

— Я и не спала, — проговорила вдруг Милица Федоровна. — И все, что Любезный друг здесь говорил, могу клятвенно подтвердить. Мы с Любезным другом монополию на напиток не желаем. Правда?

Старик кивнул.

— Может, кто-нибудь из присутствующих здесь дам и кавалеров захочет присоединиться к нам?

12

Человеку свойственно совершать ошибки.

И раскаиваться в них.

И чем дольше он живет, тем больше накапливается этих ошибок и тем горше сознание того, что далеко не все из них можно исправить..

Как только человек осознает, что есть связь между причиной и следствием; он догадывается, что не надо было пожирать разом коробку шоколадных конфет, растянул бы удовольствие на два дня и живот бы не болел. Это ошибка еще дошкольная. А помните, как вы засиделись у телевизора, глядя уже известный мультфильм, не выучили стихотворение Некрасова, получили двойку и лишились похода в зоопарк. Казалось бы, пустяк, а помнишь об этом всю жизнь.

Дальше — хуже. Накапливается неисправимость глупых слов, легкомысленных поступков, упущенных возможностей и несостоявшихся свиданий. И в какой-то момент все

эти ошибки складываются в жизнь, которая пошла по неверному пути.

А где тот перекресток, где тот поворот на жизненной дороге, после которого неправильное течение жизни стало необратимым? Где тот проклятый момент, после которого уже ничего нельзя исправить?

Некоторые даже и не догадываются, что совершили роковую ошибку, другие — догадываются, но смиряются и стараются отыскать утешение в том, что еще осталось. Но есть люди, которые всю жизнь маются, вновь и вновь возвращаясь к роковому моменту и втуне изыскивая возможность исправить неисправимое. Нелюбимая жена уже родила тебе троих сорванцов, а любимая, но покинутая Таня живет с ненавистным ей Васей, и вы лишь раскланиваетесь на улице, так и не простив друг друга. Друг Иванов, решивший плюнуть на теплое и спокойное место и шагнувший в новое, ненадежное дело, уже стал министром или академиком, а ты так и сидишь на этом теплом месте. По радио рассказывают о боксере Н., который только что с триумфом вернулся из дальней зарубежной поездки, ввергнув там в нокаут известного всем Билли Джонса, а ты вспоминаешь, как бросил боксерскую секцию, где подавал куда больше надежд, чем Н., бросил, потому что поленился ездить через весь город на двух трамваях.

И вот из всех жизненных разочарований и ошибок вырастает великое и пустое слово: «Если бы».

Вот если бы я женился на любимой, но не имевшей жилплощади Тане!

Вот если бы я вместе с другом Ивановым пожертвовал зарплатой и премиальными ради интересной работы!

Вот если бы я не бросил секцию бокса!

Вот если бы...

Миллион лет назад первый питекантроп превратился в человека. Прожил свою относительно короткую жизнь и перед смертью сказал:

— Вот если бы начать жизнь сначала...

С этого и пошло.

Короли и рыцари, епископы и землепашцы, писатели и художники — неустанно и безрезультатно твердили волшебные слова: «Если бы...»

По мере роста культурного уровня человечества оно изобрело буквы и начало писать книги. И если приглядеть-

ся к истории мировой литературы, окажется, что значительная часть ее посвящена той же проклятой проблеме: «Если бы...»

Некий доктор Фауст даже продал свою бессмертную душу ради молодости. А Дориан Грей возложил старение на собственный портрет. Если заглянуть поглубже, то окажется, что даже древний мифологический персонаж Гильгамеш занимался поисками эликсира молодости. И лишь чешский писатель Чапек эту проблему разрешил положительно, описав биографию дамы, которая, пользуясь средством Макрополуса, прожила не старея лет шестьсот. Но ведь это все художественная литература, фантастика, вымысел. А вот если бы... И представьте себе ситуацию. В небольшом городке, поздним вечером нескольким самым обыкновенным людям, прожившим большую часть жизни и не удовлетворенным тем, как они ее прожили, предлагают воспользоваться случаем и начать все сначала.

Разумеется, никто, кроме наивного Грубина, всерьез слова старика не принял. Не было для этого никаких оснований. И отвергнув нелепую возможность, улыбнувшись и глубоко вздохнув, наши герои готовы были уже разойтись по домам. Но никто не разошелся.

Это чепуха, подумал каждый. Это совершенно невероятная чепуха.

И именно крайняя нелепость чепухи сводила с ума.

Если бы старик предложил, допустим, разгладить морщины на челе или излечить от гастрита, все бы поняли — простой знахарь, мошенник. Но ни один знахарь не посмеет предложить молодость. Даром. За компанию с ним. Никакого псевдонаучного объяснения, кроме дикой истории о космическом пришельце и царе Алексее Михайловиче, старик не предложил. И ни на чем не настаивал. Сам спешил принять.

И пока тикали минуты, пока люди старались перенарить и как-то увязать со своим жизненным опытом происходящие события, в каждом просыпался и начинал стучаться, просясь на волю, проклятый вопрос: «А что если бы...»

И была долгая пауза.

Ее прервал старик Алмаз. Неожиданно и даже громко он сказал:

— Итак, средство состоит из трех частей. Порошок у

меня в кармане. Растворитель в бутылках, что я взял в музей. Добавки составляются из разных снадобий, и рецепт на это заключен в тетради.

Старик Алмаз взял тетрадь со стола и помахал ею как веером: становилось душно от многолюдного взволнованного дыхания.

Елена Сергеевна постукивала по столу ногтями, старалась разогнать внутреннее смятение, звон в ушах. Сквозь тугой, вязкий воздух пробился к ней внимательный взгляд. Подняла голову, встретила глазами с Савичем и поняла, что он не ее видит, а видит сейчас Леночку Кастельскую, которую любил так неудачно. И Елена Сергеевна поняла, что Савич скажет «да». В нем это «если бы» ворошилось долгие годы, спать не давало.

Елена Сергеевна чуть перевела взгляд, посмотрела на Ванду Казимировну. Но странно, та смотрела не на мужа, а в синь за окном. Улыбалась своим потаенным мыслям. И Елена Сергеевна вспомнила, какой яркой, крепкой была Ванда, пока не расплзлась от малоподвижной жизни и обильной пищи.

— Формально вы не имеете права на пользование находкой. Она — собственность музея, — сказал Миша Стендаль. — Тем более, что вы совершили кражу. У государства.

— И это карается, — вмешался Удалов.

— Уже говорили, — сказала старуха Бакшт. — Не ведите себя как российские либералы. Они всегда много говорили в земстве и в дворянском собрании. Ничего из этого не получилось.

Елена Сергеевна пыталась угадать в старухе черты прекрасной персиянки, но, конечно, не угадала — старческая маска была надежна, крепка и непрозрачна.

— Нет, так не пойдет, — возразил Стендаль. — Необходимо подключить власти и общественные организации.

— Правильно, — согласился Удалов, недовольный тем, что его сравнили с царским либералом. — Что скажут в райкоме? В Академии наук? Потом уж в централизованном порядке будет распределение...

— Сколько времени это займет? — невежливо перебил его старик.

— Сколько надо.

— Год?

— Может, и год. Может, и два.

— Нельзя. У меня дела. Милице тоже ждать негоже. Помрет.

Милица прискорбно склонила голову, кивнула согласно.

— Чепуху говорите, товарищ Удалов, — вмешался Савич, которому хотелось верить в эликсир. — Вы что думаете, придете в райком или даже в Академию наук и скажете: в этой банке находится эликсир молодости, полученный одним вашим знакомым в семнадцатом веке от марсианского путешественника. А знаете, что вам скажут?

— Температуру, скажут, измерить! — хихикнула Шурочка Родионова. Вообще-то она молчала, робела, но тут представила себе Удалова с градусником и осмелилась.

— Если бы ко мне пришел такой человек, — сказал Савич, — я бы его постарался немедленно изолировать.

Удалов услышал слово «изолировать» и замолчал. Лучше промолчать. В любом случае он свое возражение высказал. Надо будет — вспомнят.

Грубин не удержался, вскочил, принялся шагать по комнате, перешагивая через ноги и стулья.

— Русские врачи, — сказал он, — прививали себе чуму. Умирали. В плохих условиях. Нам же никто умирать не предлагает. Зато перед наукой и человечеством можем оказаться героями.

Голос Грубина возвысился и оборвался. Он пальцами, рыжими от частого курения, старался застегнуть верхнюю пуговицу пиджака, скрыть голубую майку — ощущал разноречие между высокими словами и своим обликом.

— Это не смешно, — сказал Савич хмыкнувшему Удалову.

— К научным организациям мы обратиться не можем, — продолжал, собравшись с духом, Грубин. — Над нами начнут смеяться, если не хуже. Отказаться от опыта мы не имеем права. По крайней мере, я не имею права. Откажемся — бутылки либо затеряются в музее, либо товарищ Алмаз Битый поставит опыт сам по себе, и мы ничего не узнаем.

— Если получится, — произнес Савич, которому хотелось верить, — то мы придем к ученым не с пустыми руками.

— С метриками и паспортами, — добавил Грубин, — в которых наш возраст не соответствует действительному.

— Кошмар какой-то! — сказала Ванда Казимировна. — А если это яд?

— Первым буду я, — ответил старик Алмаз.

— И я, — поддержала Милица Федоровна. — Для меня это не первый раз.

— Мы никого не заставляем, — сказал Грубин. — Только желающие. Остальные будут контрольными.

— Разрешите мне, — поднял руку Миша Стендаль. — А что будет, если я соглашусь участвовать?

— Младенцем станешь, — сказала Шурочка Родионова. — И я тоже. Увезут нас в колясках.

— А действует сразу? — спросил Удалов. Он не хотел выделяться, но думал о возвращении домой, к супруге.

— Нет, действует не сразу, — объяснил Алмаз. — Действует по-разному, но пока организмом не впитается, несколько часов пройдет. К утру ясно станет. Каждый вернется к расцвету физической сущности. Потому молодым пользы нет. Только добро переводить.

Алмаз почувствовал, что общее мнение склоняется в его пользу. Человеческое любопытство, страсть к новому, проклятое «если бы», нежелание оказаться трусливее других — все эти причины способствовали стариковским идеям. И он поспешил поставить на середину стола бутыль и велел Елене принести стаканы, другую посуду и ложку столовую и еще спросил соли, обычной, мелкого помола, и мелу или извести, а сам листал тетрадь, вспоминал — спешил, пока кто-нибудь из людей не спохватился, не высказал насмешки, так как насмешка в таких случаях страшнее хулы и сомнения. Стоит кому-то решить, что сказочность затен никак не вяжется с тихой комнатой и временем, в котором живут эти люди, и тогда отберут бутылки, отнесут их в музей, положат в сейф. А если так, погибнет дело, ради которого проделал Любезный друг столь долгий путь, да и жизнь его, от которой мало осталось, вскоре завершится. Этого допускать было нельзя, потому что старик, проживя на свете свои первые триста лет, только-только начал входить во вкус человеческого существования.

Пока шли приготовления, и были они обыденны, как приготовления к чаю, начались тихие разговоры — по двое, по трое. Иногда раздавался смешок, но он был без издевки, нервный, подавленный.

Алмаз Федотович отсыпал в миску весь порошок — чтобы в всех хватило. Потом откупорил бутылки с растворителем, слил содержимое в одну, примерился и плеснул в миску темной жидкости. Начал столовой ложкой размешивать порошок, тщательно, деловито и умело, доставая рукой из кармана штанов пакетики и свертки.

— Это все добавки, — пояснил он, — купил в аптеке. Ничего сложного, даже аспирин есть — для усиления эффекта.

— Потом надо будет все зафиксировать для передачи ученым, — напомнил Грубин.

— Не забудем, — согласился старик, для которого общение с учеными оставалось далеким и не очень реальным. Одна мысль занимала его — только бы успеть приготовить все, выпить, а дальше как судьбе угодно.

— Лист бумаги попрошу, — сказал Грубин Елене Сергеевне. — Начнем запись опыта. Никто не возражает?

— Зачем это? — спросил Удалов.

— Передадим в компетентные органы.

— А если кто не желает?

— Тогда оставайтесь как есть. Нам наблюдатели тоже нужны.

Удалов хотел еще что-то сказать, но Грубин не дал ему слова — остановил поднятой ладонью, взял лист, шариковую ручку и написал крупными буквами: «12 июля 1979 года. Г. Великий Гусляр, Вологодской области.

Участники эксперимента по омоложению организма».

Написал себя первым:

«1) Грубин Александр Евдокимович, 1935 года рождения».

Затем следовал старик Алмаз:

«2) Битый Алмаз Федотович, 1603 года рождения.

3) Бакшт Милица Федоровна».

— Вы когда родились?

— Пишите приблизительно, — сказала Милица Федоровна. — В паспорте написан 1872 год, но это неправда. Пишите — середина XVII века.

Грубин написал: «Середина XVII в.»

В действиях Грубина была уверенность, деловитость, и потому все без шуток, а как положено, ответили на вопросы.

И таблица выглядела так: «4) Кагельская Елена Сергеевна, 1918 г. рожд., 5) Удалов Корнелий Иванович, 1933, 6) Савич Никита Николаевич, 1919, 7) Савич Ванда Ка-

зимировна, 1923, 8) Родионова Александра Николаевна, 1960, 9) Стендаль Михаил Артурович, 1956».

— Итого девять человек, — заключил Грубин. — Дело условно на две группы. Первая — те, кто участвует в эксперименте. Номера с первого по седьмой. Вторая — контрольная. Для сравнения.

— Простите, — сказал Миша. — Я тоже хочу попробовать.

— Количество эликсира ограничено, — отрезал Грубин. — Я категорически возражаю.

В глазах Грубина зажегся священный огонь подвижника, свет Галилея и Бруно. Он руководил экспериментом, и Удалову очень хотелось оказаться в контрольной группе. Изменения в старом друге были непонятны и пугали.

— Вы готовы? — спросил Грубина Алмаз, поворачиваясь к нему всем телом и взмахивая листком как знаменем. — Можно разливать? — Старик сильно притомился от волнения и физических напряжений. Его заметно шатало.

— Помочь? — спросила Елена Сергеевна и, не дожидаясь ответа, разлила жидкость из миски по стаканам и чашкам. Семь сосудов стояли тесно посреди стола, и кто-то должен был первым протянуть руку.

Старик размахисто перекрестился, что противоречило научному эксперименту, но возражений не вызвало, провел рукой над скоплением чашек и выбрал себе голубую с золотым ободком.

— Ну, — сказал он, внимательно оглядев остальных, — с Богом.

Зажмурился, вылил содержимое чашки в себя, и кадык от глотков заходил под дряблой кожей, а жидкость булькала. Потом поставил пустую чашку на стол, перевел дух, сказал хрипло:

— Хорошее зелье. Елена, воды дай — запить.

И сразу тишина в комнате, возникающая, когда старик взял чашку со стола, окончилась, все зашевелилось и потянулось к столу, к стаканам, будто в них было налито шампанское...

Следующим поднял чашку Грубин. Понюхал, шевельнул ноздрями, покосился на часы. Старик поднес чашку

Милице Федоровне, и та, кивнув, словно получила стакан обычной воды, стала пить маленькими осторожными глотками.

Грубин выпил быстро, почти залпом.

— Ну и как? — спросил Удалов. Он держал чашку здоровой рукой, на весу.

— Ничего особенного, — ответил Грубин. Поставил чашку на стол и тут же стал записывать, повторяя вслух: — Опыт начат в 23 часа 54 минуты. Порядок приема средства следующий. Номер один — Битый Алмаз, номер два — Бакшт Милица, номер три — Грубин Александр... — Он поднял голову и строго приказал другу: — Ну!

Удалов все не решался. Странное видение посетило его. Ему казалось, что он находится на большой площади; края которой теряются в тумане. Перед ним стоят бесконечным рядом старики и старухи — ветераны труда и войны, абхазские долгожители, пенсионеры из разных республик. И все эти люди глядят на Удалова с надеждой и настойчивостью. Тут же и Грубин, который медленно катит громадную бочку, стоящую на тележке. А Шурочка Родионова держит в руках поднос с небольшими рюмками. Серебряным черпаком Грубин разливает из бочки зелье по рюмочкам. Удалов берет рюмочки с подноса и медленно шествует вдоль строя стариков. Каждый пенсионер, получив рюмочку, говорит:

— Спасибо, товарищ Удалов.

И выпивает зелье.

Мгновенная трансформация происходит с выпившим. Разглаживаются морщины, выпрямляется стан, густеют волосы и неистовым сверканием наполняются глаза. И вот уже молод пенсионер, и готов к новым трудам и подвигам. Но еще много желающих впереди — тысячи и тысячи ждут приближения Корнелия. Рука немеет от усталости. А надо всех обеспечить зельем, потому что все достойны.

— Корнелий, — донесся словно сквозь туман голос Грубина. — Расплескаешь.

Корнелий пришел в себя. Рука с чашкой дрогнула и рискованно наклонилась. Удалов смущенно улыбнулся.

— Я задумался.

— О чем? Время идет.

— Надо Ксенин отнести. А то как же получится — я молодой, а она в годах останется?

— Разберемся, — ответил Грубин. — Я тебя уже отметил. Как принявшего.

— Закусить бы, — попытался оттянуть пугающий момент Удалов, но понял — невозможно. И быстро выпил то, что было в чашке.

Зелье было горьковатым, невкусным, правда, на спиртовой основе.

Савич пил, не думая о вкусе зелья. Он пил и мысленно уговаривал Елену тоже выпить, не раздумать. И, не смея сказать о том вслух, не спускал с Елены взгляда.

Этот взгляд, разумеется, перехватила Ванда Казимировна, которая умела угадывать взгляды мужа. До того момента она сомневалась, участвовать ли в этом дурацком распитии, так как долгая хозяйственная деятельность научила ее не верить в чудеса. Но взгляд Савича выдал его головой и родил сомнения. Скорее это были сомнения в собственном здравом смысле, который пытался упорядоченностью вселенной. Но если вселенная допускает глупости в виде космических пришельцев, здравый смысл начинает шататься. История с зельем была невероятна, но в принципе не более невероятна, чем привоз в универсамы тысячи пар мексиканских сапог со шпорами. Поэтому проблема, стоявшая перед Вандой Казимировной, была лишь проблемой выбора; что опаснее — испортить себе желудок неизвестным пойлом или отдать в руки разлучницы Елены горячо любимого Савича, собственность не менее ценную, чем финляндский спальный гарнитур «Нельсон».

И Ванда Казимировна, морщась, выпила это пойло до дна, обогнав и Савича и, уж конечно, Елену, которую она всегда обгоняла, а потом, уже победив и не глядя на них, пошла на кухню смыть водой неприятный привкус во рту.

— Ну, Лена, — произнес Савич негромко, потому что неловко было на виду у всех подгонять к молодости Елену Сергеевну, но на помощь неожиданно пришел старик Алмаз.

— Директорша, — сказал он добродушно, — неужели тебе не хочется снова по лужам пробежать, на траве поваляться? Молодая была, наверное, не сомневалась?

— Зачем все это? — спросила Елена Сергеевна, словно просыпаясь.

И ту все чуть не испортила простодушная Шурочка, которая воскликнула:

— Вы же мне подружкой будете, то есть ровесницей. Это так интересно.

И Елена Сергеевна отставила поднесенную было ко рту чашку.

— Я не так сказала? — испугалась Шурочка.

— Ты все правильно сказала.

— Елена Сергеевна, вы нас задерживаете, — напомнил Грубин.

— Уж полночь, — добавил Удалов. — Пустой бутылочки не найдется? Я бы Ксюше отлил.

Он поднялся и сам пошел на кухню, в дверях столкнулся с Вандой Казимировной. Та увидела, что и Савич, и Елена Сергеевна так и не выпили зелья.

— Никитушка, — удивилась Ванда Казимировна. — Ты что же, решил меня одну оставить? Ведь я тебя брошу. На что мне старик?

И засмеялась.

И тогда Савич отхлебнул, стараясь ни на кого не смотреть, словно совершал какое-то предательство. Профессионально отметил возможные компоненты снадобья и потому еще более разуверился в его действенности. И, может, не стал бы допивать, но тут увидел, что Алмаз крупными шагами подошел к Елене, сам взял ее чашку, поднес ей к губам, как маленькому ребенку. Вот-вот скажет: «За маму, за папу...» Вместо этого Алмаз произнес, улыбаясь почти лукаво:

— Выполни мою личную просьбу. Я ведь тоже хочу с тобой завтра на равных увидеться. Сделай милость, не откажи.

И был старик убедителен настолько, что Елена улыбнулась в ответ. В ее улыбке Савич увидел то, чего не заметил никто — то давнее прошлое, ту легкость милого доброжелательства, умение согласиться на неприятное, чтобы другому было приятно. И Савич, видя, как Елена пьет зелье, с облегчением, камень с плеч, одним глотком допил, что было в чашке.

Вошел Удалов с пыльной бутылкой из-под фруктовой воды «Буратино», отлил туда зелья из кастрюли — сколько оставалось. Начал затыкать бумажкой.

— Все, — проговорил Грубин. — Эксперимент закончен.

И тут заскрипели, зажужжали, готовясь к бою, старые настенные, темного дерева, часы.

— Ноль-ноль три, — сказал Грубин с последним уда-
ром и занес свои слова на бумагу.

— Ура! — вдруг провозгласил Савич, ощутивший подь-
ем сил. Он покосился на Ванду.

Та только улыбнулась.

— Ура!!! — опять крикнул Савич так громко, что
Елена Сергеевна невольно шикнула на него:

— Потихше, Ваню разбудишь.

От крика очнулась Бахиткина кошка. Она дремала у
ног хозяйки, старчески шмыгая носом. Кошка открыла
глаза, один — голубой, другой — красный, метнулась
между ног собравшихся и, чтобы вырваться, спастись,
прыгнула вверх, плюхнулась на стол, заметалась по ска-
терти, опрокидывая пустые стаканы и чашки, толкнула
бутыл с оставшейся жидкостью.

Бутыл рухнула на пол, сверкнула и разлетелась в
зеленые осколки...

— Обормоты! — только и смог сказать старик.

Кошка спрыгнула со стола, села рядом с лужей, поводи
кончиком хвоста, а затем начала лакать черную жидкость.

— Все, — сказал Грубин и утерся рукавом пиджака.

— Как же теперь? — спросила Шурочка. — А нельзя
восстановить?

— Если бы можно, все молодыми ходили бы, — ответил
старик. — У нас такой техники еще нет.

— А по чему будете восстанавливать? — спросил Гру-
бин Шурочку, будто она была во всем виновата. — По
пробке?

— Тем более возрастет ваша ценность для науки, —
сказал Миша Стендаль, защищая Шурочку. — Вас будут
изучать в Москве.

Миша совсем разуверился в событиях. Даже кошки
показалась ему частью большого розыгрыша.

— У вас порошок остался, — напомнил Грубин стари-
ку, без особой, правда, надежды.

— Порошок — дело второе, — ответил тот. — Одним
порошком молод не будешь. Пошли, что ли? Утро уже
скоро.

... Ночь завершалась. На востоке, в промежутке между
колокольнями и домами небо уже принялось светлеть,
наливаться живой, прозрачной синевой, и звезды помель-
че таяли в этой синеве. По дворам звучно и гулко перскли-

кались петухи, и уж совсем из фантастического далека, из-за реки, принесся звон колокольчика — выгоняли коров.

Предутренний сон города был крепок и безмятежен. Скрип калитки, тихие голоса не мешали сну, не прерывали его, а лишь подчеркивали его глубину.

Елена Сергеевна стояла у окна и слушала, как исчезали, удаляясь, звуки. Четкие каблучки Шурочки; неровная, будто рваная, поступь Грубина; почти не слышные шаги Милицы; звучное, долгое, как стариковский кашель, шарканье подошв Алмаза; деликатный, мягкий шаг Удалова; переплетение шагов Савича и его жены.

Шаги расходились в разные стороны, удалялись, глохли. Еще несколько минут, как отдаленный барабан, доносился постук стариковской палки. И — тихо.

Предутренний сон города крепок и безмятежен.

14

Удалов поднял руку к звонку, но замешкался. Появилось опасение. Он покопался в карманах пижамы, раздобыл черный бумажник. В нем, в отделении, лежало круглое зеркальце. Удалов подышал на зеркальце, потер его о штанину и долго себя разглядывал. Свет на лестнице был слабый, в пятнадцать свечей. Удалову казалось, что он заметно помолодел.

Удалов думал, дышал, возился у своей двери.

Жена Удалова, спавшая чутко и одиноко, пробудилась от шорохов и заподозрила злоумышленников. Она подошла босиком к двери, прислушалась и спросила в дверную скважину:

— Кто там?

Удалов от неожиданности уронил зеркальце.

— Я, — сказал он. Хотя сознаваться не хотелось.

— Кто «я»? — спросила жена. Она голос мужа не узнала, полагая, что он надежно прикован к больничной койке.

— Корнелий, — ответил Удалов и смутился, будто ночью позволил себе побеспокоить чужих людей. В нем зародилась отчужденность от старого мира.

Жена охнула и раскрыла дверь. Тут же увидела на

полу осколки зеркала. Осколки блестели, как рассыпанное бриллиантовое ожерелье.

— Кто тебя провожал? — произнесла она строго. Она мужу не доверяла.

— Я сам. — Корнелий огорчился. — Плохая примета. Зеркало разбилось.

— Ты, значит, под утро стоишь себе на лестнице и смотришься в зеркало? Любуешься? Хорош гусь. А я тебе должна верить?

— Не кричи, пожалуйста, — сказал Удалов. — Максиму разбудишь.

— Максимка спит, наплакавшись без отца. Одна я...

Жена правдиво всхлипнула.

— Важное задание, — попытался остановить ее Удалов. — Меня даже из больницы выпустили. Опыт проводили.

— Опыт? Ночью? Предупреждала меня мама — за Корнелия не выходи! Намаешься! Не послушалась я, дура.

— Ксюша, дай в дом войти.

— Зачем тебе в дом? Нечего тебе дома делать.

— Опыт мы проводили. Уникальный опыт. Омолаживались.

— Значит, омолаживался?

— Я принял и тебе принес. Видишь? — Удалов здоровой рукой вытащил из кармана пижамы заткнутую бумажкой бутылку из-под фруктовой воды «Буратино».

— Издеваешься? — Чуткий нос Ксении уловил легкий запах спиртного, доносившийся то ли от Удалова, то ли от бутылки, в которой вздрагивала темная жидкость. — Я тебе ужин грею, в больницу бегу, переживаю, а он, видите ли, омолаживаться наострился. С кем омолаживался, мерзавец?

— Там целая группа была, — оправдывался Удалов громким шепотом. — Коллектив. Ты не всех знаешь. У Грубина спроси.

— И Грубин твой туда же! Ему что, его дело холостяцкое. А у тебя семья. — Ксения сделала паузу, которая вселила в Удалова надежды на прощение, но надежды оказались ложными: — Была семья, да нет!

И с этими словами Ксения хотела закрыть дверь.

Удалов успел вставить ногу в шлепанце, чтобы осталась щель. Ноге было больно.

— Ксюша, — зашептал он быстро. — Ты тоже молодой

станешь. Гарантирую. Марсианское средство. Мы в Москву поедем, на испытания.

Ксения ловко ударила носком по ноге Удалова, выбила преграду и захлопнула дверь. Дверь была нетолстая, и Удалов слышал сквозь нее, как громко дышит жена.

— Ксюша, — сказал он. — Если ты возражаешь, я без тебя в Москву поеду. Мне только переодеться.

Ксения всхлипнула.

— Пойми же, неудобно в пижаме в Академию наук.

— Академия наук! — В эти слова Ксения вложила все свое возмущение моральным падением Корнелия. — Туда только в пижаме и ходят!

— Еще не поздно, — гнул свое Удалов. — Мы будем бегать по лужам и плести венки, ты слышишь?

— Уйди! — загремел из-за двери голос Ксении. В нем было столько гнева, что Удалов понял — прощения не будет. — Уезжай с ней в Академию наук, на Черноморское побережье. Уходи, а то я так закричу, что весь дом проснется!

И Удалов, сжимая в руке бутылку с Ксюшиной долей зелья, быстро, на цыпочках сбежал с лестницы. Он знал, что Ксения, скажи он еще слово, выполнит свою угрозу.

А Ксения, стоявшая, прижав к двери ухо, услышала, как удаляются шаги Корнелия. Кляня мужа, Ксения полагала, что он будет покорно стоять у двери. А он ушел. Значит, все ее подозрения были оправданны. И задыхаясь от боли и обиды, она кинулась в комнату, растворила шкаф и стала выхватывать оттуда носильные вещи Корнелия. Потом отворила окно.

Удалов остановился в нерешительности.

Будь ситуация иной, он бы вел себя по правилам. Вымаливал прощение. Но жизнь изменилась, и в ней появились перспективы. Ксения этих перспектив не поняла и оказалась, по большому счету, недостойна молодости. Ну и пожалуйста, думал Удалов, стану молодым, разведусь с Ксенией, сына отберу, будет он мне как младший брат. Снимем комнату, будем жить дружно, женимся. К примеру, на Шурочке Родионовой. Характер у нее хороший, мирный.

И в этот момент из окна второго этажа на него начали сыпаться вещи.

Удалову попало ботинком по голове. Белыми птицами летели рубашки, черным орлом спускался сверху пиджак,

тускло сверкающим снарядом пролетел возле уха портфель и, не взорвавшись, ударился о траву. Копьем пронзила темноту любимая удочка...

Последним аккордом прозвучало рыдание Ксении. Хлопнуло, закрываясь, окно. Удалов был изгнан из дома. Навсегда.

Что-то надо было предпринять.

Удалов хотел было собрать с земли вещи, но мешала бутылка, зажата в руке.

Выкидывать ее было неразумно. В ней находилось ценное лекарство. На спиртовой основе. Удалов подумал, что когда раздавали чашки, ему вроде бы досталась самая маленькая. Он вытащил бумажную затычку и выпил зелье. Так надежнее.

Удалов выкинул бутылку в крапиву и негромко сказал:

— Тебе предлагали, ты отказалась, — имея в виду Ксению.

Затем собрал в охапку вещи, пиджак и брюки повесил на загипсованную руку и побрел со двора.

Рубикон был перейден. Но что за местность лежит за ним, было неизвестно.

Хотелось уйти подальше от дома, туда, где его поймут.

К Грубину нельзя. Грубин будет смеяться. В больницу тоже нельзя, там Ксения подняла панику и будут неприятные разговоры. Оставалась Елена Сергеевна, бывшая учительница. Она все знает, она должна понять.

По голубой рассветной улице брел Корнелий Удалов в полосатой больничной пижаме. Он искал убежища.

15

Елена Сергеевна устроила Удалова в маленькой комнатке, где выросли ее дети, где сейчас спал Ваня. Она поставила ему раскладушку, и Удалов непрестанно благодарил ее, конфузился и не знал, куда деть развешанные на гипсовой руке носильные вещи.

За время бег по городу Удалов как-то забыл о надвигающемся омоложении. Он находился в состоянии восторженном и нервном, но причиной тому был, скорее всего, уход от жены и бессонная ночь.

— Я ничего, — говорил он. — Вы не беспокойтесь, мне

одеяла не надо, и простыни не надо, я по-солдатски, как Суворов. Вы сами идите спать, уже утро скоро. Я-то на бюллетене... Мне и подушки не надо.

А сам думал, что следовало бы захватить из дома простыни. Бог знает, сколько еще придется ночевать по чужим углам. Но и эта, казалось бы, печальная мысль напоминала его грудь щекотным чувством мужской свободы.

Елена Сергеевна не послушалась Удалова. Постелила простыню и дала одеяло, подушку с наволочкой. И ушла.

Удалов, лишь голова его коснулась подушки, заснул праведным сном и залиvisto всхрапывал, отчего Елена Сергеевна заснуть никак не могла.

Елена Сергеевна понимала, что в ее жизни появилась возможность помолодеть. Физически помолодеть. Как умная и образованная женщина, она даже представляла себе, как это произойдет, что с ней случится. Очевидно, состав старика стимулирует работу желез внутренней секреции. Значит, в оптимальном варианте, разглядятся морщины, усилятся кровообращение и так далее. Елена Сергеевна старалась остаться на сугубо научной почве, обойтись без чудес и сомнительных марсиан. Но было страшно. Хотя бы потому, что диалектически каждому действию соответствует противодействие. За омоложение организму придется расплачиваться. Но чем? Не сократят ли любители экспериментов себе жизнь вместо того, чтобы продлить ее? Все-таки правильно, что медики сначала все опыты ставят на мышах.

Удалов разнообразно похрапывал и бормотал во сне. Кстати, когда произойдет омоложение? Старик сказал: проснетесь другими людьми. Мучителен ли этот процесс?

Елене Сергеевне захотелось убедиться в том, что еще ничего не произошло. Она босиком подошла к шкафу, зажгла лампу на столе рядом и присмотрелась. Никаких изменений. Правда, покраснели веки, но это потому, что день был долг и утомителен...

Елена Сергеевна потушила свет, вернулась на кровать. И постаралась заснуть. За окном уже почти рассвело, и часа через три проснется Ваня.

Ей показалось, что она так и не спала. На мгновение провалилась в темноту, а уже Ваня трясет ее за плечо:

— Баба, вставай!

Елена Сергеевна не открывала глаз. Знала, что Ваня сейчас протопает в сени, где стоит горшок, и засядет там минут на десять. За эти минуты надо окончательно проснуться, встать, накинуть халат и вымыться. И еще зажечь плиту.

Елена Сергеевна мысленно проделала все утренние дела, и тут же, по мере того как просыпался мозг, очнулись другие мысли, вылезли на поверхность.

Существовала необходимость посмотреть в зеркало. Подойти к шкафу и посмотреть в зеркало. Почему?

Ах да, старик, сказочные истории, разбитая бутылка...

Елена Сергеевна сбросила одеяло, села. Шкаф с зеркалом стоял неудобно, боком, зеркало казалось узкой щелью, голубой от неба, отраженного в нем.

Надо было встать и сделать два шага. И оказалось, что это трудно. Даже страшно. И, глядя не отрываясь на голубую щель, Елена Сергеевна сделала эти два шага...

В том невероятном, даже ужасном, что произошло с Еленой Сергеевной, пока она спала, не было никакой науки, никакого ровным счетом гормонального воздействия. И не разглаживались морщины, и не усиливалось кровообращение. А было чудо, антинаучное, необъяснимое, от которого никуда не денешься и которое влечет за собой множество осложнений, неприятностей и тяжелых объяснений. Первой неприятностью, думала Елена Сергеевна, глядя в зеркало, узнавая себя, знакомясь с собой заново, станет встреча с Ваней, который в любой момент может выйти из сеней. Ребенок остался без бабушки. Кто она ему теперь? Мать? Нет, она слишком молода для матери. Сестра? Елена Сергеевна провела рукой по лицу, дивясь забытому ощущению свежести и нежности своей кожи.

Ваня вошел в комнату и подбежал к Елене Сергеевне. Остановился, положил медленно и задумчиво в рот палец и замер. Замерла и Елена Сергеевна. Она ощущала глубокий стыд перед внуком. Она мечтала о том, чтобы чудо кончилось и она проснулась. Это был тот сон, прерывать который очень жалко, но прервать необходимо для близких других. Елена Сергеевна больно ущипнула себя за ухо.

Ваня заметил ее движение и сказал, не вынимая палец изо рта:

— Какая ты сегодня красивая, бабушка! Даже молодая. А чего щиплешься?

— Милый! — сказала Елена Сергеевна. — Узнал меня!
— Конечно, узнал, — басом ответил Ваня, — ты же в бабушкином халате.

Она схватила Ваню, прижала к себе — каким легким он стал за ночь! Подняла к потолку и закружилась с ним по комнате.

Ваня хохотал, радовался и, чтобы использовать бабушкино хорошее настроение, кричал сверху:

— Ты мне купи велосипед!.. Ты мне купишь велосипед?

Развевался в кружении старенький халат. Елена Сергеевна крепко и легко переступала сухими стройными ногами, пушистые молодые волосы закрывали глаза, взвизывая от движения.

Опустив Ваню на пол, Елена Сергеевна вспомнила вдруг, что у нее в доме гость — Удалов. Спит еще, наверно, подумала она. Каков он? Елена осторожно приоткрыла дверь в маленькую комнату.

Кровать была смята. Одежда свесилась на пол. Пиджак висел на спинке стула. Сброшенным коконом лежал на полу белый гипсовый цилиндр — оболочка сломанной руки.

Удалова не было.

16

Старуха Бакшт задремала, не раздеваясь, в кресле. Это было вредно в ее возрасте, но она не хотела упустить возвращение молодости. Она совсем запомнила прошлое омоложение, а будет ли еще одно, не знала.

Дремота была нервной, с провалами, разрозненными снами и возвращением к полутьме комнаты, тусклой лампе под абажуром с кистями.

Беспокоилась кошка, царапала ширму...

Случилось все незаметно. Казалось, на минуту прикрыла глаза и в быстролетном кошмаре полетела вниз, к далекой земле, домикам с острыми крышами, открыла глаза, чтобы прервать страшный полет, и встретила в зеркале взгляд двадцатилетней красавицы Милицы. И было неудобно в тесном старушечьем платье. Жало в груди и в бедрах, и было стыдно за это платье и за собственную недавнюю старость.

— Господи, — сказала Милица Бакшт, — как я хороша!

И она одним прыжком — тело повиновалось, летело — достала дверь, накинула крючок, чтобы кто не вошел, и, торопясь, смеясь и плача, сдернула, разорвала старушечьи обноски, зашвырнула высокие, раздутые суставами ботинки за ширму, сорвала с волос нелепый чепец. И встала перед зеркалом, нагая, прекрасная.

Помолодевшая, неузнаваемая кошка вскочила на стол и тоже любовалась и собой, и хозяйкой.

Милица Федоровна Бакшт сказала ей тягучим, страстным шепотом:

— Вот такой любил меня Александр Сергеевич. Саша Пушкин.

Стало душно, и мешали устоявшиеся запахи. На цыпочках подбежала Милица к окну и растворила его. Влетела пыль, и клочья желтой, ломкой бумаги, наклепленной Бог весть когда на рамы, бабочками-капустницами расселись по комнате. Скрип окна был слышен далеко по рассветному городу, но никто не проснулся и никто не увидел голубую от рассветного воздуха обнаженную красавицу в окне на втором этаже старого дома.

— «Я помню чудное мгновенье...» — пропела тихо Милица.

И замерла, ибо заглушенный чувствами и острыми ощущениями, но живучий голос старухи Бакшт проснулся в ней и обеспокоился; не простудится ли она с непривычки. Надо беречь себя. Еще столько лет впереди. Но беззаботная молодость взяла верх.

— Ничего, — сказала Милица самой себе. — Ничего со мной не случится. Мне же не сто лет. — Накинула халатик, засмеялась в голос и добавила: — Куда больше.

Захотелось есть. Где-то были коржики. Сухие уже.

Милица распахнула буфет. Взвизгнула, возмутившись, дверь, привыкшая к деликатному обхождению.

С коржиком в кулаке красавица заснула, свернувшись клубком в мягком кресле. И не видела снов, потому что спала крепко и даже весело.

В ночь, описываемую в повести, все герои ее, как никогда прежде, ощутили власть зеркал. Верили они в то, что станут моложе, или относились к этому скептически, все равно старались от зеркал не отдаляться.

Грубин также извлек из-за шкафа зеркало, пыльное, сколотое на углу. Он зеркала презирал и никогда в них не смотрелся, даже при бритье и причесывании. Но все-таки Грубин был прежде всего исследователем, участником эксперимента и потому счел своим долгом этот эксперимент наблюдать.

До утра оставалось часа три, и следовало провести их на ногах, чтобы меньше клонило ко сну. Грубин подключил вечный двигатель к патефону — крутить ручку — и поставил пластинку. И патефон, и пластинки были старыми, добытыми на работе среди старья и утиля. Если бы не вечный двигатель, Грубин бы музыку и не слушал — уж очень утомительно прокручивать тугую патефонную ручку. Подбор пластинок также был случаен. Одна была старой и надтреснутой. На ней некогда популярные комики Бим и Бом рассказывали анекдоты. Про что, Грубин так и не узнал за шипением и треском. Была также песня «Из-за острова на стрежень» в исполнении Шаляпина, но без начала.

Под могучий бас певца Грубин принялся вырезать на рисовом зерне «Песнь о вещем Олеге». Он занимался этим натужным делом второй год и дошел лишь до третьей строфы. Он уже понял, что последним строкам места не хватит, но работу не прекращал, потому что был самолюбив и полагал себя способным превзойти любого умельца.

Работа шла медленно, под микроскопом. Грубин устал, но увлекся. Зеркало стояло прямо перед ним, чтобы можно было время от времени бросать на него взгляд в ожидании изменений.

В комнате было не шумно, но и не тихо. Приглушенно гремела пластинка. Грубин мурлыкал под нее различные песни, жужжала микродрель, ворон терся о скрипучую ножку стола, возились под кроватью мыши, сонно всплскивали золотые рыбки.

Надвигался рассвет.

Грубин кончил изображать букву «х» в слове «волхвы», и тут что-то кольнуло в сердце, произошло мгновенное затуманивание сознания, дурнота. Почувствовав неладное, Грубин взглянул в зеркало. Он опоздал.

Он был уже молод. Худ по-прежнему, по-прежнему растрепан и дик глазами, но молод так, как не был уже лет двадцать пять.

— Дела... — сказал Грубин. — Волхвы проклятые...

Он был недоволен. Подготовленный эксперимент не удался.

Потом Грубин успокоился, пригляделся поближе и даже сам себе приглянулся.

— Так, — произнес он и уселся размышлять.

Грубин чувствовал себя сродни тому человеку, что выиграл по облигации десять тысяч рублей. Вот они, деньги, лежат, принесенные из сберкассы, толстая пачка из красных десятирублевых. Их слишком много, чтобы купить новый костюм или погасить задолженность по квартирной плате. Их так много, что вряд ли можно истратить сразу на какую-нибудь одну крайне ценную вещь. Правда, дома немало расходов, срочных и неотложных, на которые можно пустить часть выигрыша. Но в том-то и заключается психологическая каверза круглой суммы, что дробить ее на мелкие части унизительно и непристойно. Купить дом? Поехать в круиз вокруг Европы? А зачем новый дом? Зачем ему Европа? А что потом? И начинает охватывать безысходная жуть. Деньги дают, гнетут и поработщают свободного человека.

Двадцать пять лет жизни получил Грубин. Молодость получил Грубин. На что истратить эти свалившиеся с неба годы? Написать на рисовом зерне «Слово о полку Игореве»? И о том сообщат в журнале «Огонек»? Да, три года, пять лет можно истратить на такое занятие. И только подумав об этом, Грубин ощутил всю его бессмысленность, да так явственно, что выхватил из-под микроскопа испи-санное зернышко и метко запустил им в открытую форточку. И нет зернышка. Склюют его куры, не прочти написанного стихотворения. Что делать!

Еще два часа назад Грубин, не обладая молодостью, мог рассуждать спокойно и мудро: если он получит эти годы, то потратит их на творческую изобретательскую деятельность. Не будет ничего менять в образе жизни, лишь удлинит ее.

А сейчас, поглядывая в зеркало на двадцатилетнего косматого молодого человека, Грубин осознал, что преступно предоставить жизни течь по старому руслу. Если жизнь дается человеку дважды, надо начать ее сызнова. И начать красиво, гордо, с учетом всех совершенных когда-то ошибок. И подняться до высот. Правда, как он это сделает, Грубин не придумал, но томление, терзавшее его

сердце, не позволяло дольше сидеть в пыльной комнате перед пыльным зеркалом. Надо действовать.

И Грубин начал свои действия с того, что открыл шкаф и вытащил оттуда чистую праздничную рубашку, запасную майку и полосатые носки. Одежда, употребляемая им ранее, казалась уже неприятной, а главное, нечистой. Удивительно, как Грубин мог не замечать этого раньше.

17

Савич проснулся не сразу.

Сон отступил, играя воображением. Чудилось, что он молод, крепок, строен и преследует по кустам кудрявую нимфу. Вот-вот он достигнет ее, пальцы уже дотронулись до атласной кожи. Нимфа оборачивается, совсем не страшась преследователя, даже улыбается и неожиданно для себя спотыкается о розовый куст, что позволяет Савичу дотянуться до ее плеч и схватить надежно, повелительно. Нимфа задыхается от беззвучного смеха, готова уже сдать-ся и губы ее раскрываются для нежного поцелуя. Савич запутывает пальцы в густых кудрях нимфы и думает, на кого же похожа эта хозяйка сказочного леса? Ладно, потом разберемся, решает он и прижимает к себе трепещущее тело.

— Ай! — кричит нимфа пронзительно. — На помощь! Милиция!

И Савич немедленно проснулся.

Глаза его, открывшись, не сразу привыкли к рассветному полумраку в комнате, и потому ему показалось, что сон продолжается, потому что в его сильных руках билась, как золотая рыбка, прекрасная нимфа. Только дело происходило не в лесу, а в его собственной постели, что было еще удивительней.

— Оставьте меня! — кричала прекрасная нимфа знакомым голосом.

Разумеется, Савич, будучи человеком воспитанным и мягким, прекратил обнимать нимфу и постарался сообразить, что же происходит.

— Хулиган! — кричала нимфа, путаясь в одеяле и стараясь соскочить с широкой постели.

И Савич понял — кричит и волнуется его собственная жена Ванда Казимировна, директор универсама, помолодевшая лет на сорок.

Его рука совершила короткое путешествие к собственной голове и обнаружила, что голова покрыта густыми вострепанными волосами. И другая рука метнулась к животу и обнаружила, что толстого, мягкого живота нет, а есть на том месте впадина.

И Савич сразу все вспомнил и осознал.

— Ванда, — сказал он, схватив нимфу за локоть и стараясь не допустить, чтобы она в одной ночной рубашке бежала за милицией. — Вандочка, это я, Никита. Мы с тобой стали молодыми.

Нимфа еще продолжала вырываться, сопротивляться, но сопротивление на глазах теряло силу, потому что Ванда Казимировна была женщиной быстрого решительного ума — иначе не удержись на посту директора универсама.

Она оглянулась и присмотрелась к Никите.

Она узнала его.

Она протянула руку к зеркалу с ручкой, что лежало на тумбочке у кровати, и посмотрелась в него.

— Так, — сказала она медленно. — Значит, не врал старик.

Савич любовался ее гибким, упругим, плотным телом.

Именно эта девушка, уверенная в себе, яркая и властная, заставила его забыть скромную Елену...

— Так, — повторила Ванда Казимировна, и изящным движением рыси, выходящей на охоту, она соскочила с кровати, пробежала, стуча босыми пятками, к окну и опустила плотную штору, что забыли опустить вчера, после волнений сумасшедшей ночи.

Стало почти совсем темно.

— Ты что? — спросил Савич. — Зачем?

— Никитушка, — послышался совсем близко страстный шепот, — мальчик мой.

Горячие руки нимфы обвили шею Савича, пылающее девичье тело прижалось к нему.

— Ну что ты... — сказал Савич, понимая, что сходит с ума от вспыхнувшей страсти. — Разве можно, так сразу...

Тщательно умытый холодной водой, с чищенными белыми зубами, в полосатых носках и свежей белой рубашке, шел Грубин по рассветным улицам Великого Гусляра

и радовался прохладному воздуху, прозрачным облакам над рекой, гомону ранних птиц, скрипу телег, съезжавших на базар, и далекому гудку парохода.

Он не знал, куда и зачем идет. Он нес в себе секрет и радость, хотел поделиться ими с другими людьми, сделать нечто хорошее, что достойно отметило бы начало новой жизни.

Остановился у провала. Заглянул через загородку вглубь, в темноту, из которой возникла столь недавно его новая жизнь, и даже присвистнул, дивясь собственному везению. Не пошел бы Удалов в универмаг, не испугался бы одиночества, сидел бы Грубин сейчас дома и, ни о чем не подозревая, пилил бы себе «Песнь о вещем Олеге». Грубину даже гадко стало от мысли, что существуют люди, грабящие себя и человечество столь бездарным способом. И он пожалел на мгновение, что не выкинул заодно и микроскоп, но потом сообразил: микроскоп его может пригодиться для дела. Для настоящего дела.

Окно во втором этаже было распахнуто, и на подоконнике среди горшков с цветами сидела элегантная сиамская кошка и умывалась.

— Милая, — сказал ей Грубин, — уж не Бакштин ли ты зверь?

Тут Грубина посетила мысль о том, что чудесное превращение произошло не только с ним одним. Ведь этой же ночью помолодели и его друг Удалов (а как же с его женой?), и Елена Сергеевна, и старуха Бакшт, которой он помог доплестись ночью до дома. И сзади, вспомнил он, семенила старая сиамская кошка. Теперь на подоконнике сидит молодая сиамская кошка, и также с разными глазами. Маловероятно, что в Великом Гусляре есть две сиамские кошки с разными глазами, тем более в одном доме.

— Кис-кис... — позвал Грубин. — А где твоя хозяйюшка?

Кошка ничего не ответила.

Грубин поискал, чем бы привлечь внимание старухи. Уж очень его терзало любопытство: что с нею произошло за ночь, сколько лет ей удалось скинуть? А вдруг на нее и не подействовало? Грубину стало искренне жаль бабушку, находящуюся на пороге смерти.

Грубин подошел к стенду с вчерашней газетой, оторвал пол-листа, свернул в тугой комок и сильно запустил в открытое окошко.

Кошка сиганула в ужасе с подоконника, задев горшок

с настурциями, горшок свалился внутрь и произвел значительный шум.

— Ах! — вскрикнул кто-то в комнате.

Грубину стало неловко и захотелось убежать, и он сделал бы это, если бы в окне не показалась прелестная, сказочной красоты девушка. Длинные волосы цвета воронова крыла спадали волнами на ее плечи, глаза были огромны и лучезарны, нос прям и короток, губы полны и смешливы.

— Ах! — сказала девушка, увидев, что с улицы на нее восторженно глазеет косматый молодой человек в белой рубашке. Она смущенно запахнула старенький халатик и вдруг захохотала звонко, не боясь разбудить всю улицу. — Глупец... — смеялась она. — Этот горшок простоял сто лет. Но мне его не жалко. Вы же Грубин. Поспешите ко мне в гости, и мы будем пить кофе.

— Бегу, — ответил Грубин, сделал стойку на руках и на руках же пошел через улицу к двери, потому что у него были сильные руки и когда-то он имел первый разряд по гимнастике.

Милица угощала гостя соленьями, коржиками, по-видимому — кушаньями вкусными, домашними, старушечьими. Забывала, где что лежит, и смеялась над собой. Многолетние запахи комнаты умчались в открытое окно, будто только того и ждали.

В комнате было солнечно и прохладно.

— Сначала выкину всю эту рухлядь, — говорила Милица. — Вы мне поможете, Александр Евдокимович? Я давно собиралась, но, когда так стара и немощна, приходится мириться с вещами. Они с тобой старились и с тобой умрут. Теперь все иначе. Я неблагодарная, да?

— Почему же? — удивился Грубин. — У меня вообще никогда вещей не было. А это правда, что Степан Равин вас чуть не кинул в реку?

— Не помню. Только по рассказам Любезного друга. И думаю, что не стал бы.

— Наверно, не хотел, — сказал Грубин, стесняясь присутствия такой красавицы своей неприглядности и лохматого вида. — Его казаки заставили.

— Ревновали, — поддержала его Милица.

Она, проходя по комнате, не забывала поглядеть в зеркало. Очень себе нравилась.

Грубин отчистил ногтем застарелое пятно на брюках, отхлебнул крепкого кофе из старинной чашечки и заел коржиком. Есть он тоже стеснялся, но очень хотелось. Милица, как ящерка, за столом усидеть не могла. Она вскакивала, поправляла что-то в комнате, составляла на пол горшки с цветами, потом распахнула комод и вывалила на пол платья, салопы, пальто, платки. На минуту комнату окутал нафталиновый чад, но его быстро вытянуло на улицу.

— Это выкинуть и это выкинуть, из этого еще что-то можно сделать. А когда откроются газетные киоски, вы мне купите модный журнал?

— Конечно, хоть сейчас пойду.

Грубина удивляло, что в Милице начисто нет прошлого. Будто она никогда не ходила в старухах. Сам он груз лет ощущал. Не сильно, но ощущал в душе. А Милица словно вчера родилась на свет.

— Я вам нравлюсь? — спросила она.

— Как? — Грубина давно никто не задавал таких вопросов.

— Я красивая? Я привлекательная женщина?

— Очень.

— Вы пейте кофе, я еще налью... Я за ширму пойду и примерю платье. Вы не возражаете?

Грубин не возражал. Он был в трансе, в загадочном сладком сне, в котором поят горячим кофе с коржиками.

Из-за ширмы Милица, роняя вещи и шурша материей, продолжала задавать вопросы:

— Александр Евдокимович, вы бывали в Москве?

— Вы меня Сашей зовите, — предложил Грубин. — А то неудобно.

— Очень мило, мне нравится этот современный стиль. А знаете, несмотря на то, что мы с Александром Сергеевичем Пушкиным, поэтом, были очень близки, он всегда обращался ко мне по имени-отчеству. Интересно, правда? И вас тоже Сашей зовут.

Грубин мысленно проклял себя за невоспитанность. Даже не так поразился знакомству Милицы Федоровны, ибо знакомство было давним, и ничего удивительного при ее возрасте и красоте в этом не было.

— Надо будет, Милица Федоровна, — сказал он офи-

циальным, несколько обиженным голосом, — пойти к Елене Сергеевне. Посоветоваться.

— Правильно, Сашенька, — засмеялась серебряным голосом из-за ширмы Милица. — А вы меня будете называть Милой? Мне так больше нравится. Ведь мы живем в двадцатом веке.

— Конечно, — ответил Грубин. Он продолжал еще обижаться, и это было приятно — обижаться на столь красивую женщину.

— Я только кое-что подгоню по себе. Ничего не годится, ну ровным счетом ничего. Потом поедем.

— Чего уж ехать. Десять минут пешком.

— А вы, Сашенька, инженер?

— Почему вы так решили? У меня образования не хватает. Я в конторе работаю.

Грубин говорил неправду, но эта неправда относилась к прошлому. Он знал, что с сегодняшнего дня он уже не руководит точкой по сбору вторичного сырья. Он скорее инженер, чем старьевщик. Прошрое было его личным делом. Ведь Мила тоже была старухой-домохозяйкой. А это ушло.

Милица вышла из-за ширмы, неся на руках платье. Она разложила его на столе, оттеснив Грубина на самый край, достала ножницы и задумалась.

— От моды я отстала. Придется будить Шурочку.

— Да, Шурочка, — вспомнил Грубин. — Она за вас обрадуется.

19

Грубин остановился за дверью Родионовых, позади Милицы. Та позвонила.

— Они рано встают. Я знаю, — сказала Милица.

— Вам кого? — спросила, открыв, женщина средних лет, чертами лица и голосом весьма схожая с Шурочкой, из тех женщин, что сохраняют стать и крепость тела ни долгие годы и умеют рожать таких же крепких детей. Более того, отлично умеют с ними обращаться, не создавая лишнего шума, волнений и не опасаясь сквозняков.

За ней стояли двое парнишек, также схожих с Шурочкой чертами лица.

— Вы к Шурочке? — спросила женщина. — Из магазина?

— Здравствуйте, — произнесла весело Милица. — Вы меня не узнаете?

— Может, видела, — согласилась Шурочкина мать. — Заходите, чего в коридоре стоять. Шурка вчера под утро прибежала. Я на нее сердитая.

— Спасибо. Мы на минутку. — Милице было радостно, что ее не узнали.

— Ваша дочь здорова? — спросил из полутьмы коридора Грубин.

— А что с ней станется? Шура! К тебе пришли!

Женщина уплыла по коридору, и за ней, как утят, зашлепали Шурочкины братья.

— Она меня не узнала! — объявила торжественно Милица Федоровна. — А я только позавчера у нее соль занимала.

Шурочка, заспанная, сердитая после домашнего выговора, выглянула в коридор, приняла при плохом освещении Милицу за одну из своих подруг и спросила:

— Ты чего ни свет ни заря? Я еще не проснулась.

— Не узнала, — воскликнула Милица. — И мама твоя не узнала. А его узнаешь? Пойдите сюда, Сашенька.

Грубин неловко ухмыльнулся и переступил раза два длинными ногами.

— Mamочки мои родные! — ахнула Шурочка. — Товарищ Грубин! Неужели в самом деле подействовало?

— Как видите, — ответил Грубин и повернулся, медленно и нескладно, как у портного.

— А как остальные?

Шурочка говорила с Грубиным, а на Милицу даже не смотрела.

— Остальные? — Грубин хихикнул и подмигнул Милице. — Про всех не скажу, а вот одна твоя знакомая рядом стоит.

— Какая знакомая?

Шурочка наморщила лоб, поправила челку, приглядываясь пристально к Милице. Но все равно угадать не смогла.

— То ли меня разыгрываете, то ли я совсем дурой стала...

— Я твоя соседка, Бакшт, — прошептала Милица. — И ты мне нужна. Как сверстница.

— Ой, мамочки! — вырвалось у Шурочки. — Этого быть не может, я сейчас умру, если вы меня не разыгрываете.

— Полно, душечка, — сказала Милица. — У меня на стенке висят акварели. Я там очень похожа. Пошли, время не ждет. Надо уходить, а я без платья. Не в салоне же мне ходить по улицам. Мне придется сообразить что-нибудь из обносков.

— Чудеса, да и только, — говорила Шурочка. — Пойдемте на свет.

Тут она от волнения совсем перестала выговаривать знаки препинания.

— Мы сейчас у меня какое-нибудь платье возьмем, — предложила она, входя в комнату с Бакшт и подводя ее к окну, чтобы разглядеть получше. — Конечно это вы и я отсюда вижу что на акварели это тоже вы но с товарищем Грубиным меньше изменений теперь наука сделает громадный шаг вперед и стариков вообще не будет а с платьем мы что-нибудь придумаем мое возьмете вы тут подождите а я утащу одно наверно подойдет чего возиться только чтобы мама не увидела...

И Шурочка испарилась, исчезла, только слова ее еще витали несколько секунд в комнате.

— Ну вот, — сказала Милица. — Разве она не прелесть?

— Вы обе прелесть, — ответил Грубин, смутился и подошел к окну.

Он вдруг вспомнил, что Мила как-никак персидская княжна и была знакома с Александром Сергеевичем Пушкиным.

20

Савич сидел за столом, слушая, как щебечет Ванда.

Он уже все осознал и готов был себя убить. И Ванду, разумеется, тоже.

Не прожив и часа молодым, он уже изменил Елене вновь. И снова с Вандой. Как же это могло случиться? Он же специально пил зелье для того, чтобы жизнь пошла по иному пути.

— Никитушка, — Ванда подкралась сзади и поцеловала

ла его в затылок, — я так соскучилась по твоим кудрям, лет тридцать их не видала. Тебе кофе со сливками?

— Все равно, — сказал Савич.

— Сейчас гренки будут готовы. Ах ты мой донжуанчик! А я просыпаюсь — в кровати насильник. С ума можно сойти. А никому не расскажешь. Вот бы покойная мама смеялась!

Ванда носилась по комнате легко, как настоящая нимфа. Правда, теперь Савич уже понимал, что для нимфы она слишком крепка телом и широка в бедрах. Впрочем, кто их видел, этих нимф?

— Пей, мой мальчик. — Чашка кофе исходила ароматным паром, гренки были золотыми и на них еще пузырилось масло. — Колбаски порезать?

«Какой нежной она может быть, — подумал Савич. — А я уже и забыл. Надо отдать Ванде должное, она меня любит. А какой стала Елена? Может, еще не поздно? Я ничего ей не скажу. В конце концов ничего не произошло. Мы с Вандой официально расписаны, и она имеет право на супружеские отношения».

Оправдание было неубедительным.

Ванда уселась напротив, в халатике, волосы чернокрылой сумятицей над белым лбом, глаза сверкают, щеки розовые, словно намазаны румянами. И такая в ней была сила здоровья, такая бездна энергии... Глаза ее вдруг затуманились, грудь высоко поднялась, и голос стал низким и страстным.

— Мальчик мой, — произнесла она. — Иди ко мне...

«Съест, — подумал Савич, — ей только дай волю, она съест. А в моем возрасте это опасно для сердца. В каком возрасте? Что я несу?»

— Пора идти, — сказал Савич, стараясь не глядеть в глаза жены.

— Куда идти?

— К Елене Сергеевне. Ведь мы не одни были. С другими тоже произошло.

— А какое нам дело до других? — Ванда обежала стол, наклонилась над Савичем, губами щекотала ухо.

— Ванда, не сходи с ума, — остановил ее Савич. Так бы он сорок лет назад не сказал. Не имел жизненного опыта. — Мы с тобой в коллективе. В любую минуту они могут прийти сюда, чтобы проверить.

Ванда выпрямилась.

— Ой, Никитушка. Ты что имеешь в виду?

— Ты же понимаешь — надо осознать.

— Осознаю. К Елене спешить?

— При чем тут Елена?

— А при том. Что я, не видела, как ты на нее вчера вечером глядел? Думал, я старой останусь, а вы с ней молоденькими — и сразу любовь закрутите. Что, разве не так? Я ваши шапки сразу раскусила.

— У меня таких мыслей и в помине не было.

Но слова прозвучали неубедительно. Савич был как школьник, отрицающий перед мамой очевидное прегрешение.

Ванда криво усмехнулась. Полные розовые губки сложились в презрительную гримасу.

— А я уж решила... я уж думала, что ты меня увидел и понял.

— Понял?

— Понял, что тебе от меня никуда не деться. Тогда я тебя почти не знала — девчонкой была. А сейчас я тебя как облущенного знаю. Не решишься ты ни на что. Даже если она красивее, чем раньше, стала.

— А чего я испугаюсь?

— Всего. Общественности. Моей когтей. Ответственности — всего испугаешься, мой зайчик.

— Ванда, ты забываешься. — Савич тоже поднялся: ему неудобно было спорить сидя. — Ты позволяешь себе инсинуации. Мы с тобой скоро сорок лет женаты, и я ни разу не давал тебе повода...

— Помолчи. Это я не давала тебе дать повод. И контроль над тобой стоил мне нервов и усилий. Каждую девочку в аптеке под контролем держала!

— Я и не подозревал, что ты так низко пала.

— Почему же низко? Я семью берегла. Я ведь тоже могла бы другого найти, получше тебя. Но я — человек твердый. Нашла — держу. Мужья, мой милый, на дороге не валяются. Их надо хранить и беречь. Даже таких паршивеньких, как ты...

— Ванда!

Слова жены были обидны. Но Савич со всем своим многолетним опытом общения с Вандой вдруг понял, что дальнейшая перепалка не в его пользу. Он может услы-

шать о себе совсем неприятные слова — а кому это хочется слышать?

— В сущности, мы ничего с тобой не знаем, — сказал он. — Возможно, средство подействовало только на нас. А остальные остались...

— Вряд ли, — усомнилась Ванда, но такая версия ей понравилась.

Она тут же направилась к шкафу одеваться.

— Да, это было бы смешно, — предположила Ванда, доставая платье.

— Это было бы смешно, — невесело повторил Савич, глядя, как жена надевает платье.

Платье было безнадежно, невероятно велико. Но Ванда не сразу заметила это, а, подойдя к трюмо, стал примерять рыжий парик, который обычно носила, чтобы прикрыть поредевшие и поседевшие волосы. Парик никак не влезал на пышные молодые волосы, и Савич спросил:

— Ванда, зачем ты это делаешь?

— Что делаю?

— Тебе парик не нужен. У тебя теперь свои волосы лучше.

— Ага, — сказала Ванда рассеянно, продолжая натягивать парик.

— Чепуха какая-то, — удивился Савич. — Свою красоту прятать.

— Не красоту, — ответила Ванда. — Красота при мне останется.

Савич тоже достал свой костюм и стал думать, как его подогнать — он ведь на человека вдвое более толстого.

Ванда кинула на мужа взгляд и расхохоталась.

— Мы тебе, Никитушка, джинсы купим.

— А пока?

— Пока? — Но Ванда уже смотрела в зеркало, рассуждая, что делать с ее платьем. Потом предложила: — Может, тебе подушку подложить?

Уже собирались уходить, как Милица ахнула:

— Самое главное забыла!

Она вытащила из комода шкатулку, встрясла из нее

на стол всякую старую дребедень, среди дребедени отыскался толстый медный ключ.

— Сейчас будет сюрприз, — сказала она. — Господа, прошу следовать за мной.

Они пересекли двор и остановились перед вросшим в землю покосившимся сараем, почти скрытым за кустами сирени.

— Сашенька, — попросила Милица, — откройте дверь. Я думаю, вам это будет очень интересно.

Грубин потрогал тяжелый ржавый замок. Замок лениво качнулся.

— Его давно не открывали? — спросил он.

— Как-то я сюда заглядывала, — ответила Милица. — После революции. Не помню уж зачем.

Ключ с трудом вошел в скважину. Грубин нажал посильнее. Ключ повернулся.

— Не ожидал, — сказал Саша, вынимая дужку.

— Но он же был смазан, — сообщила Милица.

— А что там? — не выдержала Шурочка.

— Идите, — сказала Милица. — Я надеюсь, что все в порядке.

Саша Грубин шагнул внутрь. Поднялась пыль, закружилась в солнечных лучах. Темные углы сарая были завалены мешками и ящиками. Середину занимало нечто большое, как автомобильный контейнер, покрытое серым брезентом.

— Смелее, Саша, — велела Милица. — Я себя чувствую дедом-морозом.

Брезент оказался легким, сухим. Он послушно сполз с невероятного сооружения — белого, с красными кожаными сиденьями автомобиля. Большие на спицах колеса, схожие с велосипедными, несли грациозное, созданное с полным презрением к аэродинамике, но с оглядкой на карету тело машины. Множество чуть потускневших бронзовых и позолоченных деталей придавало машине совсем уж неправдоподобное ощущение старинного кандебра.

— Ой! — Шурочка прижала руки к груди. — Что это такое?

— Мой последний супруг, — сообщила Милица, — присяжный поверенный Бакшт выписал мне это из Парижа. А полицейский исправник страшно возражал, потому

что все свиньи и обыватели боялись. Даже у губернатора такого не было.

— Она бензиновая? — спросил Грубин, не в силах оторвать взора от совершенства нелепых линий этого мастодонта автомобильной истории.

— Нет. Вы видите этот котел? Он паровой. А сюда нужно класть дрова. У меня они есть, вон в том углу.

— Паровоз? — спросила Шурочка.

— И вы думаете, что она поедет? — спросил Грубин. — Она не поедет.

Ему очень хотелось, чтобы машина поехала.

— Сашенька, я пригласила вас сюда, — объяснила Милица, — именно потому, что вы единственный талант из моих знакомых. Я не ошибаюсь в людях.

— Да, Саша, — поддержала Милицу Шурочка, — у Милицы Федоровны большой жизненный опыт.

— Глупенькая, — сказала прекрасная персидская княжна, — при чем здесь жизненный опыт? Разве хоть одну женщину любили за жизненный опыт?

— Но ведь любовь — это не главное?

— Милая моя девочка, вы еще слишком мало прожили, чтобы так говорить. Сначала столкнитесь с любовью по-настоящему, а потом делайте выводы. Я убеждена, что лет через сто вы меня поймете. — И Милица рассмеялась, словно зазвенели колокольчики.

Грубин даже задохнулся от этого серебряного смеха.

— Трудитесь, Саша, — напомнила, отсмеявшись, Милица.

И Грубин продолжал трудиться. Он выяснил, как работает машина, загрузил котел, положил под него хорошо просохшие за сто лет поленца, разжег их, залил котел водой. Вскоре из высокой медной позолоченной трубы пыхнуло дымом, и еще через несколько минут старая, но совсем не состарившаяся паровая машина господина Бакшта медленно выехала из сарая. Девушки принялись протирать тряпками ее металлические части.

В багажном отделении Милица обнаружила черный цилиндр, который водрузила на голову Грубину, и деревянный ящик с дульными пистолетами, хищными и красивыми, как пантеры.

— Спрячьте их, — испугалась Шурочка. — А то они выстрелят.

— Они слишком стары, чтобы стрелять, — сказала Милица. — К тому же мой муж никогда их не заряжал.

— Вы не знаете, — настаивала Шурочка. — Если в первом действии на стене висит ружье, то в четвертом оно обязательно выстрелит.

— Ах, помню, — улыбнулась Милица. — Мне об этом говорил Чехов.

И Шурочка совсем не удивилась.

22

Елена Сергеевна убрала за ухо светлую прядь, прищурилась и отсыпала в кастрюлю ровно полстакана манки из синей квадратной банки с надписью «Сахар». Молоко вздыбилось, будто крупа жестоко обожгла его. Но Елена Сергеевна успела взболтнуть кашу серебряной ложкой, которую держала наготове.

Движения были вчерашними, привычными, и любопытно было глядеть на собственные руки. Они были знакомыми и чужими.

— Не нужна мне твоя каша, — сказал по привычке Ваня. — Ты посолить забыла, баба.

— А я и в самом деле забыла посолить, — засмеялась Елена Сергеевна.

В дверь постучали. Вошел незнакомый молодой человек большого роста. Он наполнял пиджак так туго, что в рукавах прорисовывались бицепсы и пуговицы с трудом удерживались в петлях.

— Простите, — произнес он знакомым глуховатым голосом. — Извините великодушно. У вас не заперто, и я себе позволил вторгнуться. Утро доброе.

Он по-хозяйски присел за стол, отодвинул масленку и сказал:

— Чайку бы, Елена.

Елене Сергеевне пришлось несколько минут вглядываться в лицо гостя, прежде чем она догадалась, что это Алмаз Битый.

— Угадала? — спросил Алмаз. Он где-то раздобыл новые полуботинки и джинсы. — Как сказал, так и вышло. Проснулась и себя не узнала. И хороша, ей-Богу, хороша. Не так хороша, как моя Милица, но пригожа. Теперь замуж тебя отдадим.

— Не шутите, — сказала Елена Сергеевна, указывая на замершего в изумлении Ваню. — В моем возрасте... Алмаз засмеялся.

На улице послышался странный рокот. Заскрипели тормоза, закричал клаксон.

— Есть кто живой? — спросила, заглядывая в окно, чернокудрая красавица. — Ой, да вас не узнать! Мы к вам в гости. И на автомобиле.

23

— Вот и Милица! — произнес Алмаз, легко поднимаясь из-за стола. — Я же говорил, что хороша. Правда, Елена?

Елена не ответила. Среди вошедших увидела молодого Савича, и было это еще невероятнее собственной молодости. Будто уходил Никитка всего на неделю, не больше, была пустая размолвка и кончилась.

Вокруг, как на школьном балу, мелькали и дергались смеющиеся лица. Ванда хохотала громче других, притопывала, будто хотела пойти в пляс.

Грубин схватил Елену за руку, показывал другим как свою невесту, уговаривал Шурочку познакомиться с бывшей учительницей, а Шурочка конфузилась, потому что знала — прочие куда старше ее и солиднее, просто сейчас притворяются равными ее возрасту.

Савич замер в углу, пялил глаза и шевелил губами, словно повторял: «Средь шумного бала, случайно...» И когда Алмаз, подойдя к Елене, положил ей руку на плечо, Никита сморщился, как от зубной боли.

Елена заметила и улыбнулась.

— Я тебя, Лена, такой отлично помню, — сказала Ванда.

— И я тебя, — согласилась Елена. И подумала, что у Ванды склонность к полноте.

«Пройдет несколько лет — растолстеет, расплывется, станет сварливой... Ну и чепуха в голову лезет, — оборвала себя Елена. — Она же теперь все знает, будет следить за собой».

— Я тебе чай помогу поставить. Буду за мужика в доме, — предложил Алмаз.

— Хорошо, — согласилась Елена. Мелькнуло желание, чтобы вызвался помочь ей Савич.

Никита и вправду сделал движение к ней, но тут же кинул взгляд на Ванду, остался. Привычки, приобретенные за тридцать лет, были сильнее воспоминаний.

«Ну и Бог с тобой, — подумала Елена, выходя в сени. — Всегда ты был тряпкой и, сколько ни дай тебе жизней, тряпкой и останешься. И не нужен ты мне. Просто удивилась в первую минуту, как увидела».

Ваня помогал Елене с Алмазом разжечь самовар, задавал вопросы, почему все сегодня такие молодые и веселые.

Алмаз удивлялся, как ребенок всех узнал. Даже в прекрасной персидской княжне — старуху Милицу. Алмаз нравился Ване своими сказочными размерами и серьезным к нему, Ване, отношением.

Вежливо постучался и вошел в дом Миша Стендаль. Он был приглашен, респектабелен и немного похож на молодого Грибоедова, пришедшего просить руку княжны Чавчавадзе.

— Елена Сергеевна дома? — спросил он Елену Сергеевну.

Ваня восхитился невежеством гостя, ткнул пальцем бабушку в бедро и сказал:

— Дурак, бабу не узнал.

— Сенсация, — огорчился тихо Стендаль. — Сенсация века.

Он схватился за переносицу, будто хотел снять грибоедовское пенсне.

— Ох-хо! — рявкнул Алмаз. — Разве это сенсация? Вот в той комнате сенсация!

Стендаль поглядел на Алмаза как на отца Нины Чавчавадзе, давшего согласие на брак дочери с русским драматургом.

— И вы тоже? — спросил он.

— И я тоже. Иди-иди. И Шуручка там.

— А я камеру не взял, — огорчился Стендаль. — Вам уже сколько лет?

— Шура! — гаркнул Алмаз. — К тебе молодой человек!

Миша отступил к двери и приоткрыл ее. И сразу в кухню ворвался разноцветный водопад звуков. Мишу встретили, как запоздавшего дорогого гостя на вечере встречи одноклассников.

— Молодой человек! Молодой человек! — хохотала Милица. — Маска, я тебя знаю, теперь угадай, кто я.

— Покормить нас надо, — сказал Алмаз, прикрывая дверь за Мишей. — Такая орава... Картошка у тебя, Елена, есть?

— Сейчас принесу, — отозвалась Елена.

— Я сам, — сказал Алмаз. — Во мне сила играет.

Он достал из чулана мешок и выжал его раза три как гирю, отчего Ваня зашелся в восторге.

Алмаз заглянул в большую комнату, прервал на минутку веселье, скомандовав:

— Михаил, возьми вот десятку и сходи, будь ласков, в магазин. Купишь колбасы и так далее к чаю. Остальным вроде бы не стоит излишне по улицам бродить. Чтобы без этой, без сенсации.

— Я с тобой пойду, — сказала Шурочка. — Ты что-нибудь не то купишь. Мужчины всегда не то покупают.

Грубин протянул Мише еще одну десятку.

— Щедрее покупай, — велел он. — Белую головку, может, возьмешь. Все-таки праздник.

— Ни в коем случае, — сказала Шурочка. — Я уж прослежу, чтобы без этого.

В голосе ее прозвучали сухие, наверно, подслушанные неоднократно материнские интонации.

— Возьмите шампанского, — велела Елена Сергеевна.

— У меня есть деньги, — сказал Миша Грубину. — Не надо.

Шурочка с Мишей ушли, забрав все хозяйственные сумки, что нашлись в доме. Алмаз очистил картошку споро и привычно.

— Где вы так научились? — спросила Елена Сергеевна. — В армии?

— У меня была трудная жизнь. Как-нибудь расскажу. Где только я картошку не чистил.

Елене Сергеевне показалось, что за дверью засмеялся Савич.

Дверь на улицу была полуоткрыта. Шурочка с Мишей, убегая, не захлопнули. В щель проникали солнечные лучи, косым прямоугольником ложились на пол, и Елена отчетливо видела каждую щербинку на половицах.

Залетевшая с улицы оса кружилась, поблескивая крыльями, у самой двери, будто решала, углубиться ли ей в полутьму кухни или не стоит.

Вдруг оса взмыла вверх и пропала. Ее испугало движе-

ние за дверь. Освещенный прямоугольник на полу расширился, и солнце добралось до ног Елены.

В двери обозначился маленький силуэт. Против солнца никак не разглядишь, кто это пришел. Елена Сергеевна решила было, что кто-то из соседских детей, хотела подойти и не пустить в дом — ведь не было еще договорено, как вести себя.

Маленькая фигурка решительно шагнула от двери внутрь, солнце зазолотило на миг светлый мальчишеский хохолок на затылке. Ребенок сделал еще шаг и, вдруг размахнувшись, по-футбольному наподдал ногой в большом башмаке ведро с чищенной картошкой. Ведро опрокинулось. Наводнением хлынула по полу вода, утекая в щели. Картофелины покатались по углам.

— Как я тебе сейчас! — сказал угрожающе Ваня.

Но вошедший мальчик его не слушал. Он бегал по кухне и давил башмаками картофелины. Те с хрустом и скрипом лопались, превращались в белую кашу. Мальчик при этом озлобленно плакал, и, когда он попадал под солнечный луч, уши его малиновели.

— Кто отвечать будет? — вскрикивал мальчик, пытаюсь говорить басом. — Кто отвечать будет?

Алмаз медленно поднялся во весь свой двухметровый рост, не спеша, точно и ловко протянул руку, взял ребенка за шиворот, поднял повыше и поднес к свету. Ребенок сучил башмаками и монотонно визжал.

— Поди-ка сюда, Елена, — позвал Алмаз, поворачивая пальцем свободной руки личико мальчика к солнцу. — Присмотришь.

Мальчик зашелся от плача, из широко открытого рта выскакивали отдельные невнятные, скорбные звуки, и розовый язычок мелко бился о зубы.

— Узнаешь? — спросил Алмаз. И когда Елена отрицательно покачала головой, сказал: — Прямо скандал получается. То ли я дозу не рассчитал, то ли организм у него особенный.

— Это Удалов? — предположила Елена, начиная угадывать в белобрысой головке тугое, щекастое мужское лицо.

— А кто отвечать будет? — бормотал мальчик, вертясь в руке Алмаза.

— Вы Корнелий? — спросила Елена, и вдруг ей стало

смешно. Чтобы не рассмеяться некстати над человеческим горем, она закашлялась, прикрыла рукой лицо.

— Не узнаете? — плакал мальчик. — Меня теперь мать родная не узнает. Отпусти на пол, а то получишь! Кто отвечать будет? Я в милицию пойду!

Гнев мальчика был не страшен — уж очень тонка шея и велики полупрозрачные под солнцем уши.

— Грубин! — крикнул Алмаз. — Где твой грессбух? Записать надо.

— Это жестоко, Алмаз Федотович, — сказала Елена.

Грубин уже вошел. Стоял сзади. Вслед за ним, не согнав еще улыбок с лиц, вбежали остальные. И Удалов взрыдал, увидев, насколько молоды и здоровы все они.

— Не повезло Корнелию, — оценил Грубин.

Когда Корнелий говорил, что пойдет в милицию, угроза его не была пустой. В милицию он уже ходил.

24

Удалов проснулся оттого, что в глаз попал солнечный луч, проник сквозь сомкнутое веко, вселил тревогу и беспокойство.

Он открыл глаза и некоторое время лежал недвижно, глядел в требующий побелки потолок, пытался сообразить, где он, что с ним. Потом, будто кинолента прокрутилась назад, вспомнил прошлое — от прихода к Елене Сергеевне, к ссоре с женой, рассказу старика и злосчастному провалу.

Он повернулся на бок, раскладушка скрипнула, зашаталась.

В углу, у кафельной печи, на маленькой кровати посапывал мальчик Ваня.

Удалов приподнял загипсованную руку, и, к его удивлению, гипс легко слетел с нее и упал на пол.

Рука была маленькой. Тонкой! Детской! Немощной!

Сначала это показалось сном. Удалов зажмурился и приоткрыл глаза снова, медленно, уговаривая себя не верить снам. Рука была на месте, такая же маленькая.

Удалов спрыгнул на пол, еле удержался на ногах. Со стороны могло показаться — он исполняет дикий танец: подносит к глазам и бросает в стороны руки и ноги, ощупывает конечности и тело и притом беззвучно завывает.

На самом деле Удалову было не до танцев — таким странным и нервным способом он осознавал трагедию, происшедшую с ним за ночь по вине старика и прочей компании.

Ваня забормотал во сне, и Корнелий в ужасе замер на одной ноге. Удаловым внезапно завладел страх, желание вырваться из замкнутого пространства, где его могут увидеть, удивиться, обнаружить вместо солидного мужчины белобрысого мальчика лет восьми. Разобраться можно будет после...

Детскому, неразвитому тельцу было зябко в спадающей с плеч майке и пижамных штанах, которые приходилось придерживать рукой, чтобы не потерять.

Удалов выгреб из-под кровати ботинки и утопил в них ноги. Ботинки были не в подъем тяжелы, и пришлось обмотать концы шнурков под коленками. Хуже всего было с полосатыми штанами. Подгибай их, не подгибай — они слишком обширны и смешны...

Чувство полного одиночества в этом мире овладело Корнелием.

Вновь зашебаршился в постельке Ваня. За стеной вздохнула во сне Капельская.

Удалов подставил стул к окну, переполз на животе подоконник и ухнул в бурьян под окном...

Удалов долго и бесцельно брел по пустым, прохладным рассветным улицам Гусляра. Когда его обгоняли грузовики или автобусы, прижимался к заборам, нырял в подъезды, калитки. Особо избегал пешеходов. Мысли были туманными, злыми и неконкретными. Надо было кого-то привлечь, чтобы кто-то ответил и прекратил издевательство.

Наконец Удалов укрылся в сквере у церкви Параскевы Пятницы, в которой помещался районный архив. Он отдыхал. Он сидел под кустами, не видный с улицы, и старался продумать образ действий. Проснувшиеся с солнцем трудолюбивые насекомые жужжали над ним и доверчиво садились на плечи и голову. Которых мог, Удалов давил. И думал.

Низко пролетел рейсовый АН-2 на Вологду. Проехала с базара плохо смазанная телега — в мешках шевелились, повизгивали поросята.

Удалов думал. Можно было вернуться к Елене Сергеевне и пригрозить разоблачением. А вдруг они откажутся

его признать? Было ли все подстроено? А если так, то зачем? Значит, был подстроен и провал? С далеко идущими целями? А может, все это — часть громадного заговора с участием марсиан? Началось с Удалова, а там начнут превращать в детей районных и даже областных работников, может, доберутся и до центральных органов? Если пригрозить разоблачением, они отрекутся или даже уничтожат нежелательного свидетеля. Кто будет разыскивать мальчика, у которого нет родителей и прописки? Ведь жена Ксения откажется угадать в нем супруга. Может, все же побежать в милицию? В таком виде?.. Вопросов было много, а ответов на них пока не было.

Удалов прихлопнул подлетевшую близко пчелу, и та перед смертью успела вогнать в ладонь жало. Ладонь распухла. Боль, передвигаясь по нервным волокнам, достигла мозга и превратилась на пути в слепой гнев. Гнев лишил возможности рассуждать и привел к решению неразумному: срочно сообщить куда следует, ударить в набат. Тогда они попляшут! У Удалова отняли самое дорогое — тело, которое придется нагуливать много лет, проходя унижительные и тоскливые ступеньки отрочества и юности.

Удалов резко поднялся, и пижамные штаны спали на землю. Он наклонился, чтобы подобрать их, и увидел, что по дорожке, совсем рядом, идет мальчик его же возраста, с оттопыренными ушами и кнопочным носом. На мальчике были синие штанишки до колен на синих помочах, в руках сачок для ловли насекомых. Мальчик был удивительно знаком.

Мальчик был Максимкой, родным сыном Корнелия Удалова.

— Максим! — сказал Удалов властно. — Поди-ка сюда.

Голос предал Удалова — он был не властным. Он был тонким.

Максимка удивился и остановился.

— Поди-ка сюда, — повторил Удалов-старший.

Мальчик не видел отца за кустами, но в зовущем голосе звучали взрослые интонации, которых он не посмел ослушаться. Оробев, Максимка сделал шаг к кустам.

Удалов вытянул руку навстречу сыну, ухватился за торчащий конец сачка и, перебирая руками по древку (ладонь болела и саднила), приблизился к мальчику, будто взобрался по канату.

— Ты чего здесь в такую рань делаешь? — спросил он, лишив сына возможности убежать.

— Бабочек ловить пошел, — ответил Максимка.

Если бы при этой сцене присутствовал сторонний наблюдатель, могущий при этом воспарить в воздухе, он увидел бы, как схожи дети, держащиеся за концы сачка. Но наблюдателей не было.

— А мать где?

В душе Удалова проснулись семейные чувства. В воздухе ему чудился аромат утреннего кофе и шипение яичницы.

— Мать плачет, — сказал просто Максимка. — У нас отец сбежал.

— Да, — сказал Удалов. И тут только осознал, что сын его не принимает за отца, беседует как с однолеткой. И вообще нет больше прежнего Удалова. Есть ничей ребенок. И вновь вскипел гнев. И ради удовлетворения его приходилось жертвовать сыном. — Снимай штаны, — приказал он мальчику.

Не поддерживаемые более пижамные штаны Удалова опять упали, и он стоял перед пойманным сыном в длинной майке, подобной сарафану или ночной рубашке.

— Уйди, — сказал мальчик нерешительно своему двойнику. Его еще никогда не грабили, и он не знал, что полагается говорить в таких случаях.

Удалов-старший вздохнул и ударил сына по носу острым жестким кулачком. Нос сразу покраснел, увеличился в размере, и капля крови упала на белую рубашку.

— А я как же? — спросил мальчик, который понял, что штанишки придется отдать.

— Мои возьмешь. — Удалов показал себе под ноги. — Они большие. И трусы снимай.

— Без трусов нельзя, — отказался мальчик.

— Еще захотел? Забыл, как тебе от меня позавчера попало?

Максимка удивился. Позавчера ему ни от кого, кроме отца, не попадало.

Белая рубашка доставала Максимке только до пупа, и он прикрылся поднятыми с земли, свернутыми в узел пижамными брюками.

— Из этих брюк мы тебе три пары сделаем, — пообещал подобревший Удалов, натягивая синие штанишки. —

А теперь беги. И скажи Ксении, чтоб не беспокоилась. Я вернусь. Ясно?

— Ясно, — ответил Максим, который ничего не понял.

Прикрываясь спереди пижамными штанами, он побежал по улице, и его беленькие ягодицы жалобно вздрагивали на бегу, вызывая в отце горькое, сиротливое чувство.

25

Дежурный лейтенант посмотрел на женщину. Она робко облокотилась о деревянный шаткий барьер. Слезы оставили на щеках искрящиеся под солнечным светом соляные дорожки.

— Сына у меня ограбили, — сказала она. — Только что. И муж скрылся. Удалов. Из ремконторы. Среди бела дня, в сквере.

— Разберемся, — успокоил лейтенант. — Только прошу по порядку.

— У него рука сломанная, в гипсе, — сказала женщина.

Она смотрела на лейтенанта требовательно. По соляным руслам струились ручейки слез.

— У кого? — спросил лейтенант.

— У Корнелия. Вот фотокарточка. Я принесла.

Женщина протянула лейтенанту фотографию — любительскую, серую. Там угадывалась она сама в центре. Рядом были полный невыразительный мужчина и мальчик, похожий на него.

— Средь бела дня, — продолжала женщина. — Я как раз к вам собралась, соседи посоветовали. А тут прибегает Максимка, без штанов. Синне такие были, на помочах...

Женщина широким движением сеятеля выбросила на барьер светлые в полоску пижамные штаны.

Лейтенант посмотрел на нее как обреченный...

— Может, напишете? — спросил он. — Все по порядку. Где, кто, что, у кого отнял, кто куда сбежал, — только по порядку и не волнуйтесь.

Говоря так, лейтенант подошел к графину с кипяченой водой, налил воды в граненый стакан, дал ей напиться.

Женщина пила, изливая выпитое слезами, писать отказывалась и все норовила рассказать лейтенанту яркие детали, упуская целое, ибо целое ей было уже известно.

Минут через десять лейтенант наконец понял, что два трагических события в жизни семьи Удаловых между собой не связаны. Муж пропал вечером, вернее, ночью; пришел из больницы, сослался на командировку и исчез в пижаме. Сына ограбили утром, только что, в скверике у Параскевы Пятницы, и ограбление было совершено малолетним преступником.

Разобравшись, лейтенант позвонил в больницу.

— Больной Удалов на излечении находится? — спросил он.

Подождал ответа, поблагодарил. Потом подумал и задал еще вопрос:

— А вы его выписывать не собирались?.. Ах так. Ночью? В двадцать три? Ясно.

Потом обратился к Удаловой.

— Правильно говорите, гражданка, — сказал он ей. — Ушел ваш супруг из больницы. В неизвестном направлении. Медперсонал предполагал, что домой. А вы думаете, что нет?

— Так и думаю, — ответила Удалова. — И еще сына ограбили. Оставили пижаму.

Лейтенант разложил пижамные штаны на столе.

— От взрослого человека, — показал он. — А вы говорите — ребенок.

— Я и сама не понимаю, — согласилась Удалова. — И мальчик такой правдивый. Тихий. Смирный. И штаны с помочами были. Синие. Вот как на этом.

Гражданка Удалова показала на мальчика в синих штанишках, вошедшего тем временем в помещение милиции и робко отпрянувшего к двери при виде Удаловой.

Ксения не узнала своего мужа. Не узнала она и штанов, принадлежавших ранее Максиму, ибо они приписались Корнелию в самый раз.

— Так вы свою жалобу напишете? — спросил лейтенант.

— Напишу. Все как есть напишу, — сказала Ксения. — Только домой сбегая и там напишу. Кормить сына надо.

При таком свидетельстве заботы жены о доме Корнелию захотелось плакать слезами раскаяния, но он удержался — не смел обратить на себя внимание.

— Тебе чего, мальчик? — спросил лейтенант, когда Удалова ушла писать заявление и кормить сына.

Удалов, почесывая ладонь, подошел к барьеру. Голова

его белым курганчиком возвышалась над деревянными перилами, и ему пришлось стать на цыпочки, чтобы начать разговор с дежурным.

— Не тебе, а вам, — поправил Удалов. Когда себя не видел, как-то забывал о своих истинных размерах.

— Ну, вам, — не стал спорить лейтенант. — Говори, пацан.

— Дело государственной важности, — произнес Удалов и оробел.

— Молодец, — одобрил лейтенант. — Хорошо, когда дети о большом думают. Погляди, старшина, мы в его возрасте только футболом интересовались.

Старшина, сидевший в другом углу, согласился.

— Я поближе хочу, — сказал Удалов. — За барьер.

— Заходи, садись. И начинай, а то у меня дежурство кончается. Домой пора. Жена ждет, понимаешь?

Удалов это понимал. И кивнул головой сокрушенно.

Мальчик в слишком больших башмаках, завязанных, чтобы не упали, под коленками шнурками, вскарабкался на стул.

Лейтенант смотрел на мальчика с сочувствием. У него детей не было, но он их любил. И хоть дело мальчика касалось какой-нибудь малой несправедливости, обижать его лейтенант не хотел и слушал как взрослого.

— Существует заговор! — начал Удалов. — Я еще не знаю, кто его финансирует. Но может оказаться, что и не марсиане.

— Во дает! — Старшина поднялся со стула и подошел поближе.

— Шпиона видел? — ласково спросил лейтенант.

— Да вы послушайте! — воскликнул мальчик, и глаза его увлажнились. — Говорю, заговор. Я сам тому доказательство.

Лейтенант незаметно подмигнул старшине, но мальчик заметил это и сказал строго:

— Попрошу без подмигиваний, товарищ лейтенант. Они сейчас обсуждают дальнейшие планы. Со мной разделились, а что дальше, страшно подумать. Возможно, на очереди руководящие работники в районе и области.

— Во дает! — повторил старшина совсем тихо.

Он подумал, что жизнь ускоряет темпы, и, если следить за прессой, то увидишь, что в западных странах

психические заболевания приняли тревожный размах. Теперь подбираются к нам. А мальчика жалко.

— Ну, а как тебя зовут, мальчик? — спросил лейтенант.

— Удалов, — ответил мальчик. — Корнелий Удалов. Мне сорок лет.

— Та-ак, — произнес лейтенант.

— Я женат, — продолжал Удалов, и лопоухое личико порозовело. — У меня сын, Максимка, в школу ходит.

Тут Удалова посетили воспоминания о преступлении против собственного ребенка, и он еще ярче зарделся.

— Та-ак, — протянул лейтенант. — Тоже, значит, Удалов.

Неожиданно во взоре его появилась пронзительность. И он спросил отрывисто:

— А штаны с тебя в парке сняли?

— Какие штаны?

— А мамаша твоя с жалобой приходила?

— Так она же меня не узнала! — взмолился Удалов. — Потому что я не сын, а муж. Только меня превратили в ребенка, в мальчика. Я про это и говорю. А вы не верите. Если бы я был сын, то меня бы она узнала. А я муж, и она меня не узнала. Понятно?

— Во дает! — в очередной раз удивился старшина и начал продвижение к двери, чтобы из другой комнаты позвонить в «скорую помощь».

— Ты лучше к его мамаше сходи. Она адрес оставила, — сказал лейтенант, понявший замысел старшины. — Погоди, мальчика сначала в детскую комнату определим.

— Нет! — закричал Удалов. — Я этого не перенесу! У меня паспорт есть, только не с собой. Я вам такие детали из своей жизни расскажу! Я ремконторой руковожу!

Лейтенант печально потупился, чтобы не встречаться взглядом с заболевшим мальчиком. Ну что он мог сказать, кроме общих слов сочувствия? Да и эти слова могли еще более разволновать ребенка, считающего себя руководителем ремконторы Удаловым.

Старшина сделал шаг по направлению к мальчику, но тот с криками и плачем, с туманными угрозами дойти до Вологды и даже до Москвы соскочил со стула, затопал тяжелыми ботинками, вильнул между рук старшины, увернулся от броска лейтенанта и выскользнул за дверь, а затем

скрылся от преследователей среди куч строительного мусора, накопленного во дворе реставрационных мастерских.

Научный склад мышления — явление редкое и не обязательно свойственное ученым. Он предусматривает внутреннюю объективность и желание добиться истины. Удалов не обладал этим складом, потому что стать мальчиком, когда внутренне подготовился к превращению в полного сил юношу, слишком обидно и стыдно. Поэтому воображение Удалова, богатое, но неорганизованное, подменило эксперимент заговором, и заговор этот рос по мере того, как запыхавшийся Корнелий передвигался по городу, распутивая кур и гусей. И чудилось Корнелию, что заговорщики в черных масках подкрадываются к системе водоснабжения и отрава проникает в воду, пиво, водку и даже в капли от насморка.

Просыпается утром страна, и обнаруживается — нет в ней больше взрослых людей. Лишь дети, путаясь в штанах и башмаках, выходят с плачем на улицы. Остановился транспорт — детские ножки не могут достать до тормозных педалей. Остановились станки — детские ручки не могут удержать тяжелую деталь. Плачет на углу мальчик — намеревался сегодня выходить на пенсию, а что теперь? Плачет девочка — собралась сегодня выйти замуж, а что теперь? Плачет другая девочка — завтра ее очередь лететь в космос. Плачет второй мальчик — вчера только толкнул штангу весом в двести килограммов, а сегодня не поднять и двадцати.

Мальчик-милиционер двумя ручками силится поднять палочку-регулировочку. Девочка-балерина не может приподняться на носки. Мальчик-бас, оперный певец, пиццита-пиццита: «Сатана там правит бал!»

А враги хохочут, шепчутся: «Теперь вам не взобраться в танки и не защитить своей страны от врагов...»

И тут, по мере того как блекла и расплывалась страшная картина всеобщего помоложения, Удалова посетила новая мысль: «А вдруг уже началось? Вдруг он не единственная жертва старика? А что если все — и Капельская, и Шурочка Родионова, и друг Грубни, и даже подозрительная старуха Бакшт, — все они стали детьми и с плачем стучатся в дверь Капельской?»

Новая мысль поразила Удалова своей простотой и очевидностью, подсказала путь дальнейших действий, столь нужный.

К дому Кагельской Удалов подкрадывался со всей осторожностью и к играющим на тротуаре детям приглядывался с опаской и надеждой — любой ребенок мог оказаться Еленой Сергеевной или Сашей Грубиным. Да и вообще детей в городе было очень много — более, чем вчера. Это свое наблюдение Удалов также был склонен отнести за счет сговора старика с марсианами, а не за счет хорошей погоды, как это было на самом деле.

Но стоило Удалову войти в сени, как все иллюзии разлетелось.

Пострадал лишь он.

26

Перед Удаловым стояла чашка с какао, батон, порезанный толсто и намазанный вологодским маслом. На тарелке посреди стола горкой возвышался колотый сахар. В кастрюле дымилась крупная картошка.

О Корнелии заботились, его жалели очаровательные женщины, угощали шампанским (из наперстка), мужчины легонько постукивали по плечу, шутили, сочувствовали. Здесь, по крайней мере, никто не ставил под сомнение действительную сущность Удалова. Он весь сжался и чувствовал себя подобно одинокому разведчику в логове коварного врага. Каждый шаг грозил разоблачением. Удалов улыбался напряженно и сухо.

— И неужели никакого противоядия? — шептала Милица Грубину, тот глядел на Алмаза, Алмаз разводил под столом ладонями-лопатами.

Может, где-то на отдаленной звезде это противоядие давно испытано и продается в аптеках, а на Земле пока в нем необходимости нет. Алмаз Удалова особо не жалел — получил человек дополнительно десять лет жизни. Потом поймет, успокоится. Другому бы — это счастье, спасение.

— В дозе ошибки не было? — спросил Грубин.

— Не было, — сказал Алмаз.

Грубин листал тетрадь, шевелил губами, снова спросил:

— А ошибиться вы не могли?

— Сколько всем, столько и ему, — сказал Алмаз.

— А если он сам? — спросила Шурочка.

— Я только свою чашку выпил, — проговорил быстро Удалов.

— «А косточку я выкинула в окошко», — весело процитировала Шурочка. Она быстро свыклась с тем, что Удалов — мальчик, и только. И общалась с ним как с мальчиком.

— Я ж говорю, что не шил. — Удалов внезапно заплакал. Убежал из-за стола, размазывая кулачками слезы.

Елена Сергеевна укоризненно поглядела на Шурочку, покачала головой.

Алмаз заметил это движение, ухмыльнулся: укоризна Елены Сергеевны была от прошлого, с нынешним девичьим обликом вязалась плохо.

— Я только Ксюшину бутылочку выпил. Маленькую. Она меня из дома выгнала, — крикнул Удалов от двери.

Грубин продолжал листать тетрадь старика. Его интересовал состав зелья, хотя из тетради, записанной множество лет назад, узнать что-либо было трудно.

Савич искоса поглядывал на Елену, порой приглаживал волосы так, будто гладил лысину. Савич был растерян, так как еще недавно, вчера ночью, дал овладеть собой иллюзии, что, как только он помолодеет, начнет жизнь снова, откажется от Ванды, придет к Елене и скажет ей: «Перед нами новая жизнь, Леночка. Давай забудем обо всем, ведь мы нужны друг другу». Или что-то похожее.

Теперь же вновь наступили трудности. Сказать Елене? А Ванда? Ну кто мог подумать, что так произойдет? И кроме того, они ведь связаны законным браком. И Савич чувствовал раздражение против старика Алмаза, поставившего его в столь неловкое, двусмысленное положение.

А Елена тоже посматривала на Савича. Думала о другом. Думала о том, что превращение, происшедшее с ними, — обман. Не очевидный, но все-таки самый настоящий обман. Ведь в самом деле никто из них, за исключением, может быть, старухи Милицы, почти впавшей в детство и потерявшей память, не стал в самом деле молодым. Осталась память о прошлом, остались привычки, накопленные за много лет, остались разочарования, горести и радости — и никуда от них не деться, даже если тебе на вид лет восемь, как Удалову.

Вот сидит Савич. В глазах у него обида и растерянность. Но обида эта и растерянность не свойственны были Савичу-юноше. И возникли они давно, постепенно, от постоянного ощущения неудовлетворенности собой, своей

работой, своей квартирой, характером своей жены. И даже жест, которым Савич поглаживает волосы, пришел с лысиной, с горестным недоверием к слишком быстрому и жестокому бегу времени.

Если сорок лет назад можно было сидеть вдвоем на лавочке, целоваться, глядеть в звездное небо, удивляться необыкновенности и новизне мира и своих чувств, то теперь этого сделать будет нельзя. Как ни обманывай себя, не избавишься от спрятанного под личиной юноши тучного, тяжело дышащего лысого провизора.

Омоложение было иллюзией, но вот насколько она нужна и зачем нужна, Елена еще не разобралась. Пока будущее пугало. И не столько необходимостью жить еще несколько десятков лет, сколько вытекающими из омоложения осложнениями житейскими.

— Семь человек приняли эликсир, — сказал деловито Грубин, закручивая тетрадь. — Все здорово помолодели. Один даже слишком.

Удалов громко вскрикивал в маленькой комнате. Даже Ваня пожалел его, взял мяч и пошел туда, к грустному мальчику.

— Все-таки процент большой, — определил Савич.

— Но главное — эксперимент удачен. И это открывает перед человечеством большие перспективы. А на нас накладывает обязательства. Ведь бутылка-то разбилась.

— Нам вряд ли поверят, — сказал Савич. — Уж очень все невероятно.

— Обязательно поверят, — возразил Грубин. — Нас девять человек. У нас, в конце концов, есть документы, воспоминания, люди, которых мы можем представить в качестве свидетелей. Ведь мы-то, наше прошлое, куда-то делись. Нет, придется признать.

— Не признают, — вмешался Удалов, вошедший тем временем в комнату, чтобы избавиться от общества Вани с мячиком. — Я правду скажу: я уже ходил в милицию. Не поверили. Чуть было маме не отдали, то есть моей жене. Пришлось бежать.

Удалов виновато поведал историю своих походов. Он уже понял, что стал жертвой ошибки, жертвой своего исключительно злокачественного невезения.

— Эх, Удалов, Удалов! — сказал наконец Грубин. — И когда ты станешь взрослым человеком?

— Лет через десять, — хихикнула Шурочка.

— Шурочка! — остановила ее Елена.

— Вам бы только издеваться, — пожаловался Удалов. — А я без работы остался и без семьи. Как мне исполнять свои обязанности, семью кормить, отчитываться перед руководящими органами?

— Да, — сказал Грубин. — Дело нелегкое. И в милицию теперь не пойдешь за помощью. Им Удаловы так голову закрутили — чуть что, сразу вызовут «скорую помощь» и санитаров со смирительной рубашкой. Да и другие органы, верно, предупреждены. Надо в Москву ехать. Прямо в Академию наук. Всем вместе.

— Уже? — спросила Милица. — Я хотела пожить в свое удовольствие.

— В Москве для этого возможностей больше, — бросил Алмаз. — Только уж обойдитесь без меня. Я потом подъеду. Вернуться надо к своим делам.

— Да как же так? Без вас научного объяснения не будет.

— А мое объяснение меньше всего на научное похоже.

— Что за дела, если не секрет? — заинтересовалась вдруг Елена.

— Спрашиваешь, будто я по крайней мере до министра за триста лет дослужился. Разочарую, милая. В Сибири я осел, в рыбной инспекции. Завод там один реку портит, химию пускает. Скоро уже и рыбы не останется, когда-нибудь будет времени побольше, расскажу, какую я борьбу веду с ними четвертый год. Но возраст меня подводил, немощь старческая. Теперь уж я их замотаю. Попляшут. Главный инженер или фильтры поставит, или вместо меня на тот свет. Я человек крутой, жизнью обученный. Вот так.

Алмаз положил руку на плечо Елены, и та не возражала. Рука была тяжелая, горячая, уверенная. Савич отвернулся. Ему этот жест был неприятен.

— Учиться вам надо, Алмаз Федотович, — сказала Милица. — Тогда, может, и министром станете.

— Не исключено, — согласился Алмаз. — Но сначала я главного инженера допеку. И всех вас приглашу на уху. Добро?

Грубин опустил тем временем на колени и заглянул под стол. Он увидел, что в том месте, где на пол пролился эликсир, из досок за ночь поднялись ветки с зелеными листочками. Пол тоже помолодел.

— А в Москву ехать на какие деньги? — спросил Грубин из-под стола.

27

Никто уже не сомневался, что в Москву ехать надо. Слово такое появилось и овладело всеми: «Надо». Жили люди, старели, занимались своими делами и никак не связывали свою судьбу с судьбами человечества. И даже когда соглашались на необычный эксперимент, делали это по самым различным причинам, опять же не связывая себя с человечеством.

Но когда обнаружилось, что таинственный эликсир и в самом деле действует, возвращает молодость, оказалось, что на людей свалилась ответственность, хотели они того или нет. Да и в самом деле, что будешь делать, если в руки тебе дается подобный секрет? Уедешь в другой город, чтобы тихо прожить жизнь еще раз?

Раньше Алмаз так и делал. Хоть и проживал очередную жизнь не тихо, а в смятении и бодрствовании, но к людям пойти, поделиться с ними тайной не мог, не смел — погубили бы его, отняли тайну, передрались бы за нее. Так предупреждал пришелец. Но то был один Алмаз. Теперь семь человек.

Слово «надо», коли оно не пришло извне, а родилось самостоятельно, складывается из весьма различных слов и мыслей, и нелегко порой определить его истоки. Грубин, например, с первого же момента рассматривал все как чисто научный эксперимент, так к нему и относился. Когда же помолодел и осознал тщету предыдущей жизни, то в нем проснулся настоящий ученый, для которого сущность открытия лежит в возможности его использования.

Удалов внес свою лепту в рождение необходимости, потому что был уверен, что в Москве хорошие врачи. Если придется к ним попасть, вылечат от младенчества, вернут в очевидный облик. Его «надо» было чисто эгонстическим.

Савич готов был ехать куда угодно — его ничто не удерживало в Гусляре. В аптеку путь закрыт — кому нужен юный провизор, который вчера был солидным мужчиной предпенсионного возраста? О том, чем он будет заниматься, Савич не думал — его главные проблемы были личными. Что делать с двумя девушками, на одной из

которых за последние сорок лет он дважды женился, а другую дважды бросил? Увидев молодую Елену, Савич испытал раздражение против себя и понял, что вчера был совершенно прав, надеясь связать свою новую жизнь именно с Еленой. Когда тебе двадцать — в самом деле двадцать — ты можешь не разглядеть за соблазнительной девичьей оболочкой вульгарность, грубость и даже — Савич не боялся этого слова — пошлость. Но с сорокалетним опытом совместной жизни пришло и полное осознание прежней ошибки. Теперь оставалось сделать один лишь шаг — честно рассказать обо всем Елене, прекрасной, тонкой, понимающей, и добиться ее взаимности. Ведь была же эта взаимность сорок лет назад? Ведь страдала Лена, когда он оставил ее! Теперь должно наступить искупление и затем — счастье.

Но размышляя так, Савич сам себе не верил. Он всей кожей ощущал, что у него неожиданно появился соперник, который не даст возможности не спеша осмотреться, все обсудить и принять нужные меры. Этот бывший старик был нахален и, видно, привык забирать от жизни все, что ему приглянулось. А у Елены совершенно нет опыта обращения с подобными субъектами. И осмотрительность Савича, которую Елена может ложно истолковать, также работает против него — с каждой минутой шансы Савича тают.

Елена Сергеевна также была в растерянности, но Савич не занимал в ее мыслях главного места. Она поняла, что возврата к прошлой жизни нет, надо искать выход, но ведь вся старая жизнь с ее требованиями и обязанностями оставалась. Оставалась дочь, которая вернется из отпуска за Ваней, оставались должности в общественных организациях и незавершенные дела, оставались друзья и знакомые, от которых придется отказаться. И отъезд в Москву, хоть и был бегством, оказывался наиболее разумным выходом из тупика. А что касается Никиты — конечно же, шок от появления молодого, курчавого, милого и доброго Никитушки был велик. И был бы больше, если бы рядом не оказалось Ванды Казимировны с ее хозяйскими повадками и взглядом женщины, которая Никитушкой владеет. Да и неудивительно — она же была первой, кто увидел Савича помолодевшим, и, наверное, уж успела принять меры, чтобы оставить его за собой. Да и взгляд Никиты, виноватый и растерянный, выдавал его с головой. Ясно

было, что вчера он решился принять участие в опыте, потому что мечтал изменить жизнь. Сегодня же он вновь колеблется. И хорошо — все было решено сорок лет назад, зачем же начинать снова эту волюнку?

Так Елена Сергеевна утешала себя, потому что нуждалась в утешении. Оказывается, ее чувство к Савичу не совсем испарилось за эти годы — да и много ли сорок лет в жизни человека? Кажется, только вчера она выслушивала клятвы в вечной верности и только вчера они с Никитой обсуждали свои совместные планы на жизнь.

И неудивительно, что Елена тянулась к Алмазу. Бывают мужчины, которых надо утешать. Значительно реже встречаются такие, которые сами могут тебя защитить и утешить. Алмаз не просил жалости, да и нелепо было бы его жалеть. Вот он, думала Елена, незаметно глядя на Алмаза, может взять тебя на руки и унести, куда пожелает, потому что знает, как хочется иногда женщине не принимать решений.

Алмаз перехватил этот несмелый взгляд и широко улыбнулся.

— Нашел тебя, — сказал он, поднимая бокал шампанского. — Теперь не упущу.

Ванда Казимировна, не спускавшая глаз с мужа и Елены, настороженная, как кошка перед мышиной норой, с радостью отметила эти слова. «Плюхо твое дело, мой зайчик», — подумала она о муже.

А если так, то можно поехать в Москву. Взять отпуск в магазине за свой счет и прокатиться. Тысячу лет там не была. Заодно надо будет и приодеться. Ведь когда ты солидная пожилая дама, то подчиняешься одной моде — чтобы все было из дорогого материала и с драгоценностями. Когда тебе двадцать, надо менять стиль. В Москве театры, концерты, может быть, придется сверкать. Правда, для этого требуются средства. И значительные. Доехать, устроиться и там пожить. А почему и не пожить? Сорок лет накапливала. Можно позволить, накопления есть. Надо будет взять сберкнижку, которая хранится в сейфе, в универмаге.

— У меня совершенно нет сбережений, — призналась Милица. — Знаете, я как-то все свои жизни прожила без сбережений. Это так неинтересно — сберегать.

— И в поклонниках отказа не было, — сказал Алмаз.

— Не только в поклонниках — в мужьях, — поправила его с улыбкой Милинда.

И поглядела, расширив глазницы, на Сашу. Тому показалось, что острые черные ресницы вонзаются ему в сердце. И ему стало стыдно, что у него тоже нет никаких сбережений. Последние он истратил на детали для вечного двигателя.

— Но в Москву попасть мечтаю, — сказала Милинда. — Меня всегда тянуло в столицу.

Миша Стендаль поправил очки и приобрел сходство с Грибоедовым, прибывшим на первую аудиенцию к персидскому шаху. Он решился:

— Деньги достать можно.

— Откуда? — сокрушенно произнес Грубин. — Нам даже занять не у кого. Если я к своей двоюродной сестре приду, она меня с лестницы спустит. Решит, что я авантюрист.

— А ты ей паспорт покажи, — пискнул от двери Удалов, но никто не обратил внимания на его слова.

— Может, у тебя, Ванда Казимировна? — спросил Грубин. — Ты же директор.

— Нет, — сказала Ванда, не задумываясь, — мы только что гарнитур купили. Савич, подтверди.

— Купили, — сказал Савич и расстроился, потому что жене не поверил, но не посмел оспорить ее слова. Сам он свободных денег не имел, да и не нуждался в них. Зарплату сдавал домой, получал рубль на обед и когда нужно — на книгу.

«Так мы и не стали молодыми», — подумала Елена. Ванда когда-то была мотовкой, хохотушкой, цены деньгам не знала и знать не желала. А привыкла к деньгам постепенно. И сидит сейчас в юной Ванде пожилая директорша, которая не любит расставаться с копейкой. Так что молодость наша — только видимость.

— У меня есть шестьдесят рублей, — проговорила Елена.

— Не тот масштаб, — сказал Грубин.

— Может, отложим отъезд? — спросил Савич.

— Нельзя, — ответил Грубин. — Вы же знаете.

Он вылез из-под стола с букетиком зеленых листьев, что выросли за ночь в том месте пола, куда пролилось зелье. Листья он намеревался исследовать, попытаться определить состав жидкости.

— Вы же знаете, — сказал Грубин, — с каждой ми-

нутой следы эликсира в нашей крови рассасываются. День-два — и ничего не останется. На основе чего будут работать московские ученые? Любая минута на учете. Или мы выезжаем ночным поездом, либо можно вообще не ехать.

— Вот я и говорю, — продолжил Стендаль. — Деньги достать можно, и вполне официально. Я начну с того, что наши события произошли именно в городе Великий Гусляр. А кто знает о нашем городе? Историки? Статистики? Географы? А почему? Да потому, что Москва всегда перехватывает славу других городов. Я сам из Ленинграда, хотя уже считаю себя гуслярцем. И что получается? В Кировском театре почти балерин не осталось — Москва переманила. Команда «Зенит» успехов добиться не может — футболистов Москва перетягивает. А почему метро в Ленинграде позже, чем в Москве, построили? Все средства Москва забрала. А о Гусляре и говорить нечего, даже и соперничать не приходится. А почему бы не посоперничать? Обратимся в нашу газету!

— Правильно, Миша, — поддержала его Шурочка. — А раньше Гусляр, в шестнадцатом веке, Москве почти не уступал. Иван Грозный сюда чуть столицу не перенес.

— Красиво говоришь, — сказал Алмаз. — Город добрый, да больно мелок. Даже если здесь совершенное бессмертие изобретут, все равно с Москвой не тягаться.

— Газета добудет нам денег, — продолжал Стендаль, — опубликует срочно материал. И завтра утром мы отбываем в Москву. И нас уже встречают там. Разве не ясно? И Гусляр прославлен в анналах истории.

— Ну-ну, — сказал Алмаз. — Попробуй.

Стендаль блеснул очками, обводя взглядом аудиторию. Остановил взгляд на Милице.

— Милица Федоровна, вы со мной не пойдете?

— Ой, с удовольствием, — согласилась Милица. — А редактор молодой?

— Средних лет, — сдержанно ответил Стендаль.

— Тогда я возьму мой альбом. Там есть стихи Пушкина.

Пленка, которую принес с птицефермы фотограф, никуда не годилась. Ее стоило выкинуть в корзину — пусть мыши разбираются, где там несущики, а где красный уго-

лок. Так Малюжкин фотографу и сказал. Фотограф обиделся. Машинистка сделала восемь непростительных опечаток в сводке, которая пойдет на стол к Белосельскому. Малюжкин поговорил с ней, машинистка обиделась, ее всхлипывания за тонкой перегородкой мешали сосредоточиться.

Степан Степанов из сельхозотдела, консультант по культуре, проверял статью о художниках-земляках. Пропустил ляп: в очерке сообщено, что Рерих — баталист. Малюжкин поговорил со Степановым, и тот обиделся.

К одиннадцати половина редакции была обижена на главного, и оттого Малюжкин испытывал горечь. Положение человека, имеющего право справедливо обидеть подчиненных, возносит его над ними и лишает человеческих слабостей. Малюжкину хотелось самому на кого-нибудь обидеться, чтоб поняли, как ему нелегко.

День разыгрался жаркий. Сломался вентилятор; недавно побеленный подоконник слепил глаза; вода в графине согрелась и не утоляла жажды.

Малюжкин был патриотом газеты. Всю сознательную жизнь он был патриотом газеты. В школе он получал плохие отметки, потому что вечерами переписывал от руки письма в редакцию и призывал хорошо учиться. В институте он пропускал свидания и лекции и подкармливал пирожками с повидлом нерадивых художников. Каждый номер вывешивал сам, ломал, волнуясь, кнопки и долго стоял в углу — глядел, чем и как интересуются товарищи. Новое полотнище, висящее в коридоре, было для Малюжкина лучшей, желанной наградой, правда, наградой странного свойства — со временем она переставала радовать, теряла ценность, требовала замены.

Иногда вечерами, когда институт таинственно замолкал и лишь в коридорах горели тусклые лампочки, Малюжкин забирался в комнату профкома, где за сейфом старились пыльные рулоны прошлых годовних стенгазет, вытаскивал их, сдувал пыль, разворачивал на длинном столе, придавливал углы тяжелыми предметами, приклеивал отставшие края заметок и похож был на донжуана, перебирающего коллекцию дареных фотографий с надписями «Любимому» и «Единственному».

И теперь, дослужившись к вершине жизни до поста редактора городской газеты, Малюжкин уходил из редак-

ции последним, перед уходом перелистывая подшивки газеты за последние годы.

Перед Малюжkinым стоял литсотрудник Миша Стендаль. Вид его был неряшлив, очки запылились.

— Что у тебя? — спросил Малюжкин.

— Важное дело.

— Важное дело здесь. — Малюжкин показал на недописанную передовицу о подготовке школ к учебному году. — К сожалению, не все понимают.

Малюжкин прижал палец к губам, затем им провел по воздуху и упер в стенку. Из-за стены шло всхлипывание. Стендаль понял, что машинистка снова допустила опечатки.

— Итак? — произнес Малюжкин, склонный к красивым словам.

— Итак, поверить мне трудно, но я принес настоящую сенсацию.

— Сенсация сейсацион рознь, — заметил Малюжкин.

Само слово «сенсация» имело неприятный оттенок, связывалось в уме с унижительными эпитетами.

— Только без дешевых сенсаций, — сказал Малюжкин. — В одной центральной газете напечатали про снежного человека — и что? — Малюжкин резко провел ребром ладони по горлу, показывая судьбу редактора. — Ну, ты говори, не обижайся.

— У нас есть возможность стать первой, самой знаменитой газетой в мире. Интересует?

— Посмотрим.

Машинистка за стеной перестала всхлипывать — прислушивалась.

— Но в любом случае, — продолжал Малюжкин, — передовую заканчивать придется. Ты же за меня ее дописать не сможешь?

Малюжкин прикрыл на несколько секунд глаза и чуть склонил седеющую голову благородного отца. Ждал лестного ответа.

— Передовицу — в корзину, — сказал невежливо Стендаль. — На первую полосу другое.

Малюжкин терпеливо улыбнулся. Он умел угадывать нужное, своевременное. По виду Стендаля понял — блажь. И мысли переключил на завершение передовой.

— Вчера, — начал Стендаль, — в нашем городе прои-

зошло величайшее событие, сенсация века. Впервые удачно произведен эксперимент по коренному омоложению человеческого организма.

Торжественные слова, как рассчитывал Стендаль, легче проникают в мозг Малюжкина, но тот, слыша их, не вникал в смысл, а старался приспособить к делу, к передовой. «Впервые в стране произведен эксперимент, — повторял мысленно Малюжкин, — по полному охвату подрастающего поколения сетью восьмилетнего обучения». Внешне Малюжкин продолжал поддерживать беседу со Стендалем.

— В больнице, говоришь, эксперимент? — переспросил он. — Там у нас способная молодежь.

Из собственной фразы в передовицу пошли слова «способная молодежь». Надо было подыскать им нужное обрамление.

— Нет, не в больнице. На частной квартире.

— Не бегай по кабинету, садись.

Бегающий в волнении Стендаль, махающий руками Стендаль, протирающий на ходу очки Стендаль мешал Малюжкину сосредоточиться.

— Несколько человек, — продолжал Стендаль, присаживаясь на кончик стула и продолжая двигать ногами, — получили возможность овладеть секретом вечной молодости.

Обрамление для «способной молодежи» нашлось: «Способная молодежь получила возможность овладеть секретом науки». Малюжкин мысленно записал эту фразу.

— Да-да, — произнес он вслух. — Как же, читал.

— Где? — Стендаль даже перестал двигать ногами. — И ничего не сказали?

— Где? — удивился Малюжкин. — «Наука и жизнь» писала. — Редактор был уверен, что во лжи его не уличить. «Наука и жизнь» уже писала обо всем. — В Штатах опыты производились. У нас тоже на собаках.

— Ясно, — сказал Стендаль. Понял, что редактор невнимателен. — И вы могли бы! — неожиданно крикнул он.

Малюжкин забыл все фразы для передовой. Испугался. Машинистки за стеной ахнули.

— И вы могли бы стать молодым! — кричал Стендаль. — Каждый может стать молодым! Вчера старик, сегодня юноша. Понимаете?

— Спо-койно, — приказал Малюжкин. — Ты нервничаешь, Цезарь, значит, ты не прав. — Малюжкин указал пальцем на перегородку и продолжал шепотом: — За стеной люди, понял? Пойдут сплетни. А ты не проверил, а кричишь. Свидетели есть? Проверка была?

— Я сам свидетель, — сказал Стендаль, также переходя на шепот, наклоняясь через стол.

Они сидели как заговорщики, обсуждающие план ограбления банка.

— И еще свидетель есть, — пролепетал Стендаль. — Позвать?

— Ну-ну, — согласился Малюжкин. Передовицу все равно придется придумывать снова.

Стендаль высунулся в окно, крикнул:

— Мила, будьте любезны, поднимитесь! Комната пять, я вас встречу.

Стоило Стендалю отойти, как Малюжкин вернулся к передовой. Стендалю это не понравилось. Схватил лист, разорвал, бросил в корзинку.

— Ты с ума сошел, — зашипел Малюжкин. Обида завладела им.

— Сейчас придет женщина, — сообщил Стендаль. — Ей минимум двести лет. Она была знакома с Александром Сергеевичем Пушкиным.

Стендаль убежал.

«Женщины... — думал Малюжкин, склоняясь над мусорной корзиной, — везде женщины, все знакомы или с Пушкиным, или с Евтушенко, а верить никому нельзя».

За дверью послышался голос Стендаля:

— Сюда, Милица, главный ждет вас.

— Спасибо, — засмеялся серебряный голос в ответ.

«Театр, — подумал Малюжкин. — Показуха».

Дверь распахнулась, и возникло чудо. Вошла шамаханская царица, прекрасная девушка в сарафане с альбомом в руках. Этой девушки раньше не было и быть не могло. Эту девушку можно было увидеть однажды и всю жизнь питаться воспоминаниями.

— Здравствуйте. — Девушка протянула Малюжкину руку. Она держала ее выше, чем принято, и потому рука оказалась поблизости от губ редактора.

Малюжкин неожиданно для себя поцеловал тонкую атласную кисть и сел, заливаясь краской.

— Я тоже сяду? — спросила девушка.

— Очень приятно, — ответил Малюжкин. — Познакомиться очень приятно. Садитесь, ради всего святого... — Редактору хотелось говорить очень красиво, хотя бы как говорили герои Льва Толстого. — Крайне польщен, — закончил он.

— Мишенька, наверное, про меня рассказал, — улыбнулась девушка, и из ее глаз вылетели острые сладкие стрелы. — Меня зовут Милицей Бакшт, я живу в этом городе более ста лет.

— Не может быть, — сказал Малюжкин, приглаживая волосы на висках, — я бы запомнил ваше чудесное лицо...

По редакции уже прошел слух о появлении неизвестной красавицы. Думали, что из киногруппы, снимающей в городе историко-революционный фильм. Все мужчины пошли в коридор покурить. Курили рядом с дверью главного.

— А вы меня узнать и не можете, — сказала Милица. — Я еще вчера была древней старухой с клюкой. Ужасное зрелище, вспоминать не хочется. Вы меня понимаете?

— О да, — проговорил Малюжкин.

Милица гибко вскочила со стула, повернулась кругом, сарафан взметнулся и обнажил стройные ноги, и тут же она согнулась, оперлась на воображаемую палку, скривила спину, зашаркала, еле переставляя ноги, и руками двигала с трудом.

Смешно и радостно стало Малюжину, и он сказал:

— Вы актриса, вы талантливая актриса, вам надо сниматься.

Машинистки, услышавшие эти слова через стенку, вынесли в коридор подтверждение новости: незнакомка была киноактрисой, главный ее хвалит.

Степанов вспомнил две картины, в которой он эту киноактрису видел. И многие согласились.

— Очень похоже, — подтвердил Стендаль. — Примерно так это и выглядело. Я сам помню.

— Вы верите мне? — спросила Милица, садясь снова на стул, и глаза ее настолько приблизились к лицу редактора, что тот ощутил головокружение.

— Вам верю во всем, в большом и в малом.

— Вы ему паспорт покажите, Мила, — посоветовал Стендаль.

— Не надо, — возразил Малюжкин. — Не надо ника-

кого паспорта. Сейчас Миша подготовит материал, и вы не уходите, ради Бога, не уходите. Вы расскажете мне все, как было, что, как, когда. Сейчас же в номер.

— Вместо передовой, — напомнил Стендаль, который был еще молод и легко верил в добро.

— Вместо передовой, — подтвердил Малюжкин.

— Мишенька, — сказала Милица, — он, по-моему, в меня влюбился. Он рассудок теряет. Что же теперь делать? Вы в меня влюблены?

— Кажется, да, — произнес тихо редактор, не смея отрицать, но и не желая, чтобы сотрудники услышали об этом.

— Ну, я готовлю материал и в номер? — спросил Миша.

— Конечно. А вы... — в голосе Малюжкина проявилась жалкая просьба, — а вы посидите здесь, со мной? А?

— Посижу, конечно, посижу. Ведь ты недолго, Миша?

— Да я здесь же, на подоконнике, напишу. У меня вчерне все готово.

— Ну вот, — улыбнулась Милица. — Мы с вами знакомы и теперь будем разговаривать. Разве не чудесно, что я вчера была старухой, а сегодня молода?

— Чудесно, — согласился Малюжкин. — У вас чудесные зубы.

— Фу, это говорят только некрасивым девушкам, чтобы их не обидеть. — Милица засмеялась так звонко, что машинистки нахмурились.

— Нет, что вы, у вас красивые руки, и волосы, и нос, — сказал Малюжкин. Он хотел было продолжить перечисление, но тут зазвонил телефон, и редактор, не желавший ни с кем разговаривать, все-таки поднял трубку и сказал резко, чтобы отвязаться: — У меня совещание.

Трубка забулькала отдаленным человеческим голосом, и Малюжкин, не положивший ее вовремя, стал слушать. Миша подмигнул Милице, считая, что дело сделано, а та подмигнула в ответ, ибо была довольна своей красотой.

— Да, — ответил вежливым голосом Малюжкин. — Конечно. В завтрашнем номере, товарищ Белосельский. Я сам этим займусь, лично... Я отлично понимаю. Наше упущение, товарищ Белосельский.

Голос в трубке все урчал, и понемногу лицо Малюжкина собиралось в обычные деловые морщины, а волосы, завернувшиеся было в тугие цыганские завитки, на глазах

распрямлялись и ложились организованно по обе стороны пробора.

— Отразим, разумеется, будет сделано, — закончил он разговор и повесил трубку. — Вот, — сказал он, глядя на Милицу, и потрогал пальцем кончик носа. — Такие дела. Передовица идет о прополке. Ясно, Стендаль? О прополке, а не о подготовке школ. Со школами еще не горит. Наше упущение. Самим следовало догадаться. Позовите ко мне Степанова. Одна нога здесь, другая там. Пусть захватит график прополки.

— Как же? — спросил Стендаль. — А статья?

— Да-да, — сказал Малюжкин. — Очень приятно было познакомиться. Всегда рад. Иди же, Стендаль! Время не ждет. В газете главное — сохранять спокойствие. Ясно?

В голосе Малюжкина была настойчивость. Стендаль не смог ослушаться. Вышел в коридор и нашел Степанова. Степанов задавал вопросы, касающиеся девушки, но Стендаль не отвечал.

— Пошли, — произнес он. — Передовую будете писать. Зайдите в отдел, возьмите данные по прополке. Одна нога здесь, другая там. Так сказал шеф.

— Я же в самом деле омолодилась, — говорила Милица редактору, когда Стендаль вернулся в кабинет.

Малюжкин поднял на Стендаля обиженные глаза — его отвлекали от дела.

— Завтра чтобы быть на работе вовремя, — велел он Мише.

— Но мне же Александр Сергеевич Пушкин стихи в альбом писал! — повторяла Милица. — Личные стихи. Только мне. И нигде их не печатали.

— Очень любопытно, — сказал Малюжкин. — Оставьте альбом, посмотрим. Поместим в рубрике «Из истории нашего края». Хорошо? Значит, по рукам. Молодцы, что стихи разыскали!

И Малюжкину, переключившемуся на прополку, казалось, что он хорошо обошелся с посетителями.

— Вы не волнуйтесь, мы стихов не затеряем, понимаем ценность, девушка.

— Вы звали? — спросил Степанов, глядя на Милицу Бакшт.

Малюжкин проследил за взглядом вошедшего сотрудника, что-то забытое шевельнулось в сердце.

— Сюда, Степанов, садись. Данные по прополке захватил? Звонили, надо срочно. Так что понимаешь...

— Ну, мы пошли, — сказал печально Стендаль.

— Конечно, конечно... — сказал Малюжкин, возде-
ленно глядя на графики в руке Степанова. Малюжкин
любил газету и любил газетную работу. Обида прошла! —
Не задерживайся! — крикнул он вслед Стендалю и забыл
о нем.

Хлопнула дверь за посетителями. Колыхнулись тюле-
вые занавески на окне.

Степанов пожалел, что девушка ушла, в такую жару
писать о прополке не хотелось. Хотелось на пляж. Он
подвинул к себе раскрытый альбом в сафьяновом перепле-
те. Почерк на желтоватой странице был знаком. Рядом той
же рукой был нарисован профиль только что заходившей
девушки.

— Это ее альбом? — спросил Степанов.

Малюжкин удивился, но ответил:

— Ее. Говорит, Пушкин писал. — И он хихикнул. —
В «Красном знамени» все агрегаты простаивают, а в сводке
завышают. А? Каковы гуси?..

Конечно, это был почерк Пушкина. Или изумительная
совершенная подделка, которой место в музее Пушкина в
Москве.

— «Оставь меня, персидская княжна...» — прочел Сте-
панов.

— «Оставь меня, персидская княжна...» — прочел он
еще раз вслух.

— Потихе, — предупредил Малюжкин. — Не отвле-
кайтесь стихами.

Степанов не слышал: он шевелил губами, разобрал
строки дальше. Этого стихотворения он не знал. И никто
не знал. Степанов был первым в мире пушкинистом, чита-
ющим стихотворение, которое начиналось словами: «Ос-
тавь меня, персидская княжна...»

— Это же открытие! — воскликнул он. — Мировой
важности, надо писать в Москву. Завтра прилетит Андро-
ников.

— Что вы, стоворились, что ли? — возмутился Малюж-
кин. — Давай по-товарищески, Степан. Кончим передовни-
цу — звоним Андроникову, Льву Толстому, Пушкину,
выпиваем по кружке пива — что угодно! Послушай нача-

ло: «Полным ходом идет прополка на полях колхозов нашего района». Не банально?

Но Степан не слышал, так же как за несколько минут до этого Малюжкин перестал слышать и видеть Милицу Бакшт.

Степан Степанович Степанов был одержим Пушкиным. Он был одержим упорной надеждой узнать о великом поэте все и, изучая каждое слово, сказанное им, распорядок каждого дня его жизни, терпеливо ждал, когда судьба смиростивится и подарит ему открытие в пушкинистике, открытие случайное, находку, ибо закономерные открытия там уже все сделаны.

Прошло тридцать лет с тех пор, как Степан Степанов, отыскав на чердаке старого дома первое издание «Евгения Онегина», стал солдатом маленькой интернациональной армии пушкинистов. Степан Степанович постарел, обрюзг, страдал печенью, одышкой, похоронил жену, вырастил дочь Любу, и та уже выходит замуж, но открытие не давалось.

Ни сам Пушкин, ни его родственники, ни друзья-декабристы не бывали в Великом Гусляре и не оставили там дневников, записных книжек и устных воспоминаний. Но Степанов искал, посещал забытые пыльные чердаки, за бешенные деньги покупал редкие издания, поддерживал переписку с Ираклием Андрониковым и пастором Грюнвальдом в Швейцарии, изучил два европейских языка, не продвинулся по службе, а открытие все медлило, не приходило.

И вот неизвестные строки Пушкина, сами, без всяких усилий со стороны Степанова, оказавшиеся перед ним.

Степанов грузно поднялся со стула, держа на вытянутой руке альбом в сафьяновом переплете, и подошел к окну, к свету, чтобы под солнцем убедиться в том, что счастье в самом деле посетило его, что одно из решающих открытий в пушкинистике второй половины двадцатого века сделано именно им.

— Сядь, — догнал его голос Малюжкина. — Послушай: «Однако в отдельных хозяйствах темпы прополки недостаточно высоки». Или, может, написать просто — «невысоки»? Или «низки»?

— Кто та девушка? — спросил Степанов.

— Какая девушка?

— Девушка, которая к тебе приходила. С Мишей Стендалем.

— Так ты у нее и спроси. Почему у меня? Не знаю я никакой девушки.

Малюжкин тоже был одержимым человеком. Он был одержим желанием сделать газету самой лучшей в области.

— Так, — сказал Степанов, стряхнул пепел с мятых брюк, с трудом стянул на обширном животе расстегнувшуюся пуговицу и, громко запев: «Оставь меня, персидская княжна...», ушел из кабинета главного редактора, убыстряя шаги, протопал по коридору и выскочил на улицу.

Малюжкин посмотрел ему вслед и обиделся до слез.

29

Милица со Стендалем доплелись до пивного ларька, у которого под разноцветными пляжными зонтиками стояли шаткие столики с голубым пластиковым верхом.

Миша отстоял в очереди, поставил на столик две кружки с шапками теплой пены. Он был разочарован в жизни и в идеалах.

— Что же, не оценили нас? — спросила Милица.

— Я совершил тактическую ошибку, — признал Стендаль, не зная еще, в чем она заключалась.

— Сначала я ему понравилась, — произнесла Милица. Стендаль пил пиво, морщился.

— Придется прямо в Москву, — сказал он. — И Великий Гусляр останется никому не известным, заштатным городком. И они будут кусать себе локти. Пускай кусают.

— Немного он все-таки прославился, — напомнила Милица. — Я же здесь жила. — Она улыбалась. Она шутила, хотела развеселить Стендаля. — Все уладится.

— И никто не верит, — сказал Стендаль. — Даже в милиции Удалову не поверили. А мне в газете. Что мы, проходимцы, что ли? Вот Грубин побежал опыты ставить, чтобы ничего не упустить. И вы тоже не только о себе думаете. Ведь правда?

— Ага, — подтвердила прекрасная Милица. — Смотрите, тот смешной дядька бежит.

По площади бежал, вертел головой мягкий, колышущийся мужчина, голый череп которого выглядывал из

войлочного венца серых волос, как орлиное яйцо из гнезда. У мужчины были толстые актерские губы и нос римского императора времен упадка. Под мышкой он держал большой альбом. Весь он, от нечищенных ботинок, за что его журил Малюжкин, до обсыпанного пеплом пиджака, являл собой сочетание неуверенности, робости и фантастической целеустремленности.

— Мой альбом несет, — определила Милица.

— Это Степан Степанов, — сказал Миша Стендаль. — Они спохватились. Они поняли и разыскивают нас. Сюда! — махал рукой Стендаль, призывая Степанова. — Сюда, Степан Степаныч!

Степанов протопал к столику. Очень обрадовался.

— А я вас ищу, — сказал он, придавливая к земле стул, — вернее, вашу спутницу. Я уж боялся, что не найду, что мне все почудилось.

— Вас Малюжкин все-таки прислал? — спросил утвердительным тоном Стендаль.

— Какой Малюжкин? Ни в коем случае. Он, знаете, резко возражал. Он не осознает. Девушка, откуда у вас этот альбом?

— Это мой альбом, — ответила Милица.

Степанов подвинул к себе кружку Стендаля, отхлебнул в волнении.

— А вы знаете, что в нем находится? — спросил Степанов, сощурился и без того маленькие глазки.

— Знаю, мне писали мои друзья и знакомые: Тютчев, Фет, Державин, Сикоморский, Пушкин и еще один из земской управы.

— Пушкин, говорите? — Степанов был строг и настойчив. — А вы его читали?

— Конечно. У вас, Мишенька, все в редакции такие чудачки?

— Если Степаныч не убедит главного, никто этого не сделает, — сказал Миша, в котором проснулась надежда.

— И не буду, — сказал Степанов. — А вы знаете, девушка, что это стихотворение нигде не публиковалось?

— А как же? — удивилась Милица. — Он же мне сам его написал. Сидел, кусал перо, лохматый такой, я даже смеялась. Я только друзьям показывала.

— Так, — проговорил Степанов задыхаясь, допивая

стендалевское пиво. — А если серьезно? Откуда у вас, девушка, этот альбом?

— Объясни ему, — попросила Милица. — Я больше не могу.

— Альбом — это только малая часть того, что мы пытались втолковать Малюжину, — начал Стендаль, подвигая к себе кружку Милицы. — Дело не в альбоме.

— Не сходите с ума, — пронзес Степанов, — дело именно в альбоме. Ничего не может быть важнее.

— Степан Степаныч, вы же знаете, как я вас уважаю. Никогда не шутил над вами. Послушайте и не перебивайте. Вы только, пожалуйста, дослушайте, а потом можете звонить, если не поверите, в сумасшедший дом или вызывать «скорую помощь»...

Когда Стендаль закончил рассказ о чудесных превращениях, перед ним и Степановым стояла уже целая батарея пустых кружек. Их покупала и приносила Милица, которой скучно было слушать, которая жалела мужчин, была добра и неспесива. Продавщица уже привыкла к ней, отпускала пиво без очереди, и никто из мужчин, стоявших под солнцем, не возражал. И странно было бы, если бы возразил, — ведь раньше никто из них не видел такой красивой девушки.

— А альбом? — спросил Степанов, когда Миша замолчал.

— Альбом заберем в Москву. Как вещественное доказательство. Как только соберем денег на билеты.

— К Андроникову?

— Там придумаем, может, и к Андроникову.

— Он его получит от меня, — сказал Степанов. — Я еду с вами.

— Как можно? — удивился Стендаль. — Неужели вы нам не верите?

— Я буду предельно откровенен, — ответил Степанов, поглаживая сафьяновый переплет. — Мне хотелось бы встретиться, чтобы развеять последние сомнения, с Еленой Кагельской. Имею честь быть с ней знакомым в течение трех десятилетий. Если она ваш рассказ подтвердит, сомнения отпадут.

— Вы ее можете не узнать, ей сейчас двадцать лет. Как и мне.

— А я задам ей два-три наводящих вопроса. К примеру, кто, кроме нее, голосовал в прошлом году на депутат-

ской комиссии за ассигнования на реставрацию церкви Серафима. Я тоже не лыком шит.

— Вы голосовали, — сказала Милица. — Пиво еще хотите?

— Я, — сознался Степанов и очень удивился. — Спасибо. Пойдем?

— А не кажется ли вам, — спросил осмелевший и преисполнившийся оптимизмом Стендаль, — что все это сказочно, невероятно, таинственно и даже подозрительно?

— Послушайте, молодой человек, — ответил с достоинством Степанов, — на моих глазах родились телефон и радио. Я собственными глазами видел фотокопию пушкинского письма, обнаруженного недавно в небольшом городе на Амазонке. Почему я не должен доверять уважаемым людям только потому, что чувства мои и глаза отказываются верить реальности? Человеческие чувства ненадежны. Ими не постигнешь даже элементарную теорию относительности. Разум же всемогущ. Обопремся на него, и все станет на свои места. В таком случае стихотворение получает хоть и необычное, но объяснение, а это лучше, чем ничего.

30

— Елена Сергеевна, — произнес от двери Стендаль, пропуская Милицу и Степанова вперед, — скажите, кто, кроме вас, голосовал в прошлом году на депутатской комиссии за срочные ассигнования на реставрацию церкви Серафима?

— Степанов, — ответила Елена Сергеевна.

— Узнал, — обрадовался Степанов. — Я бы и без того узнал. Вы вообще мало изменились. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Поздравляю с перевоплощением.

— Степан Степанович, как я рада! — воскликнула Елена. — Хоть живая душа. А то мы очутились в каком-то ложном положении.

— По ту сторону добра и зла, — сказал Алмаз Битый с полу.

Он строил вместе с Ваней подвесную дорогу из ниток, спичечных коробков и различных мелких вещей. Ноги Алмаза упирались в стену, ему было неудобно лежать, но иначе не управиться.

Степанов заполнил комнату объемистым телом, положил на стол альбом.

— Весьма сочувствую, — сказал он. — Только что был свидетелем очередной неудачи наших юных друзей в редакции. Одно дело мечтать о журавле в небе, лежа на диване, другое — догадаться, что это именно он опустился к тебе на подоконник, и протянуть руку.

— Битый, — представился Алмаз, поднимаясь с пола, как молодой дог: медленно подбирая под себя и распрямляя могучие члены. — Один из виновников происшедшего. Но не раскаиваюсь.

— Как же, как же, — согласился Степанов. — С вашей стороны благородно было поделиться таким интересным секретом.

— Не хотел я сначала, — сказал Алмаз. — Думал, произойдут от этого только неприятности.

— А сейчас? — спросила Елена.

— Сейчас поздно раскаиваться. Но кто мне ответит, нужна ли людям вечная молодость? К ней тоже привыкнуть надо.

— А вы привыкли?

— Не сразу. Настоящая молодость бывает только один раз. Пока ты не знаешь, что последует за ней.

— Это правильно, — согласилась Елена.

— Но ты не расстраивайся, — сказал Алмаз. — Я тебя увезу в Сибирь. Дело найдется. Вот вы, — обратился он к Степанову, — вы уже все о наших приключениях знаете, согласились бы сейчас, если бы зелье сохранилось, присоединиться к нам?

— Не знаю, — произнес медленно Степанов. — Нет, наверно. Меня вполне устраивает мой возраст. Может, только, чтобы похудеть немного. Лишний вес мешает.

— Ну, это ничего, — сказал Стендаль. — В Москве устроим вас в Институт питания. Станете Аполлоном. У нас будут большие связи в медицинском мире. И вообще все великие открытия сначала вызывали возражения, столкновения, споры и так далее. Может быть, в Москве, когда мы явимся с рецептом вечной молодости, хотя и с неполным рецептом, нам не все поверят. И даже те, кто поверит, поверят не сразу.

— Но я же поверил. Больше того, зная о ваших временных финансовых затруднениях, согласен пойти на-

встречу. Человек я одинокий, и есть у меня кое-какие сбережения. Потом, будете при деньгах, отдадите.

— Вот это правильно, — одобрил Алмаз.

— Степан Степаныч — пушкиновед, — сказал Степаль. — Он нас признал, когда с альбомом ознакомился.

— Да, я интересуюсь творчеством Александра Сергеевича.

— Милица с ним была знакома, — сказал Алмаз.

— Знаете, как-то трудно поверить, — сознался Степанов. — Хоть я и поверил.

— А мне лично с Пушкиным сталкиваться не приходилось. Хотя был в то время в Петербурге. Я в январе тридцать седьмого возвращался в Россию из Парижа и должен был в Санкт-Петербурге встретить одного человека, передать ему письма и деньги. А человека я того знал еще с совместного пребывания на Дворцовой площади в двадцать пятом...

— Вы имеете в виду декабрьское восстание? — спросил Степанов.

— Конечно.

— С ума сойти, — сказал Степанов.

31

Пока взрослые разговаривали со Степановым, Удалов страдал. Он страдал по утерянной зрелости, страдал от того, что стал сиротой, что никто не принимает его всерьез, даже те, кто знает о его действительном возрасте и положении. Играть с Ванечкой в мячик и кубики было унижительно и глупо, а когда Алмаз, не желая дурного, походя сунул ему книжку «Серебряные коньки» и сказал: «Почитал бы, Корнелий, чего маешься бездельем», Удалов понял, что единственное место на свете, где он может рассчитывать на человеческое участие, это собственный дом. Но и дома мало шансов на прощение.

С книжкой в руке Удалов вышел во двор. Там стоял самовар, то есть машина господина Бакшта, и из-под нее торчали длинные ноги Саши Грубина, который проверял подвеску. Удалов подошел к ногам и подумал, что ботинки у Грубина старые, он их видел тысячу раз, а ноги новые. Как будто новый Грубин у старого отобрал ботинки.

— Саша, — позвал Удалов. — Поговорить надо.

Голос его был тонкий, не слушался, и Грубин из-под машины не сразу сообразил, кто его зовет. Но потом сообразил.

— Сейчас, — сказал он. — Погоди, Корнелий.

Корнелий встал на цыпочки и заглянул внутрь машины. На красном кожаном сиденье лежал открытый ящик с двумя старинными пистолетами. В Удалове вдруг проснулось желание бабахнуть из пистолета по всем врагам. Он потянулся к пистолету, размышляя, кто у него главный враг, но тут рука Грубина перехватила его пальцы.

— Нельзя тебе, — сказал старый друг Саша: — Мал еще.

— И ты, Брут?

— Шучу, — спохватился Грубин, хотя, в общем, и не шутил.

— Все ясно, — сказал Удалов и пошел прочь.

— Корнелий, ты куда? — крикнул Грубин. — Не делай глупостей!

— Я уже сделал главную глупость. Не бойся.

Его маленькая фигурка скрылась за воротами. Грубин хотел было побегать следом, остановить, может быть, утешить, но вспомнил, что машина еще не приведена в порядок, и остался.

А Удалов брел по улице, как старый человек, остановился перед небольшой лужей. Детское тело готово было перепрыгнуть через лужу, но умудренный долгой жизнью мозг отказал ему в этом. И Удалов осторожно обошел лужу. Грустные видения вставали перед его мысленным взором. Ему казалось, что он сидит за одной партой с сыном Максимкой и пытается списать из его тетрадки решение задачи, потому что сам давно забыл все правила математики, а сын закрывает тетрадку ладошкой и зло шепчет: «Надо было в свое время учиться». А учительница в образе Елены Сергеевны говорит: «Удалов-младший, выйди из класса и без отца не возвращайся». — «Нет у меня отца, — отвечает Корнелий. — Есть только супруга». И весь класс хохочет.

Нечто знакомое привлекло внимание Удалова. Оказывается, он проходил мимо здания бани, которое возводилось силами его конторы. На возведении бани трудилась бригада Курзанова и работала с большим отставанием от графика. Удалов поднял голову, рассчитывая увидеть ка-

менщиков, кладущих кирпичи второго этажа, но каменщиков не увидел. Это его встревожило. Обеденный перерыв еще не наступил. Следовало разобраться.

Удалов обогнул стройку и вошел во двор, засыпанный стройматериалами.

Он увидел, что вся бригада собралась вокруг большого ящика, на котором разложена газета. Бригадир Курзанов держит в руке карандаш, уткнув его в газету, и руководит разгадыванием кроссворда. Все остальные строители помогают советами.

Эта картина возмутила Удалова. Прижимая ручонками к груди книгу «Серебряные коньки», мальчик подошел к строителям и строго спросил:

— В чем дело, Курзанов? Почему бригада простаивает?

— А ведь перерыв, — не поднимая головы, ответил бригадир.

— Какой перерыв в одиннадцать тридцать? — рассердился Удалов.

Удивленный командирскими интонациями в детском голосе, бригадир поднял голову и увидел мальчика.

— Пошел отсюда, — сказал он добродушно. — Не мешай.

Удалов не сдавался. Он поднял руку вверх, как бы призывая к вниманию, и сказал так:

— Товарищи, неужели вы забыли, что мы с вами принимали повышенные обязательства? Вот ты, Курзанов, бригадир. Как ты посмотришь в глаза общественности, которая доверила тебе возведение очень нужного объекта? А ты, Тюрин? Сколько раз ты клялся на собраниях исправиться и прекратить прогулы? А ты, Вяткин, — неужели приятно, что тебя склоняют ввиду твоей лени?

Реакция строителей была острой. Они даже отступили на несколько шагов перед мальчиком, который отчитывал их, размахивая детской книжкой. Особенно смущала информированность ребенка.

— Мальчик, ты чего? — спросил Курзанов.

— Что, не узнаешь своего начальника? — Удалов продолжал наступать на строителей. — Думаешь, если я сегодня плохо выгляжу, то, значит, можно лясы точить? Вы учтите, мое терпение лопнуло. Я принимаю меры!

Вот этих, последних слов Удалову, пожалуй, не следовало произносить. Уж очень они не соответствовали его

внешнему виду. Кто-то из строителей засмеялся. За ним — другие. И дальнейшая речь Удалова утонула в хохоте. Хохот был добродушный, не злой.

— Иди, мальчик, — вымолвил, наконец, Курзанов. — Тебе в школу надо. А ты прогуливаешь.

И только тогда Удалов как бы взглянул на себя со стороны и понял, что никогда ему не доказать этим лентяям, что он их начальник. Но отступать было нельзя — стройка находилась под угрозой срыва. И когда строители, все еще посмеиваясь, вернулись к разгадыванию кроссворда, Удалов понял, что надо делать. Он решительно поднялся по лесам на второй этаж, нашел там ведро с раствором, мастерок и принялся сам класть кирпичи в стену.

Руки ему не повиновались, кирпичи казались тяжелыми, как будто были отлиты из свинца, трудно было набрать и донести до стены сколько нужно густого раствора. Но кирпич за кирпичом ложился на место — недаром в молодости Удалов поработал каменщиком.

Строители все это видели. Но сначала они лишь улыбались, хотя сноровка мальчика их удивляла.

Но прошло пять минут, десять. Пошатываясь от усталости, обливаясь слезами, мальчик продолжал класть кирпичи.

— Психованный какой-то, — проговорил, наконец, Тюрин.

— Что-то он мне знакомый, — сказал бригадир.

— А может, это удаловский сын? — спросил Вяткин. — Максимка?

— Похож, — согласился Тюрин. — Вот и про нас все знает.

— Может, пойдем, поработаем? — предложил Вяткин.

— И вообще, сколько можно прохлаждаться? — разгневался бригадир Курзанов. — Мы же обязательства давали, как-никак.

И он первым поднялся на леса, подхватил под локотки безнадежно уморившегося Удалова и отставил в сторону.

И через минуту уже кипела работа.

Все забыли о настырном мальчике.

Удалов подобрал книжку и потихоньку ушел.

Конечно, плохо быть мальчиком, но все же он победил целую бригаду и личным примером показал им путь.

Главное — решительность. Она должна помочь и в разговоре с Ксенией.

32

Подобное же испытание в эти минуты выпало на долю Ванды Казимировны.

Она подошла к универмагу в тот момент, когда перед ним разгружали машину.

— Что привезли? — спросила она у шофера.

— Детскую обувь, — ответил шофер, любуясь крепконогой красивой девушкой в очень свободном платье. — А ты здесь работаешь, что ли?

— Работаю, — подтвердила девушка и направилась к главному входу.

Этого шофера Ванда знала, он приезжал в универмаг лет пять. И вот, не узнал.

С каждым шагом настроение ее портилось. Магазин, такой родной и знакомый, куда более важный, чем дом, магазин, с которым связаны многие годы жизни, трагедии и достижения, опасности и праздники, именно ее трудом ставший лучшим универмагом в области, — этот магазин Ванду не замечал.

Она шла торговым залом, огибая очереди и останавливаясь у прилавков. Она знала каждого из продавцов, кто замужем, а кто одинок, кто честен, а кто требует надзора, кто работающ, а кто уклоняется от труда, у кого язва, а у кого ребенок на пятидневке. И все эти люди, что вчера еще радостно или боязливо раскланивались с Вандой, теперь скользили по ней равнодушными взглядами как по обыкновенной покупательнице. Магазин ее предал!

Уходя от Елены, когда там шел разговор со Степановым, Ванда сказала мужу, что пойдет домой, соберется в дорогу. Савича она с собой звать не стала, а он и не напрашивался. Ему сладко и горько было оставаться рядом с Еленой. Ему казалось, что еще не все кончено, надо найти нужное слово и сказать его в нужный момент. Ванда же, стремясь скорее в универмаг, была убеждена, что ни нужного момента, ни нужного слова не будет. Так что уходила почти спокойно. Цель ее была проста — зайти к себе в кабинет, взять сберкнижку из сейфа, снять с нее

деньги, чтобы в Москве не было недостатка. И если будет возможность, оформить отпуск за свой счет.

Сложность и даже безнадежность ее положения стали очевидными только в самом магазине. Когда оказалось, что ее не узнала ни одна живая душа. Это было более чем обидно. Именно в этот момент в голове Ванды Казимировны впервые прозвучала мысль, которая будет мучить ее в следующие часы: «И зачем мне нужна эта молодость? Жили без нее».

Вопрос об отпуске за свой счет уже не стоял. Оставалось одно: проникнуть в собственный кабинет и изъять сберегательную книжку.

Пришлось хитрить. Ванда смело зашла за прилавок галантерейного отдела, и, когда ее остановила Вера Пушкина, она сказала ей: «Я к Ванде Казимировне». Мимо склада и женского туалета Ванда поднялась в коридорчик, где были бухгалтерия и ее кабинет. К счастью, кабинет был пуст. И открыт.

Ванда быстро прошла в угол, за стол, вынула из сумочки ключи и в волнении — ведь не каждый день приходится тайком вскрывать свой собственный сейф — не сразу нашла нужный. И в тот момент, когда ключ послушно повернулся в замке, Ванда услышала рядом голос:

— Ты что здесь делаешь?

Испуганно обернувшись, Ванда увидела, что над ней нависает громоздкое тело Риммы Сарафановой — ее заместительницы.

— Сейф открыла, — глупо ответила Ванда.

— Вижу, что открыла, — сказала Римма, перекрывая телом пути отступления. — Давай сюда ключи.

— Ты что, не узнала? — спросила Ванда, беря себя в руки.

— Кого же я должна узнать?

— Так я же Ванда, Ванда Казимировна. Твоя директорша.

— Ты Иван Грозный, — добавила Римма. — И еще Брижит Бардо.

— Ну как же! — в отчаянии сопротивлялась Ванда. — Платье мое?

— Твое.

— И туфли мои?

Римма посмотрела вниз.

— Вроде твои.

— Кольцо мое? — Она сунула под нос Римме руку. Кольцо еле держалось на пальце.

— Кольцо ее, — сказала Римма. — Тебе велико.

— Я и есть Ванда. Глаза мои?

— Не скажу, — ответила Римма. — Я сейчас милицию вызову. Она и разберется, чьи глаза.

— Римма, девочка, я же все про тебя знаю. И про Васю. И где ты дачу строишь. Хочешь скажу, какие у тебя шторы в большой комнате?

— Ключи, — повторила железным голосом Римма.

Ванда была вынуждена сдать ключи. Но сама еще не сдалась.

— Омолаживалась я, — сказала она чуть не плача. — Опыт такой был. И Никитушка мой омолодился. Со временем и тебе устроим.

Римма была в сомнении — уж очень ситуация была необычной. В самом деле платье Вандино, и глаза вроде бы Вандины, а в остальном авантюристка. Римма привыкла верить своим глазам, они ее еще никогда не обманывали. И хоть эта девушка напоминала Ванду, Вандой она не была.

Ванда в отчаянии подыскивала аргументы, хотела было показать паспорт, но сообразила, что паспорт будет козырем против нее. Там есть год рождения и фотокарточка, которая ничего общего с ней не имеет.

Тут ее осенила светлая мысль.

— Простите, Римма Ивановна. Я вас обманула.

— И без тебя знаю.

— Я племянница Ванды Казимировны. Я из Вологды приехала.

— А Ванда где?

— А Ванда болеет. Грипп у нее.

— Дома лежит? — спросила Римма и потянулась к телефонной трубке.

— Нет, — быстро сказала Ванда. — Тетя в поликлинику пошла.

— В какую?

— В третью.

— К какому доктору?

— Семичастной.

— В какой кабинет?

— В шестой.

— А откуда ты знаешь кабинет, если из Вологды приехала?

Ванда поняла, что терпение Риммы истощилось. Никакой надежды получить обратно ключи и сберкнижку нет. Оставалось одно — бежать.

— А вот и тетя! — закричала она, глядя поверх плеча Риммы.

Та непроизвольно оглянулась.

Ванда нырнула ей под руку и кинулась наружу.

Кубарем слетела по служебной лестнице во двор. Выбежала двором в садик и спряталась за церковью Параскевы Пятницы. Только там отдышалась.

Все погибло. Даже домой опасно возвращаться. Римма может и милицию вызвать, сказав, что какая-то авантюристка обокрала Ванду Казимировну, сняла с нее кольцо и старалась вскрыть сейф. С Риммы станется. Хотя за что Римму винить? Она же Вандины интересы охраняет.

Ванда Казимировна стояла в кустах, где недавно Удалов напал на своего сына Максимку, и горько рыдала. Много лет так не рыдала.

— Господи, — повторяла она. — Зачем мне эта молодость? В свой кабинет зайти нельзя! Подчиненные не узнают...

Она еще долго стояла там, тщетно придумывая, как ей перехитрить Римму. Но ничего не придумала. И пошла дворами и переулками к Елене, потому что помнила — Савич оставлен там без присмотра.

33

Солнце клонилось к закату, тени стали длиннее, под кустом сирени собрались, как всегда, любители поиграть в домино.

Во двор вошел мальчик с книжкой «Серебряные коньки» в руке. Мальчик был печален и даже испуган. Он нерешительно остановился посреди двора и стал глядеть вверх, где были окна квартиры Удаловых.

В этот самый момент кто-то из играющих в домино спросил громко:

— Как там, Ксения? Не нашелся еще твой?

Из открытого окна на втором этаже женский голос произнес сурово и холодно:

— Пусть только попробует явиться! За все ответит. Его ко мне с милицией приведут. Лейтенант такой симпатичный, лично обещал.

— Ксения! Ксюша! — позвал Удалов, остановившись посреди двора.

Доминошники прервали стук. Из окна напротив женский голос помог Удалову:

— Ксения, тебя мальчонка спрашивает. Может, новости какие?

— Ксения! — рявкнул один из игроков. — Выгляни в окошко.

— Ксюша, — мягко сказал Удалов, увидев в окне родное лицо. — Я вернулся.

— Что тебе? — спросила Ксения взволнованно.

— Я вернулся, Ксения, — повторил Удалов. — Я к тебе совсем вернулся. Ты меняпустишь?

Доминошники засмеялись.

— Ты от Корнелия? — спросила Ксения.

— Я не от Корнелия, — сказал мальчик. — Я и есть Корнелий. Ты меня не узнаешь?

— Он! — закричал другой мальчишеский голос. Это высунувшийся в окно Максимка, сын Удалова, узнал утреннего грабителя. — Он меня раздел! Мама, зови милицию!

— Хулиганье! — возмутилась Ксения. — Сейчас я спущусь.

— Я не виноват, — сказал Корнелий и не смог удержать слез. — Меня помимо моей воли... Я свидетелей приведу...

— Смотри-ка, как на Максимку твоего похож, — удивился один из доминошников. — Как две капли воды.

— И правда, — подтвердила женщина с того конца двора.

— Я же муж твой, Корнелий! — плакал мальчик. — Я только в таком виде не по своей воле...

Корнелий двинулся было к дому, чтобы подняться по лестнице и принять наказание у своих дверей, но непочтительные возгласы сзади, смех из раскрытых окон — все это заставило задержаться. Мальчик взмолился:

— Вы не смейтесь... У меня драма. У меня сын старше меня самого. Это ничего, что я внешне изменился. Я с тобой, Ложкин, позавчера «козла» забивал. Ты еще три «рыбы» подряд сделал. Так ведь?

— Сделал, — сказал сосед. — А ты откуда знаешь?

— Как же мне не знать? Я же с тобой в паре играл. Против Васи и Каца. Его нет сегодня. Это все медицина... Надо мной опыт произвели, с моего, правда, согласия, и может, даже очень нужный для науки, а у меня семья...

Ксения тем временем спустилась во двор. В руке она держала плетеную выбивалку для ковров. Максимка шел сзади с сачком.

— А ну-ка, — велела она, — подойди поближе.

Корнелий опустил голову, приподнял повыше узкие плечики. Подошел. Ксения схватила мальчишку за ворот рубашки, быстрым, привычным движением расстегнула лямки, спустила штанишки и, приподняв ребенка в воздух, звучно шлепнула его выбивалкой.

— Ой! — вскрикнул Корнелий.

— Погодила бы, — сказал Ложкин. — Может, и в самом деле наука!

— Он самый! — радовался Максимка. — Так его!..

Неожиданно рука Ксении, занесенная для следующего удара, замерла на полпути. Изумление ее было столь очевидно, что двор замер. На спине мальчика находилась большая, в форме человеческого сердца, коричневая родинка.

— Что это? — спросила Ксения тихо.

Корнелий попытался в всячем положении повернуть голову таким образом, чтобы увидеть собственную спину.

— Люди добрые, — сказала Ксения, — клянусь здоровьем моих деточек, у Корнелия на этом самом месте эта самая родинка находилась.

— Я и говорю, — раздался в мертвой тишине голос Ложкина, — прежде чем бить, надо проверить.

— Ксения, присмотришь, — сказала женщина с другой стороны двора. — Человек переживает. Он ведь у тебя невезучий.

Корнелий, переживавший позор и боль, обмяк на руках Ксении, заплакал горько и безутешно. Ксения подхватила его другой рукой, прижала к груди — почувствовала родное — и быстро пошла к дому.

Савич истомился. Он то выходил во двор, к Грубину, который возился с автомобилем, то возвращался в дом, где

было много шумных людей, все разговаривали, и никому не было дела до Савича. Он вдруг понял, что двигается по дому и двору не случайно — старается оказаться там, где Елена может уединиться с Алмазом. Ее очевидная расположенность к Битому и его откровенные ухаживания все более наполняли Савича справедливым негодованием. Он видел, что Елена, ради которой он пошел на такую жертву, в самом деле не обращает на него никакого внимания, а старается общаться с бывшим стариком. И это когда он, Савич, почти готов ради нее разрушить свою семью.

Поэтому, когда Савич в своем круговращении в очередной раз подошел к комнате, где Елена собиралась в дорогу, он застал там Алмаза, обогнавшего его на две минуты. И, остановившись за приоткрытой дверью, услышал, как Алмаз говорит:

— Хочу сообщить тебе, Елена Сергеевна, важную новость. Не помешаю?

— Нет, — ответила Елена. — Я же не спешу.

— Триста лет я прожил на свете, — сказал бывший старик, — и все триста лет искал одну женщину, ту самую, которую полюблю с первого взгляда и навсегда.

— И нашли Милицу, — добавила Елена.

И хоть Савич не видел ее, он уловил в голосе след улыбки.

— Милица — моя старая приятельница. Она не в счет. Я о тебе говорю.

— Вы меня знаете несколько часов.

— Больше. Я уже вчера вечером все понял. Помнишь, как уговаривал тебя выпить зелья. Если бы дальше отказывалась, силком бы влил.

— Вы хотите сказать, что в пожилой женщине...

— Это и хотел сказать. И второе. Я тебя в Сибирь увезу. Если хочешь, и Ванечку возьмем.

— А что я там буду делать?

— Что хочешь. Детей учить. В музей пойдешь, в клуб — мало ли работы для молодой культурной девицы?

— Это шутка? — Вдруг голос Елены дрогнул.

Савич весь подобрался, как тигр перед прыжком.

— Это правда, Елена, — сказал Алмаз.

В комнате произошло какое-то движение, шорох...

И Савич влетел в комнату.

Он увидел, что Елена стоит, прижавшись к Алмазу,

почти пропав в его громадных руках. И даже не вырывается.

— Прекратите! — закричал Савич. И голос его сорвался. Он закашлялся.

Елена сняла с плеч руки Алмаза, тот обернулся удивленно.

— Никита, — удивилась Елена. — Что с тобой?

— Ты изменила! — сказал Никита. — Ты изменила нашим словам и клятвам. Тебе нет прощения.

— Клятвам сорокалетней давности? От которых ты сам отказался?

— Я ради тебя пошел на все! Буквально на все! Я не позволю этому случиться. Приезжает неизвестный авантюрист и тут же толкает тебя к сожительству.

— Ну зачем ты так, аптека, — сказал Алмаз. — Я замуж зову, а не к сожительству.

— Будьте вы прокляты! — С этим криком Савич выбежал из комнаты и кинулся во двор.

Он должен был что-то немедленно сделать. Убить этого негодяя, взорвать дом, может, даже покончить с собой. Весь стыд, вся растерянность прошедших часов слились в этой вспышке гнева.

— Ты что, Никита? — спросил Грубин, разведивший в машине пары. — Какая муха тебя укусила?

— Они! — Савич наконец-то отыскал человека, который его выслушает. — Они за моей спиной вступили в сговор!

— Кто вступил?

— Елена мне изменяет с Алмазом. Он зовет ее в Сибирь! Это выше моих сил.

— А ты что, с Еленой хотел в Сибирь ехать? — не понял Грубин.

— Я ради нее пошел на все! Чтобы исправить прошлое! Ты понимаешь?

— Ничего не понимаю, — сказал Грубин. — А как же Ванда Казимировна?

— Кто?

— Жена твоя, Ванда.

— А она тут при чем? — возмутился Савич.

Взгляд его упал на открытый ящик с пистолетами. И его осенила мысль.

— Только кровью, — сказал он тихо.

— Савич, успокойся, — велел Грубин. — Ты не волнуйся.

Но Савич уже достал из машины ящик и прижал его к груди.

— Нас рассудит пуля, — произнес он.

— Положи на место! — крикнул Грубин.

В этот момент из дома вышел Алмаз. За ним Елена. Неожданное бегство Савича их встревожило. Никита увидел Алмаза и быстро пошел к нему, держа ящик с пистолетами на вытянутых руках.

— Один из нас должен погибнуть, — сообщил он Алмазу.

— Стреляться, что ли, вздумал? — спросил Алмаз.

— Вот именно.

— Не сходи с ума, Никита, — сказала Елена учительским голосом.

— Ой, как интересно! — Как назло, во двор выбежала Милица с Шурочкой. — Настоящая дуэль. Господа, я буду вашим секундантом.

Она подбежала к Савичу, вынула один из пистолетов и протянула его Алмазу.

— Они же убьют друг друга! — испугалась Шурочка.

— Не бойся, — засмеялась Милица, — пистолетам по сто лет. Они не заряжены.

— Ну что, трепещешь? — спросил Савич.

— Чего трепетать. — Алмаз взял пистолет. — Если хочешь в игрушки играть, я не возражаю. Давненько я на дуэли не дрался.

— Вы дрались на дуэли? — спросила Елена.

— Из-за женщины — в первый раз.

Милица развела дуэлянтов в концы двора и вынула белый платочек.

— Когда я махну, стреляйте, — распорядилась она.

— Это глупо, — сказала Елена Алмазу. — Это мальчишество.

— Он не отвяжется, — ответил Алмаз тихо.

Савич сжимал округлую, хищную рукоять пистолета. Все было кончено. Черная речка, снег, секунданты в черных плащах...

— Ну, господа, господа, не отвлекайтесь, — потребовала Милица и махнула платком.

Алмаз поднял руку и нажал курок, держа пистолет

дулом к небу — не хотел рисковать. Курок сухо щелкнул.

— Ну вот, что я говорила! — воскликнула Милица. — Никто не пострадал.

— Мой выстрел, — напряженно произнес Савич. Он целился, и рука его мелко дрожала. Нажать на курок было трудно, курок не поддавался.

Наконец Савич справился с упрямым курком. Тот подался под пальцем, и раздался оглушительный выстрел. Пистолет дернулся в руке так, словно хотел вырваться. И серый дым на мгновение закрыл от Савича его врага.

И Савичу стало плохо. Весь мир закружился перед его глазами.

Поехал в сторону дом, трава медленно двинулась навстречу... Савич упал во весь рост. Пистолет отлетел на несколько шагов в сторону.

Алмаз стоял, как прежде, не скрывая удивления.

— Надо же, — удивился он. — Сто лет пуля пролежала...

Елена кинулась к нему.

— Антон Павлович Чехов говорил мне, — сказала Милица, вытирая лоб белым платочком, — что если в первом действии на стене висит ружье...

Но договорить она не успела, потому что во двор вбежала Ванда и, увидев, что Савич лежит на земле, быстрее всех успела к нему, подняла его голову, положила себе на колени и принялась баюкать мужа, как маленького, повторяя:

— Что же они с тобой сделали? Мы их накажем, мы на них управу найдем...

Савич открыл глаза. Ему было стыдно. Он сказал:

— Я не хотел, Вандочка.

— Я знаю, лежи...

И тут появилась еще одна пара.

Ксения тяжело вошла в ворота, неся на руках Корнелия Удалова.

— Что же это получается? — спросила она. — Где это видано?

Удалов тихо хныкал.

— Помирились? — спросил Грубин.

— По детям стреляют. Куда это годится? — сказала Ксения. — Смотрите. Отсюда пуля прилетела. Штаны разорваны. На теле ранение.

Все сбежались к Удалову. Штаны в самом деле были разорваны, и на теле был небольшой синяк.

Ксения поставила Удалова на траву и принялась всем показывать круглую пулю, которая ударилась в Удалова на излете.

— Ну и невезучий ты у нас, — произнес Грубин.

Удалов отошел в сторону, а Ксения, отбросив пулю, вспомнила, зачем пришла.

— Кто у вас главный? — спросила она.

— Можно считать меня главным, — сказал Алмаз.

— Так вот, гражданин, — заявила Ксения. — Берите нас в Москву. Чтобы от молодости вылечили. Была я замужней женщиной, а вы меня сделали матерью-одиночкой с двумя детьми. С этим надо кончать.

35

Шурочка и Стендаль проводили машину до ворот. Они бы поехали дальше, но машина была так перегружена, что Грубин боялся, она не доедет до станции. И без того помимо помолодевших в ней поместились два новичка — Ксения и Степан Степанович, люди крупные, грузные.

Грубин вел автомобиль осторожно, медленно, так что мальчишки, которые бежали рядом, смогли сопровождать его до самой окраины. Люди на улицах смотрели на машину с улыбками, считали, что снимается кино, и даже узнавали в своих бывших горожанах известных киноартистов. Машину увидел из своего окна и редактор Малюжкин. Он узнал среди пассажиров Милицу и Степанова, открыл окно и крикнул Степанову, чтобы тот возвращался на работу.

— Считайте меня в командировке, — ответил Степанов.

Малюжкин обиделся на сотрудника и захлопнул окно. Его никто не понимал.

Уже начало темнеть, когда машина въехала в лес. Разговаривали мало, все устали и не выспались. Удалов задремал на коленях у жены.

Легкий туман поднялся с земли и светлыми полосами переползал дорогу. Фары в машине оказались слабыми, они не могли пронзить туман и лишь высвечивали на нем

золотистые пятна. Уютно пытел паровой котел, и дым из трубы тянулся за машиной, смешиваясь с туманом.

Лес был тих и загадочен. Даже птицы молчали.

И вдруг сверху, из-за вершин елей, на землю опустил-ся зеленый луч. Он был ярок и тревожен. В том месте, где он ушел в туман, возникло зеленое сияние.

— Стой, — сказал Алмаз.

Грубин затормозил.

— Чего встали? — спросила Ванда. — Уже сломалась?

Но тут и она увидела зеленое сияние и осеклась.

В центре сияния материализовалось нечто темное, продолговатое, словно веретено. Веретено крутилось, замедляя вращение, пока не превратилось в существо, схожее с человеком, хрупкое, тонкое, одетое в неземную одежду.

Существо подняло руку, как бы призывая к молчанию, и начало говорить, причем не видно было, чтобы у существа шевелились губы. Тем не менее каждое его слово явственно доносилось до всех пассажиров автомобиля.

— Алмаз, ты узнаешь меня? — спросило существо.

— Здравствуй, пришелец, — сказал Алмаз. — Вот мы и встретились.

— Я бы не хотел с тобой встречаться, — ответил пришелец.

Ксения привстала на сиденье и, не выпуская из рук Удалова, обратилась к пришельцу:

— Мужчина, отойдите с дороги. Мы спешим, нам вот в Москву надо, от молодости лечиться.

— Знаю, — сказал пришелец. — Молчи, женщина.

И в голосе его была такая власть, что даже Ксения, которая мало кому подчинялась, замолчала.

— Ты нарушил соглашение, — произнес пришелец, обращаясь к Алмазу. — Ты помнишь условие?

— Помню. Я хотел жить. И пожалел этих людей. Они были немолоды, и им грозила смерть.

— Когда ты поделился средством с Милицей, — сказал пришелец, — я не стал принимать мер. Но сегодня ты открыл тайну многим. И вынудил меня отнять у тебя дар.

— Я понимаю. Но прошу тебя о милости. Погляди на Милицу, она молода и прекрасна. И если ты лишишь ее молодости, она завтра умрет. Погляди на Елену — мы с ней хотели счастья. Погляди на Грубина, он же может стать ученым...

— Хватит, — прервал его пришелец. — Ты зря стараешься вызвать во мне жалость. Я справедлив. Я дал тебе дар, чтобы ты пользовался им один. Земле еще рано знать о бессмертии. Земля еще не готова к этому. Люди сами должны дойти до такого открытия.

— Не о себе прошу... — начал было Алмаз, вылезая из машины и делая шаг к пришельцу.

Но тот не слушал. Он развел в стороны руки, в которых заблестели какие-то шарики, и от них во все стороны побежали молниевые дорожки. В воздухе запахло грозой, и зеленый туман, за клубившись, поднимавшись до вершин деревьев, окутал машину и Алмаза, замеревшего перед ней.

Грубин, уже догадавшись, что произошло, успел лишь поднять глаза к Милице, что стояла за его спиной, и встретить ее ясный взгляд, полный смертельной тоски. И протянул к ней руку. А Алмаз, который хотел в этот последний момент быть рядом с Еленой, сделать этого не успел, потому что странная слабость овладела им и заставила опуститься на землю.

Было очень тихо.

Зеленый туман смешался с белым и уполз в лес.

Постепенно в сумерках голубым саркофагом вновь образовался автомобиль, и в нем, склонившись друг к другу, сидели и лежали бесчувственные люди.

— Как грустно быть справедливым, — произнес пришелец на своем языке, подходя к машине.

Он увидел толстую пожилую женщину, Ксению Удалову, которая держала на коленях курного полного мужчину ее лет. Он взгляделся во властное и резкое лицо другой немолодой женщины, Ванды Казимировны, которая даже в беспамятстве крепко обнимала лысого рыхлого Савича... Степан Степаныч, разумеется, не изменился. Он сидел на заднем сиденье, закрыв глаза и прижимая к груди бесценный альбом с автографом Пушкина.

И вдруг пришелец ахнул.

Он протер глаза. Он им не поверил.

За рулем машины сидел, положив на него голову, курчавый юноша Саша Грубин. И протянув к нему тонкую руку, легко дышала прекрасная персидская княжна.

Взгляд пришельца метнулся дальше.

Елена Сергеевна была так же молода, как десять минут назад.

— Этого не может быть, — произнес пришелец. — Это невозможно.

— Возможно, — ответил Алмаз, который первым пришел в себя и подошел сзади. Он тоже был молод и уже весел. — Есть, видно, вещи, которые не поддаются твоей инопланетной науке.

— Но почему? Как?

— Могу предположить, — сказал Алмаз. — Бывают люди, которым молодость не нужна. Ни к чему она им, они уже с юных лет внутри состарились. И нечего им со второй молодостью делать. А другие... другие всегда молоды, сколько бы лет ни прожили.

Люди в машине приходили в себя, открывали глаза.

Первым опомнился Удалов. Он сразу увидел, что его детский костюмчик разорвался на животе в момент возвращения в прежний облик. Он провел рукой по толстым щекам, лысине и затем громко поцеловал в щеку свою жену.

— Вставай, Ксюша! — воскликнул он. — Обошлось!

Эти слова разбудили Савичей.

Ванда принялась радостно гладить Никиту, а тот глядел на жену и думал: «Как дурной сон, буквально дурной сон».

— Ничего, Саша, — проговорил Удалов, протягивая руку, чтобы утешить Грубина. — Обойдемся и без этих инопланетных штук.

Очнувшийся Грубин, смертельно подавленный разочарованием, обернулся к Удалову, и тот, увидев перед собой юное лицо старого друга, вдруг закричал:

— Ты что, Грубин, с ума сошел?

Но Грубин на него не смотрел, он искал глазами Милицу, боясь ее найти. И нашел...

А Милица, встретив восторженный взгляд Грубина, поглядела на свои руки и, когда поняла, что они молоды и нежны, закрыла ими лицо и зарыдала от счастья.

— Вылезай, Елена, — сказал Алмаз, помогая Елене выйти из машины. — Хочу познакомить тебя со старым другом. Помнишь, я тебе рассказывал, как мы из тюрьмы бежали?

— Очень приятно, — сказал пришелец, который все еще не мог пережить своего поражения. — Я думаю, вы собираетесь создать семью?

— Не знаю, — Елена посмотрела на Алмаза, а тот произнес уверенно:

— В ближайшие дни.

И тут они услышали возмущенный крик Савича:

— Что же получается? Все остались молодыми, а я должен стать старым. Это несправедливо! Я всю жизнь хотел стать молодым! Я имею такое же право на молодость, как и остальные.

— Пойдем, мой зайчик, пойдем, — повторяла Ванда, стараясь увести его прочь. — Это у тебя нервное, это пройдет.

— Пошли, соседи, — предложил Удалов. — А то дотемна в город не успеем вернуться.

— Елена, — рыдал Савич, — все эти годы я тебя безответно любил!

— Ты мне только попробуй при живой жене! — Ванда сильно дернула его за руку, и Савич был вынужден отойти от машины.

— Извините, — сказал пришелец. — Я полетел.

— До встречи, — попрощался Алмаз.

Пришелец превратился в зеленое сияние, потом в луч. И исчез.

Елена посмотрела вслед уходящим к городу.

Савич все оглядывался, норовил вернуться. Удаловы шли спокойно, обнявшись.

— Ну что ж, — сказал Алмаз, — по местам! А то к поезду не успеем.

1968 г.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
Рассказы	
Как его узнать?	15
Поступили в продажу золотые рыбки	29
Письма Ложкина	52
Любимый ученик факира	67
Недостойный богатырь	86
Домашний пленник	123
Две капли на стакан вина	139
Прошедшее время	158
Ретрогенетика	168
Черная икра	177
Ленечка-Леонардо	184
Перпендикулярный мир	193
Марсианское зелье	279



